ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 3 | 2023

Александр Суриков | Аллея | 2019

Александр Суриков | Коктебель | 2014

На обложке:
Дом, окружённый небом (фрагмент) | 2014
Солнечный лес | 2016

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения *№3 | 2023*

В номере

Д*и*Н юбилей

Дмитрий Косяков,
Эдуард Русаков,
Олег Ампилогов
3 Тридцать лет вместе

Д*и*Н поэма

Максим Лаврентьев
8 Книга Экклезиаста

Д*и*Н память

Белла Ахмадулина
12 Как много тайн я от цветка узнала…

Валерий Зубов
15 Читая Астафьева

Илья Фоняков
137 Абсурды века

Майя Борисова
174 Приемлю всё сполна

Эдуард Нонин
199 Телеграмма белому медведю

Д*и*Н стихи

Василий Киляков
13 От избытка сердца говорят уста

Николай Гайдук
16 Мелодия, чистейшая, как воздух

Татьяна Панова
18 Я всё ещё помню

Олег Ващаев
19 Смени обстановку

Маргарита Графова
111 Эта музыка выше скорби

Наталия Черных
113 Бремя мелкого человека

Илья Новиков
115 Пора на млечный свет

Татьяна Щербинина
117 Под небом бревенчато-серым

Иветта Лишенко
119 Твоя далёкая, душою близкая

Библиотека современного рассказа

Пётр Любестовский
22 Сыночек

Анжела Бецко
33 Как вы, рыбы?

Татьяна Маркинова
37 История Ванюшки

Валерий Неудахин
120 Я найду тебя

Марина Курноскина
133 Личное дело Савушкина

Никита Свикуль
138 Раз в год

Д*и*Н проза

Владимир Нестеренко
42 Енисейский губернатор

Анастасия Астафьева
69 Глафира и Президент

Елена Скуратова
92 Верка. Я родилась в Сибири

ДиН ревю

Иса Айтукаев
91 Дедушкина трость

Владимир Капелько
110 Мне ветер холсты натянет…

Анатолий Зябрев
114 Толька-охотник

Олег Ващаев
141 Воздушный поцелуй
166 На берегу океана

ДиН повесть

Наталья Сафронова
142 Ты одна, одна на свете

Синяя тетрадь

Ирина Уськина
164 Как сибирячка пельмени покупала

Клуб читателей

Миясат Муслимова
165 Говори только слово благое

ДиН критика

Нина Ищенко
167 Рокер-Прометей против изначального зла в «Песне про советскую милицию» Вени Дркина

ДиН штудии

Алла Новикова-Строганова
170 Богатырский подвиг

ДиН детям

Марина Саввиных
175 Завещание «Минотавра»

197 ДиН авторы

Дмитрий Косяков, Эдуард Русаков, Олег Ампилогов

Тридцать лет вместе

В ноябре 1993 года — без малого тридцать лет назад — подписан в печать самый первый номер литературного журнала для семейного чтения «День и ночь» — нашего «ДиН»-а. В преддверии юбилея писатель, выпускающий редактор журнала Дмитрий Косяков взял интервью у красноярцев, принимавших в создании «ДиН»-а самое непосредственное участие.

Эдуард Русаков

член Союза российских писателей,
заслуженный работник культуры
Красноярского края

«День и ночь» привлёк внимание всей России

— Какой была литературная жизнь в Красноярске в начале девяностых годов? Кто были ключевые фигуры, кто задавал тон? Какие темы волновали писателей больше всего?

— Это было время перехода от перестроечных иллюзий и надежд к рыночной реальности. Одни писатели были более консервативны (например, Чмыхало), другие — более оптимистичны и даже романтичны (Солнцев), а третьи — трезвы и критичны (Астафьев). Всех писателей волновала реальная жизнь, чреватая жуткими сюрпризами.

— Помните ли вы, как был создан журнал «День и ночь»? Было ли это важным, определяющим событием для красноярской литературы?

— Хорошо помню, что это было в тысяча девятьсот девяносто третьем году, когда мы с Романом Солнцевым работали в краевой администрации: он был председателем комитета по связям с общественностью, а я — его заместителем. В ту пору в разных городах России создавались новые журналы, и вот мне пришла в голову идея: а не начать ли и нам издавать свой журнал и назвать его «Центр России» (незадолго до этого я узнал, что географический центр России — в нашем крае)? Солнцеву идея с журналом понравилась, но он сказал, что название слишком выспреннее. Чуть ли не в тот же день он посоветовался с Астафьевым — и тот предложил название «День и ночь». Так и стал называться журнал! Думаю, что это событие было важным для красноярской литературы, ведь издание альманаха «Енисей» было явно недостаточным для такого огромного края. А вскоре «День и ночь» привлёк к себе интерес со стороны не только красноярских писателей, но и всей пишущей России.

— В начале девяностых писательское сообщество разделяли различные противоречия, раздирали споры. Какую позицию старались вы занимать в этих дискуссиях?

— Лично я в дискуссиях не участвовал. Я всегда был сторонником плюрализма и толерантности. И наш журнал мне нравился этим — своей тематической широтой и стилистическим разнообразием. Поэтому с Солнцевым мы всегда находили общий язык.

— Как вы в целом оцениваете ту эпоху с литературной точки зрения? Было это временем переоценки ценностей, поиска новых путей? Было ли это время потерянным для литературы, или это был всплеск после долгого затишья?

— Для писателя та эпоха очень интересна. Но жить тогда было трудно. Да и сейчас приближается новая мрачная полоса в нашей жизни. Хотя от скуки мы не умрём.

— Как вы оцениваете путь, пройденный красноярской литературой за последние тридцать лет? Обрела ли красноярская литература собственное лицо? Повысился или понизился её уровень?

— Нам стыдиться нечего. Можно гордиться такими авторами, как Виктор Астафьев и Роман Солнцев, Марина Саввиных и Сергей Кузнечихин, Александр Астраханцев и Владлен Белкин, Евгений Эдин и Александр Силаев, Михаил Успенский и Андрей Лазарчук.

— Изменилась ли роль литературы? Фигура писателя выросла или померкла в общественном сознании? Изменился ли читатель?

— К сожалению, роль литературы ослабла, и влияние её на людей уменьшилось. Но лучшие писатели продолжают пользоваться авторитетом.

— Над чем вы работаете сегодня? Планируете ли выход новой книги?

— И тут мне нечем вас порадовать. В последнее время совсем не пишется. Хотя любовь к чтению не исчезла. Люблю читать, слежу за новинками, с удовольствием читаю толстые журналы, в том числе «День и ночь». Впрочем, хочу начать писать воспоминания. В этом жанре я ещё не работал.

Олег Ампилогов

профессор кафедры «Изобразительное искусство и компьютерная графика» Института архитектуры и дизайна СФУ

«А за окном то день, то ночь…»

— Олег Константинович, вы стояли у истоков журнала «День и ночь», принимали участие в создании его визуального стиля. Какой была культурная атмосфера тех лет?

— Готовясь к нашей беседе, я вспоминал историю вашего журнала, чтобы не путаться в датах, поскольку было это довольно давно. Действительно, это был девяносто третий год. О том, что такое девяносто третий год, сегодня говорят все кому не лень и всё что угодно, преимущественно в ругательных тонах. Да, время было сложное. Трудное было время. Но, как ни странно, определённые положительные процессы в культуре шли.

С одной стороны, проблемы были невероятные. Но зато я мог выступить с какой-нибудь творческой инициативой и, если проявлял в этом деле достаточную настойчивость, эта инициатива, или, как сегодня принято говорить, проект, вполне могла быть поддержана и чаще всего осуществлялась. Что удивительно по нынешним меркам. Таким образом, я не ощущал откровенного упадка. Многие артисты, кинорежиссёры сегодня жалуются, что этот период был просто катастрофическим для их деятельности. Возможно. Для меня — наоборот.

Характерным признаком трансформации нашего государства из одного состояния в другое стало то, что если раньше в Красноярске было одно книжное издательство, то потом их стало много. И я чувствовал себя вполне комфортно в этих условиях, я был востребован.

— В таком случае расскажите нашим читателям о себе. Какой творческий и профессиональный путь вы прошли к тому моменту? Чем была вызвана такая высокая востребованность?

— Я окончил уникальное высшее художественное учебное учреждение под названием Московский полиграфический институт. Уникальность его заключалась в том, что сам этот вуз был единственной базой подготовки специалистов в издательской сфере и полиграфии СССР. И там был художественный факультет. На факультете готовили графиков, и назывался он необычно: «Художественно-техническое оформление печатной продукции» (ХТОПП). Как намного позже выяснилось, это специализация в рамках специальности «Графика».

Я три раза туда поступал. Был совершенно неимоверный конкурс. Шестьсот человек — из них брали только двадцать семь. Два из них — иностранный набор, три — нацнабор, то есть оставалось только двадцать два места. Но меня данное обстоятельство не остановило, надеялся на чудо, и оно произошло. С третьей попытки я поступил.

И только в две тысячи восемнадцатом году, когда исполнилось сорок лет со дня окончания вуза, мне моя преподавательница, дочь моего профессора, прислала два таких толстенных тома об истории нашего института в воспоминаниях выпускников. Изучив их, я с удивлением узнал, что моя специальность, спрятанная в недрах этого, некогда «рыбного», института, в рейтинге художественных специальностей Москвы имела второе место. Первым был ВГИК (он и до сих пор сохраняет эту позицию), а вот про свой факультет я такого не знал.

В чём же были причины такой популярности, привлекательности для творческой молодёжи того времени? Первая и главная, так же как и во ВГИКе, — абсолютная демократичность в условиях приёма. Брали всех и без драконовских условий предварительной художественной подготовки, что и предопределило мой выбор. За моей спиной хотя бы художественная школа была, она придавала мне уверенность, а у трети абитуриентов и такой не было, разве что студия. В расчёт брался только личный талант поступающего. Вторая, быть может, более главная, выяснилась по ходу обучения. Дело в том, что наши профессора, наши программы и наши образовательные концепции продолжали эстетические принципы ВХУТЕМАСа, в сущности которых — основополагающие базовые характеристики искусства авангарда, что сейчас определяется как современное искусство. И не просто продолжали, а были их прямыми наследниками. Руководителем подготовки специалистов ХТОПП был профессор А. Д. Гончаров, выдающийся советский художник-график, ученик В. И. Фаворского, ректора ВХУТЕМАСа, курировавшего, как сейчас говорят, профиль печатной

графики — полиграфический факультет. Многое в ПОЛИГРАФЕ, так звали тогда мой институт, шло от него. Если говорить высоким слогом, то здесь создавали нового человека.

Много было домыслов и мифов, связанных с институтом. Если уж говорить про тысяча девятьсот девяносто третий год, то есть мнение, что крушение советского строя подготовили так называемые шестидесятники. А кто подготовил шестидесятников? Вот вопрос! Элитной прослойкой шестидесятников были писатели и поэты, идеологи иного взгляда на советскую действительность. Их идеи продвигались в книжных изданиях, оформленных выпускниками полиграфического института. А те из выпускников, которые не захотели заниматься книгой, ушли в живопись. Весь московский художественный андеграунд — все эти Пивоваровы, Кабаковы — это всё выпускники Московского полиграфического института.

— То есть с предложением об оформлении журнала «День и ночь» к вам обратились, потому что вы были передовым, успешным художником?

— В какой-то степени да. К тому времени я успел сделать более чем успешную карьеру благодаря деятельности в издательской сфере. Кстати, в этом году исполняется ровно пятьдесят лет со дня выхода первой моей книги и сорок пять лет моей образовательной деятельности.

— Расскажите, как началась ваша работа с журналом. К вам обратился непосредственно Роман Харисович Солнцев? Как это было?

— Вернёмся в девяносто третий год. Я пытался подробно восстановить всю эту историю, но все детали вспомнить не смог. Тем не менее возникновение литературного журнала «День и ночь» для меня факт исторический, поскольку я тогда уже профессионально познакомился с Романом Солнцевым, поэтом, прозаиком, драматургом, общественным деятелем эпохи перестройки. И после встречи с ним моя карьера резко сдвинулась и пошла несколько под другим углом, поскольку он очень сильно на неё повлиял. Впоследствии в сотрудничестве с Солнцевым я сделал много громких проектов.

Как конкретно он вышел на меня, мне сейчас трудно сказать. Думаю, у кого-то спросил. Скорее всего, позвонил в Красноярское книжное издательство и поинтересовался, к кому можно обратиться, кого бы порекомендовали для оформления литературного журнала. А кого они могли там порекомендовать? Журнал — дело тонкое, и кого попало они не могли рекомендовать. Я был единственный квалифицированный специалист для такой задачи.

Итогом стал телефонный звонок от Романа Харисовича. Чистое кино!

— Теперь, пожалуйста, расскажите: какую художественную задачу перед вами поставили, как вы сами понимали цель проекта?

— Я встретился с Романом Харисовичем, и он пытался мне обрисовать своё видение. Встреча проходила в его кабинете. Роман Харисович тогда, помимо прочего, занимал пост советника по культуре при губернаторе края В. Зубове, у него в администрации был отдельный кабинет. Я туда прошёл, и он попробовал мне всё объяснить.

Не могу сказать, что это дело для меня было совершенно незнакомое. Через мои руки прошло, не в смысле создания, но в смысле чтения, множество самых разных журналов. Я всегда интересовался принципами их оформления. И у меня сформировалось представление о том, какой облик должен иметь современный журнал. Образцом дизайна того времени был журнал «Советское фото». Роман Харисович мне сказал, что «День и ночь» задумывается как толстый литературный журнал.

Я сразу вообразил себе цепочку крупнейших журналов подобного типа. Прежде всего «Новый мир», «Москва» и другие соответственно. Тут мне не надо было ничего объяснять. Литературные журналы в то время были духовными реакторами эпохи. А дальше пошла собственно задача, процесс воплощения замысла.

И здесь я должен, как специалист, снова отметить точность названия моего факультета. Часто нас, выпускников ПОЛИГРАФА, называют художниками-иллюстраторами или, в лучшем случае, художниками книжной графики. Не совсем так. Книжная графика была в фаворе, действительно. Но в большей степени художественно-техническое оформление печатной продукции предполагало дизайн всего, что печаталось, от спичечной этикетки до толстого журнала и всех видов упаковок. О рекламе тогда речь не шла, она воспринималась как запретный плод.

Поэтому если говорить о литературном журнале как некоем издательском жанре, о специфике его оформления, то я его и тогда относил, и теперь отношу к категории очень сложных проектов. Сложных по своей сущности, структуре и форме. Сложнее, может быть, только газета. И ею мне тоже приходилось заниматься.

— А в чём заключается сложность оформления журнала?

— Невероятная сложность заключается в том, что это периодическое издание, то есть оно выходит с определённой регулярностью. Здесь должен присутствовать момент типологии, какой-то узнаваемости. Опять же предполагается рубрикация, насыщенность разнообразными текстовыми структурами. В толстом журнале публикуются повести и романы, стихи, публицистика — вплоть

до каких-нибудь незначительных мелочей. Невероятный замес под одной обложкой. Как его уместить, чтобы он выглядел достойно с точки зрения имиджа издания и был удобен в пользовании?

Вот такую задачу мне предстояло решать, и, как мне представляется, я её решил. Причём решил с точки зрения художественной значимости таким образом, что считаю журнал «День и ночь» в моей творческой истории одним из лучших достижений. Заметьте, ведь в нём, на первый взгляд, ничего нет—никаких красивостей, чистая структура! Она стала приоритетным мотивом моего решения.

Теперь что касается образа. Мне нужно было придумать что-то такое, чтобы шло одновременно в традиции русских толстых журналов (логотип, узнаваемость, серьёзность, солидность), и чтобы одновременно присутствовала какая-то концепция современности.

Надо признаться, что у журнала было великолепное название, которое сразу значительно облегчило мне задачу. В нём прослушивается поэтическая нотка: «А за окном то день, то ночь…» Диалектика контраста: день и ночь. Исходя из этого контраста, я сразу заложил в структурную основу—вертикаль и горизонталь. Это один из самых ходовых трендов в дизайне печатной продукции. Материалы локации выстраивались вертикально, а контент повествования—горизонтально.

Вторая идея, связанная с контрастом,—это шрифт. Одним шрифтом шли произведения художественного плана (проза, поэзия и так далее). Я использовал для них гарнитуру «Таймс». Ею был обозначен «День». А в контраст ей шёл шрифт «Гельветика», обозначавший «Ночь», предназначенный для всякой публицистики и прочих вспомогательных материалов.

Таким образом, есть глобальные приёмы, связанные с пониманием целого, а есть маленькие узелочки, нитки, точечки, которые должны решать мелкие задачи, когда журнал берут в руки и начинают его листать. Чего стоит, например, маркировка нечётных страниц значками солнца (День) и чётных—луной (Ночь)!

Ну и, конечно же, главная проблема, связанная с формированием образа толстого журнала,—обложка. Какой она должна быть? Я был твёрдо убеждён, что она должна быть лишена каких-либо изобразительных элементов, что она должна быть в чисто типографской традиции вещь. Поскольку, если брать все журналы советского и в особенности несоветского времени, это всё чистая типография.

—А Роман Харисович? Он принял такую концепцию?

—Надо сказать, что он меня на всех этапах поддерживал. Более того. Приведу пример из мира мультипликации. Знаете мультфильм «Стеклянная гармоника» (реж. А. Хржановский, «Союзмультфильм», 1968.—*Прим ред.*)? Так вот, для него композитор Шнитке сочинил музыку, а уж потом мультипликаторы и художники строили видеоряд, подстраиваясь под его музыку.

И у нас вышло примерно так же. Сначала я сделал подробный, тщательный макет, дал подробные инструкции по его вёрстке. И по макету—отдельно надо похвалить верстальщика—был выстроен первый номер журнала.

Что касается обложки, то мне хотелось, чтобы она, с одной стороны, следовала пушкинской традиции (Пушкин, Баратынский, Лермонтов, Некрасов), чтобы перекликалась с их временем, с поэзией «золотого века». Я чувствовал, что Роман Харисович, наверное, отдаёт предпочтение именно поэзии, и мне хотелось, чтобы поэтическая начинка журнала как бы просвечивала.

А с другой стороны, чтобы была заявка на что-то современное. Должен быть контраст между светлым и тёмным, мелким и крупным—день и ночь. И вот из таких разных материалов мне удалось сочинить образ журнала. Мне кажется, что была найдена и весьма удачная виньетка, присутствующая на картинке в статье Википедии о журнале.

В соответствии со своей концепцией я подобрал и цвет. Мне хотелось, чтобы журнал был светло-серого оттенка. Да, и ещё там был такой замечательный жест в духе времени—штрих, цветная полоска, которая тянулась через корешок, выходила наружу, постоянно меняла своё положение и цвет. Она сохранялась, кажется, десять лет—до двухтысячного года. Но уже с конца девяностых обложка журнала постепенно стала цветной.

В принципе, я ничего против цвета не имею, но серым он мне нравился больше.

Я ставил себе задачу совместить лёд с пламенем, день с ночью, современность с национальной русской типографической традицией, которая проявлена через виньетку и цитату Баратынского на титульном листе.

Так это и сложилось. Не было со стороны Романа Харисовича ни возражений, ни замечаний по этой части. Приятно вспомнить. Ведь у меня был уже до этого опыт, причём печальный. Меня приглашали сделать новый облик альманаха «Енисей». Его отличие от «Дня и ночи» с точки зрения дизайна заключалось в том, что «Енисей» издавался тетрадью, у него не было корешка. Мне казалось, что я сделал «шикарный» дизайн. Но главный редактор, с которым мы раньше уже сотрудничали, тем не менее наотрез отказался принимать мою работу. Моя идея ему не понравилась. Это был один из редких случаев, омрачивших мою карьеру. Я был сильно расстроен и подавлен. Мне казалось, что я придумал такую замечательную вещь, а её категорически отвергли. И тогда я решил больше не иметь дела с журналами.

И можно сказать, что мой успех с «Днём и ночью» меня оживил, придал уверенности. Поэтому я готов много чего хорошего сказать о Романе Солнцеве. И фамилия моя в выходных данных журнала фигурировала довольно долго, тогда как в других журналах вы фамилии оформителя вообще не найдёте. Дизайнер Троянкер, создавший облик «Советского фото»,—редкое исключение.

— Расскажите о начальном этапе жизни журнала. Каким было его начало?

— Можно сказать, что первые годы журнала, при Романе Харисовиче, его стартовые условия были идеальными. Что я имею в виду? Идеальные условия—это когда журнал занимается своим делом. А то ведь бывает так, что приходят в творческую организацию люди сверху или со стороны и говорят: «Вы должны деньги зарабатывать». Меня такое всегда удивляло. Почему государственное образовательное учреждение или организация культуры должны ориентироваться на прибыль?

Скажем, задача учителя, мастера—учить. Я порой до слёз восхищаюсь творениями моих учеников. И считаю при этом, что всецело выполнил возложенную на меня государством и обществом задачу.

То же было и с журналом «День и ночь». Он с самого начала служил своему предназначению. Глаголом жечь сердца людей. То есть, с одной стороны, он даёт возможность публиковаться известным, авторитетным, популярным, продвинутым, маститым авторам, вроде Эдуарда Русакова или Марины Саввиных. Кстати, благодаря журналу я непосредственно познакомился и с Эдуардом Русаковым. Раньше я уже оформлял его книги в издательстве, но лично знаком не был.

А с другой стороны, журнал ведёт поиск молодых талантов, даёт трибуну следующему поколению, вот вам, Дмитрий, например.

— Ну, строго говоря, молодым я уже не считаюсь, но к следующему поколению журнала, безусловно, отношусь.

— Да, да. Публицистика с самого начала играла в журнале важную роль. Пожалуй, духовно близок «Дню и ночи» тогда был журнал «Наш современник». Хотя он и стоял тогда на прокоммунистической платформе (Александр Проханов был тогда его редактором), но я испытывал к изданию невольное уважение. Поскольку от него исходила какая-то сила убеждения. Но главное, его эстетика послужила для меня некоторым ориентиром. Можно сказать, что его образ был ориентирован на ту журнальную традицию, которая была при Пушкине и Некрасове. К тому же их обязывало само название—«Наш современник».

Тот случай, когда издательская форма спасает от болезни коммерциализации творческой деятельности, о которой предупреждал ещё Тарковский. Эта болезнь сначала проникает внутрь, а потом уже проявляется вовне—на обложке издания. Впрочем, как я помню, Роман Харисович и в «Дне и ночи» тоже первоначально предполагал цветные вставки. И я был не против, но всё-таки рекомендовал ему больше ориентироваться не на цвет, а на графику. Единственный цвет—это была лента на корешке, а больше ничего.

— Почему именно так? Какую идею вы вкладывали в свой подход?

— А вот такой своеобразный аскетизм. Я выступаю сторонником Тарковского. Он ведь тоже одно время был ярым противником цвета в кино. Самый идеальный вариант его художественной формы—это «Андрей Рублёв». Цвет присутствует в финале по типу вставки, но тем не менее сам фильм—чёрно-белый.

С другой стороны, я отнюдь не против идеи коммерциализации, коммерческой привлекательности издания. Но надо, чтобы эта привлекательность не задушила искусство в его гармоническом естестве. Группа «Битлз»—один из самых успешных коммерческих проектов, а какие замечательные вещи они творили! Должны быть какие-то незыблемые вещи, искусство как таковое. Художник не должен чувствовать себя ущербным и голодным. Он должен быть свободным в своих ощущениях и замыслах. Не должен заискивать перед массовым зрителем, не должен превращать свои творения в рекламу, заигрывающую с обывательским сознанием. Главное—это яркий стиль, острая печатная форма как своеобразное типографское кредо.

— Вы обсуждали эти идеи с Романом Харисовичем тогда, или вы к ним пришли уже позже?

— Конечно, я говорил ему об этом. Когда мы говорили с ним о русской поэзии, я всегда приводил слова Пушкина о том, что только печатное слово убеждает читателя в силе художественного произведения. Поэтому важен дух печатной формы и отсутствие всевозможных излишеств.

Я бы сказал, что мой творческий успех с «Днём и ночью» стал для меня исключительным событием, хотя и до того, и после я имел множество увлекательных и громких проектов.

В заключение скажу: я знаю, что делаю; визуальный, печатный облик журнала «День и ночь», пожалуй, один из самых впечатляющих в своей среде, если не самый яркий (кто покажет мне лучше, буду ему очень признателен).

Максим Лаврентьев

Книга Экклезиаста

1.

— Всё суета сует! — вздохнул Экклезиаст. —
На что же трачу я свои труды и годы?
Любой исчезнет род, как ни был коренаст,
пустынная земля переживёт народы.

Всходя и заходя, обходит солнце круг,
чтоб заново начать небесное движенье.
Куда б ни мчался вихрь, на север ли, на юг,
проделывает он бесцельное круженье.

Является вода в речной струе опять,
как будто бы текла не к устью, а к истоку.
Не может человек всего пересказать,
услышать всё, на всё дать наглядеться оку.

Что было, будет вновь, — так память коротка!
Под солнцем и луной во времени безбрежном,
как в небе облака, теряются века —
и в будущем нет памяти о прежнем.

И я, Экклезиаст, отверз мои уста,
чтоб только повторить донёсшееся глухо:
нет нового ни в чём, всё тлен и суета,
всё суета сует, одно томленье духа.

Кривому никогда не сделаться прямым.
Вселенной пустоту измерить невозможно.
А я пытался мир умом постичь моим!
Умнейшим из людей мой Иерусалим
признал меня, но как же стало тошно!

Я разум восхвалял, я глупость обличал,
однако испытал лишь разочарованье.
Прослыл я мудрецом, но в мудрости печаль,
и умножает скорбь, кто умножает знанье.

2.

Взбодрить унылый дух надумал я вином.
Надеясь, как всегда, на мудрости опеку,
освоиться решил немного и в дурном —
и выбрать, что из них полезней человеку.

Возникли вкруг дворцы, а рядом с каждым — сад,
поодаль скотный двор, похожий на хоромы,
зелёные холмы, где зреет виноград,
потребные в жару большие водоёмы.

Помимо сотен слуг, огромная семья
питалась у меня с друзьями молодыми.
Но сколько на пиры ни тратил денег я,
богаче всех людей был в Иерусалиме.

И не чуждались мы приятностей любых,
и веселились так, что головы трещали
уже и у меня, и у гостей моих.
Но сердце дрогнуло в предчувствии печали.

И, оглянувшись вдруг на даль прожитых лет,
напрасно различить среди теней трудился
в минувшем некий смысл, — лишь суету сует
увидел я — и протрезвился.

Да, глупость с мудростью — они как тьма и свет.
Глупца и мудреца не сравнивают даже,
при том, что есть закон, сводящий всё на нет:
ждёт участь их одна и та же.

Плоды трудов моих я оглядел с тоской.
Тщета, ничтожность, тлен! А время быстротечно —
уносит мертвецов из памяти людской;
кто б ни был ты, тебя не будут помнить вечно.

И всё, что пестовал ты на своём веку,
что выпустил из рук измученным страдальцем,
другому перейдёт, возможно — дураку,
который для того не шевельнул и пальцем!

Хотел отречься я, унынием томим,
от обретённых благ, ведь круг забот бескраен.
Но разве что-нибудь могло быть здесь моим?
Где тут моё добро? Господь владеет им,
Он — сделанного мной единственный хозяин.

Ниспосылает Бог недаром благодать,
и в этом, понял я, для мудрого наука.
А ты копи, копи, чтоб всё потом отдать.
О суета сует! О бренной жизни скука!

3.

Под небом у всего свой срок, своя пора.
Тот урожай пожнёт, кто в срок посеял семя.
Того сегодня нет, кто был меж нас вчера, —
исчезнуть, умереть всему приходит время.

Есть время убивать и — врачевать врага;
бросать и поднимать, ломать и снова строить.
Сама порою в пляс пускается нога,
но есть часы, когда плясать не стоит.

Смекает человек, пока рассудком здрав,
чтó следует ему — рыдать или смеяться.
Не требует жена во всякий день забав,
от коих иногда полезно уклоняться.

Как для любви свои часы отведены,
так установлена пора свергать кумира,
молчать — и говорить. И время для войны
бесспорно так же есть, как есть оно для мира.

Всё мироздание непостижимый Бог
вложил в сердца людей одним своим приказом
и, каждой мелочи отмерив строгий срок,
всё лучшим сотворил, всё сделал Он прекрасным.

И я прозрел: живи, благословляя высь,
вкуси плодов земных и соком горло сбрызни,
трудясь, твори добро, душою веселись —
ты на пиру, дружок, а не на тризне!

Не оскудеет Бог. Даров Его не счесть.
Но не убавить их. И не прибавить тоже.
Их сколько ни возьми — как было, так и есть.
Что было, будет ввек, — таков закон Твой, Боже!

И я увидел суд, где нечестивый лжёт,
куда святой идёт, как агнец на закланье.
И я сказал себе: судить нас будет Тот,
Кто смертным время дал для испытанья.

Дабы узнали мы, что не важней скота,
что человек судьбой напоминает зверя,
что прахом станет прах, что это — суета,
что мы одной цепи бесчисленные звенья.

Ты жив? Так насладись немедленно, сейчас,
не думая о том, к твоей ли, к общей пользе,
делами рук твоих, ведь никого из нас
не приведут взглянуть на то, что будет после.

4.

Живых я различил под бременем забот.
Под гнётом деспотов, как бы с ярмом на шее,
кто стонет в горести, кто молча слезы льёт.
Но в чём провинность их? Но где их утешенье?

Счастливей мёртвые, сошедшие во тьму.
Куда завидней их земельный выдел!
Хотя им впору ревновать к тому,
кто не рождался в мир и зла его не видел.

Не видел суеты, томленья не познал,
как жребия цветка ещё не знает завязь.
Кого судьба ещё не била наповал,
не ослеплял успех и не снедала зависть.

Кто рук не опускал, свершённый труд губя,
кто делом жизни всей не поделился с ветром
и, разум потеряв, не пожирал себя
в отчаянье глухом, в безделье беспросветном.

Несчастный человек! стезёю беглеца,
гонимый нуждами, бредёшь ты одиноко.
Куда ни поглядишь, заботам нет конца,
ничто не веселит измученное око.

И скоро, ослабев, не выдержав утрат,
не устоишь в бою с очередной напастью.
Спасенье для тебя — другой, хоть сын, хоть брат,
сердечный друг, товарищ по несчастью.

Двоим в ночи теплей, удобнее вдвоём
расправиться с врагом, прогнать хандру и скуку.
Случилось что с одним — заботится о нём
другой, ведь другу друг всегда протянет руку.

Ты не пойдёшь ко дну, когда не сможешь плыть.
Спина к спине с другим вы встанете в защите.
Легко порвать одну-единственную нить,
намного тяжелей — две скрученные нити.

Не самодурствуй же, как тот безумный царь,
который, ничьего не услыхав совета,
вообразил, чудак, что зять его — бунтарь,
и смертью от врага наказан был за это.

Всевышний ждёт тебя! Поторопись в пути,
но всё-таки смотри внимательно под ноги.
И к алтарю спеши не жертву принести,
а друга выслушать, что сердцу явлен в Боге.

5.

В молитве человек выказывает суть.
Пускай дурак своим не знает меры требам,
ты с Господом всегда немногословен будь,
не забывай, кто ты и чтó ты перед небом.

В зароках быстрота присуща лишь глупцам:
не помнит остолоп, что обещал намедни, —
прищучь его — себе он удивится сам.
Побойся ж Бога! дав обет — не медли.

Попридержи язык, иначе ты погиб.
С посланником небес отнюдь не вздумай спорить,
не говори ему: «Ошибка! Перегиб!» —
уж лучше промолчать, чем клятвы не исполнить.

И даже если где безгрешного трясут,
и тяжек оговор, как меч, над ним нависший,
не забывай: хоть есть земной неправый суд,
он здесь не наивысший.

И сколько серебра ни приберёт злодей,
сном праведника спать и у него нет власти:
добро оберегать от собственных детей
приходится, не то всё раздерут на части.

И мало ли сирот и вдов ограбил он,
и много ли чего ещё себе наметил,
случится вскорости ему терпеть урон,
всего лишиться вдруг, всё выбросить на ветер.

Несчастный! в этот мир явился ты нагим
и без мошны в руке затем, бедняга, чтобы
однажды, умерев, сойти во тьму таким,
каким когда-то вышел из утробы.

Иное дело труженика дом,
где радость и покой, довольство и достаток,
добро, добытое лишь праведным трудом,
после которого сон безмятежно сладок.

Пусть время нас потом и обратит в ничто,
как мы себя порой изничтожаем сами,
но счастье жить—вот Божий дар за то,
что короток наш век под небесами.

6.

Случается и так: имеет за душой
богатство человек, его годами множит,
а пользуется всем впоследствии чужой,
поскольку ни гроша скупец отдать не может.

Хотя бы у него и было сто детей,
и долгий жизни срок, вертлявостью продлённый,
живого мертвеца нет участи пустей;
счастливей скареда и труп мертворождённый.

Напрасно тот пришёл—и отошёл во тьму,
исчез без имени в стремнине быстротечной;
остался солнца свет неведомым ему,
познал он лишь покой—безбрежный, бесконечный.

А этот, проживи хоть пару тысяч лет,
всё пустит по ветру, ничем не насладится.
Душе измученной нигде покоя нет,
мир для неё—гигантская темница.

И любо-дорого отличье мудреца—
способность жить с людьми, себя от них не пряча,
не скопидомничать, не жаться без конца;
его не беспокоит недостача.

Да, это суета, ей имя—Человек.
Не егози—найдёшь обилие в немногом.
Уймись! не знаешь ты, что будет через век,
и разумом бессилен спорить с Богом.

7.

Не власть показывай, а человечным будь.
Кончины мрачный день важнее дня рожденья,
поэтому держи в дом плача тяжкий путь,
весёлый пир покинь без сожаленья.

В обилии земном среди сплошных утех
под песни глупые и мудрый одуреет.
Оставь безжалостным их идиотский смех,
иди туда, где сердце не черствеет.

Не прячь от глаз людских лица печальный вид
и собственную скорбь дели с чужой потерей.
Прислушайся к пирам—так под котлом трещит
охапка хвороста, полна преострых терний.

Ни света, ни тепла ты не ищи в былом—
сгорев, остыло всё, что нас когда-то грело.
Всегда смотри вперёд и помни об одном:
конец венчает дело.

Отправься налегке по жизненной стезе,
премудрость лишь возьми, как доброе наследство,
препятствия ты с ней преодолеешь все,
почище серебра она и цель, и средство.

Достойно отнесись к заслуженным благам,
в несчастье размышляй, не ползая на пузе,—
то и другое Бог ниспосылает нам,
чтоб не было у нас претензий и иллюзий.

Поэтому ни с кем не будь чрезмерно строг,
не корчи умника, прощай глупцам кромешным,—
от сотворения никто ещё не смог
жизнь долгую прожить совсем безгрешным.

Не уделяй внимания словам,
что за твоей спиной нашёптывает зависть,
немало, вспомни, ты злословил сам,
раскаяньем за это не терзаясь.

Искал я и таких, кто, избегая зол,
житейской мудростью венчал свои седины;
мужчину одного из тысячи нашёл,
а женщины не встретил ни единой.

8.

Лишь мудрый сознаёт значение вещей.
Поскольку ясен взгляд и не тягчит суровость,
то в жизни многое разумному видней,
ничто под небом для него не новость.

Народом управлять позволено царю,
казнить и миловать ему легко и просто.
Будь верноподданным, тебе я говорю,
в худом не вздумай проявить упорство.

Кто соблюдёт закон—не испытает зла.
Есть у всего свой срок, и мудрому известно:
придётся претерпеть страданья без числа
тому, кто действует цинично и бесчестно.

Не властен человек укрыться от невзгод,
от бремени борьбы не будет разрешенья,
и то, что от судьбы нечестье не спасёт,
узнает под топор подставленная шея.

Но видел я и грязь, порок в святых местах,
зло, безнаказанно открытое для взора,
злодеев торжество, забывших стыд и страх,
ведь святость защитит себя нескоро;

страдающих за правду, как за грех,
оболганных, отверженных неправо;
а между нечестивых видел тех,
кого венчала праведника слава.

Увы! никто из нас не знает час суда.
Года и дни без этого тягучи.
И похвалил веселье я тогда,
как Божий дар среди житейской бучи.

Не в силах смертные постигнуть Божьих дел.
Бессмысленно искать обоснованье бедам.
Тот врёт, кто говорит, что всё понять сумел,—
Господний промысел и мудрецу не ведом.

9.

Под солнцем и луной всему один конец,
одно и то же суждено любому.
Одним путём идут и умник, и глупец,
одна дорога доброму и злому.

И с теми, кто за честь, за правду воевал,
кто жертвовал собой, равно наполнят гр́обы
все те, кто подличал, у бедных воровал,—
чудовища, на мир исполненные злобы.

Но всё же у живых есть шанс, а умерев,
теряет человек надежду на спасенье.
Счастливей даже пёс живой, чем дохлый лев,
свирепый хищник, безобидный в тленье.

Покуда смерть грозит, мы жаждем уцелеть,
готовы прилагать различные старанья.
А мёртвым всё равно, у них не будет впредь
ни мира, ни любви, ни воздаянья.

Итак, ступай и пей с веселием вино,
ешь с радостью твой хлеб, с женой живи без спора,—
бери от жизни то, что временем дано,
что возвратить придётся очень скоро.

Спасительным трудом наполни дни твои.
В могиле скукота! Поэтому работай,
всегда чего-нибудь выдумывай, твори,
по силам создавай, зато всегда—с охотой.

И кто бы скромность ни язвил твою,
не презирай себя и критиков не слушай:
не самый грозный победит в бою;
кому торжествовать—распорядится случай.

Возвышенная речь влечёт к себе сердца,
и слово мудреца сильнее, чем тирада
враля ничтожного, надменного глупца
или безумного тирана.

10.

И крошечная глупость ум сквернит.
Она как муха в благовонной мази.
Вмиг белоснежного холста испортит вид
единственная капля грязи.

Себя мудрец не может уронить,
а глупый непременно сядет в лужу.
Хоть рот ему зашей, но оборвётся нить,
и вылезет вся дрянь его наружу.

Другому западню он долго может рыть,
не видя, что себе могилу роет.
Он выказать готов особенную прыть,
когда её выказывать не стоит.

Он гору разнесёт. Но тяжек труд ему,
и предпочтёт он участь тунеядца
работы ежедневному ярму,
боясь и на ничтожном надорваться.

Зато без устали орудует он ртом,
как будто требует его натура злая
пространно рассуждать об этом и о том,
в действительности ничего не зная.

Но если поначалу вял язык
и речь глупца младенчески беззуба,
то под конец она—звериный рык,
рёв демона из пропасти безумья.

Своих начальников и самого царя
поносит олух с дерзостью кликуши,
как в лихорадке весь огнём горя́,
забыв о том, что и у стен есть уши.

11.

Не становись жлобом—дели твой хлеб с людьми,
не слишком дорожи куском добытым.
Дай жаждущим глоток, голодных накорми;
кто бережёт ломоть, тот не бывает сытым.

Не сохнет небо без пролитых вод,
и урожай пожнёт, кто не зевал, а сеял,
кто не гадал о том, как в бурю упадёт
гнилое дерево—на юг или на север.

Путей своих, дружок, не знает ветер сам.
Попытка заглянуть в грядущее бесплодна.
Покоя не давай ни сердцу, ни рукам,
а Бог управит, как Ему угодно.

В дни юности твоей ты веселись и пой,
лишь душу не стесни грехов тяжёлой ношей.
Иди своим путём, но помни, что любой,
любой наш путь на суд приводит Божий.

12.

О Боге помни в юности твоей,
не забывай и в старческие годы,
когда придут болезни и невзгоды,
предвестники твоих последних дней.

Когда притихнет шум и потускнеет свет,
а ночью ни звезды на небе не проглянет;
когда промчавшейся грозе вослед
гроза другая тотчас грянет.

Недостижимой станет высота,
и ужас перекроет все дороги,
и сникнет голова, туманом залита,
и охладеет кровь, и ослабеют ноги.

И будет речь твоя невнятна и глуха,
и пальцы рук на решето похожи.
Но ты поднимешься по крику петуха,
измученный на одиноком ложе,

чтоб, выбившись из сил, почти уже впотьмах
явиться к той черте, к тому порогу,
где обрывается наш суетливый век,

где в землю должен водвориться прах,
а дух бессмертный—устремиться к Богу,
Тому единому, Кем жив ты, человек.

(1937–2010)

Белла Ахмадулина

Как много тайн я от цветка узнала…

Тому назад два года, но в июне:
«Как я люблю гряду моих камней»,—
бубнивший ныне чужд, как новолунье,
себе, гряде, своей строке о ней.
Чем ярче пахнет яблоко на блюде,
тем быстрый сон о Бунине темней.
Приснившемуся сразу он несносен,
проснувшийся свой простоватый сон
так опроверг: вид из окна на осень,
что до утра от зренья упасён,
на яблок всех невидимую осыпь—
как яблоко слепцу преподнесён.
Для краткости изваяна округа
так выпукло, как школьный шар земной.
Сиди себе! Как помысла прогулка
с тобой поступит—ей решать самой.
Уж знать не хочет—началась откуда?
Да—тот, кто снился, здесь бывал зимой.
Люблю его с художником свиданье.
Смеюсь и вижу и того, и с кем
не съединило пресных польз съеданье,
побег во снег из хладных стен и схем,
смех вызволенья, к станции—сюда ли?
а где буфет? Как блещет белый свет!
Иль пайщик сна—табак, сохранный в грядке?
Ночует ум во дне сто лет назад,
уж он влюблён, но встретится навряд ли
с ним гимназистки безмятежный взгляд.
Вперяется дозор его оглядки
в уездный город, в предвечерний сад.
Нюх и цветок сошлись не для того ли,
чтоб вдоха кругосветного в конце
очнулся дух Кураевых торговли
на площади Архангельской в Ельце
и так пахнуло рыбой, что в тревоге
я вышла в дождь и холод на крыльце.
Ещё есть жизнь—избранников услада,
изделье их, не меньшее, чем явь.
Не дом в саду, а вымысел-усадьба
завещана, чтоб на крыльце стоять.
Как много тайн я от цветка узнала,
а он всего лишь слово с буквой «ять».
Прочнее блеск воспетого мгновенья,
чем то одно, чего нельзя воспеть.
Я там была, где зыбко и неверно
палешник робкий усложняет смерть:
о, есть!—но, как Святая Женевьева,
ведь не вполне же, не воочью есть?
Восьмого часа исподволь. Забыла
заря возжечься слева от лица.
С гряды камней в презрение залива
обрушился громоздкий всплеск пловца.
Пространство отчуждённо и брезгливо
взирает, словно Бунин на льстеца.

«ДиН», №3/1994

Василий Киляков

От избытка сердца говорят уста

* * *

Почувствуйся, остановись, мгновенье,
раскрой меня, как первый дождь—цветок…
Мне страшно за моё второе зренье,
за творчество: за вечности глоток!

Далеко до Пасхи

За счастьем бегут огоньки-поезда,
весной не по-мартовски жарко…
Вечерня. Слезою стекает звезда
к застрехе церковной неяркой.

Обещанный Праздник:
Причастием жить,
коль святости нет и в помине,
и верить, как верит голодный в коржи
горячего хлеба на тмине…

Великая боль отзовётся во мне
всех, верящих крепко и свято,—
и я залюбуюсь в церковном окне
на тусклые блики заката

и вспомню, что мы не умрём никогда…
Так что ж мне так грустно, так странно
смотреть на бегущие вдаль поезда
у храмовой двери желанной?

* * *

Горят снега—рождение весны!
Укатанный дорожный зимник,
и почки вербные пресны,
и дол ошпаривают ливни.

Опять—сиротская весна:
ручьи, как ве́ночки, забились,
а короба и закрома
пустопорожне пораскрылись…

За эту нищету поста
спасибо, за бытийность эту!
О Боже, вот я нищ и стар:
весна—пристанище ль поэту?

Мои ли—осень, да кордон,
да стынь, да оторопь, да пламень?
И поезд мой за перегон
иным уж светом ошафранен.

Тишина

Тихо так—дальний колокол стих.
Уплывая, звук молкнет и тает…
И катрен мой, и рифма, и стих—
всё тревожно о Боге мечтает!

Как ищу я следы Его—здесь, на Земле…
Все мы, все мы—лишь Божьи создания.
О Христе мой, с терновым венцом на челе!
Милосердный!..
Душе дай подняться во мгле
до Престола Твого Созерцанья!

* * *

Мне не пишется, не спится:
дивная звезда
в крестовину рам глядится…
Постная среда.

В чайном блюдце отражаясь,
лампочка горит,
счётчик весело мотает
и жужжит-бежит.

Я крепчайший чай мешаю,
словно век—один…
И стоит звезда большая
между двух осин.

* * *

Каюсь, каюсь, грешен!
Прожил без креста.
От избытка сердца
говорят уста.
Жду постов тревожно,
Господи, прости…
Чувствую всей кожей:
я в Твоей горсти!
И не слаб я телом,
а душа в крови:
что ж я не у дела
Истинной Любви?
Дай найти под небом
мне Твои следы…
Впрочем, не как мне бы—
а как хочешь Ты.

Спасенье в миру

…Сверкала мысль—как солнце по ножу,
а где-то под столом пищали мыши…
Жена ему сказала: «Ухожу!»—
а он творил и даже не услышал.
Друзья забыли, умерли враги…
Чернильница сочилась чёрным соком,
и бился ветер крыльями пурги
в косые стёкла перемёрзших окон.
Он пишет, кашляет в глухую полутьму,
на пальцы леденеющие дышит…
Теперь хоть смерть сама стучись к нему—
он не откроет ей: он не услышит.

Болезнь

Ночное алмазное небо—
холодный и млечный покров.
Душа устремляется в небыль
за взрывами дальних миров.

А тело, то бренное тело,
что нянчило душу мою,—
о, как бы оно хотело
не мучиться так на краю…

Мой Боже, даруй исцеленье,
Всебла́гий мой, иже еси—
душе помоги Спасеньем
и тело моё воскреси!

Лунным вечером

Это голуби, голуби, голуби—
масть лихая с медью пера…
Из окна, как над сколотой прорубью,
я склонился в ущелье двора.
Словно сам с голубиной стаей
синим снегом любуюсь окрест,
и на крыльях размашистых тает
лунно-хрупкая льдинка с небес.

В каждом взмахе хочу я постигнуть
этой жизни высокую суть.
Край родимый, прости, прости мне
ветром скрученный мглистый мой путь.
Снова ввысь мне взлетать—и падать,
чтобы вновь над землёю взмыть.
Без земного пернатого рая
рая Божьего нам не открыть…

Рвётся сердце птенцом из пота́я,
в клетку рёбер с размаху бьёт.
Что ты, глупое?
Сизая стая
миновала окошко моё.
Просто голуби пролетели—
и ушли в синеву окна.
И заносят перья метели
их мгновенные письмена…

* * *

Случайно, всё случайно на земле.
Случайны эти сборища правительств,
Сервантеса случаен добрый витязь.
Случаен свет, и урожай, и хлеб.

Случайна осень с жёлтыми холмами,
паденье оземь переспелых груш…
Лишь не случайны звёзды, что над нами,
и нравственная тайна наших душ.

Душа-христианка

Мы не живём, а выживаем:
в молитве благости не знаем,
и всё забота нам одна—
о мере хлеба и вина…

Но там, откуда все мы родом,
одна цена смертям и родам,
усердью, грусти и уму:
успенье всем—и никому…

Но даже в дни неверья, скуки,
в мгновенья горя и разлуки
душа, молясь, напомнит нам
о Благовещении—*там!*..

Плач о даре

Сколько мыслей,
сколько строчек!
Я не раб, но и не гранд…
Ты меня обидел, Отче,
тем, что дал талант.
Вот Ты дал мне
дни, как пяди,
быстрых мыслей ток…
В человечьем общем стаде
это всё—не то!
Безразличье и безмыслье—
вот что нынче «дар»!
И зачем мне боль на тризне,
если жизнь—базар?

Покупаем, что имеем,
продаём—что нет…
А над нами индевеет
тёплый Божий Свет.
Ищем там, где не теряли,
жнём, где нет жнивья…

Боже мой, но только—я ли?
Разве… *это*—я?!

* * *

Как тонка эта грань бытия:
вот ты есть—и тебя уже нету…
Пригубил я святого питья
окаянной душою поэта.

Оркестр

Мраморный лёд пьедестала,
Траурный крест…
Голоса мёртвого мало—
Дайте оркестр!

Оттиск луны прокажённой
Бледен и юн.
Мне вдохновение—стоны
Тысячи струн.

Смерть неприглядна и скверна:
Не устрашись!
Будущее—aeterna:
Слава и жизнь!

Богом даренный

Возложила сердца часть
На алтарь состаренный…
Не увлечь и не проклясть:
Он же—Богом даренный.
Несчастливая судьба
Ведьмой злой угадана—
Бесконечная мольба
В сонной дымке ладана,
Что чернит простор очей
Пылью воронёною…
В душном мареве свечей
Вою пред иконою:

«Огради, Христова мать,
Ты рабу ничтожную,
Обречённую страдать
Из-за дара Божьего!
Заточи в смертельный плен,
Где Сибирь коварная!..
Не вставала б я с колен,
Вечно благодарная!..»
Обездвижены уста,
Лоб кровит испариной…
Малосильна мать Христа:
Он же—Богом даренный…

(1953–2016)

Валерий Зубов

Читая Астафьева

Валерия Михайловича Зубова, второго губернатора Красноярского края, депутата Государственной Думы третьего, четвёртого, пятого и шестого созывов, можно смело считать одним из отцов-основателей журнала «День и ночь». Он с самого начала оказывал всемерную поддержку смелому начинанию красноярских писателей—и словом, и делом, и рукопожатием, и «трудовым рублём».

…сегодня, в эти весенние дни, когда мы празднуем семидесятилетие Виктора Петровича Астафьева, наверное, один из тех неизбежных случаев, когда мы обязательно оглядываемся на нашу историю. Астафьев—человек, который годится мне в отцы, человек другого поколения. Он прошёл войну (а я родился только после неё) и поднимал из руин ограбленную, разбомблённую Россию. Наверное, и ему можно было бы поставить в упрёк, что он в своё время сделал что-то не так, и поэтому у нас нынче столько сложностей… Но есть главный итог его жизни: он так много и правдиво написал о нашей жизни, что его можно назвать одним из наиболее достоверных авторов современной истории Российского государства, которая не отменила страниц вчерашней истории, а только бережно продолжила её. Хотя, разумеется, я понимаю, что никогда романы, повести и рассказы Астафьева не шли по разряду исторических. Но его собственное жизнеописание, его «Последний поклон», его исповеди говорят об изломах нашего времени больше, чем все газеты со всеми их сенсациями. И меня до боли в сердце ударяет оценка некоторых критиков, литераторов, по-своему, его коллег, которые вдруг начинают менять отношение к этому великому человеку. Больно, потому что я сам помню (а что тут помнить?.. это и сегодня продолжается!): на его книгах мы воспитывались. На его волшебных описаниях русской природы, на его нелицеприятных, резких картинах быта, на его горьких размышлениях, его сомнениях, на страстной вере в будущее России мы воспитывались душой…

Астафьев—писатель, который для меня существует как человек, показавший, что природа сама по себе—добра, что человек—«дитя природы» и что наши невидимые корни здесь, а не в телефонной трубке, не в компьютере… И если человек ведёт себя так же разумно, так же нравственно, как мать-природа, где бы это ни было: в Туруханске, Москве или Лос-Анджелесе,—человек становится прекрасным…

«ДиН», №3/1994

Николай Гайдук

Мелодия, чистейшая, как воздух

* * *

Мелодия, чистейшая, как воздух,
И слушать — как дышать, не надышаться, —
Звучащая повсюду в юных вёснах,
Теперь ты появляешься не часто.
Теперь всё больше — скрежеты и стоны,
Как будто бал справляет сатана.
И соловей теперь гроша не стоит,
И дорогого стоит тишина.

Когда смолкают вьюги на планете
И в небесах стоит сугроб луны —
Нет ничего прекраснее на свете,
Чем таинство великой тишины.
Не каждому дано в ней раствориться;
На берегах, в горах, в лугах её
Учился я работать и молиться —
И ощущать под сердцем остриё.
Вот почему так жарко под рубахой,
Вот почему уже почти сто лет
Я говорю с травой, ветрами, птахой —
И слышу откровение в ответ.
Но тишину гнобят и убивают —
Тут местечковый князь, а там холоп.
То, что они искусством называют, —
Меня когда-нибудь загонит в гроб.

И всё же есть испытанное средство,
Чтобы опять открылся мир чудес:
Скрипичный ключ моё откроет сердце —
И хлынет ливень музыки с небес.
И я опять как будто в юных вёснах,
И шар земной быстрее стал вращаться,
И нам с тобой уже не распрощаться —
В полях, в горах, в берёзах или в соснах —
Мелодия, чистейшая, как воздух,
Дышать которым — век не надышаться.

* * *

Иголкой сосновой прививку мне сделали в детстве —
В бору заповедном, где тихо волчиха жила.
Дожди и снега над кострами любили погреться,
И что-нибудь жуткое ночь вдохновенно плела.

Среди этих сосен росли мы порой, как волчата, —
До крови могли за свою правоту постоять.
Мы рано узнали, как мало нам нужно для счастья —
Еда под ногами, и волю у нас не отнять.

Всё это потом пригодилось мне в жизни огромной —
По дебрям таёжным, по каменным дебрям блуждал.
Кормился, бывало, одной только ягодой скромной,
Людей опасался, а зверя улыбкой встречал.

Бывало и так, что трещала душа, как рубаха, —
Иголка сосновая мне помогла в шалаше:
Заштопал я душу, да так, что не ведает страха —
Зато поселилась великая грусть на душе.

Как будто враги нашу землю хотят обездолить —
Топор ненасытный гремит и гремит над страной.
Иголка сосновая сердце мне колет и колет!
Неужто пора попрощаться с последней сосной?

Зелёное золото гонят по рельсам на запад,
Зелёное золото мчится на Дальний Восток.
От русского леса мы детям оставим лишь запах,
Да русскую сказку расскажет Иван-дурачок.

Хотя, может быть, и спохватимся мы наконец-то,
И этот наш бор простоит ещё, может, века.
Иголкой сосновой прививку он сделает в детстве —
Отважному сердцу, открытой душе земляка.

● ● ●

Скоро нагрянет кромешное царствие тьмы—
Это предсказано зверем, травою и птицей.
Слышно, как ветер всё шепчет и шепчет псалмы,
Чтоб человек в человеке сумел возродиться.
Кру́гом идёт голова у Земли и трещит,
Стонут моря, и сквозят нефтеносные раны,
На солнцепёке горит бронетанковый щит—
И торжествуют, и плачут народы и страны.
Это гремит не война—это стройка идёт:
Новый ковчег заполняют всё новые твари.
Скоро вселенский кровавый потоп потечёт—
Всех наградит одинаково, всех отоварит.
После разбойничьих ядерных бурь и зимы
Тут не сумеет никто и ничто возродиться…
Слышно, как ветер всё шепчет и шепчет псалмы,
Слышно, как звёзды всю ночь продолжают молиться…

В мастерской художника

Нине Незговоровой

Нет на свете магии сильнее,
Чем святая магия—писать.
На холстах краснеют и синеют—
Горы, поле, море, летний сад.

Солнце нарисованное—греет,
А в цветах шмелям и пчёлам—рай.
И вот-вот антоновки созреют,
Выпадут из рамы—собирай.

А в другом углу—в родной сторонке—
Колосится хлеб на полотне.
Растянул улыбку месяц тонкий
Над рекой в туманном полусне.

За подрамник тянется дорога,
И уходит радуга в леса.
Подойди, сырой пейзаж потрогай—
И прилипнут к пальцам небеса.

Да, художник может рассердиться,
Только он в другой простор глядит.
На крыло своей златой жар-птицы
Он добавил жар—и пусть летит.

Пусть приходят взрослые и дети—
В горы, в море, в поле, в райский сад.
Нет сильнее магии на свете,
Чем святая магия—писать.

● ● ●

Уходит март—сгорает снеговьё,
Которого здесь было выше крыши.
Ты ждёшь, когда природа запоёт,
И зацветёт, и реки заколышет.

И вдруг душа ударится в тоску,
Причины толком не осознавая.
Там, где вчера твой след был на снегу,—
Пробьётся завтра зелень молодая.

Настанет время солнца, время нег.
Ты долго ждал—пора повеселиться.
Но почему так жаль ушедший снег?
Придёт другой. А тот—не повторится.

Ты с каждым годом видишь всё острей—
Неповторимость капли и снежинки,
Неповторимый след судьбы своей,
Неповторимый свет во мраке жизни.

Первовесенница

Мороз уже не ерепенится
Среди курганов серебра.
Была и есть первовесенница—
Моя любимая пора.

От жизни мрачной и неласковой—
Душа рванётся в те края,
Где ходит с песнями и плясками
Любовь и молодость моя.

Там за рекою солнце прячется,
И ты смущённый прячешь взор.
Твоё взволнованное платьице—
Меня волнует до сих пор.

И никуда теперь не денется
Твой дом в объятьях тишины.
Твои глаза, первовесенница,
Как два подснежника, нежны.

Свиданья чистые, безгрешные
Не обошлись без колдовства:
Твоё дыханье—ветры вешние,
У певчих птиц—твои слова.

Давным-давно невозвратимая—
В мечтах, во льдах или во сне—
Первовесенница любимая,
Ты согреваешь сердце мне.

Татьяна Панова

Я всё ещё помню

* * *

Нельзя забыть ни дня из тех, особых,
И подвига, что всякому в пример,
Когда вставал мой прадед из окопа
И шёл в атаку за СССР.

Не за Украйну, Грузию, Россию,
Не за богов в перекрещенье вер,—
Он шёл за то, чтоб небо было синим
И чистым небо над СССР.

И столько силы было в той победе—
Единой!—несмотря на боль потерь,
Когда казалось: нет сильней на свете
Страны с названием СССР.

И вот в году бессовестно-безвольном
Из дали голубых небесных сфер
Глядят с укором двадцать миллионов
На нас, кто не сберёг СССР.

Немцам

Мы это помним, помним, помним—
Нельзя такое забывать:
Вы приходили всей Европой
Нас в сорок первом убивать.

Забыть? Ну разве же возможно?
Есть перемирье, мира—нет.
Нет ничего светлей и горше
Таких побед, таких побед.

Таких, где миллионы жизней—
В огонь, под пули, на убой.
Мы вас спасли от вас самих же,
Спасли немыслимой ценой.

Мы это помним, помним, помним—
Нельзя такое забывать:
Вы приходили всей Европой
Нас в сорок первом убивать.

* * *

И светлая память, и светлая грусть
Тем людям и дому.
Я всё ещё помню Советский Союз,
Я всё ещё помню.

Слепому, увы, не покажешь того,
Глухой не услышит
И белую правду упавших снегов,
И правду, что выше.

Глупцу не докажешь. Ничем не проймёшь
И тех вот—похмельных,
Что морок сгустился—то ль морок, то ль ложь,—
Опутавший землю.

Сойдут ли когда-то похмелье и груз—
Обман миллионов—
С тех самых, кто помнит Советский Союз,
Как я его помню?

* * *

В дубы, берёзы и осины,
В воспоминанья детские,
Все влюблены в свою Россию,
А я в свою—Советскую,

Где дни и ночи, обессилев,
Держалась крепость Брестская.
У каждого своя Россия,
А у меня—Советская.

И нет другой какой-то в мыслях,
Одну её приветствую.
Я берегу свою Россию,
Я берегу—Советскую,

Где поле рожью колосится
Под теплотой небесною.
Я верю только в ту Россию,
В свою, в свою—Советскую.

Олег Ващаев

Смени обстановку

* * *

Рыболовный трал захватывает
всё на своём пути.
Не скреби дно, не цепляй хлам.
Переделай сети.
Не убивай на палубе,
если не можешь перевезти.
И будет тебе счастье
на этом свете.

* * *

Ветра не хватит—
пойдём под моторами.
Полный вперёд, а пока,
как «Крузенштерн»,
на покой пришвартованы
и ожидаем броска.
Редко штормит
и бушует, но пенится,
шепчется, лишний, шальной.
С утренним дождиком
всё переменится,
Скроется пляж за волной.

* * *

И Лермонтов стихами
спасался от тоски?
Спасаемся мы с вами,
а он любил стихи.
Что любишь, тем и будешь.
Не комкай, разверни.
Земное—наносное,
автопортрет в тени.

Талант

Любовь нельзя приобрести
за деньги. Это—дар.
Пойди больного навести,
ослабь озноб и жар.
Однажды кончится завод
и пропадёт запал.
Устаревает перевод,
но не оригинал.

* * *

Гляжу на Никольский собор, где стык
Грибоедова с Крюковым, над мостами.
Как целуют ангелы Божий лик,
как танцуют они и поют над нами.
На полёты ангелов наяву.
Ничего не выдумываю. Живу.

* * *

Получив нагоняй от жены,
с лёгким чувством вины
уйди в «автономку»,
смени обстановку.
Дней на восемь. А дольше—ни-ни.
Меньше тоже не стоит. Шагни
в неизвестность—найдёшь Незнакомку.
Ну, проваливай и принимай.
Не волнуйся. Чего не бывает.
Разомнёшься и скажешь: «Бай-бай».
А жена… пусть немного оттает.
Пусть она от тебя отдохнёт.
Вероятно, помиритесь вскоре.
Расставанье бодрит, словно мёд
с молоком или лёд в кока-коле.
Не ханжа, не сквалыга? Дерзай!
За охотой приходит желание.
Не настаивай. И не бросай.
И ещё пригласи на свидание.

* * *

Хемингуэй—натуралист.
Но поэтизмы монологов
тонально связывают с Богом
его художественный свист.
О том, что человек не тварь
дрожащая, но, плоть от плоти,
надолго замерший на взлёте
Природы раб и государь.
Хемингуэй—минималист,
но как никто знакомый с делом.
Затворник так владеет телом
и «донжуан» душою чист.

Исход

«Медный всадник», отточия в тексте.
Петербургская повесть без слов,
за которые Главный Редактор
поручиться, конечно, не мог.
Слава Богу, потом оправдался,
разрешил втихаря проводить.
Гордый конь под Петром извивался.
Святогорец не стал лебезить.
Каждый знает, где он захоронен,
но не каждый — где прах погребён.
Пушкинист сомневаться не склонен,
посвящённый удовлетворён.
По указу приняв «под раздачу»,
по уставу решили судьбу,
с перстеньком — на размен и удачу —
отпевая в закрытом гробу.
И лежит между Лаврой и Горным,
каменея, заложник табу.
Самый вольный из нас поднадзорный,
с лучезарною дельтой на лбу.

• • •

Неназываемо и еле уловимо,
неузнаваемо и не завершено —
шумит листвой, неслышно и ранимо,
Крестовский остров, светлое пятно
на пёстром фоне тесной Петроградки,
где старый фонд напоминает сад,
который вырубают без оглядки,
того, что было, помнить не хотят.
А там такие тайны и загадки!
Волнует сердце каждый адресат.
Но наступает новострой на пятки,
и новодел сверкает невпопад.
Но вечный дух пока не оставляет
седое небо редкой синевы.
А стройплощадка темпа не сбавляет,
«не догоняя» офисной Москвы.
Но походить и вкладываться тщетно.
Всё в Петербурге тоньше и острей.
Москва — вулкан — Везувий, даже Этна!
Москва растёт значительно быстрей.
Уходит вдаль и ввысь перспектива
от Петроградки в Царское Село.
Москва эффектно «прыгает с обрыва»,
и никому так долго не везло.
И храм Христа Спасителя по пояс
Петру, когда по Крымскому мосту
спешишь под звон, перебирая в голос
молитвы, отметая суету.
Не взвешенно-возвышенно, упорно
топорщится какой-нибудь изъян.
Растут коробки из гипсокартона
По воле «асов» из соседских стран.

• • •

Кручусь-верчусь на всякий случай.
Работаю на «чёрный день».
Лошадка или гад ползучий,
древесный жук, лесной олень,
Девиз живучести: живей!
И человек — как заяц шустрый,
как торопливый муравей.
Но от любви приходит в чувство.

• • •

Диалоги не просто «ведут» рассказ.
Диалоги — его каркас.
Фееричные, как дорогой фарфор,
практичные, как фаянс.
Изысканно свиты, что зимний сад
в пентхаусе, за стеклом.
Доверчивы, словно прощальный взгляд,
оставленный «на потом».
Раздражающе камерно-высоки,
фамильярно-фривольны, «в лоб».
Выразительно «капают» на мозги,
загибая прикольный стёб.
Переменчивы, словно подъём и спад,
подозрительны, как вердикт.
Ядовиты, как самый отборный мат,
когда решают конфликт.
Диалоги не портят, но придают
рассказу особый шик,
и даже творческий абсолют
становится многолик.
Соблазнительно? Именно! В полный рост,
Эльбрус речевых пород,
охвачен тембрами ярких звёзд,
глагольным духом высот.

Мода

Вам пышность шла, телесна нега.
Зачем же Вы, куда телега
европофэшн экшн стайл?
Неужто Вам себя не жаль?
Сгорело то, что было мило.
Не в худобе, а в чувстве сила!
Вне поля зрения страстей.
Когда душа видней костей.
Зовут на подиумный глянец.
Стал бодиартовым румянец.
У индустрии нет лица.
Там Образ хуже образца.
Телега моды мчит по топям,
галопом по европотопам.
И фаворитками её
всегда становится «новьё».

● ● ●

Шире «розетка» — слышней верхи.
Меньше — сильней басы.
Бей со срывом, срывай штрихи,
но не губи низы.
Теннисный мяч, вылетая вспять,
пересекает корт.
Перехвати, удержи, загладь
ноту, расправь аккорд.
«Дохнут» струны, несётся пас:
молния, следом — гром.
С двух долей — нисходящий бас
в приступе ногтевом.

● ● ●

В Петербурге дым пожиже,
тише ночи, дни короче.
Оккупировали крыши,
где грифон и ангелочек,
крест и купол позолочен,
а чердак не заколочен…
Гиды, с тайнами чужими.
Гости, жадные до тайн.
Лезут стайки небольшие
обитателей окраин.
Петербург — краса и мекка —
сплав костей среди гранита
сверхбесчувственного века,
но с парижским колоритом.
Шпарит польки, увертюры
Штраус Павловского леса…
Европейская культура
азиатского замеса.

● ● ●

Озябшая душа
так тянется к теплу,
как будто говорит:
иначе я умру.
Наверное, судьба —
лететь на огонёк
тому, кто одинок,
к тому, кто одинок.

Покров

Нравится шорох листьев и веток хруст
утром, когда немножечко подморозит.
Лишнего — ничего. Только душа и осень.
Искренность мыслей рождает открытость чувств.
Солнышко ближе к полудню. Свет маяка
не греет, но отражается в листопаде.
Над головой — вензеля, как в моей тетради.
Непостижимо близко плывут облака!

● ● ●

Слушай внутренний голос.
В нужный момент это он говорит: «Беги».
Вгоняет в краску, окрыляет твои шаги.
Намекает, что лишнего легче не занимать,
чем потом обменивать, отнимать.
Исключительный личный опыт, самоконтроль.
Лишнее разъедает, как ржавчина или соль.

Мансарда

Почему я пишу об этом?
Заполняю пустоту в своём сердце.
Первый день двадцать первого лета
второго тысячелетия от Рождества.
Вид из окна мансарды
на канал Грибоедова:
ясные купола, молочные облака.
Улететь — пожалуйста,
такое тоже возможно.
Покружишь бумажным змеем,
повисишь в облаках,
если, конечно, облачно. Если солнце,
молчи и радуйся позолоте на куполах.
Голуби, говоришь? Мешают голуби?
Разве это они горланят, бузят внизу?
Ноги держи в тепле, голову в холоде.
И, пожалуйста, не обращай внимания на бузу.
У тебя — закаты! А зори здесь — тихие!
Ночи белые или полные ярких звёзд.
Светлая грусть — это катарсис.
Люди, конечно, дикие.
Но когда улыбаются — радуются до слёз.

Пётр Любестовский

Сыночек

«Мы же русские люди»

Директор небольшой мебельной фирмы Игорь Петрович Костин, офицер-отставник лет пятидесяти пяти, решивший попытать счастья в бизнесе, уже с самого утра изрядно устал. Последнее время дела фирмы складывались неудачно: то качество сырья низкое, то перебои с комплектующими, то фурнитура ненадёжная. И, как следствие, выработка готовой продукции снизилась, спрос на мебель упал.

Директор всячески стремился в короткий срок исправить положение. Он вставал чуть свет, вызывал машину. Едва успевал выпить чашку кофе, как «Ауди» уже стояла у подъезда.

— На износ работаете, Игорь Петрович,— предостерегал шефа водитель.

— Ничего, Серёга, на том свете отдохнём,— мрачно шутил Костин, стараясь держаться бодро.

С раннего утра директор обходил все производственные участки, дотошно вникал в производственный процесс, проверял качество продукции, следил за параметрами приборов, за производственной дисциплиной. Нерадивым работникам давал накачку:

— Сам разорюсь и вас по миру пущу, если не будете отдаваться работе.

Метод закручивания гаек давал определённые результаты. Однако Костин понимал: чтобы кардинально изменить положение дел, надо срочно переходить от дедовских методов к современному производству. А это значит — вкладывать солидные финансовые средства в строительство нового производственного корпуса, в новое автоматическое оборудование. Словом, перевооружать производство, вводить новые мощности и благодаря этому добиваться высокого качества продукции.

Меж тем средств катастрофически не хватало, и директор вынужден был взять очередную ссуду в банке под высокие проценты. Теперь необходимо было проследить, чтобы каждый рубль, вложенный в дело, не пропал даром, а окупился сторицей.

Почувствовав усталость, директор решил немного отдохнуть — поработать с документами. Костин прошёл в офис, поднялся в кабинет, предупредив секретаршу:

— Марина! Ко мне пока никого.

— Хорошо, Игорь Петрович. Сейчас принесу кофе и свежую почту.

Костин тяжело опустился в кресло, задумался. Вошла Марина — поставила на стол чашку дымящегося кофе, аккуратно сложила прессу на край стола и тихонько удалилась.

Костин сделал несколько глотков кофе и, взглянув на письма, остановился на одном из них. В письме шла речь об оптовой закупке офисной мебели. Настроение мигом поднялось, спал груз усталости.

Напевая лёгкий мотивчик, Костин переключился на областные газеты. Отдельные только полистал, другие пробежал глазами.

Добрался до старейшей газеты — патриарха областных СМИ. Он полюбил её ещё с той поры, как молодым лейтенантом был направлен на службу в военный гарнизон неподалёку от областного центра. Уважал за принципиальность, за неизменную нравственную позицию, за близость к простым людям. Костин был глубоко убеждён, что настоящая газета должна чувствовать людскую боль. На таких принципах всегда держалась русская журналистика. Недаром же ещё Александр Герцен считал, что она есть «не врач, но боль».

Ныне любимая газета переживала нелёгкие времена. На рынок средств массовой информации хлынул поток низкопробной печатной продукции, смакующей всё, что пахнет жареным, играющей на низменных чувствах читателей. Его же избранница, как бедная интеллигентная женщина, знающая себе цену, и в горьком унижении не роняла своего достоинства. Костин как мог поддерживал газету: давал рекламные объявления, посылал для публикации праздничные поздравления своего коллектива, поощрял лучших работников фирмы подпиской на газету.

Всех журналистов газеты Костин узнавал с первых строк, не заглядывая в конец статьи, где стояла подпись автора. С некоторыми из них был знаком лично, других знал только как читатель, но уважал тех и других — все были профессионалами своего дела.

На второй полосе в глаза бросился очерк Таисии Крестинской «Не разлучайте нас с мамой». Это была корреспонденция из тех, что раньше выходили под рубрикой «Письмо позвало в дорогу». Очерк захватил Костина, и он с головой ушёл в чтение.

В редакцию пришло письмо от молодой женщины из деревеньки Соколья Гора, давно забытой Богом. Женщина жаловалась на бездушных чиновников, которые хотят отнять у неё детей за то, что они живут в нищете. Это был крик погибающего человека: «Муж в бегах—скрывается от алиментов, сама бьюсь как рыба об лёд, но не могу свести концы с концами. Работы в селе нет—колхоз давно распался. Доход от домашнего хозяйства с гулькин нос, пособие на детей мизерное—на хлеб не хватает. Хата прохудилась, одежонка поизносилась, а чиновники вместо того, чтобы оказать помощь, собираются отобрать детей, которым нечего есть. Но разве я виновата, что оказалась в столь плачевной ситуации?! Неужели им неведомо, что ныне так или почти так живёт пол-России?!»

Корреспондент газеты выехала в Соколью Гору и ознакомилась с положением дел на месте. В публикации сообщалось, что факты, изложенные в письме, нашли своё подтверждение. Женщина не пьёт, ведёт небольшое хозяйство. Бывший муж алименты не платит, местонахождение его неизвестно. В старой, ветхой хибаре поддерживается относительный порядок. Трое детей одеты в латаную, но чистую одёжку и худые настолько, что насквозь светятся. Чиновники действительно проверяли положение детей, угрожали матери забрать их и направить в приют.

Зацепила Костина эта статья—чуть слеза не прошибла. Сам он выходец из села, родился в трудную послевоенную пору и не понаслышке знал, что такое нужда. Отец рано скончался от фронтовых ран, и мать в одиночку тянула свой нелёгкий воз—поднимала четверых детей. Игорь был старшим и, едва подрос, стал помогать матери—подрабатывать подпаском. А позднее—пахал, сеял, косил и стоговал сено каждое лето наравне со взрослыми. Когда приходилось неделями голодать—выручали соседи. Кто блинков даст, кто хлеба горбушку, кто картошкой поделится, кто кружку молока нальёт. Особой жалостью отличалась бабка Арина: видя голодные глаза детей, сама не съест, а их накормит. Урожай соберёт—часть выделит соседям за помощь. На всю жизнь запомнил Игорь, как простыл, провалившись в полынью, тяжело заболел, и бабка Арина спасла его растирками и сиропом из кускового сахара. Мать, бывало, всплакнёт: «Как я с тобой, Семёновна, рассчитываться буду?» А она в ответ: «Успокойся, Ульяна! Мы же русские люди и должны помогать друг другу. Иначе нам не выжить».

В военное училище Игоря Костина провожали всей деревней. Бабы плакали, напутствовали парня: «Хотя бы тебе, старшему, повезло выбраться из нищеты. Тогда и других вытащишь». Повезло. Училище окончил с отличием и всегда добрым словом вспоминал своих душевных земляков. Потом, когда уже крепко встал на ноги, хотел собрать всех за общим столом, сказать им тёплое слово. Но было поздно—неперспективная деревенька приказала долго жить: старики померли, а молодёжь покинула отчие дома…

Костин встал, нервно заходил по кабинету, о чём-то напряжённо думая. И вдруг решительно шагнул к столу, нажал кнопку внутренней связи:
— Марина, срочно вызови Сергея.

Не успел Костин как следует обдумать своё решение, на пороге уже стоял водитель.
— Слушаю вас, Игорь Петрович.
— Вот деньги,—протянул ему несколько крупных купюр шеф,—срочно поезжай в универмаг. Купи три комплекта детской одежды—на три, семь и девять лет. Двое последних—мальчики, малышка—девочка. Куртки, брюки, рубашки, платьица, спортивные костюмы, кроссовки. А ещё—продукты: хлеб, сыр, колбасу, пельмени, тушёнку—всё качественное. И обязательно сладости: конфеты, печенье, пирожное, вафли, лимонад. Возьми себе в помощь Лену Гусакову из планового отдела. Жду тебя через пару часов.

Не прошло и двух часов, как Сергей докладывал шефу:
— Игорь Петрович, задание выполнено. Машина наполнена под завязку. Всё качественное, по моде и со вкусом. Куда прикажете доставить?
— Поехали,—сказал Костин и на ходу бросил секретарше:—Марина, все вопросы к заму. Буду к вечеру.

Стояла ранняя осень. За окном машины проносились деревья, одетые в нарядный убор. Проплывали серебристые паутинки бабьего лета, цеплялись за придорожное быльё. «Много паутины—добрый знак. Осень будет ядрёная»,—вспомнил Костин слова матери. На дальнем поле ярко зеленела свежая, молодая озимь. На опустевших лугах виднелись высокие стога. Рядом с дорогой, на голой стерне, золотились копны пшеничной соломы. Среди них разгуливали стаи журавлей, собирающихся в дальнюю дорогу.

В Сокольей Горе гости без труда отыскали старую деревянную хибару: журналист описала деревню так, что ошибиться было трудно. Тропинка к избе пролегала через высокий колючий бурьян.

Водитель подъехал почти вплотную к хате, поднялся на крыльцо, постучал в дверь. На стук вышла хозяйка, довольно молодая, но с лёгкой проседью на висках. Озабоченным взглядом широко распахнутых глаз она посмотрела на гостей. На лице мелькнуло удивление, быстро сменившееся страхом. «Наверное, приняла нас за тех, кто грозился отнять детей,—подумал Костин.—На мою мать в молодости похожа—русская стать, гордость, красота, несмотря на невзгоды».
— Мир вашему дому! Вас, кажется, Людмилой зовут?—шагнул к крыльцу Костин.—Не пугайтесь—мы к вам с добром. Узнали, что вы попали

в сложное положение, и хотим вам помочь, если вы, конечно, не против…

Хозяйка удивлённо вскинула брови, некоторое время молчала. Похоже, в горле застрял горячий ком.

— Проходите в дом,— наконец взволнованно произнесла она.

— Сергей, открывай багажник—доставай подарки,— распорядился шеф.

Водитель стал вынимать сумки, пакеты, коробки и осторожно складывать на лавочках у крыльца. Хозяйка стояла на крыльце в окружении ребятни словно вкопанная. По её впалым щекам текли слёзы. Костин смотрел на её худенькое лицо, на грубые пальцы, то нервно теребящие концы платка, то поглаживающие волосы дочурки, и думал о её нелёгкой доле.

— Ну что же вы стоите? Помогайте,— обратился к детям гость.

Дети посмотрели на мать, и та в знак одобрения кивнула головой. Ребята тотчас несмело подошли к сумкам, стали таскать их в хату.

Подарки сложили на старом проваленном диване, неподалёку от печки. Часть коробок разместили на полу. Прежде чем распаковать их, Костин окинул взором внутреннее убранство избы.

Из всех углов на гостя смотрела своими грустными глазами бедность. Несколько табуреток, кровать с панцирной сеткой, старая детская кроватка, источенный сундук, стол в святом углу—вот и вся мебель. На стенах—жёлтые фотографии. На потолке пятна подтёков, половицы прогнулись, подоконники покосились.

Когда вышли на крыльцо, Костин спросил у хозяйки:

— Есть ли поблизости добротный дом на продажу?

— Вы, верно, под дачу ищете? Тогда в посёлке на центральной усадьбе посмотрите кирпичный дом. Там старенькая учительница жила. Дочь забрала её в город. Узнав о продаже дома, администрация выкупила его, а теперь задумала продать. Говорят, что дорого просят, но я уверена: покупатель найдётся. Место там красивое: бывшее дворянское поместье, старинный парк с вековыми деревьями, живописное озеро. Думаю, вам понравится.

— Поедем, Сергей,— позвал водителя Костин. И обратился к хозяйке:—Мы не прощаемся. А вы пока продолжайте распаковывать сумки, доставайте продукты и вещи, угощайтесь, примеряйте обновки.

В пути Костин упрекнул водителя:

— Ну что же ты, Серёга, ничего хозяйке в подарок не подобрал?

Тот в недоумении посмотрел на шефа:

— Игорь Петрович, так мы же вели речь только о детях.

— Ладно,— улыбнулся Костин,— будет подарок и хозяйке…

Несколько часов спустя иномарка вновь мчалась в Соколью Гору по просёлочной дороге. В поле было тихо и покойно. От пестроты красок осеннего дня, от бордовой вечерней зари, что догорала далеко на западе, от запаха горькой полыни, что врывался в окно машины с прохладным воздухом, было немного грустно и в то же время легко на душе. Костин поймал себя на том, что давно не испытывал такого приятного состояния. Хотелось остановить машину и остаться здесь на весь вечер и на всю ночь. Но надо было спешить, чтобы успеть в деревню до темноты.

У знакомой избы шофёр нажал на тормоза. Всё семейство высыпало на крыльцо встречать добрых волшебников. Ребята были в обновках.

— Ну вот, какие вы нарядные и ещё более красивые!—сдерживая волнение, восторженно произнёс Костин.—А коль так, собирайте свои пожитки, и едем в ваш новый дом. Там уже всё готово для приёма новосёлов.

Людмила сразу ничего не поняла, а когда до неё дошло, что гость интересовался новым жилищем для неё, она решительно отстранила детей и, не помня себя, бросилась Костину в ноги.

— Господи милостивый, уж не с неба ли вы свалились? Назовите же своё имя, чтобы я знала, за кого мне теперь молиться до конца жизни,—сквозь слёзы произнесла она.

— Ну-ну,—остановил её Костин, обняв за плечи.— Вот этого не надо. Да и имя не обязательно. Мы же русские люди и должны помогать друг другу…

По весне, когда дела мебельной фирмы резко пошли в гору, Костин открыл свежий номер любимой газеты, и на развороте ему бросился в глаза заголовок заметки «Мы же русские люди!».

«Уважаемая редакция! Пишет вам женщина, о которой вы написали осенью в статье „Не разлучайте нас с мамой“. Может, моё письмо покажется нескладным, потому что я очень волнуюсь—столько всего на меня свалилось за последний год. Хорошего. У меня теперь есть свой добротный дом. Местного вдовца с ребёнком приняла в семью. Надёжный человек. Не пьёт, работает. О детях заботится. Живём дружно. Недавно родилась доченька—моя прекрасная принцесса. Назвали её Таей, в честь вашей журналистки Таисии Крестинской, благодаря которой мне помогли приобрести дом, мебель, одежду для детей, продукты на зиму. Хочу через газету донести слова благодарности и низкий поклон до замечательного русского человека большой души, который проявил неравнодушие и принял живое участие в моей нелёгкой судьбе, подарив мне прекрасный дом, а вместе с ним—веру в людей. Я не знаю его имени—он даже не представился. Просто сказал: „Мы же русские люди и должны помогать друг другу“. Дай Бог ему и всем моим благодетелям здоровья

и благ земных и небесных. Спасибо большое от меня и моих детей вашей замечательной газете.

С глубоким уважением, Людмила Ивушкина».

Бабушка приехала

В беспомощные всматриваюсь лица—
Поблёкшие глаза, потухший взгляд…
Молитвами какими отмолиться
За брошенных, больных, за мрак и ад?
Не нужные ни детям бессердечным,
Ни внукам в окружении невест,
На жалких костылях в глухую вечность
С достоинством они несут свой крест.

Татьяна Мельникова

В тягостную осеннюю пору, когда во дворе семь ненастий за день, в тихий российский городок вблизи южной границы заглянул видный, импозантный мужчина лет тридцати на иномарке.

Было сырое, зябкое, туманное утро. Чёрные голые ветви придорожных деревьев, проглядывавшие сквозь пелену серого марева, окутавшего улицу, казались какими-то причудливыми странными существами.

Мужчина припарковал машину у неказистого здания старинной постройки, поднялся на крыльцо. Бегло взглянув на табличку у входа, решительно открыл дверь и вошёл внутрь.

В нос ударил затхлый воздух. С небольшими окнами, с потёками по углам, дом производил впечатление заброшенности и беспризорности. Пройдя несколько метров по мрачному коридору, мужчина отыскал нужную дверь и негромко постучал.

— Войдите,—услышал в ответ женский голос.

Мужчина вошёл, в нерешительности остановился у порога.

— Здравствуйте! Моя фамилия Брагин. Зовут Юрий Иванович. Я из Санкт-Петербурга. У меня к вам очень важное дело.

— Проходите, присаживайтесь,—тёплым, мягким голосом сказала женщина, сидящая за столом.

У неё было приятное, еле тронутое морщинами лицо и чёрные с проседью волосы, туго стянутые заколкой на затылке.

— Меня зовут Надежда Фёдоровна. Что вас привело к нам?

Брагин присел и с грустью в голосе произнёс:

— По сведениям, которыми я располагаю, во вверенном вам учреждении находится моя мать—Анна Максимовна Брагина. Я хотел бы встретиться с ней, поговорить…—мужчина на мгновение замялся и заинтересованно посмотрел на заведующую.

— Да, Анна Максимовна Брагина действительно находится у нас. Она давний обитатель нашего богоугодного заведения. Но позвольте полюбопытствовать: старушка столько лет одна, никто не интересовался её судьбой, и вдруг объявляетесь вы… Что же побудило вас вдруг вспомнить о матери?—внимательно посмотрела заведующая на Брагина.

— Дело в том, что, будучи малолетним ребёнком, я попал в детский дом. Как выяснилось позднее, мою мать лишили родительских прав. После долгих мытарств судьба забросила меня в Северную столицу,—голос Брагина чуть дрогнул, но он быстро взял себя в руки и продолжил:—Я вырос, окончил школу, потом военный институт. Всё это время ничего не знал о матери и почти не помнил её, как, впрочем, и отца. Живу в Петербурге, служу в военном представительстве на крупном оборонном предприятии. Моя жена врач, тоже бывшая воспитанница детского дома. У нас двое детей—девочки Даша и Маша. Они скоро пойдут в школу. И вот однажды, придя из садика, Даша спросила: «Папа, а где наши дедушка и бабушка?» Я не знал, что ответить ей. Родители моей жены Светланы погибли в автокатастрофе, а судьбой своей матери я не интересовался—давала о себе знать детская обида, которая, как известно, сильнее человека, и чтобы её забыть, не хватает века. Но дочки то и дело напоминали мне, что очень хотели бы увидеть свою бабушку. И я, отринув все обиды, пересмотрел своё отношение к матери. После долгих раздумий пришёл к выводу, что дети не вправе судить и обвинять своих родителей: тот, кто тебя родил, уже прощён тобой заранее. И вот тогда, посоветовавшись с женой, я начал поиски…

— Анна Максимовна рассказывала, что у неё было двое сыновей,—заметила Надежда Фёдоровна.

Брагин тяжело вздохнул и сказал:

— Мой младший брат Роман тоже воспитывался в детдоме, но не выдержал там и сбежал. Долго бродяжничал, пока не оказался втянутым в дурную историю. Был осуждён. А когда вышел на свободу, примкнул к старым друзьям и вновь получил срок. Я пытался всячески помочь ему, но безуспешно—он уже выбрал свою дорогу.

— Так вы хотите встретиться с мамой и пригласить её в гости?—спросила заведующая.

— Нет, я хочу забрать её с собой навсегда, если она согласится на это,—ответил Брагин.

— Я должна вам сказать,—потупила взгляд Надежда Фёдоровна,—что ваша мама тяжело больна…—заведующая сделала небольшую паузу и вновь посмотрела на Брагина.—Она с трудом обслуживает себя и даже иногда теряет рассудок. Ошибки молодости, как известно, бесследно не проходят…

— Жаль, конечно, что здоровье матери основательно подорвано, но мы с женой, в общем-то, были готовы к этому,—уверенно сказал Брагин.—По возможности будем лечить—покажем хорошим специалистам в надежде, что они помогут.

— Ну что же, как говорится, воля ваша,—немного приободрилась заведующая и решительно встала

из-за стола. Подошла к двери, приоткрыла её и обратилась к девушке из обслуживающего персонала:—Оленька, сходи посмотри, проснулись ли старушки в двенадцатой. Предупреди, что я сейчас зайду к ним с гостем.

Надежда Фёдоровна провела Брагина в конец коридора, открыла последнюю дверь.

— Доброе утро, мои милые,—ласково сказала она.—А у нас гость.

В небольшой мрачной комнате с голыми стенами было душно, резко пахло лекарством, хозяйственным мылом, хлоркой. На железных кроватях сидели четыре тщедушные старушки и приводили себя в порядок. Они повернули головы в сторону двери, тихонько поздоровались и с нескрываемым интересом стали рассматривать Брагина, щуря блёклые старческие глаза.

Надежда Фёдоровна прошла к окну, открыла форточку. На кровати у окна сидела старушка в байковом синем халате, с дряблыми, обвисшими щеками и выцветшими, глубоко запавшими глазами. Трясущимися руками она нервно собирала в пучок жидкие седые волосы.

— Анна Максимовна, дорогая,—обратилась к ней заведующая,—как ваше самочувствие, как спалось?

— Слава Богу,—тихо ответила старушка,—ваши таблеточки помогают. Сегодня удалось немного поспать.

— Замечательно. И выглядите вы сегодня гораздо лучше. Я была уверена, что у вас всё наладится. А теперь вот посмотрите на этого красавца,—кивнула она на Брагина, застывшего у двери.—Вы не узнаете его?

— Не узнаю,—сказала старушка и опустила голову.

— Это ваш сын Юрий, Юрий Иванович,—сказала заведующая, и голос её слегка дрогнул.

Старушка вновь подняла голову и пристально посмотрела на Брагина. Глаза её расширились, на лице промелькнуло растерянное, виноватое выражение, словно её застали за нечестным занятием. Губы задрожали, по щекам покатились слёзы. Она затряслась, что-то хотела сказать, но не могла—только что-то невнятно шептала.

Брагин шагнул к ней, присел рядом на стул.

— Успокойся, мама…—обнял за плечи, поцеловал.

Старушка заплакала громко, навзрыд.

— Прости меня, сынок, это я во всём виновата,—сквозь слёзы произнесла она шёпотом.

— Мама, не плачь, не надо. Тебе нельзя волноваться. Не будем вспоминать о прошлом. Ты ни в чём не виновата—так сложились тогда обстоятельства.

Старушка немного успокоилась. Робко прижала к груди голову сына, погладила волосы.

— Какой ты у меня представительный, солидный, и выправка военная, как у отца. Если бы он тогда вернулся из Афганистана, всё у нас сложилось бы по-другому. Я очень рада, сынок, что ты не забыл меня, разыскал и приехал навестить.

— Мама, я приехал за тобой. Я офицер, подполковник. У меня хорошая семья—жена и две дочери, твои внучки. Они горят желанием увидеть тебя, им так не хватает бабушки.

Старушка вновь прослезилась, отвела взгляд, сказала тихо:

— Не надо, сынок. Я совсем плоха и не хочу быть вам обузой. Буду доживать свой век здесь, в богадельне. Лучшей доли я не заслужила. Мне тут хорошо. Спасибо, что вспомнил обо мне и простил. А Роман, видно, не простил…

— Не казни себя, мама, ты ни в чём не виновата,—вновь сказал Брагин.—Если бы отец остался жив, ты бы ни за что нас не оставила.

Старушки тихо переговаривались за его спиной, тяжело вздыхали и горестно качали головой. Одна из них не выдержала и тихонько заплакала.

Надежда Фёдоровна подошла к Брагиной, сказала:

— Анна Максимовна, пойдёмте со мной в ванную комнату. Я помогу вам переодеться.

Заведующая взяла её под руку, подала костыль, стоящий у кровати, и повела в коридор. Когда дверь за ними закрылась, одна из старушек обратилась к Брагину:

— Сынок, намучаешься ты со своей мамой. Порченая она. Плохо себя обслуживает, с головой у неё не всё в порядке. Иногда говорит что-то—мы ничего понять не можем. Подолгу молится, просит у Всевышнего прощения. Часто плачет. За ней присмотр нужен и уход. А вы с женой, небось, оба работаете. Девочек на неё оставлять опасно, и одну—тоже. Разрушит она вашу семью. Невестка не выдержит такую свекровь и сбежит.

— Мы уже всё решили. Лечение и наше тёплое отношение, надеюсь, помогут ей быстро поправиться,—ответил Брагин.

— Лучше бы ты определил её в дом престарелых поблизости от своего жилья. Навещали бы её по выходным, подарочками бы изредка баловали, и то ей была бы большая радость. А дома она будет для вас только невыносимой обузой…

— А детям своим как бы я объяснил, что их бабушка в казённом доме? Как они потом, когда вырастут и всё узнают, обойдутся с нами, беспомощными стариками? Тоже в богадельню сдадут? Несмотря ни на что, дети в вечном долгу перед своими родителями и обязаны заботиться о них всегда, особенно в старости. В противном случае их дальнейшая участь будет незавидной.

Брагин немного перевёл дух и взволнованно продолжил:

— Один знакомый, у которого жена мегера, рассказал мне такую историю. Он решил отвезти на машине старика отца в дом престарелых. Посадил на скамеечке у входа и пошёл оформлять документы. Вернулся и застал отца плачущим. Сын решил, что отец не хочет жить в казённом доме, и стал его

утешать: мол, тут тебе будет неплохо. А отец поднял залитое слезами лицо и сказал с горечью: «Я не о том плачу, сынок. Я плачу, когда вижу, как мало в этом парке выросло деревьев с той поры, когда я сюда привёз и оставил своего отца!» — «Садись в машину, отец! Поехали домой»,— сказал сын. И больше никогда не помышлял о том, чтобы отправить отца в богадельню…

Туман рассеялся. Скупое осеннее солнышко на мгновение выглянуло из-за туч и нежно осветило двор.

Провожать Анну Максимовну вышли все обитатели богоугодного заведения, кто мог мало-мальски двигаться. Старушки стояли на крыльце, печально смотрели, как Брагин заботливо усаживает мать в машину, нервно комкали кончики платков, вытирали ими глаза.

В Северную столицу прибыли утром. Не изменяя давней традиции, город встретил их тёплым дождиком. Но пока ехали по набережной, дождик кончился, и над красавицей Невой, одетой в камень, заклубился розовый туман, пропитанный тихим утренним солнцем. Юрий Иванович достал мобильник, набрал нужный номер и, немного волнуясь, сказал:

— Доброе утро, Светлана! Мы уже дома. Встречай.

Брагин остановил машину неподалёку от подъезда и, несмотря на ранний час, увидел рядом с женой дочерей. Девочки, завидев старушку, тотчас наперегонки бросились к машине, крича на бегу:

— Бабушка приехала! Бабушка приехала!

Сыночек

Любовь мы завещаем жёнам,
Воспоминанья — сыновьям,
Но по земле, войной сожжённой,
Идти завещано друзьям.

К. Симонов. Смерть друга

Помнится мне из детства, как каждой послевоенной осенью, а нередко и весной, отец собирался в дальнюю дорогу. Мать готовила ему котомку с нехитрой едой и обязательно клала в сумку какой-нибудь подарок: домотканое полотенце с вышитыми петухами, кружевной платочек, тёплые вязаные носки или простенькую тёмно-синюю косыночку в белый горошек, купленную в сельмаге.

Мы провожали отца за околицу. На прощание мать наказывала ему:

— Кланяйся от нас Анне Арсентьевне, желай ей доброго здоровья и долгих лет жизни.

Я был мал и поначалу думал, что отец не забывает своих фронтовых друзей в Белоруссии, наведывается к ним в гости. А когда подрос и услышал имя женщины, которой мать передавала приветы и подарки, понял, что ошибался. Однажды я спросил у матери:

— А кто такая Анна Арсентьевна, которую навещает отец?

— Это мама его фронтового друга, героически погибшего в неравном бою с фашистами на Курской дуге. А теперь и его мама… Вот уже несколько лет отец во время отпуска навещает старушку, которая до сих пор не ведает, что её сына давно нет в живых…

С Мишей Климовичем отец познакомился на курсах артиллеристов накануне войны. Приглянулся ему этот белокурый белорусский парень с непростой судьбой, никогда не унывающий, общительный, дружелюбный и очень находчивый. Отец тоже пришёлся Михаилу по душе, и они крепко подружились. И оба были несказанно рады, когда после окончания курсов их вместе направили в стрелковый полк, который базировался на территории Белоруссии, под Могилёвом. В полку отца назначили командовать сорокапятимиллиметровой противотанковой пушкой, и он, подбирая себе боевой расчёт, сумел убедить командование, чтобы наводчиком у него был Михаил Климович. И в дальнейшем отец ни разу не пожалел об этом.

Оказавшись на передовой, друзья получили боевое крещение в самом начале войны — в июле 1941-го, когда немцы предприняли наступление на город Могилёв со стороны Бобруйского шоссе. Ожесточённые бои развернулись на Буйничском поле, где оборону держал их 388-й стрелковый полк под командованием полковника Кутепова. На рассвете армада немецких танков вышла на опушку леса и открыла ураганный огонь по позициям полка, пытаясь смять их с ходу. Полковая артиллерия встретила их ответным огнём.

Потеряв несколько машин, немцы двинулись в обход противотанкового рва, но здесь наткнулись на минное поле. Семь танков были подорваны сразу. Уцелевшие разделились на две группы и рванули вперёд. По ним открыли огонь противотанковые пушки — «сорокапятки»… В этом огненном пекле было уничтожено почти четыре десятка танков противника, сотни солдат и офицеров. Полк нанёс ощутимый урон врагу, но и сам истёк кровью. Ещё неделю продолжались бои, и только подтянув свежие силы, немцы стали смыкать кольцо вокруг остатков полка…

Вырвавшись из окружения, артиллерийский расчёт отца получил пополнение и прошёл с боями от Ельни до Курской дуги. На всём фронтовом пути их «сорокапятка» успешно громила немецкие танки. За мужество и храбрость, проявленные в боях с врагом, артиллеристы несколько раз были представлены к боевым наградам.

В грандиозном танковом сражении под Прохоровкой, в минуты короткой передышки между боями, Михаил Климович, словно предчувствуя беду, обратился к отцу:

— Впереди тяжелейшее испытание — смертельный бой. И если кому-то из нас доведётся выжить, то он просто обязан навестить родных погибшего и сообщить им о последних часах его жизни. У меня на белорусской земле, в небольшой деревушке, осталась старенькая больная мать. Она совсем слепая, а недавно соседка написала, что мать перенесла тяжёлую простуду и стала очень плохо слышать. Бедная мама, опасаюсь, что она пропадёт без меня…
— Не волнуйся, брат, — ответил отец, — будем живы да Богу милы, а остальное всё в наших силах. Давай лучше думать о том, как нам и на этот раз выйти победителями в предстоящем ожесточённом сражении. Ведь мы с тобой везунчики — из какого пекла выбрались в первые дни войны под Могилёвом! Да и в дальнейшем не раз приходилось туго, но Бог миловал…

После артподготовки началось наступление полка, завязался жестокий бой, в котором Михаил Климович был смертельно ранен осколком снаряда. Истекающий кровью, он напомнил отцу об уговоре и попросил передать матери личные документы и награды…

Зимой 1945-го при форсировании реки Одер отец получил тяжёлое ранение в ногу. После длительного лечения его комиссовали из армии, и по весне, прямо из госпиталя, он отправился в лесную белорусскую деревеньку с красивым названием Серебряный Ручей, где жила мама Михаила Климовича, Анна Арсентьевна.

Отыскав неказистую хатку на окраине деревни, отец постучал в окно. Маленькая сухонькая старушка в телогрейке и цветном сатиновом платочке приникла к окну. И тотчас, всплеснув руками, живо открыла дверь и с порога бросилась в объятия. Она плакала и приговаривала:
— Сыночек, родненький, Мишенька мой любимый, я так ждала тебя, все глаза проглядела, день и ночь молила Бога, чтобы ты вернулся живым и здоровым. И Господь наконец услышал меня. Я ночами не спала, всё прислушивалась, боялась проспать твой стук в окно…

Отец-детдомовец с малых лет не знал ласкового слова «сыночек». Он с трудом проглотил душивший его комок, смахнул набежавшую слезу, крепко обнял и поцеловал старушку.
— Не волнуйся, дорогая мама, теперь мы снова вместе, и у нас с тобой всё будет хорошо, — заверил он её.

Засучив рукава, отец стал помогать Анне Арсентьевне по хозяйству. О Мише не проронил ни слова и соседку Любу, которая навестила Анну Арсентьевну, предупредил, чтобы та не проговорилась ей: правда о сыне может убить больную старушку.

Отец долго не решался поехать домой, к своей семье, не зная, как объяснить Анне Арсентьевне свою отлучку, чтобы не обидеть старушку, оставив её одну, но спустя время отважился обратиться к ней:
— Мама, прости меня, но мне необходимо отправиться в город, который я освобождал. Там мне предложили работу и жильё. Там и девушка моя живёт, которой я писал письма с фронта и из госпиталя. Она меня очень ждёт. Ты только не переживай. Береги своё здоровье. Обживусь в городе и заберу тебя к себе. А пока буду часто навещать, заботиться о тебе…

Старушка всплакнула и с горечью молвила:
— А соседка Любушка все эти годы ждала тебя, сынок, письма писала, надеялась на что-то. Мне много помогала по дому и в огороде, а когда я хворала, лечила меня, ухаживала за мной. Девушка видная, душевная, покладистая. В её руках всё горит. Хорошая жена и невестка кому-то достанется — хозяйка будет на редкость…

Отец промолчал. Что он мог ответить старушке?! Что его друга, а её сына, которого Любушка ждала с фронта, нет в живых? И девушка обо всём знает и ужасно страдает, но не подаёт виду?..
— Коль душа не лежит — не надо себя неволить, сыночек. Устраивай свою жизнь, Мишенька. За меня не беспокойся. Я уже привыкла жить одна. Да и Любушка не забывает, каждый день навещает, помогает чем может. Слава Богу, я дождалась тебя, знаю, что живой… Только заглядывай почаще домой, не забывай свою мать.

Прошло время, и отец получил из деревни письмо, написанное по просьбе старушки её соседкой. В письме сообщалось, что Анна Арсентьевна простыла, тяжело заболела, испытывает сильную слабость и напоследок обращается с просьбой: «Мишенька, сыночек дорогой, я захворала и хочу взглянуть на свою будущую невестку. Привези, покажи, а то умру и голоса её не услышу. А мне так хочется знать, что за женщина с тобой рядом — настоящая хозяйка или так себе, душевный человек или нет, способна ли на добро и ласку, обучена ли женской работе, можно ли на неё положиться, когда столкнётесь с жизненными трудностями…»

Выполняя волю Анны Арсентьевны, отец отправился в гости к ней вместе с моей матерью. Мать Анне Арсентьевне очень понравилась.
— Хороша молодка — цены ей нет, — хвасталась соседям старушка. — Хлопотунья редкая — минуты без дела не сидит. Избушку свою не узнаю — солнышко в ней заиграло: всё перестирала, перемыла, вычистила, в палисаднике и в огороде порядок навела. А сыночек тем временем заготовил дров, подлатал крышу, почистил печную трубу, истопил баньку. Я так рада, что у молодых всё ладится. Даст Бог, скоро детки пойдут — дом наполнится радостью и весельем…

Когда Анна Арсентьевна немного поправилась и пришло время родителям возвращаться домой, старушка разволновалась, прослезилась:
— Вот теперь и умирать не страшно. Душенька моя спокойна. Правда, внучат не дождалась, но знаю,

что детки у вас будут красивые, ласковые, добрые, будут навещать бабушку на погосте, приносить цветы. А я буду смотреть на них с небес и радоваться.

— Мама, я хотел бы, чтобы ты переехала к нам. Тебе здесь очень трудно одной. Мы уже и комнату тебе приготовили. Собирай свои пожитки. Я тебя на машине отвезу,— предложил отец.

— Спасибо, сыночек,— вытерла кончиком платка слёзы Анна Арсентьевна.— Боюсь, что не выдержу дальней дороги — сердечко тревожит. Да и зачем тебе лишние хлопоты? Я для вас только обузой буду. Я и так благодарна Господу, что ты столько лет бережёшь меня, заботишься обо мне. Не переживай. Я уйду с лёгкой душой…

На похороны Анны Арсентьевны мы ездили все вместе. На поминках старушки отец рассказал селянам о её отважном сыне, героически погибшем на Курской дуге, а те благодарили отца за сыновнюю заботу о матери фронтового друга, за его доброе сердце.

И письма, и награды Михаила Климовича отец передал председателю местного сельского совета. Спустя время отец поставил на могиле Анны Арсентьевны памятник, а рядом, в оградке,— символический памятник боевому другу с красной звёздочкой на вершине.

До конца своих дней, в День Победы, отец продолжал ездить в белорусскую деревушку на могилу фронтового друга и его матери. А теперь, когда отца нет в живых, там бываю я. Ухаживаю за могилами, возлагаю цветы. Могилы всегда содержатся в хорошем состоянии. Недавно я узнал, что над ними шефствуют местные школьники.

Незабудка

Моей музе Майе

В молодые годы меня как магнитом тянуло на малую родину. Будучи уже городским человеком, я старался не пропустить ни один выходной, чтобы не заглянуть в своё Заречье, не повидать родителей, друзей, не побродить по тропкам детства.

В ту пору Заречье было большим селом и очень живописным.

На две части его разделял глубокий овраг, по обе стороны которого в густых садах прятались деревенские хаты. Внизу под обрывом, петляя среди кустов, тихо несла свои воды речушка Аксинка. А вдали на взгорье, словно защищая село, тянулись к небу величавые деревья, преимущественно липы и тополя с серебристой листвой. Старожилы села рассказывали, что до революции эти земли принадлежали помещице и здесь был красивый парк. Вековые деревья — всё, что осталось от бывшей дворянской усадьбы.

Особенно мне нравилось проводить в селе праздники, главным из которых был День Победы. В этот волнующий весенний праздник наша большая семья собиралась за длинным деревенским столом. Мы поздравляли отца-фронтовика, слушали его рассказы о нелёгких военных путях-дорогах, о друзьях-однополчанах, сложивших свои головы на полях сражений. А потом пели: «Катюшу», «Журавли», «На безымянной высоте», «Синий платочек», «Тёмную ночь». Я замечал, как у моего отца, инвалида войны, кавалера двух боевых орденов, на глаза накатывались слёзы и падали на белую скатерть…

Однажды я приехал в село накануне праздника Победы и решил сходить на утреннюю зорьку порыбачить, чтобы приготовить уху к праздничному столу.

Я встал ни свет ни заря, но пока возился с нехитрыми снастями, за окном стало светать. Когда вышел из дому, зеленоватая полоска на востоке уже розовела. Рассветный ветерок пахнул в лицо прохладой, росистой свежестью и донёс из соседнего сада волнующий запах влажной мяты. Майское утро было подёрнуто лёгкой дымкой, а в низине над рекой клубился густой туман.

Я живо пробрался к реке и направился к небольшой заводи, которую облюбовал ещё с детства. И тут с удивлением заметил, что на бережку под кустом уже устроился рыбак. Подойдя поближе, узнал в нём деда Душку, как его прозвали односельчане. В селе знали и уважали старика. Григорий Семёнович Гуров, как и мой отец, был фронтовиком, имел боевые награды, а после войны работал в сельсовете.

— Доброе утро, Григорий Семёнович,— поприветствовал я старика.— С наступающим праздником Победы! Здоровья вам на долгие годы!

Дед Душка слегка крёхнул, привстал, протянул мне руку и сказал:

— Спасибо на добром слове, сынок! И тебя поздравляю с великим всенародным праздником Победы!

Я собрался пройти дальше, но старик остановил меня:

— Присаживайся рядом. Вместе веселее будет. Давай закурим, согреемся малость.

Я угостил деда сигаретой, подготовил удилище, достал наживку, надел на крючок и закинул удочку под соседний куст. Сел рядом с дедом на берег, поросший ярко-зелёной травой-муравой, закурил, искоса поглядывая на старика.

Старик был среднего роста, статен, широк в плечах. Лицо смугловатое, моложавое, добродушное. Глаза мудрые, с затаённой грустью. Густые, совершенно седые волосы выбивались из-под тёмной вязаной шапки. Голос мягкий, приятный. Весь вид старика располагал к себе. И я подумал, что, видимо, поэтому и прозвали его в селе Душкой.

Мы сидели, курили, иногда перебрасывались несколькими словами. Дед рассказывал о реке, которая в лихие годы спасала людей от голода—рыбы было полно.

—А теперь изобрели варварские способы, как её добыть без труда. Вот и перевелась рыбка,—заключил дед.

Солнце уже выглядывало из-за дальней кромки леса на горизонте. А вскоре показалось целиком и озарило ярким светом противоположный берег. И тут мне бросилась в глаза поляна меж кустов, укрытая голубыми цветами.

—Какая красота! Глаз не оторвать!—восторженно сказал я старику, указывая рукой на другой берег.—Словно кусочек неба упал на поляну…

—Это незабудки, весенние красавицы,—пояснил старик, и его глаза вспыхнули каким-то ласковым, нежным светом.—Ранней весной они зацветают в эту пору. Благородные цветы с лепестками цвета неба и с солнечной сердцевиной. И пахнут они тонко, нежно. Разновидностей их много. В народе этот цветок называют горлянкой, пригожницей. О нём много легенд сложено, и все они о верности и доброй памяти. По одной из легенд, богиня растительного мира Флора не заметила маленький голубой цветок и забыла дать ему имя. Незамеченный цветок испугался и стал тихо повторять: «Не забудь меня!» Услышав это, Флора улыбнулась и дала ему имя—Незабудка. С того времени люди стали верить, что эти маленькие нежные цветы имеют возможность возвращать забытые воспоминания…

Я с нескрываемым удивлением посмотрел на старика.

—Дед Гриша, откуда такие познания о растительном мире?

Дед слегка улыбнулся и сказал:

—С эти цветком связано самое важное в моей жизни…

—Это любопытно,—сказал я и приготовился слушать.

Но старик не спешил открывать душу. Он закурил, глубоко задумался.

—Клюёт,—негромко крикнул я, увидев, что поплавок дедовой удочки резко ушёл под воду.

Взглянув в сторону своего удилища, заметил, что и мой поплавок задёргался. Мы подсекли почти одновременно и вытащили на берег полосатых окуньков, размером с ладонь. Живо сняв их с крючка, нацепили наживку и вновь забросили удочки. И почти сразу поплавки ушли под воду. Такой отменный клёв продолжался примерно четверть часа. За это время мы успели вытащить по полтора десятка окуней. А потом—как отрезало…

—Так чем же вам памятны цветы незабудки?—не выдержал я, напомнив старику наш прерванный разговор.

—Ну, коль ты заинтересовался, придётся рассказать,—вздохнул старик, и мне показалось, что голос его слегка дрогнул…

—Детство моё прошло в соседней деревне Любимовке,—немного успокоившись, начал свою историю дед Гриша.—Там окончил начальную школу, а потом пошёл в Зареченскую среднюю школу. Где-то классе в восьмом я впервые обратил внимание на бойкую курносую девчушку с красивыми косичками и какими-то бездонными глазами цвета вешней воды. Я потерял покой. Сам себе удивлялся, как я раньше не замечал Нину Ганину, ведь учились в одном классе. А теперь боялся даже глаза на неё поднять, а при встрече с ней терял дар речи. Робость моя усиливалась ещё и тем, что её мать была учительницей, а отец—председателем колхоза. А мои родители—простые крестьяне. Но однажды я набрался храбрости и решился заявить о себе. Тёплым весенним вечером я отправился в Заречье, чтобы увидеть Нину. По пути собрал на поляне букетик голубеньких цветов, от которых исходил нежный аромат. Я не знал тогда, как они называются, но цветы показались мне похожими на Нинины глаза. Я долго крутился возле дома Нины, но так и не встретил её. А когда стемнело, пробрался в палисадник, кинул букетик в окно задней комнаты и бросился наутёк.

Утром, придя в школу, заметил, что Нина с каким-то интересом рассматривает меня. Мне показалось, что она хотела подойти и что-то сказать мне, но так и не решилась. Я понял, что привлёк её внимание, и стал изредка вечерами проделывать тот же фокус—бросать в Нинино окно букетики голубых цветов. И однажды был пойман с поличным. Когда я в очередной раз пробрался в её палисадник и нацелился бросить цветы в окно, оно резко распахнулось. В окне стояла Нина и улыбалась мягкой улыбкой.

—Ах, вот кто мой тайный поклонник,—тихонько молвила она.—А я-то гадаю… Подожди меня у околицы. Я сейчас выйду.

Я ни жив ни мёртв выбрался из палисадника и направился в сторону околицы. Нина догнала меня, улыбнулась и сказала:

—Теперь можешь лично вручить мне цветы.

Ни слова не говоря, я протянул Нине свой скромный букетик. Она уткнулась в него лицом, вдохнула в себя тонкий аромат полевых цветов.

—Как же они скромны и нежны! А ты знаешь, как они называются?

—Нет,—признался я.

—Это незабудки—мои любимые цветы. Про них много легенд сложено. Вот одна такая легенда. Влюблённая пара гуляла вдоль реки. Девушка заметила на краю берега красивый цветок. Парень решил его сорвать, чтобы подарить любимой, но не удержался и упал в воду. «Не забудь

меня!» — только и успел крикнуть парень, пока его не унесло сильное течение. Так цветок и получил название «незабудка».

Мы стали встречаться с Ниной. Это не понравилась местным парням, и они решили проучить чужака. В погожий весенний вечер в бывшем помещичьем парке, через который пролегала моя тропа к дому Нины, меня встретили трое незнакомых парней.

— Что-то ты повадился сюда? — спросил один из них, сплюнув под ноги.

— А кого это волнует? — решительно ответил я.

— Меня волнует, — откликнулся плотный рыжий парень и неожиданно нанёс мне удар рукой снизу в живот, под солнечное сплетение.

Я согнулся пополам, но быстро продышался, разогнулся и резко ударил его ногой в пах. Парни набросились на меня и стали молотить так, что я не успевал увёртываться. Когда я оказался поверженным, они повернулись и исчезли в темноте, предупредив меня:

— Забудь сюда дорогу!

Через неделю я снова был в Заречье. Наклонив голову, смущённо улыбаясь, я стоял перед Ниной с лиловым синяком под глазом.

— Я слышала, что тебе здорово досталось из-за меня? — спросила Нина.

— Пустяки, — сказал я. — Ты того стоишь. До свадьбы всё заживёт.

На обратном пути меня встретила та же троица. Рыжий спросил:

— У тебя что, серьёзно с ней?

— Серьёзнее не бывает, — ответил я.

— Ладно, гуляй пока, но если она скажет тебе «нет» — пеняй на себя…

Позднее я узнал, что Рыжий клеился к Нине, но она отказала ему. И тогда он стал угрожать ей:

— Гриньке ты не достанешься. Я его уничтожу…

Нина в ответ заявила:

— Только тронь ещё раз Гришу — тебе несдобровать…

Дед Гриша закашлялся, погасил сигарету о каблук сапога и продолжил:

— После десятилетки я поступил в сельхозтехникум, а Нина — в педагогический. Мы стали видеться реже, но переписывались. Встретились на коротких зимних каникулах и очень ждали летних, чтобы провести их вместе. Мечтали, выдумывали будущее. Но нашим планам не суждено было сбыться. Мы успели окончить только первый курс, как началась война.

Тем же летом, приписав себе год, я тайком от родителей и Нины стал проситься на фронт. В военкомате, где постоянно была большая очередь парней и мужчин, рвущихся, как и я, на фронт бить врага, мне вручили повестку на курсы младших лейтенантов.

На всю жизнь запомнил я тот тёплый летний вечер, когда прощался со своей Незабудкой. Мы бродили по парку, говорили о чём-то, но в голове неотвязно крутилась мысль о предстоящей разлуке. Вокруг было так тихо и спокойно, что не верилось, что где-то уже гремит война, что далеко на западе видны её яркие всполохи.

— Мой любимый Гришуня! Не забудь меня! И обязательно вернись! — волнуясь, сказала Нина.

Она обняла меня, прижала к груди, заглянула в глаза. И в этом взгляде было столько любви, нежности… Нина поцеловала меня и заплакала. Я гладил её по голове, успокаивал:

— Не плачь, моя милая Незабудка! Я скоро вернусь, мы сыграем с тобой красивую свадьбу и будем жить в любви и согласии до глубокой старости.

Потом я не раз вспоминал тот вечер и беспощадно корил себя за свою недогадливость и сдержанность…

Весной сорок второго года, после окончания курсов, я получил назначение командиром взвода в гвардейский стрелковый полк семьдесят пятой гвардейской стрелковой дивизии шестидесятой армии Центрального фронта. В одном из боёв был ранен осколком в ногу. Находясь в госпитале, получил письмо от Нины. Она писала: «Мой любимый, родной Гришуня! Не могу смотреть, как фашисты хозяйничают на нашей земле, как издеваются над нашими стариками, женщинами и детьми. Ухожу с подругой в партизанский отряд. Буду сражаться с ненавистным врагом… Береги себя и не забудь меня! Крепко целую тебя, мой ненаглядный. Твоя голубоглазая Незабудка». Так заканчивалось её письмо. Я написал ей, но ответа от Нины не получил.

Второе ранение я, гвардии лейтенант, получил в сентябре сорок третьего года, когда в составе передового отряда нашего полка форсировал реку Днепр под Киевом. Враг вёл шальной огонь, но мы нашли брешь в обороне фашистов и удачно закрепились на другом берегу, уничтожив три пулемётных расчёта противника. До подхода основных сил наш отряд отражал контратаки врага. Здесь я был ранен в предплечье разрывной пулей. Фронтовые врачи сохранили мне руку, но признали инвалидом, и я был комиссован из армии. Из госпиталя я писал Нине, но ответов не дождался.

В октябре я вернулся в Заречье, которое к тому времени уже было освобождено от фашистов. Шагая по улице родного села, я в который раз мысленно прокручивал встречу с Ниной. И вдруг поймал себя на том, что меня не покидает чувство тревоги. Так оно и вышло. Едва я переступил порог отчего дома, как меня настигло страшное известие: моей Незабудки уже нет в живых. Нина погибла незадолго до освобождения родного Заречья. О том, как это случилось, я узнал от подруги Нины по партизанскому отряду.

В августе сорок третьего наша местность стала прифронтовой. Под ударами Красной Армии фашисты отступали, откатывались в сторону Белоруссии. Партизаны помогали нашему фронту как могли—били фашистов на лесных и железных дорогах, громили их гарнизоны. Особой активностью отличалась партизанская бригада бывших пограничников, в которую входил отряд «За Родину!». Днём и ночью, рискуя жизнью, разведчики подрывали вражеские поезда с живой силой и техникой. В середине августа четверо разведчиков из партизанского отряда, среди которых была и Нина Ганина, отправились на боевое задание. Диверсионной группе предстояло проникнуть в расположение немецких войск в районе села Заречье, заминировать железнодорожное полотно и подорвать вражеский эшелон вблизи разъезда.

Пробираясь к Заречью знакомыми стёжками-дорожками, Нина представляла, как незаметно проникнет в родной дом, как обнимет мать и отца, узнает от них свежие новости, расспросит о расположении немецких войск у железной дороги. В те минуты Нина не знала, что ей не дойти до родного дома, не увидеть родных. За связь с партизанами гитлеровцы накануне арестовали отца и мать, а на подступах к дому устроили засаду.

Пулемётная очередь раздалась внезапно. Как подкошенный, упал разведчик, идущий впереди. Группа стала отходить, унося раненого товарища. И тут замертво падает на траву Нина, пронзённая пулей в грудь. «Уходите, я задержу их»,—умолял ребят раненый разведчик. Он остался и отстреливался до последнего патрона, а потом подорвал себя гранатой.

Тела погибших партизан фашисты долго возили по окрестным деревням, требуя их опознания. Не добившись нужного ответа, они бросили трупы у дороги, запретив жителям хоронить их. Однако ночью селяне предали земле тела погибших народных мстителей…

Дед Гриша вновь закурил, задумался, долго молчал. Молчал и я. Было видно, как нелегко дались старику эти воспоминания о прожитой жизни, заставившие его вновь пережить и светлые мгновения далёкой юности, и нелёгкие фронтовые испытания, и неизбывное горе…

—После войны меня избрали секретарём сельского совета,—продолжил свой рассказ фронтовик.—Я настоял, чтобы останки партизана-разведчика были перезахоронены в братской могиле, а останки Нины—в родном селе. Три года спустя, когда душевная боль немного утихла, я женился на Нининой подруге. Вместе с ней мы поставили памятник моей Незабудке и ухаживали за её могилой. Недавно жена умерла, и я остался один. Хотя нет, не один. Я давно понял, что Нина всю мою жизнь незримо была со мной, помогала мне. Помогает и поныне. Память о ней живёт во мне негасимым, греющим огоньком и будет жить до самого последнего моего часа…

Солнце уже пригревало основательно, весело играя нежными лучами в прозрачной речной воде. Утренний туман, таившийся в прибрежных кустах, растаял без следа. Разгорался новый благодатный день. Поклёвки больше не наблюдалось, и мы решили закончить рыбалку. Прихватив снасти и рыбу, прошли вдоль берега реки и, свернув на тропу, стали подниматься в гору. Домик деда Душки стоял в саду, у самого обрыва с видом на реку.

—Придя с фронта,—сказал дед,—я предложил родителям перебраться из Любимовки в Заречье, чтобы быть ближе к Нине. Здесь, в живописном месте, мы приобрели старую хатку, снесли её, а на этом месте возвели новый дом…

На прощание я обнял деда Гришу, крепко пожал ему руку, поблагодарил за интересный рассказ.

То ли старика тронуло моё тёплое отношение к нему, то ли взволновали пережитые воспоминания—в его глазах блеснули слёзы. Старик тотчас повернулся и, слегка сутулясь, зашагал к дому. Я смотрел ему вслед, и мне до боли в сердце стало жаль его, одинокого, глубоко несчастного…

Наутро я встал рано и первым делом поспешил туда, где накануне увидел поляну среди кустов, укрытую незабудками.

По мосткам я пробрался на другой берег реки, собрал букетик влажных от росы цветов и отправился на сельское кладбище. Всё ещё находясь под впечатлением от рассказа деда Гриши, я горел желанием увидеть… Нину. Среди стройных кладбищенских берёз отыскал ухоженный могильный холмик. С надгробной пирамидки светлым взглядом больших небесных глаз на меня смотрела девушка редкой красоты с пышной косой на груди. Холмик был сплошь усеян цветущими незабудками, на которых, словно слёзы, блестели капли росы.

Анжела Бецко

Как вы, рыбы?

Скупщик памяти

— Едет! Он едет! Сюда! Сюда! — неслось по двору, и все дети знали, кто такой «он».

«Он» — старый седой цыган с бородой и усами, на деревянной ноге, старьёвщик на телеге, запряжённой серой в яблоках лошадью, скупщик памяти, продавец воздуха и безраздельный повелитель детских сердец. В девочкин двор он въезжал царём и победителем. Бессловесным и безусловным. Слова излишни: для победы достаточно взгляда!

Телегу украшали красные атласные ленточки, в которые вплетался ветер. И колокольчик пел серебряно под красной расписной дугой. Повозка останавливалась на дворовом пятачке у контейнеров с мусором. Но эта прозаическая деталь ничуть не портила поэзию происходящего. Серая в яблоках лошадь приветливо кивала собранию головой и учтиво позволяла гладить свою неизменно добрую морду. И морда, и голова, и лошадь, и, главное, собрание отлично знали, что настоящая дружба крепка не столько нежными поглаживаниями да лёгкими похлопываниями, сколько хлебом, морковкой, яблоками, финиками, печеньем и белоснежными кубиками сахара-рафинада, а о вреде сахара и пользе фруктов никто и слушать не хотел. Имя лошади было неизвестно: и животное, и хозяин хранили молчание, и это обстоятельство разрешало собранию всякий раз нарекать лошадь по-новому. Впрочем, имя старьёвщика тоже оставалось тайной, как и время его появления на свет Божий и в девочкином дворе, и место его земного пребывания.

Зеваки за секунду облепляли телегу, а самые удачливые устраивались на колесе. И то были зрители. Что касается пьесы, то по жанру это была драма: ещё не трагедия, но уже не комедия. Но о жанрах современного театрального искусства девочка не знала ничего: ей вполне хватало неохватной и высокой — почти до остановки дыхания — любви к Его Величеству Театру. А действующие лица со свёртками, связками, узлами и авоськами — как по команде — высыпали из подъездов и устремлялись к режиссёру-постановщику действа — старьёвщику. Он, стоя в телеге во весь рост, окидывал «просителя» с головы до ног оценивающим взглядом, лукаво усмехался в усы и бороду и брал из его рук «товар». У каждого «товар» был свой: у одного — изношенная одежда, у второго — стоптанная обувь, у третьего — толстые затрёпанные книги, прошлогодние газеты и ненужные письма в пожелтевших конвертах. Несколько семей из девочкиного дома навсегда уезжали в Израиль, и фотографии из прежней, очевидно, не сложившейся и сломанной жизни им были ни к чему, и они несли фотоальбомы. Всю эту россыпь ныне негожего, зряшного и лишнего можно было назвать одним словом — прошлое. И теперь оно особенно тяготило его владельцев и желало быть немедленно продырявленным большим безменом собирателя хлама и выменянным на пригоршню безделушек — такова красная цена прошлого в базарный день. Процесс взвешивания «товара» был простой условностью: старая пружина в безмене заржавела и растягиваться давно отказывалась. Но старьёвщик деловито цеплял связку с барахлом на крючок и, прищурившись, пристально вглядывался в шкалу безмена, пытаясь разобрать деления и цифры, стёршиеся, вероятно, ещё в минувшем веке, затем снимал с крючка взвешенное, швырял его в конец телеги и распахивал сундук, служивший облучком и ларцом одновременно. В сундуке жила звонкая, цветная, яркая, сладкая радуга: глиняные горшочки, ступки, зеркальца, мыло, бусы, ленты, заколки, носовые платки, нитки, иголки, напёрстки, свистульки, резиновые мячики, игрушечные пластмассовые часики, крошечные куколки-голыши, скакалки, воздушные шарики, школьные тетрадки и золотистые леденцовые петушки на палочке в целлофановой обёртке! И старьёвщик всему двору по кусочку раздавал радугу, как раздают в день своего рождения вкусный торт. Толпа замирала в восхищении, а режиссёр-постановщик пьесы с высоты своего помоста и положения хищно и плутовато взирал сверху вниз на актёров и зрителей. Взгляд, усмешка, поворот головы и вечное многозначительное молчание — так много дьявольского могло быть только… в дьяволе! И девочка была уверена, что старьёвщик — вовсе не старьёвщик, а самый обыкновенный чёрт со всеми чертовскими атрибутами: рогами, хвостом и копытами. Но проверить это она не могла: в любую погоду на старьёвщике были шляпа и сапоги, и даже

в знойный день грязный и мятый его пиджак был всегда застёгнут на все пуговицы. А потом сундук с радугой захлопывался, и, звонко хлестнув лошадь вожжами, старьёвщик (или чёрт?) потихоньку уплывал из девочкиной жизни до нового своего визита.

Бедняк и богач, святой и разбойник, бог и дьявол, великий немой и ловец человеческих душ, он давал мелкие монетки и тем, кто сегодня не продавал память, в надежде, что они сделают это завтра. И если бы он хотел увезти в своей телеге всех детей двора, то с лёгкостью бы увёз. И не против силы, а беспрекословно, по согласию и доброй детской воле. Но больше любопытных маленьких носов он любил свои сокровища, что составляли его счастье и были его большой вселенной. А она в знак благодарности за покорность и верность ей одаривала его горами никчёмных и бесполезных вещей, от продажи которых он имел мизерный, но стабильный доход. От детей же никакого проку—лишь сплошные расходы, поэтому детская стайка не убывала. И каждый раз, провожая телегу старьёвщика до последнего подъезда пятиэтажки, где царственно раскинулся шиповник, она с грустью смотрела вслед, пока повозка не скрывалась за соседним домом. А в ушах ещё долго слышались скрип колёс и бодрое цоканье лошадиных копыт.

Этот странный старик, пропахший солнцем, ветром, пылью и дождём, немотствующий и видящий тебя насквозь, вместе с отжившими свой век вещами увозил в телеге в неведомую девочке страну человеческую память и своё глубокое знание жизни, оставляя людям в залог в их новой действительности возможность жить с чистого листа и совершать новые ошибки—по беспамятству и незнанию, неискушённости и неопытности.

А через весь двор вдруг опрокидывалась радуга, нарядная, пёстрая и певучая. Но теперь она выплёскивалась не из сундука старьёвщика, а из самого девочкиного сердца и застилала небо. А в радуге купались белогрудые весёлые ласточки и под её высокой аркой лепили гнёзда. Ласточка—вестница: она на своём хвосте лето приносит.

Как вы, рыбы?..

Приходит зима, и на душе у девочки делается чисто и светло. Будто там тоже снег—чистый-чистый и белый-белый. Но, в отличие от настоящего, тот снег не гребут дворники, и он никогда не чернеет.

У девочки есть бабушка, и её, как и Богородицу, зовут Мария. Бабушка живёт в деревне. А деревня раскинулась на берегу большого водохранилища. Когда-то заболоченное место с важными журавлями, хитроумными цаплями и приветливыми аистами превратилось в рукотворное море. Журавлей и цапель с тех пор не видно, а молчаливые аисты по-прежнему гнездятся на водонапорных башнях, вершинах крупных деревьев, высоких столбах, крышах домов и каждый год в длинных красных клювах не забывают приносить людям малюток в пелёнках и с пустышкой во рту. А ещё за деревней—цепочка больших и маленьких прудов с разными рыбами и лягушками, тритонами и улитками, водяными жуками и пауками, блошками и личинками. И между тоненькими нитями полупрозрачных трав беспокойными челноками снуёт-суетится по насущным делам подводный народ, торопясь разрешить до зимы все свои неотложные вопросы.

Деревня вьётся узкой длинной лентой по обе стороны дороги. В доме напротив живёт бабушка Таньки Матоты. Низенькая и сухонькая старушка со странным именем Варочка всегда улыбается и, светясь изнутри тихим светом, каким светятся иконы, гладит девочку по голове. Как и девочка, Танька приезжает из города. Матота—совсем гнилой товарищ, как яблоки в саду в год проливных и затяжных дождей, и ей нельзя доверить даже крошечной тайны: вмиг всей деревне разболтает. Причиной гниения яблок может быть и больная яблоня с живущими на ней паразитами. Танькины паразиты запрятаны у Таньки в голове. И ещё на языке, когда он кривляется и говорит обидные слова. Девочка даже заприметила парочку. Ну а главный паразит—ростом с Таньку—сама Матота! Но чтобы не слоняться в одиночку, девочка иногда слоняется с Танькой. Истину великого и мудрого Омара Хайяма: «Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало»,—девочка пока не постигла, но каждый раз, встречаясь с Матотой, девочку терзают смутные сомнения, и судьба одинокого столба выглядит куда привлекательней бездарного времяпрепровождения с пустоголовой воображалой и задавакой.

—Задавака—высший сорт!
Куда едешь?
—На курорт.
—На курорте пусто.
Выросла капуста!..

Воображала хвост поджала
И под печку убежала,
А под печкой крокодил
Воображалу проглотил!..

Это про Таньку. А Матота—не фамилия, а прозвище. Когда Танька была от горшка два вершка, на вопрос: «Как тебя зовут?»—всем отвечала: «Матота». Так и прижилось. А быть одиноким столбом даже полезно. Только надо быть столбом высоким, чтобы на тебе гнездились аисты! Танькин старший брат Юрка—заядлый рыбак. Всё лето торчит он с удочкой на море и таскает мелкую серебристую рыбёшку, которую не нюхают

даже деревенские коты. У этих котов какой-то особенный вкус, потому что и мышей они жуют с большим одолжением. Зато птичек и их птенчиков в гнёздах — просто обожают! Девочка не раз спасала птичье гнездо, но за каждым котом не уследишь. Красавчик и озорник Юрка постоянно подмигивает девочке правым глазом: наверное, левым подмигивать ещё не научился. Что означает это подмигивание, девочка пока не поняла, но на всякий случай держится с Юркой строго и норовит улизнуть от него подальше.

А зимой девочка с Матотой, Юркой и другими ребятами скользит на пруду. Коньки из города никто не привозит, и девочкины драгоценные беленькие чешские фигурные конёчки с тремя золотистыми звёздочками на ботинках дожидаются её в шкафу в прихожей. Но можно скользить в сапогах или валенках. Разгоняешься по снегу — и вихрем несёшься по гладкому льду пруда, начиная от самой его кромки. Зеленоватый крепкий лёд выдержит стадо слонов — и бояться провалиться и утонуть не надо! Застывший пруд — словно телевизор с громадным экраном, полотно в сто твоих осторожных шагов, картина такой красоты, какой и во сне не увидишь. А под тобой в глубокой тишине на самом дне целыми стаями неподвижно стоят рыбы. И в лютые морозы вода на дне не замерзает. Рыбы стоят совсем плотно друг к дружке, рядком, головами все в одну сторону. Их тело — как шубой — покрыто слизью. Ни хвостом, ни плавником не шевельнут. Только по едва приподнимающимся жабрам можно понять, что рыбы живы. Просто они спят. Лягушки в тину закопались, улитки раковины закрыли, и весь мелкий подводный народ до весны зарылся в мягкий надёжный ил. И девочка долго — кажется, всю жизнь — лежит на животе, уткнувшись носом в лёд, и во все свои зелёные изумлённые глаза смотрит в спокойные водянистые глаза неведомого мира. Зеркальный пруд — гигантский сияющий «секретик», спрятанный таинственным великаном на снежном берегу. Девочка тоже умеет делать «секретики», но такие необъятные, да ещё с живыми рыбами, — никогда! Уже нос замёрз и даже вмёрз в лёд, но она этого не ощущает, потому что интерес — всё, а нос — всего лишь нос: пустячный, маленький и курносый. А со стороны может показаться, что девочка ловит им рыбу:

«Ловись, рыбка, и мала, и велика! Ловись, рыбка, и мала, и велика!»

«Ясни, ясни на небе звёзды! Мёрзни, мёрзни, девочкин нос!»

Загадочный и прекрасный, мир живёт под девочкой своей обычной и непостижимой для неё жизнью и ничуть не замечает девочкиного присутствия. И можно постучаться в его огромное окно:

— Как вы, рыбы?..

А рыбы молчат, а если и пролепечут что-то спросонья, то девочка всё равно не расслышит, ведь говорят они тихие слова очень тихими голосами. А можно, как Иисус, ходить по водам. Пусть и замёрзшим. И не причинять никаких неудобств тем, кто рядом, и не беспокоить их, не тревожить и не обременять. Только любить. Молча и восторженно.

Ребята давно разбрелись по домам, и вокруг — никого. Только снега белая равнина. И синее торжественное органное небо. И разлитое солнце на снегу. И больно глазам. А тишина такая, какая бывает, когда с головой уходишь под воду.

Командир подводной лодки

Баба Агата из шестого подъезда девочкиного дома была легендарной личностью. Сколько ей лет, в точности никто не знал, но все говорили, что она видела живых фашистов. Подробности этой истории были тоже неизвестны, но сам факт её встречи с врагом создавал вокруг бабы Агаты таинственный и героический ореол. Каждый пробегающий мимо сосед почитал за честь хотя бы на минуточку присесть возле неё на скамейку: то ли для того, чтобы приобщиться к истории великого подвига в страшной войне, то ли поддержать одинокую, больную бабу Агату.

Её голова была наклонена вперёд, руки согнуты в локтях, пальцы сжаты в кулак. И всё её тело страдало от непроизвольной бесконечной тряски. Чтобы кулаки не плясали на коленях, баба Агата цеплялась за свою тросточку, и тогда тросточка тоже весело пускалась в пляс. Сгорбленная, еле ковыляющая на полусогнутых ногах, баба Агата здорово смахивала на живущую в пруду мудрую черепаху Тортилу из любимой девочкиной сказки. И девочка знала, что где-то у себя верно и надёжно баба Агата хранит золотой ключик и передаст его самому достойному. Без посторонней помощи ей было невозможно, и в любую минуту ей грозило падение. Говорила баба Агата с большим трудом, зато всегда по делу и о самом главном. Её вечно недоеденную кашу во рту разбирала только Танька Долмат. Она жила в квартире напротив и часто гостила у бабы Агаты. Танька ужасно гордилась своей ролью переводчицы. Всякий раз, возвращая смысл бабы-Агатиной невнятице, Танька будто извлекала золотой ключик из глубокого пруда черепахи Тортилы, полного «лягушек, пиявок и личинок водяного жука». И выходило, что всё самое важное для бабы Агаты заключалось в нескольких словах: «солнце», «дождь», «весна», «трава», «дерево», «птица». Про зиму баба Агата, кажется, ничего не знала. Наверно, она про неё просто забыла, потому что зимой на улице не бывала. Два слова она твердила с упрямым постоянством. Танька ручалась, что слова эти — «анютины глазки». Из уст бабы Агаты звучали они

странно и неожиданно, как, например, «аленький цветочек». Проверить правильность Танькиного перевода было нельзя. Но на клумбе у шестого подъезда росли только эти цветы.

Причин бабы-Агатиной болезни не знали, но у каждого была своя единственно верная версия. Одни уверяли, что баба Агата упала с высокого дерева, другие полагали, что её болезнь развилась после встречи с проклятыми фашистами, третьи твердили про укус опасного малярийного комара.

Девочка тоже знала историю про комаров. Было это летом в первый год войны. На деревню наступали фашисты. И все жители побежали прятаться в болото. Девочкина бабушка Мария взяла на руки сыночка (было ему полгода) и побежала вместе со всеми. Тучи злых комаров накинулись на людей. Малыш громко плакал. И люди прогнали бабушку, чтобы она их не выдала. Бабушка с сыночком вернулась в деревню. Кроме фашистов, там никого не было. Они уже хозяйничали в её доме, а ей приказали убираться в сарай. До темноты люди сидели в болоте и вслушивались в тишину. Они пытались понять, живы ли Мария с сыночком. Выстрелов никто не слышал, и люди вернулись в деревню. Чтобы фашисты не убили крошку-сына, девочкина бабушка стирала им бельё. Так было три года. Потом пришла наша Красная Армия и погнала фашистов далеко-далеко. После войны болото осушили, и комары пропали. А бабушкин сыночек вырос и стал девочкиным папой.

Во дворе бабу Агату любили и помогали чем могли. Каланча Жанка с третьего этажа бегала в магазин за хлебом и кефиром; толстый дядя Толик из соседнего подъезда привозил из деревни для бабы Агаты красные яблоки и крупные, со сладкой мякотью, жёлтые сливы; Тамара Петровна с первого этажа вела нехитрое бабы-Агатино хозяйство, стирала её одежду, варила супы, пекла пироги и выводила её на прогулку. Свежий воздух и летнее солнце, люди и птицы, кошки и собаки радовали бабу Агату, но в запертой квартире она оставалась одна. Девочка знала, что сначала у неё будет муж, потом пойдут дети. Так бывает всегда и у всех. И у бабы Агаты тоже есть семья. Но занятым людям недосуг носа утереть. И девочка представляла себе, что муж бабы Агаты, к примеру, космонавт. И у него то подготовка к полёту, то месяцы работы на околоземной орбите, а после приземления ему приходится заново учиться ходить. Вот и не может он навестить свою бабу Агату. А сын — капитан дальнего плавания. Ну, или командир краснознамённой подводной лодки. Капитан третьего ранга. И Герой Советского Союза. Как Маринеско. И ему некогда сойти на берег.

Наступила осень. С берёз тихо сыпались жёлтые листья. Всё шире расползались голубые просветы в небе. Воздух делался ясней и прозрачней. Низкое солнце уже не грело. Дождей не было. Не было и бабы Агаты. И все знали, что не будет никогда: она умерла. У шестого подъезда на старых кухонных табуретках стоял маленький красный гроб, украшенный широкой чёрной лентой. Люди обступили его и смотрели на затихшую бабу Агату. Её больше не трясло. Теперь её, наконец, отпустило. И девочка со страхом и любопытством вглядывалась в жёлтое высохшее лицо, тёмные провалы глаз, заострившийся нос, бескровные губы и вздёрнутый подбородок. Редкие седые волосы были убраны под праздничный платок, а в сложенных на груди жёлтых руках цвели анютины глазки.

— Явился не запылился! — прорезал тишину знакомый визгливый голос.

Девочка обернулась. В нескольких шагах от неё стоял невысокий человек в чумазых ботинках на босу ногу. Длинные сухие руки выглядывали из рукавов некогда белой сорочки с оторванной пуговицей, вытянутые на коленях, измятые брюки украшало большое масляное пятно. Его всклокоченные волосы давно не знали расчёски, а расквашенный нос разнесло на пол-лица. По впалой щетинистой щеке незнакомца вдруг скатилась крупная слеза, и корявым кулаком он принялся тереть глаз. Руки его дрожали.

— Да кто тебе поверит, выпивоха?! Опять в зюзю уклюкался! — раздался тот же голос. — Мать в гробу, а у него черти в глазах пляшут!

Девочка хорошо знала этот голос. Он принадлежал Тамаре Петровне.

— Мать сиротой жила, а теперь и сам осиротел! — снова в сердцах бросила она.

Человек растерянно и глупо улыбнулся, и по другой его щеке скользнула такая же крупная слеза. Он несмело, бочком, подошёл к гробу, склонился к самому лицу бабы Агаты и громко прошептал:

— Прости, мать…

Баба Агата не ответила, но простила. Она прощала всем. Потом на соседских руках маленький красный гроб поплыл в огромную синюю вечность. Девочка шла за гробом и всю дорогу косилась на сына бабы Агаты, пытаясь разглядеть в его глазах пляшущих чёртиков. А он всё беспокойно озирался, будто обронил что-то дорогое, без чего теперь не будет жизни.

Тамара Петровна никак не понимала, что для того, чтобы в последний раз увидеть бабу Агату, командир краснознамённой подводной лодки сошёл на берег. И за самовольное оставление корабля в боевой обстановке ему грозит трибунал.

Вскоре на худенькой шее Таньки Долмат на тонкой верёвочке блестел новый увесистый ключ. И Танька хвасталась, что он золотой.

Татьяна Маркинова

История Ванюшки

Ванюшка проснулся раньше всех. В избе было холодно. На печи спали его больная мать и младшие братья. Мальчик неохотно выбрался из-под старого тулупа, который остался ещё от отца, и посмотрел в мутное окно. На улице начинало светать.

В животе заурчало. Ванюшка вспомнил, что не ел уже два дня. Да и братья его с матерью тоже.

— Ты уже проснулся?—раздался с печи тихий голос матери.

— Да, пойду к председателю. Попрошу у него работу. А вы спите. Нечего на улице делать. Сыро там,—шёпотом, но строго, совсем по-взрослому, произнёс Ванюшка.

На самом деле мальчику было двенадцать лет, но выглядел он как восьмилетний. Маленький и худенький. С тоненькой шеей, на которой виднелись синие венки. Его редкие русые волосёнки торчали в разные стороны. Сразу было понятно, что гребень их уже давно не касался. Но мальчик не обращал внимания на такие мелочи. Впрочем, не до внешности было парнишке. Мучила его одна горестная мысль: нужно было найти работу, ведь он в семье теперь главный и должен позаботиться о матери и младших ребятишках.

Обмотав ноги серыми портянками, обувшись в уже изрядно поношенные сапоги и надев дырявую, когда-то отцовскую, фуфайку, мальчишка прихватил с лавки большой картуз с поломанным козырьком и, чуть скрипнув дверью, вышел в сени. В сенях пахло гнилыми досками и сухим укропом, что висел у дверей, напоминая о наступающем лете.

Задержавшись на крылечке, Ванюшка осмотрел своё хозяйство. У прясла всё ещё местами лежали комья грязного снега, а рядом с ними—кучи прошлогодней картофельной ботвы. Через несколько дней уже надо будет браться за уборку—сжигать мусор и копать огород.

Думая о том, где взять картошку на посадку, под звуки чавкающей под ногами грязи мальчик шёл по деревенской дороге к председателю с надеждой, что тот ему поможет—даст работу, а значит, и хлебный паёк, которого Ванюшка не видел уже довольно давно. Как они выживали всё это время после закрытия завода, он и сам не знал.

Когда началась война, отец его добровольцем ушёл на фронт. Спустя два года он погиб. Ванюшка и вся его семья очень скорбела о потере кормильца и всеми силами старалась выжить в тех суровых условиях.

Ещё в начале войны возле деревни, где жил Ванюшка, поставили завод, который привезли сюда, в тыл, издалека. Здесь местные жители день и ночь мастерили снаряды. Мать и Ванюшка, которому на тот момент было всего восемь лет, работали там же. Они вставали к станку с рассветом и ворочали тяжёлые металлические снаряды, зарабатывая себе и маленьким Сашке и Мишке на хлеб. Да, было трудно, еды не хватало. От голода Ванюшка всё время чувствовал слабость. Он быстро уставал, но, понимая, что, кроме него, больше некому, собирал свои силёнки в кулачок и работал наравне со взрослыми и другими детьми. На последних и держался завод. Именно мальчишки и девчонки, чтобы выполнить норму по изготовлению боеприпасов, стояли у станков дни и ночи напролёт.

Бывало даже такое, что взрослые, не выдержав непосильной нагрузки, сбегали со смены, но Ванюшка не смел. Да, он был самым маленьким—остальные дети были старше десяти лет,—но едва ли не самым ответственным и серьёзным.

Частенько во время смен маленькие работники падали в обморок от изнеможения, а случалось, что и умирали. Каждый раз в такие моменты у Ванюшки сжималось сердце. Он тоже боялся, что не выдержит тяжёлого графика, но мысли о младших братьях, об отце, который погиб на фронте, придавали ему сил. А ещё сил придавали надежда и вера, что когда-нибудь наступит мир и он сможет пойти в школу.

Четыре года проработал на заводе мальчонка, помогал семье как мог, как умел. Иногда, когда его смена заканчивалась, он вставал у станка вместо матери, чтобы та хоть немного могла побыть дома, Сашке с Мишкой рубашонки постирать. Помогал фронту, надеясь всем сердцем, что своим трудом он приближает победу, что он тоже внёс свой пусть и небольшой, но вклад в борьбу с врагом.

И вот наступил День Победы. Все были счастливы. Ура! Наконец можно перевести дух, отдохнуть от каторжного труда и сбросить оковы постоянного страха. Пришла пора начать налаживать быт, свою жизнь. Так думали люди. Но не тут-то было. Война закончилась, однако кругом

царила разруха, голодали по-прежнему, потому что работы не стало. С окончанием войны завод по сборке снарядов закрыли, а оборудование увезли в другой далёкий город.

Мать Ванюшки, оставшись без хлебного пайка и не зная, где его заработать, помыкалась, помыкалась и слегла. Вот уже несколько недель спускалась с печи только раз в день, чтобы сходить по нужде. Теперь она постоянно лежала под старым грязным тряпьём, время от времени приподнимая голову, чтобы посмотреть на ребятишек.

Горько было Ванюшке глядеть на мать, которая всю войну работала наравне с мужиками и ни разу не охнула, не пожаловалась на суровую жизнь. Тянула семью как могла, отдавая свой паёк детям. Себе оставляла лишь крохи, чтобы были силы проснуться на следующее утро и снова пойти на работу. Ванюшка вспоминал, какая мать была до войны: весёлая, красивая, улыбчивая,—а сейчас почти седая, худенькая, сгорбленная. Если бы сегодня её увидел муж, которого она пять лет назад провожала на войну, он бы свою любимую не узнал—настолько она изменилась, состарилась не только внешне, но и внутренне.

Ванюшка шёл по деревне, вспоминал свою работу на заводе и думал, что хоть она и была не из лёгких, но зато постоянная. Младшим братьям всё же доставался хлебушек, пусть и по чуть-чуть, а теперь он не уверен, сможет ли хоть что-то заработать, чтобы накормить мать и братьев. Он шёл по широкой улице и прислушивался к далёкому гулу проезжающего поезда. Эх, услышать бы крики петухов! До войны в каждом дворе был свой петух. Сейчас на всю округу не осталось ни одного. Последний, у соседей Ванюшки, зимой издох от голода.

Деревня, в которой жил мальчик с семьёй, была небольшой—всего-то в две улицы, но очень длинных. Находилась она в семи километрах от города Н., что было очень удобно. Именно из-за железной дороги и близости к городу завод сюда и эвакуировали. Правда, сейчас от него не осталось и следа.

Думая о родных, которые ждут его с добрыми новостями, мальчик дошёл до раскомандировки, куда каждое утро забегал председатель, чтобы распределить обязанности среди работников. Впрочем, обязанности особо не менялись, но всё равно так уже привыкли, и поэтому так нужно было делать.

То же самое было и этим утром. Стоило только Ванюшке дойти до покосившейся, старенькой, с маленькими окошками мазанки, как из-за угла вывернул сам председатель Николай Лукич. Пожилой уже человек, но всё ещё в силе. Громким голосом он поприветствовал всех присутствующих, глянул и на мальца. Видимо, понял, зачем тот явился.

К председателю подошёл бригадир, сухой столетний дедушка, который по совместительству работал и конюхом, и сторожем, и бог ещё знает кем. Работы выполнял много, как и все другие работники. Давно он уже собирался на отдых, да всё никак не получалось. Дела передать свои было некому. Вот скоро мужики с войны начнут возвращаться, тогда-то он и отдохнёт.

Ванюшка терпеливо стоял в сторонке. Наблюдал за разговором взрослых. Дав распоряжения, председатель наконец-то подошёл и к нему.

—Чего ты здесь в такую рань?—спросил он мальчика.

—Знаете ведь зачем,—просительно заглянул в глаза председателю малец.

—Говори. Не тяни время,—нахмурился Николай Лукич.

—Работа мне нужна. Мамка и ребятишки уж какой день не знамо чем живут. В доме шаром покати,—грустно ответил мальчуган.

—Нету для тебя подходящей работы. Мал ты ещё,—отвёл взгляд в сторону председатель.

—Как это мал? Как это мал?—дрожащим голосом быстро заговорил Ванюшка.—В войну на заводе по четырнадцать, а то и шестнадцать часов работал—мал не был, а тут мал? Как же так?

—Война закончилась. О школе надо думать. Пусть теперь другие работают. Хватит детям горбушки ломать,—продолжая смотреть вдаль, ответил Николай Лукич.

—А как же мне сейчас жить? Чем кормить семью? Отец-то у меня погиб. Я за него остался,—чуть не плача, лепетал Ванюшка.

В глазах мальчишки потемнело, сердце сжалось от несправедливой обиды. Сколько лет он на заводе трудился, мастером почти стал, а тут оказался никому не нужен! Даже председатель, зная его заботы, отказался ему помочь.

—Извини, брат. Ну нету у меня для тебя работы. Нету,—отрезал Николай Лукич и стремительно зашагал к сельсовету, где уже начали собираться бабки, все с какими-то просьбами: у кого дрова закончились, у кого печь развалилась. У всех были свои проблемы, которые нужно было решать.

Постояв немного и проводив грустным взглядом сутулую фигуру Николая Лукича, мальчик вытер выступившие слёзы. Он сделал шаг и чуть не упал от усилившейся дрожи в ногах не то от голода, не то от собственного бессилия. В этот момент он почувствовал себя таким маленьким, слабым и беспомощным, что ему захотелось просто рухнуть на мёрзлую землю и больше не вставать. Казалось, душа вот-вот покинет его уставшее тело и наконец-то настанет облегчение, свобода, о которой он уже и думать забыл.

Сколько пережил двенадцатилетний мальчуган за это непростое время, сколько передумал, понимая свою ответственность перед родными, осознавая, что их жизни зависят теперь от него,

известно только одному Богу. А теперь вот с работой не ладилось…

Ванюшка сглотнул ком в горле. Он понял, что ничего другого ему больше не оставалось, как попытать счастья в городе. Шансов найти хоть что-то тоже было мало, потому что деревенские ребята постарше уже отправились туда на заработки, к тому же и своих городских безработных хватало. Но что ему было делать?

Мальчишка поправил свой неказистый картуз и зашагал по обочине дороги в сторону города. Благо он находился не так уж далеко. Напрямки, через лесок, было ещё ближе. Одна беда: прошёл слух, что местные видели в том лесочке пару тощих волков, которые запросто могли загрызть человека, тем более безоружного. Подумав немного и пересилив страх перед хищниками, мальчик всё же решил идти короткой дорогой.

Погрузившись в свои безрадостные мысли, Ванюшка не заметил, как добрался до города. Не раздумывая, он сразу направился к рынку, где, как ему казалось, вероятность заработать на корку хлеба была немного выше. Он не мечтал найти постоянную работу, но в его душе теплилась надежда, что какой-нибудь добрый человек сжалится над ним и даст возможность получить хоть пару медяков.

— Дяденька, дяденька, нет ли у вас для меня работы? Я всё могу,—обратился Ванюшка к первому встречному.

— Иди отсюда. Не болтайся под ногами,—цыкнул на него беззубый дядька с редкой рыжей щетиной.

— Тётенька, давайте я помогу вам корзины донести,—предложил мальчик помощь толстой рябой тётке, которая, пыхтя, тащила две корзины белья. Видимо, направлялась к прачке.

— Сама я ещё в силах. Донесу,—взглядом оттолкнула его тётка, продолжая бубнить себе под нос:— Развелось ворья. Глаз да глаз нужен. О-хо-хо. Так и средь бела дня обворуют. Никто и пальцем не пошевелит, чтобы помочь.

Увидев вдалеке милиционера, Ванюшка кинулся было к нему, чтобы попросить работы, но потом остановился, задумался: тот скорее не работу ему даст, а велит возвращаться в деревню. А как он домой вернётся? С чем? Там ведь мать и Сашка с Мишкой его ждут. Наверное, все глаза проглядели в окошко. Думают, что он вот-вот придёт и еду принесёт.

Полдня мальчишка по рынку крутился. Работы и здесь для него не было. Отправился он тогда бродить по городу. Заходил в каждый двор, спрашивая, не нужна ли кому рабочая сила. Но люди, узнав, что в качестве рабочей силы мальчик предлагает себя, шарахались от него в сторону. Не верили они, что такой худенький, маленький, с тёмными кругами под глазами и трясущимися руками человечек может выполнять какую-то работу. Уж больно хрупкий. Казалось, он на ногах-то еле стоит, какой уж из него работник!

— Сколько лет-то тебе, мужичок?—спросил его седовласый старик, когда Ванюшка обратился к нему с предложением выполнить любую работу. Пусть не за деньги. Пусть за еду. Ему всё сойдёт.

— Двенадцать мне в этом году, по зиме, исполнилось,—вытянулся мальчик, чтобы выглядеть повыше.

— Шутишь ты, однако. Не дашь тебе столько,— недоверчиво покачал головой старичок.

— Не до шуток мне, дедушка,—грустно вздохнул Ванюшка.—Правда, мне двенадцать лет. Просто я раньше на заводе работал. Слышали ведь, наверно, стоял тут у нас во время войны? Работал я так много, что расти забывал. Каким был до войны, таким и остался.

— Ну, ничего. Скоро всё на лад пойдёт. Подрастёшь ещё.

Выслушав его ответ, старичок было пошёл дальше, но вдруг остановился, порылся в своей полупустой сумке, достал оттуда маленький, чёрствый, как камень, пряник и подал его Ванюшке.

— Не нужно. Что вы? Я могу заработать,—испугался тот.

— Бери, пока дают,—улыбнулся дед и сунул мальцу пряник за пазуху.

Не удержался Ванюшка, прижался к старичку. Хотел поцеловать его сухонькую руку, да тот его остановил. Чуть приобнял и отправился по своим делам.

Ух, как обрадовался мальчик прянику! Крепко зажал его одной рукой под фуфайкой, как самое драгоценное сокровище. Заметив, что день клонится к вечеру и пора возвращаться в деревню, Ванюшка побежал домой.

Дома его уже заждались. Сашка и Мишка, в грязных серых пальтишках и вязаных шапочках, как два оловянных солдатика, стояли возле калитки и, вытянув шеи, смотрели в разные стороны, не зная, откуда появится их старший брат. Когда же увидели его, спешащего по дороге, побежали навстречу, запищали от радости, захлопали в ладоши.

— Что ты принёс нам, братка?—заговорили они наперебой, заглядывая в глаза Ванюшке.

— Пряник я вам несу. Вкусный-превкусный,— зажмурился в предвкушении сладкого Ванюшка.— Пошли домой. Мамка сейчас на всех разделит.

Мать, услышав, что старший сын вернулся, да ещё и пряник принёс, спустилась с печи. Достала ржавую тёрку и натёрла на ней пряник. Крошки разделила на четыре части. Себе положила меньше всех. Сыновьям побольше.

Сашка и Мишка между тем возле стола крутились. Ждали, когда же мать выдаст им свои доли. Но мать детям крошки по чашкам сыпать

не стала. По очереди каждому и себе ложкой под язык крошки ссыпала и попросила ребятню их сразу не глотать, а сосать помаленьку. Так они успеют насладиться вкусом, да и перебить голод, который мучил их уже пару дней.

— Работу нашёл? — тихим виноватым голосом обратилась мать к старшему сыну.

— Пока ещё нет, но я обязательно найду, — как можно убедительнее ответил Ванюшка, хотя и знал, что сделать это будет трудно, а точнее, почти невозможно.

Судя по сегодняшнему дню, даже в городе работы ему не видать. Но он не мог огорчать своих мрачными новостями. Пусть они порадуются прянику, глядишь, и поспят спокойно.

Завтра наступит новый день, и кто знает, что он принесёт с собой?

Два дня подряд Ванюшка ходил в город, но всё безуспешно. Работа для него не находилась. Ребята постарше и покрепче устраивались грузчиками, а его никто не брал. Не верили люди, что он сможет унести мешок. Выглядел он уж слишком хилым.

Домой мальчишка возвращался поздно, когда малые уже спали. Утром — уходил пораньше, пока они ещё спали. Из еды принести ничего не удавалось. А как смотреть братишкам в глаза, если пришёл с пустыми руками, Ванюшка не знал, поэтому-то и предпочитал приходить и уходить затемно.

На третий день мальчик уже было подумал начать попрошайничать. Стыдно было до ужаса, но ничего другого в голову не лезло.

Простояв с утра до обеда с протянутой рукой на рынке, он понял, что и здесь ему ничего не светит, — народ проходил мимо, будто он был человек-невидимка. Закручинился Ванюшка и побрёл по улицам города, боясь поднять голову, потому что в глазах его стояли слёзы. Мальчик принялся слоняться среди полуразрушенных домов уже не в поисках работы, а просто лишь бы не стоять на месте. Думал, может, опять того доброго старичка, что дал ему пряник, встретит. Но нет. Знакомых у него на улицах города не было. Даже улыбающихся людей не попадалось.

Вот вроде война кончилась, а люди по-прежнему хмурились и грустили. Каждый бежал по своим делам, никого вокруг не замечая, не интересуясь ничьими печалями. Казалось бы, одна беда на всех, столько всего пройдено, люди должны сплотиться, сопереживать друг другу, но нет — все сосредоточились только на своих заботах и хлопотах.

Проходя мимо булочной, Ванюшка замедлил шаг. Его привлёк запах свежеиспечённого хлеба. У него аж голова закружилась от голода, и немного затошнило. Мальчишка остановился и заглянул в магазинчик. Народ толпился возле лотков с чёрным хлебом. Денег у Ванюшки не было, но аромат съестного так и манил, уговаривал зайти и хотя бы подышать чем-то съедобным.

Народ по-прежнему галдел и толкался, не обращая внимания на худенького оборвыша, который жадно сглатывал слюну и глядел то в лица людей, то на лотки с хлебом. В какой-то момент рука его сама потянулась к чёрному хлебу. Ванюшка почувствовал, как затряслись его поджилки. «Вдруг кто-нибудь увидит?» — крутилась в голове страшная мысль. Ведь если такое случится, ему несдобровать. Но всё обошлось, и спустя мгновение булка уже лежала у него за пазухой. Малец, каждую секунду ожидая, что его вот-вот схватят за шиворот, не оглядываясь, вышел из булочной.

Убедившись, что никто в его сторону даже не смотрит, Ванюшка поплёлся вдоль высокой изгороди, доверившись своим ногам, которые несли его куда глаза глядят.

Вскоре он оказался в заброшенном парке, поросшем бурьяном. Сквозь сухую прошлогоднюю полынь и морковник виднелись разломанные деревянные скамейки. На голых ветках деревьев прыгали, громко чирикая, серые воробьи. Никому, даже этим воробьям, не было дела до несчастного голодного деревенского мальчишки.

Ванюшке было необходимо найти укромное местечко, чтобы перевести дух и подумать, что делать дальше. Мысль, что он совершил преступление, не давала ему покоя. Наконец он нашёл более или менее уцелевшую скамейку, сел на неё, достал буханку и положил рядом. Даже чуть её от себя отодвинул, как будто передумал брать хлеб домой. Его захлёстывал жгучий стыд. Он вор. Вор! Как он мог на такое решиться? Мальчик спрашивал себя и не мог понять, что с ним произошло.

Он, всю войну честно проработавший на заводе, вдруг в один миг превратился в преступника. Как теперь возвращаться к матери и ребятишкам? Взять хлеб, а матери соврать, что заработал? А дальше? Как жить дальше? Завтра опять воровать? Как же это ужасно и неправильно! А что оставалось делать? Работы не было, он умирал от голода, дома умирали от голода мать и двое младших братьев. Ради них он готов был на всё.

Долго сидел Ванюшка, размышляя о своей горькой доле, о будущем своей семьи, и не заметил, как к нему подсел немолодой мужчина. На нём было серое, уже не новое пальто и кепка. В руках он держал чёрную толстую папку с бумагами.

Внимательно рассматривая мальчугана, который скукожился в ветхой фуфаечке так, будто у него что-то сильно болело, мужчина осторожно задал ему вопрос:

— У тебя всё в порядке?

Мальчик вздрогнул и уставился на прохожего глазами, полными слёз. Мужчина, видя, что тот не понял вопроса, повторил его.

— Не особо-то,— потупился малец.
— Я могу помочь?— вновь спросил его мужчина.
— Не можете,— всхлипнул Ванюшка, но, подумав, попросил, повеселев:— А купите у меня эту булку?

Мужчина удивлённо посмотрел на мальчика, а потом на хлеб, что лежал между ними.

Ванюшка следил за его взглядом. Заметив недоумение в глазах незнакомца, мальчик махнул рукой:
— Не надо. Пусть… Ничего не надо.
— Расскажи, что у тебя случилось?— наклонился к нему мужчина.— Откуда ты? Где твои родители?

Ванюшка отвернулся. Минут пять эти двое сидели молча. Один ждал, а другой думал о том, рассказать или нет о своём проступке.

В конце концов, решившись, мальчик повернулся к незнакомцу и заговорил. Он рассказал, как в войну работал на заводе, а когда война кончилась, остался без дела, без пропитания, без надежды найти место, а дома его ждут больная мать и братья, которые вот уже третий день ничего не ели.

Он указал на хлеб и сказал:
— А это мой сегодняшний грех, который мне нести всю оставшуюся жизнь. Украл я его, украл.

После этих слов Ванюшка больше не мог сдерживать слёз. Рыдания, копившиеся в нём уже долгое время, вырвались наружу. Мужчина переложил хлеб на другую сторону скамейки и придвинулся к мальчугану поближе. Он по-отечески обнял его, прижав к себе худенькое тельце мальчика.

Малец не пытался освободиться. Даже наоборот, посильнее воткнулся под мышку незнакомцу, пропитывая своими слезами драп серого пальто.

Слушая историю Ванюшки, мужчина ощутил, как в горле застрял комок, который мешал ему дышать. Сколько он прошёл за всю войну, сколько повидал, где только не был, сколько раз душа его разрывалась от страданий и жалости к раненым, умирающим бойцам, но всё равно того, что он чувствовал сейчас, никогда раньше не испытывал! Перед ним сидел пусть маленький, но настоящий мужчина, который взвалил на свои хрупкие плечи непосильную ношу. Взвалил и нёс её всё это время достойно.

Как же так получилось, что после войны он и его семья оказались никому не нужными? Разве так поступает со своими героями русский народ? Такой великий, могучий и благородный? Нет.

Значит, он должен исправить это недоразумение и вернуть смелому мальчугану веру в людей. Воскресить в его сердце радость, счастье— те чувства, о которых он, к сожалению, уже позабыл. Позабыл по вине взрослых.
— Как тебя зовут?— спросил он мальчика, трясущегося от слёз, которые всё ещё душили его.
— Ванюшка,— еле выдавил из себя малец.
— А меня зовут Иван Петрович. Мы с тобой тёзки, оказывается,— заулыбался новый знакомый.— Я журналист. Работаю в местной газете. Пойдёшь к нам работать?— предложил он мальчугану.

Тот поднял голову. Посмотрел в глаза Ивану Петровичу и, вытирая слёзы, а точнее, размазывая по впалым щекам грязь, дрожащим голосом произнёс:
— А вы не шутите?
— Что ты? Какие шутки? Всё серьёзно.
— Если серьёзно, то я согласен.
— Ну, всё. Завтра приходи. В восемь утра буду ждать тебя здесь. Вместе на работу и пойдём,— похлопал его по плечу Иван Петрович.

Ванюшка попытался улыбнуться, но у него ничего не получилось. Губы отчего-то скривились в непонятную ухмылку. Он верил и не верил словам Ивана Петровича. Мальчик так долго искал работу, что уже не надеялся, что у него что-то получится, и тут вдруг неожиданно работа нашлась. Это было из разряда чего-то невероятного.
— А теперь беги домой. Твои, наверное, уж заждались,— поправляя на мальчишке старенький картуз, произнёс мужчина.
— Ага. До завтра,— сорвался с места Ванюшка.
— Погоди! А хлеб? Дома ведь все голодные,— притормозил его Иван Петрович.

Мальчуган остановился, но возвращаться не спешил. Хлеб. Тот самый, что он украл.
— Бери. Деньги заработаешь, занесёшь в булочную и отдашь. Извинишься за свой проступок. Если что, вместе сходим,— кивнул ему Иван Петрович.
— И то верно. Заработаю и всё верну,— в глазах Ванюшки светилась радость.— Спасибо вам большое!

Он снова подошёл к лавочке. Спрятал хлеб за пазуху. Протянул руку новому знакомому. Мужчина взял его маленькую ладонь в свою и слегка пожал.
— До завтра, Иван! До завтра!

Владимир Нестеренко

Енисейский губернатор

Избранные главы романа

После объезда городского хозяйства губернатор приказал собрать всех губернских и городских чиновников, а также стражей правопорядка, прокуратуры, купцов и представителей общественности на ознакомительную встречу. В городе знали об упразднении Сибирского генерал-губернаторства с центром в Иркутске, о ревизии Сперанского, о громких разоблачениях в казнокрадстве чиновников и первых руководящих лиц.

Степанова представил прокурор города, зачитав указ императора о назначении губернатором. Последовали бурные аплодисменты и поздравления. Александр Петрович, выше среднего роста, в безупречном мундире с эполетами и орденами на груди, выглядел моложаво, тёмные волнистые волосы были откинуты направо и не закрывали высокого и чистого лба, зоркие, испытывающие светлые глаза живо отражали его настроение и содержание тех мыслей, какие он собирался излагать. От него веяло здоровьем и энергией, и весь его облик вызывал почтение.

Безусловно, он волновался. В руках у него дарованная государем власть. И немалая власть. Как её употребить на благо народа енисейского, как поставить себя перед обществом? Он готовился к встрече, перебирал мысли, искал то главное содержание в будущем правлении краем и нашёл его. По совету Сперанского—начинать с гласности и не отходить от неё ни на шаг.

—По предложению Сперанского и указу императора великое сибирское пространство разделено,—с некоторой торжественностью в голосе сказал Степанов.—Созданы два генерал-губернаторства: Западно-Сибирское с центром в Тобольске и Восточно-Сибирское—в Иркутске. Одновременно енисейские земли оформлены в Енисейскую губернию с центром в Красноярске. В неё входят пять округов. Самый крупный по территории—Енисейский с Туруханским краем, затем Ачинский, Минусинский, Канский и Красноярский. Я осмотрел хозяйство города и пришёл к выводу: Красноярск требует широкой стройки жилья, дорог, объектов культуры, торговых и работных домов, развития различных производств. Государь будет нам помогать казной, но и мы сами обязаны создать свой крепкий бюджет, расходовать его строго и без мошенничества, дабы не попасть под карающую десницу ревизии, что случилось с прежними чиновниками вплоть до самых высших голов. Посмотрите, что творилось в Сибирском генерал-губернаторстве. Сперанский, до мозга костей государственный человек, строгий радетель за исполнение законов российских, ведя ревизию, в сердцах говорил: «В Тобольске я всех отдал под суд, в Иркутске я бы всех повесил…»

Александр Петрович пристально всмотрелся в лица собравшихся, изучая реакцию на эти грозные слова, и увидел, как собрание притихло, не стало слышно шорохов, кашля и даже сопения. Многие вжали головы в плечи и уронили свои взгляды в пол. Это не понравилось губернатору. Чего бояться строгостей, если руки и душа твоя чисты, а помыслы светлы? Служа в Калуге прокурором, ему приходилось не раз сталкиваться с разоблачением мздоимства чиновников. Сам он жил по тому принципу, суть которого несколько позднее выразил Пушкин: «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы». Этот лейтмотив, как закон для души, он пронёс до конца дней своих. Свобода действий ему была дана государем, и он готов полностью отдаться развитию обширнейшего края—от солнечного юга до скованных мерзлотой тундр. Он не будет жесток, но справедлив и постарается подарить людям сгусток своего усердия и добра на нелёгком поприще губернаторства.

—Сочту своим долгом донести до почтенного собрания выдержки из доклада Сперанского императору о результатах ревизии и примеры поведения жителей и чиновников некоторых волостей в нашей губернии.

Александр Петрович с присущей ему эмоциональностью изложил удручающую картину чиновничьего произвола и самовластия.

На многие тысячи вёрст раскинулась Сибирь, оторванная от действенного контроля за делами чиновников. Взятки в некоторых волостях включали в расходную часть местных бюджетов. Народ роптал, слал жалобы в столицу, разоблачая

лихоимцев. Послания перехватывались, а жалобщиков сживали со света. Иркутскому мещанину Саломатову все пути в столицу были закрыты. Он не смирился и через Китай пробрался в Петербург, вручил своё письмо лично государю о злоупотреблениях чиновников и просил избавить Сибирь от тиранства генерал-губернатора Пестеля. Государь был крайне возмущён изложенными фактами злоупотреблений и в марте тысяча восемьсот восемнадцатого года назначил генерал-губернатором Михаила Михайловича Сперанского, предписав ему провести ревизию. Облечённый доверием и властью, Сперанский стал быстро вскрывать гнойники произвола на своём пути в Иркутск. Жители, узнав о движении борца с лихоимством, выбегали на дрогу из леса, бросали обличительные письма и хоронились в дебрях, боясь своего начальства. Вам, думаю, известно, как несколько лет назад енисейский городничий Кукалевский показал свою чудовищную натуру. Этот столп самодурства запряг в телегу чиновников и прокатился на них по городу за то, что они просили сменить Кукалевского, ибо он жесток, взяточник и пьяница. Дело было спущено на тормозах до ревизии Сперанского. В Канске был арестован исправник Фёдор Лоскутов. Жители поначалу не верили в возмездие, трепетали. Сперанский приказал собрать на Лоскутова улики. На него было подано почти триста жалоб, стоимость описанного имущества доходила без малого до полутора сот тысяч рублей. Объявленная Сперанским гласность приносила свои плоды. Крестьяне Частоостровской волости Василий Кужлев и Михайло Баталов принесли жалобу на произвол местного начальства. Из сбивчивых рассказов выходило, что тридцать человек поселян без причин признаны бунтовщиками, высланы в тайгу. Разбирательство показало, что с крестьян собирали «подарки». Кто же отказывался подносить мзду, того голова и писарь заковывали в цепи. Лихоимцы смещены с должностей. Крестьяне Нахвальской волости Егор Бузунов и Никита Стародумов со товарищи жаловались на сухобузимского комиссара Ляхова и писаря Смирёхина, которые избивали крестьян и требовали денежные подарки. Ляхов обобрал жителей более чем на шесть тысяч рублей, писарю перепало около тысячи рублей.

— Как вы, господа, служа государю, допускали такой произвол? Обязанность каждого чиновника — усердно выполнять возложенные на нас государем обязанности, ни в чём не запятнать свою честь, особенно мздоимством. Я буду способствовать тому ревизиями…

Мёртвая тишина продолжала царить в зале. Если бы упал с дерева лист, то слышно было бы, как он падает. Сие настроение публики губернатора всё больше настораживало. «Нечистые, видать, многие на руку. Посмотрим».

— Правильна-а!..— раздался вдруг зычный голос купца третьей гильдии Матонина из Сухобузимской землицы.

Губернатору по его просьбе о предпринимателях промыслов уж докладывали, как он развернулся на тех подтаёжных просторах с коневодством. Начав с небольшого косяка, Матонин теперь потерял счёт рысакам, торгует широко и успешно, слывёт меценатом в своей волости, строит храм. Дела такого человека находят всяческую поддержку у населения и чиновников.

— Ваши дела, господин Матонин, образчик для каждого предпринимателя. Умелое использование природных ресурсов: пашни, лугов для покосов и выпасов, разведение скота, строительство ферм,— мной будут всячески поддержаны,— сказал Степанов и услышал одобрительные возгласы, один из которых принадлежал тридцатилетнему коллежскому асессору, сидящему в переднем ряду.

— В целом местное самоуправление будет основано на принципах выборности, гласности и строгого контроля за соблюдением законности,— подвёл итог разговора Степанов.

Накануне губернатор вёл заочное знакомство с чиновниками, изучал формуляры каждого. Порадовал заслугами председатель губернского суда надворный советник Алексей Иванович Мартос. Его ровесник, он имел ордена Святого Владимира, Святой Анны, кавалер императорской серебряной медали 1812 года, имеет увлечение литературой, по своему профилю пишет и публикует статьи. Отметил для себя: «Надо познакомиться поближе, искать в нём опору в соблюдении законности. Надёжный круг людей всегда поднимает авторитет руководителя, помогает решать назревшие проблемы и задачи». Вспомнил слова Сперанского: «Законы у нас хорошие, да некому их исполнять».

Вот и знакомое имя! Подумал: однофамилец или тот новгородский офицер Коновалов, с которым довелось соприкоснуться, занимаясь снабжением армии в ходе изгнания с родной земли французов? Увидев сидящего впереди бравого молодого человека с пшеничными усиками, узнал в нём господина Коновалова. Закончив очное знакомство с чиновниками, Степанов пригласил его благородие в свой кабинет, который обустроил быстро. С высокими окнами кабинет был светел, в простенке меж ними помещён в полный рост портрет императора Александра I. Широкий и массивный стол покрыт зелёным сукном. Его любил губернатор, отождествляя этот цвет с зеленью лугов и лесов. Книжный шкаф под стеклом занимал глухую стену едва ли не наполовину. В нём различные справочники с законами империи, географического общества, современные столичные журналы «Сын Отечества», «Отечественные записки», томики «Труды» Московского университета, в которых напечатаны поэмы «Суворов», «Песнь победы

спасителям Отечества», публицистика «Предания о Калуге». Плотно стоят романы на русском, итальянском, немецком и французском языках, которые губернатор хорошо знал. У входа размещён полированный гардероб.

Коновалов незамедлительно явился. Широко сияя улыбкой, переступив порог, щёлкнул по-военному каблуками, представился:
— Ваше превосходительство, коллежский асессор Иван Иванович Коновалов к вашим услугам.
— Приятно встретить в столь далёком крае знакомого человека,—сказал Степанов, выходя навстречу из-за стола, протягивая руку для пожатия и показывая тем самым благостное к нему расположение.
— И я несказанно рад, ваше превосходительство,— ответил Иван Иванович, с удовольствием пожимая руку,—и жаждал встречи, чтобы высказать свои соображения в отношении одного промысла.
— Садитесь, ваше благородие, вспомним о былом. Вы, кажется, были хорошо знакомы с Батеньковым?
— Служил секретарём в Томской казённой экспедиции и часто соприкасался с Гавриилом Степановичем. По его же рекомендации был направлен сюда и назначен начальником Третьего отделения Губернского совета Енисейского губернского правления с годовым жалованием тысяча пятьсот рублей.
— Похвально. Я предполагал сие. В таком случае к вам надо обращаться «высокоблагородие». В ваших обязанностях расписана хозяйственная, финансовая деятельность, строительство дорог, мостов, административных зданий, школ и даже тюрем. Ваше утверждение оформлено высочайшим приказом. Кто ещё ходатайствовал о вас?
— Я получил предписание Сената прибыть в Красноярск во второй половине сентября прошлого года. Поскольку до вашего прибытия в город дела курировал генерал-губернатор Восточной Сибири Александр Степанович Лавинский, то поручил мне приобрести в Санкт-Петербурге книги для присутственных мест, свод российских законов. Потому прежде пришлось побывать в Петербурге, и сюда прибыл лишь в первых числах января текущего года, зато с солидным багажом первостепенных книг.
— Свод законов—главное наше богатство. Изучать, дорожить и выполнять неукоснительно—лишь в том я вижу успех в развитии губернии и нашего государства.
— Я полностью разделяю вашу точку зрения.
— Похвально. Так в чём же заключается ваш промысел?

Коновалов шевельнулся на стуле, как бы усаживаясь поудобнее, гася своё волнение, уверенно стал излагать:
— Вы, очевидно, обратили внимание на то, что окна домов затянуты бычьими пузырями и слюдой. Нет стекла. Везти сей товар в Сибирь накладно. Я только позавчера вернулся из поездки в Ачинск. Вы его проезжали, он лежит в двухстах верстах от нас на запад. Туда ехал—снега с местных сопок не сошли. Теперь же, возвращаясь, они открылись, и я увидел россыпи кварцевого песка. Мне приходилось изучать горное и плавильное дело, знаком с производством стекла из кварцитов. Здесь же я увидел сплошные зернистые массы. Они доступны для разработки, рядом течёт река Кача, тайга с добротным древостоем. Вот я и загорелся: это богатство надо взять, построить стеклоделательный завод, обеспечить все дома в Красноярске и в губернии стеклом, посудой, бутылками. Торговать таким товаром с соседями!
— Государь, напутствуя меня на губернаторство, предлагал развивать новые производства, при случае писать на высочайшее имя, его поддержка будет незамедлительная.
— Словом, ваше превосходительство, нам и карты в руки?
— Безусловно, но вы губернский чиновник и не простого ранга. Закон не позволяет вам заниматься промыслом.
— Я знаю об этом, ваше превосходительство. Моя матушка Анна Гавриловна, овдовев, приехала со мной. Она титулярная советница, весьма образованная и расторопная. Я уж выложил ей свою задумку и предлагал писать прошение по инстанции на выделение участка земли под строительство и на разрешение производства стекла и стекольного разнообразного ассортимента. Все документы оформим на её имя.
— Вижу у вас неуёмную энергию и порывистость, под стать той, какая была в отражении наполеоновского нашествия. Кстати, моя матушка успешно ведёт своё хозяйство в родовом имении, расширяет его, хотя некоторые помещики говорят, что это не женское дело,—Степанов саркастически усмехнулся, как бы адресуя свой сарказм недомыслам.—Надо всё хорошо продумать, провести расчёты, написать проект, разыскать специалистов. И я только «за»!

Окрылённый поддержкой губернатора, Иван Коновалов углубился в изучение производства стекла, разослал письма знакомым мастерам о существе нового промысла, о богатых залежах кварцевого песка, с просьбой о сотрудничестве и составлении проекта. Мастера откликнулись, один из них изъявил желание прибыть на место и участвовать в деле.

В мае расчёты и проект завода были сделаны, обсуждены в узком кругу чиновников, одобрены Степановым. Здесь же Александр Петрович познакомился с Анной Гавриловной, расспросил барыню о прошлых занятиях и о том, какими ресурсами

располагает, увидел в ней энергичную цельную натуру, под стать своей матушке.

— Покойный Коновалов, царствие ему небесное, оставил достаточный капитал для начала стройки. Как только получим высочайшее позволение, к нам переедут мои крепостные крестьяне. Среди них мастеровые люди. Недостающую казну надеюсь ссудить в губернском казначействе, коли имеется ваше расположение для открытия промысла.

Анна Гавриловна во многом напоминала матушку Пелагею Степановну: сухопарой подвижной фигурой, скромной и практичной одеждой, а главное — неуёмной энергией и рачительностью.

— Полагайтесь на мою полную поддержку, Анна Гавриловна. Перспективный промысел для губернии важен, как воздух. Это прилив в губернию новых людей, пополнение губернской казны. Вы написали прошение на имя императора об открытии стеклоделательного промысла?

— Да, ваше превосходительство.

Анна Гавриловна подала губернатору лист, исписанный каллиграфическим почерком; он принял, прочитал, завизировал, приложил к нему документы проекта с расчётами.

— Отправим сии бумаги через губернскую канцелярию с курьерской почтой. Будем ждать ответ да готовиться к стройке завода.

Степанов сделал паузу, собираясь с мыслями, стоит ли теперь говорить об этом всегда неприятном для собеседников вопросе, но не вынести его он не мог по своему убеждению.

— Единственное, что для сибирских мест нехарактерно, так это крепостничество, госпожа Анна Гавриловна. По роду своему тут люди вольные, помещиков нет. Вам надо, матушка моя, как-то сглаживать сие обстоятельство, умалчивать, ладить с местными людьми.

— Обсуждали мы с сыном проблему, — барыня нахмурилась, даже вспыхнула изнутри, что не осталось незамеченным губернатором, но вспышка тут же погасла. — Решили мы своих мужиков держать на равных с вольными по части жалования, семейного житья, обучения новому делу.

— Будем считать, что назревшие вопросы решены, — губернатор легко поднялся из неглубокого кресла, обшитого зелёным бархатом, прошёл к Анне Гавриловне, подал ей руку. — Позвольте, я вас провожу и дам распоряжение об отправке почты.

Ответ был получен в июле. Для строительства стеклоделательного завода нарезалось триста десятин земли на берегу реки Качи в Заледеевской волости, в сорока шести верстах от Красноярска. Из Москвы приехал мастер стекольного дела, под его надзором Анна Гавриловна с сыном развернули стройку. Расчистили площадку для завода, для домов хозяевам и мастерам, для жилого барака чернорабочим, для бани и лавки. Лес для стройки брали вблизи. Почти сразу же занялись разработкой месторождения кварцевых залежей, перевозкой сырья на площадку.

Губернатор часто наезжал на стройку. Контролировал не только расход взятой госпожой Коноваловой ссуды, но и быт, зарплату рабочим, которая достигала до шестисот рублей в год для постоянных и от двадцати и выше для временных.

Стройка завершалась. Кроме внушительного размера завода, вдоль реки выросли жилые и хозяйственные постройки. Люди называли поселение прозаически — Стекольный. В очередной приезд, незадолго до пуска производства стекла, губернатор вместе с Анной Гавриловной и Иваном Ивановичем Коноваловыми осмотрел стройку и, удовлетворённый делами расторопных хозяев, спросил о том, как будет официально называться посёлок. Иван Иванович ответил:

— С матушкой думали над названием. Недавно во сне мне явилось знамение Святой Богородицы. Видение этой иконы объясняю тем, что мои предки и я родом из Новгородской губернии. Знаменская икона явила свою чудотворную силу во время осады Новгорода суздальцами и особенно почитаема новгородцами. Вот мы и решили назвать поселение Знаменский.

— Просим вашего на то согласия, — поддержала Анна Гавриловна сына, — дабы в документах именовать промысел так: стекольный промысел Знаменский. Доброе наречение сулит удачу.

— Красивое, поэтическое название, — согласился Степанов. — Утвердим на Губернском совете. На дворе весна в разгаре. На какой день думаете назначить первую плавку и открытие завода?

— Торопимся успеть ко дню подачи прошения, ваше превосходительство. Приглашаем вас на церемонию проката первого стекольного листа.

— С Богом, матушка Анна Гавриловна. Непременно буду.

Открытие завода состоялось в назначенный срок. Для стекольщиков был накрыт стол. Прибыл губернатор. Вместе с Анной Гавриловной под балалаечную плясовую они разрезали ленточку у входа завода, а мастера вынесли первое, ещё горячее полотно стекла. В торжественной обстановке об него была разбита бутылка шампанского. Грянули аплодисменты и бравурные возгласы. Слово взял Александр Петрович. С губернаторской лентой через плечо, в парадном камзоле, с орденами на груди, он сказал:

— Господа заводчане, ваш завод — первая ласточка промышленного производства на красноярской земле. Нам с вами осваивать енисейские благодатные просторы. Государь наш Александр Павлович следует традициям великих государей земли русской. Повелением первого царя российского Ивана Грозного основаны Тобольск и Тюмень — центры освоения Сибири, далее Томск. Пётр Великий продолжил возводить города и крепости. Казачьи

отряды основали на берегу Иртыша Омск, поднялись вверх по течению и поставили две крепости Семь Палаток—теперь именуемые городом Семипалатинском, на слиянии горной реки Ульбы с Иртышом заложили крепость Усть-Каменная. Через сто лет эти крепости выросли в крупные поселения, они дают хлеб, мясо, рыбу, пушнину, золото, серебро, слюду. Ваш завод, надеюсь, будет выпускать в потребном количестве оконное стекло, широкий набор посуды, различных изделий, обеспечит не только жителей нашей губернии, но будет продавать соседям, чем прославит наш край[1].

Губернатор подал знак, казаки, прибывшие с губернатором на двух подводах и ставшие тут же, запустили фейерверк. Несмотря на то, что вечер был ещё светел, огненные шары, взлетев высоко над промыслом, рассыпались в мириады фонариков и медленно осели. Фейерверк вспыхивал трижды. Затем ударили в струны балалаечники, голосистые парни и девки подхватили народную мелодию с куплетами, пустились в плясовую. По знаку Анны Герасимовны работный люд в нарядных одеждах и все присутствующие уселись за богато накрытый длинный стол. Певцы громкоголосо исполнили «Боже, царя храни», и трапеза началась.

• • •

Картина с нищим на паперти не давала покоя губернатору. В первые дни знакомства с городом он не раз видел подобное у питейных домов и, спустя полтора месяца после приезда, собрал губернский актив, чтобы учредить Приказ общественного призрения как один из главнейших в жизни общества, поскольку он охватывал многие стороны. Кстати, Александр Петрович, философствуя, пришёл к мысли, что название довольно неудачное, трудно воспринимаемое простым людом. Понятнее было бы, назови дело—благотворительным. Общество должно помогать тем, кто не смог найти себя в суровой жизни, оказавшись сиротой, больным или преступившим закон. Эти люди нуждаются, по закону Божию, в помощи, в защите, пусть в какой-то доле призрения, то есть в обеспечении кровом и питанием, но в большей степени—в сочувствии и прощении. Помощь эта должна прийти от власти, от него. Прежде всего, требуется построить больницы, вместительный дом для приюта нищих и убогих, создать работные дома, в которых бы они могли трудиться, зарабатывая на жизнь.

Собрание готовилось несколько дней. На конторе красовалось расклеенное объявление: «2 мая 1823 года открывается Приказ общественного призрения». В зале собрались городские и губернские чиновники, депутаты думы, купцы, многочисленные представители казачества и поселян. Мест на лавках и креслах не хватало. Люди теснились в проходах, на галёрке, впереди, перед кафедрой, где за столом, склонился над бумагами секретарь Родюков, расселись прямо на полу полдюжины сирот и убогих граждан. Зал нестройно гудел голосами, хлопал дверями, взрывался кашлем. Вился табачный дым. Люди неспешно размещались, ожидали губернатора и городского голову (он же и председатель совета).

Губернатор появился во всём блеске своей статной фигуры, блистающий орденами, пышущий здоровьем и неукротимой энергией, поражая ею собравшихся. За ним шёл Иван Тихонович Гаврилов. Степанов остановился перед столом на кромке кафедры, на полметра возвышающейся против кресел и лавок, поклонился собранию, выбросил вперёд руку, обратился с речью:

— Граждане Красноярские![2] Государю императору угодно было озарить вниманием своим город наш, возведя его на степень губернского. С ним получили вы преимущественные открытые знаки Его милости. Знаки сии заключаются в правах, предоставленных единственно городам управляющим. Посреди вас заключаются ныне места и лица, которые имеют силу ходатайствовать непосредственно о благе вашем и предохранять от зла при самом его зарождении, посреди вас существует уже то средство, чрез которое сострадательному сердцу нашего Государя угодно изливать милости и благодеяния на слабое и страждущее человечество. Я разумею, любезные граждане, под сим средством обязанности Приказа общественного призрения, открытого нынешнего числа в городе Красноярске, по предписанию Господина Генерал-губернатора Восточной Сибири. Приказ общественного призрения печётся о просвещении умов и сердец, принимает сирот оставленных, доставляет излечение

1. Знаменский стеклоделательный завод производил листовое стекло для окон, посуду для питейных заведений, аптек и домашнего обихода: бутылки, штофы, полуштофы, четвертушки и осьмушки, кувшины, графины, уксусники, рюмки, кружки, стаканы, колбы, реторты. Владельцы завода поставляли стеклянные изделия в разные города и местности Енисейской, Иркутской и Томской губерний. Анна Гавриловна получила в Красноярском окружном казначействе гильдейские свидетельства и три билета на лавки, числилась иногородней купчихой 3-й гильдии с объявленным капиталом 8000 руб. Имела оборот 40 000 руб. во внутренней торговле по г. Красноярску, а по Красноярскому уезду—60 000 руб. Оборот торговли за пределами Енисейской губернии достигал 50 000 руб., вывоз из других губерний—90 000 руб. Это было больше, чем результаты всех остальных красноярских купцов, вместе взятых. В 1833 году при стеклозаводе была построена церковь во имя иконы Божьей Матери «Знамение».

2. Текст обращения в сокращении приведён из подлинника, извлечённого из фонда городской думы, с сохранением орфографии и пунктуации Степанова.

больным, успокаивает престарелых; даёт приют увечным и, наконец, исправляет преступные слабости людей.
— Сей спущен нам во благодеяния с небес! — раздался звонкий глас одного из убогих, привставшего на колени и бухнувшегося лбом об пол в земном поклоне.

По залу прошелестел ветер удивления точности смысла реплики и ропот дерзости убогого. Степанов, сделав короткую паузу, улыбнувшись, продолжил:
— Спрашиваю вас, Граждане Красноярские, не есть ли это предмет, которым научает нас закон Божий? Чтобы, исполняя оные, удостоились мы благословения небес? Спрашиваю вас: не велика ли к нам милость Государя Императора, что посылает нам средства исполнять власть и долг Граждан и долг Христиан! Если это так, то приглашаю вас на встречу к благодеяниям царя и церкви. Совокупитесь вместе и постройте храмы для благодеяния. Есть между вами люди, есть такие, которые могли бы и сами, без помощи других, приступить к строению какого-либо из благодетельных заведений, мною упомянутых, но не всякий имеет столь благородное стремление к добру и пользе своих ближних, как благодетельный мещанин Иван Никитич Яковлев, объявивший желание построить своим иждивением каменный Воспитательный дом. До слуха моего дошло, что Граждане Енисейские давно уже ожидают открытия Приказа общественного призрения, чтоб обнаружить великодушное чувство своё к благодеяниям, стыдно было бы Красноярску пребывать в бездействии. Скажут: Граждане Енисейские гораздо могущественные; но сила в немощи совершается: живой пример тому — бедный мещанин Яковлев. Впрочем, я уверен, что вообще Граждане Красноярские, покрытые благорастворённым небом, окружённые величественным Енисеем и прекраснейшими своими долинами, столько же будут щедры для человечества, сколько милостив к нам Творец Небесный. Уверен, что жители Красноярска не поскупятся для поддержания открывшегося ныне Приказа общественного призрения. Все вспомоществования, которые угодно кому будет принести в жертву человеколюбия, должны быть отдаваемы в Градскую Думу, при внесении в список имён сих людей человеколюбивых; Градская же Дума, при своём отношении, перешлёт их в Приказ. Енисейский гражданский губернатор Степанов.

Александр Петрович, закончив говорить, снова поклонился собранию, прошёл за стол и, прежде чем сесть, сказал:
— Предписываю городской думе распространить в списках, зачитать на сходе горожан, чтобы каждый гражданин Красноярска знал о моём обращении. Руководство работой Приказа возложу на статского советника, председателя губернского правления господина Галкина. Председательствовать на заседаниях, заслушивать отчёты о деятельности членов Приказа по закону будет губернатор. На содержание благотворительных заведений казна выделяет пятнадцать тысяч рублей.

В зале раздались аплодисменты в адрес оратора. Удовлетворённый Степанов сел на стул в центре стола, тихо спросил у Гаврилова:
— Где же тот убогий с паперти?
— Преставился, ваше превосходительство, от чахотки. Царствие ему небесное, — также тихо ответил Гаврилов.
— Продолжим наше собрание, — сказал секретарь Иван Григорьевич Родюков. — Прошу высказать мнение о пожертвовании Приказу.

Сидящий за столом Иван Тихонович Гаврилов поднялся, крякнул в кулак, затем вынул из внутреннего кармана кителя пачку ассигнаций, с задором взмахивая рукой, положил на стол перед губернатором.
— Открывайте список, господин Родюков, моей фамилией. Дарую Приказу пятьдесят рублей!
— Браво! Браво! — раздались возгласы в зале, и загремели аплодисменты.

На кафедру поднялся купец третьей гильдии в синем камзоле с золочёными пуговицами Иван Никитич Яковлев. Он широким жестом правой руки повелел:
— Пишите, господин Родюков: возведу каменный воспитательный дом. Фундамент заложу этим же летом. Покамест отведу для ночлега убогим и сиротам тёплый сарай на задах своего присутствия. Утеплю его, поставлю печь, полати, отгорожу забором. Обозначьте в документе мои слова!
— Записал, Иван Никитич, записал, удостоверьтесь, — отвечал Родюков под гром аплодисментов зала.
— Благо, благо! — возопили сидящие на полу убогие. — Господь воздаст вам, уготовит дорогу в рай!

Не остались в долгу чиновники, казаки, купцы, мещане. Список пожертвований пополнялся. Сумма выросла до пятисот сорока пяти рублей. Красноярский купец Кузнецов обязался отдать каменный дом для больницы, что и сделал впоследствии. Степанов смотрел на подателей с улыбкой, отпуская одобрительные междометия каждому, делал выводы в целом о добропорядочности своих подчинённых, намечая круг своей опоры в предстоящих делах. Продолжая заботиться о здоровье граждан, Степанов несколько позднее разослал циркуляры в решающие инстанции с просьбой об открытии первой в городе аптеки. И неожиданно для него на призыв откликнулся аптекарь Руммель из Нижнего Новгорода, готовый основать фармацевтическое заведение в Красноярске, закупив и отправив обозом медикаменты на две тысячи рублей.

После решённого вопроса со строительством стеклозавода, детального знакомства с людьми и хозяйством Красноярска Степанов собрался побывать в округах губернии. Первоначально избрал Канский округ, лежащий на востоке. Предстояло переплыть Енисей, который поднимался от хлынувшего майского тепла. Губернатора взялся сопровождать градоначальник Гаврилов. Был он весьма расторопен и инициативен, стремился краткими циркулярами, подражая Степанову, озадачить своих подчинённых. В инструкции мещанину Семёну Бардохоеву, отвечающему за перевоз людей и грузов через Енисей, требует: «Перевозчикам всегда находиться на месте без отлучки, не пить водку, не затевать ссор между собой, а если случится из ряда вон происшествие, немедля докладывать городскому голове».

Губернатор читал этот наказ, одобрил и посоветовал подобные наставления написать мещанам, которые содержат заезжий двор, отвечают за чистоту улиц, обслуживают работные дома. Гаврилов охотно принял совет.

— Не оставляйте, господа, морщины недоделок. Утюжьте вопросы до полной ясности и готовности,— наставлял Степанов своих подчинённых и приводил в пример усердие градоначальника.— Циркуляры Гаврилова лаконичны, с конкретной задачей, зарегистрированы. Ибо это документ, и по нему проще спрашивать. Этому учит нас великий реформатор и законник Михаил Михайлович Сперанский. Если надо, спрашивайте совета у меня, как я продолжаю спрашивать совета у Сперанского.

Пример Гаврилова и поддержка губернатора положительно сказались в хозяйственном строительстве. Представилась возможность на месте увидеть пользу от таких наставлений.

— Теперь же мы посмотрим, как выполняют ваши наказы перевозчики,— сказал губернатор, отправляясь к переправе через Енисей.

Она находилась недалеко от устья Качи, где теснились заросли кустарника. Ветер подхватывал аромат белоглазой черёмухи, разносил его по окрестностям, подогревал тёплое настроение путников; выбрасывали серёжки осина и берёза; местами желтели гирлянды отцветающей ивы; на соснах с южной стороны проклюнулись крохотные изумрудные кисточки, торопясь использовать короткое тепло и вытянуться за лето на целый вершок. Александр Петрович сравнивал эти долы с родными калужскими, убеждаясь, что по красоте они не уступают, только запоздало распускаются.

Возбудили любопытство сиплый голос кряквы, донёсшийся из рукава реки, и шумный гогот серых гусей, избравших в плавнях свои гнездовья. Гаврилов пояснил, что в пойме есть острова и в протоках много водоплавающей дичи, на которую охотятся азартные мужики, особенно из казаков.

Семён Бардохоев со своим напарником не подвели, были на месте, показали сноровку и умение управлять паромом в норовистом течении Енисея и тут же получили похвалу от губернатора.

Вернувшись домой из поездки в Ачинский округ, Александр Петрович заметил некоторые перемены в настроении Екатерины Федосеевны, хотя встретила она его под вечер с распростёртыми объятиями. Александр Петрович нежно поцеловал жену, снял дорожный пропылившийся плащ, который подхватил слуга, прошёл в гостиную, где на столе пестрел разноцветьем букет поздних цветов. Екатерина Федосеевна всегда любила цветы, заказывала в оранжерее. Здесь оранжереи не было, но имелись любители выращивать хризантемы, розы, георгины на участках при домах. Эти были оттуда, кем принесённые для него—не важно. Вспомнились цветы в собственной оранжерее в Ловати, как он и жена с любовью ухаживали за ними, как срезали бутоны, комплектуя великолепные букеты, и несли в дом, ставили в хрустальные вазы. Благоуханный аромат держался в гостиной несколько дней, затем букеты обновлялись, что стало обыденным явлением, а теперь—дорогими сердцу воспоминаниями.

— Как вы тут без меня, скучаете? Как наши Владик и Люда?—чувствительно говорил Александр, привлекая к себе жену, слыша голоса своих детей из детской, особенно пятилетней Люды, прибывшей недавно к родителям с гувернанткой. Пелагея Степановна отписала о том, что жалуется в последнее время на здоровье, потому решила внучку отослать в семью.—Что-то ты, душа моя, невесёлая.

— Нет-нет. Разве не с улыбкой я тебя встретила?

— С улыбкой, а в глазах грусть. Скучно. Я понимаю, нет привычного общества, твоих концертов на приёмах. Только и забот—за малышами, письма сыновьям да ожидания ответа и моего приезда.

— Не буду лукавить—сказывается. Дом, гостиная, казалось бы, устроенная не хуже прежней в Петербурге,—держат меня на цепи. Портреты наших предков меня больше не бодрят, а в чём-то укоряют. Стараюсь разговаривать с Богом посредством молитв, хождением на службы в собор, но не нахожу для себя удовлетворения.

— Что ж, здесь нет ничего крамольного, у тебя в душе растёт маленький бунт против безделья. Ты хорошо образована как в русской словесности, так и музыкально. Мы открываем школу—одноклассное приходское училище для детей всех сословий. Будем учить грамоте, чистописанию и четырём правилам арифметики. К тому же, я думаю, надо учить детей музыке, готовить их для поступления в губернское училище. Учителей не хватает,—Александр Петрович хоть и устал с дороги, но говорил

с подъёмом, вдохновенно, заражая энтузиазмом жену.—Начнём с этой школы. Возьми на себя труд обучать детей грамоте и музыке. Как, согласна?

—Я жутко робею. Каков же уровень преподавания в городе?

—Я поднял архив и выяснил, что в середине прошлого столетия в Красноярске работала латинская школа для обучения детей духовенства. Учительствовал протопоп Алексей Михайловский. Затем школу перевели в Енисейск, передав по три псалтыря, часослова, учебника грамматики латинского языка итальянца Альваро. Через несколько лет школа вновь была открыта в Красноярске, в ней училось двадцать четыре подростка. Школу преобразовали в славяно-латинскую, что ближе к нашим запросам. Изучали церковную и русскую грамоты, учились петь по нотам. Из-за недостатка средств и слабого преподавания школу снова закрыли.

—Каковым же преподавателем окажусь я, мой друг? Я на досуге размышляла над вопросом, но не решалась тебя обременять.

—И напрасно! Император следует заветам своей великой бабушки—просвещать все сословия. Императрица, ты знаешь, утвердила «Положение о народных училищах». И при её жизни в Красноярске открылось народное училище. Занятия проходили в трапезной Воскресенского собора. Училище считалось самым крупным в Сибири. Обучалось около ста детей, среди них чуть больше дюжины—купеческие. И что примечательно—три девочки. Из-за тощей казны училище закрылось.

—Немудрено, что образование народа хромает на обе ноги, тащится в хвосте у большинства европейских стран,—с горечью отозвалась Екатерина.

—Именно! Второй раз училище открылось четыре года назад. Оно действует и сейчас, но учителей по-прежнему не хватает. Собираемся также открыть училище для солдатских детей и казачества. Здесь стоит целый казацкий полк. Семьи многодетные—будущая государева опора.

—Какие инструменты есть в открывающемся училище?

—По сути—ничего. Купец Иван Новиков подарил неполный струнный оркестр. Обещает привезти пианино. Есть в городе и в казачьих станицах прекрасные балалаечники. Играют народные плясовые. Есть гармонисты. Показывают себя на ярмарках да на вечеринках. Их надо собрать в кружки́, наладить меж ними общение, разучивать современные вещи, организовать смотрины творчества. Вот и закипит ключом твоя жизнь.

—Возможно, я могу лишь грамотно преподавать, но моя робость не позволит стать организатором,—виновато отвечала Екатерина.

—Я тоже никогда не был губернатором, однако взялся, и дела двигаются. Я помогу указом и подберу помощника. Я пришёл к убеждению, что дела человека движутся настолько успешно, насколько он талантлив.

—Разве наши личности сравнимы?! Ты государственный человек, я твоя жена, только и всего.

—Повторяю: ты хорошо образованная дама. Передай свои знания другим, как я передавал их в пансионе. Пусть это станет твоим долгом перед государем и народом, среди которого мы встали на путь первопроходцев. Знаменитый Фирдоуси восклицал: «В цепи человек стал последним звеном, и лучшее всё воплощается в нём». Давай будем следовать этой мудрой фразе.

—Заманчивая перспектива. Твои слова убедительны. Надо подумать, коли ты обещаешь всестороннее содействие.

—Плох был бы я муж и губернатор, если бы, пообещав, не выполнил.

—Вот как заговорились,—спохватилась Екатерина Федосеевна.—Соловья баснями не кормят, идём ужинать. Стол накрыт, а ты проголодался, мой губернатор!

—Я не сдвинусь с места, пока не получу ответ.

—Хорошо, я согласна. Когда же открытие?

—Первого августа—первый звонок первачам. Ожидаю увидеть детей разных возрастов и сословий. Готовься. Обещанный московский преподаватель словесности что-то задерживается. Возможно, временно заменишь его ты.

—Друг мой, ты меня пугаешь, осталось всего два дня!—Екатерина Федосеевна растерянно остановилась на пороге столовой.—Как можно собраться в такой срок?! К тому же на руках у меня сын и дочь.

—На два-три часа в день тебя заменит гувернантка. Вспомни, как я провёл первый урок в пансионе,—вот тебе лекало. Есть ли письма от сыновей, пока я ездил?

—Есть, друг мой, от обоих. У Пети в октябре выпуск из училища. Будущий офицер! Коленька прислал карикатуру по басне Крылова «Волк на псарне». Он подаёт великие надежды художника-карикатуриста.

—И ты молчишь, душа моя? Немедленно подай, прежде чем я сяду за стол.

—Да вот же письма, при мне. Собиралась сразу же вручить, но ты, друг мой, так отвлёк меня от счастья общения с детьми, что я теперь горю от стыда за утайку,—Екатерина извлекла аккуратно сложенные листы писем и подала мужу.

Александр Петрович прежде взглянул на рисунок, выполненный цветными карандашами, затем на вырезку чёрно-белого изображения из журнала «Сыны Отечества».

—Ба! Да это славно! Каков колорит рисунка, сгусток коварного образа Наполеона, просящего мирных переговоров у Кутузова. Басня напечатана в этом же журнале сразу после поражения французов при Тарутине. Басней зачитывались наизусть,

смеясь над перепуганным волком-Наполеоном и мудростью ловчего. Похвально! Отпишу сыну!

Александр Петрович уселся за стол с закусками, только что поданными горячими блюдами в закрытых фарфоровых сосудах, самоваром, прочитал письма и лишь тогда, сияя довольством от успеха сыновей, стал трапезничать вместе с женой.

— О! — воскликнул Александр Петрович. — Солёная черемша! Грех под такую закуску не пропустить рюмку смирновской, сорокоградусной! Наливай и ты себе вина.

— Здесь же твой любимый пирог из ленка и хариуса. Приказчик Новикова сегодня поутру принёс ведро свежей по бросовой цене. Говорит, мужики ночью тоню брали какой-то ряжовкой.

Александр Петрович чокнулся рюмкой с бокалом Катерины, с наслаждением выпил сто граммов водки, заел запашистой черемшой, сказал:

— Забыла, как в июне я хлюпал вместе с егерем Хохловым на острове Енисея? Сеть такая есть трёхстенная — наплавная, иными словами. Зашли мы с ним на плёс: хариус, ленок, да и таймень на ночь по отмелям табунятся. Хохлов учит меня, как тоню брать. На большой палец нанизал сеть с поплавками из бересты, зашёл по колено в воду, швырнул крестовину на течение, она пошла снимать с пальца сеть. Расплылась на пятнадцать метров. Хлюпаем мы за сетью, на мысок выводим. Слышно, как то и дело в сеть рыба бухает, заваливается в многочисленные мешки. А то и свечкой даёт по лунной дорожке. Едва вытащили ряжовку. Два ведра кленовых взяли. Мелкую — назад.

Александр Петрович умильно улыбался от воспоминаний, разрезая ножом рыбный пирог, жуя его с наслаждением.

— В эту поездку удалось мне по Чулыму вёрст десять отмахать с удочкой, брал в уловах хариуса на мушку. Что за чудо такая рыбалка! Я даже зарисовал ловлю в свой блокнот. После покажу. Прибрежье реки и поймы описал для будущих сочинений. Просто благодать!

• • •

Равнина Сагайская[3], рассечённая рекой Абаканом и впадающая в Енисей, лежала безлесная, с довольно скудными низкорослыми типчаковыми травами, годными для выпаса скота, особенно овец; на склонах невысоких холмов серебрились заросли ковыля; вставали мятлик, полынь, терескен, осочковые суходолы; в низинах, где плешинами белели солонцовые почвы, преобладали чиевые, пикульниковые травы; тянулись караваны низкорослой караганы; в логах встречались островки шиповника. По берегам Абакана и многочисленных малых рек и ручьёв, сбегающих с гор Саянских, ландшафт освежают заросли ивы, черёмухи, кизильника; высоко над ними громоздятся тополя вперемешку с берёзой и осиной.

Объезжая Минусинский округ, знакомясь с людьми, населяющими этот более тёплый край, Степанов интересовался степными почвами — причиной травяной скудности. Его пытливый взгляд определил, что бедные чернозёмы лежат на плотной супеси с галькой и глиной. Жизнь растений здесь замирает в знойные июнь и июль; хотя дожди приходят со стороны Саян порой обильные, но влага здесь долго не держится — выдувают частые ветры, росы иссушает знойное солнце. И всё же трав хватает для подножного корма как летом, так и в зимние месяцы тебенёвки. Всюду на пути движения губернатора в крытой карете и двух таких же экипажей чиновников и охраны попадались многочисленные табуны лошадей, отары курдючных овец. Тут же ходил крупный рогатый скот под присмотром чабанов. Татары[4] на природу не жалуются, а вот на скупщиков пушнины и кож скота, шерсти и мяса, рыбы и сыра, лошадей и овец — громогласные обиды.

Губернатор, изучая этот татарский край, остановился походным лагерем со своими спутниками, среди которых были всегда казаки, на краю Усть-Абаканского поселения, основанного всего несколько лет назад. Около десятка татар в длинных однотонных халатах, с малахаями на голове, появились ранним утром у палаток губернатора, что-то нетерпеливо гомоня на своём языке. Степанов, в походном сюртуке, высоких сапогах, с непременным орденом Святого Иоанна Иерусалимского в петлице, являясь едва ли не полиглотом, уже усвоил некоторые обороты речи кочевого народа и сейчас понял, что они недовольны каким-то скупщиком. Александр Петрович стоял возле палатки, с любопытством разглядывая мужиков, с широкой улыбкой, призывно маня руками, приглашая подойти ближе.

— Подходите смелее, рад встрече с вами, готов слушать, говорите!

Вперёд группы, мелко семеня ногами, выступил толмач, одетый в более опрятный халат, поклонился Степанову, приложил руку к груди, сказал:

— Свет-губернатор, приходил чужой, брал много товар. Ниши глупый, тёмный — отдавал товар. Просил другой товар для юрт, подковы, гвоздь, ткань, порох, пули. Доверял. Чужой возил наш товар, свой нам возил. Мало возил. Обидел. Наш тёмный, счёт мало-мало знает, грамоты не знает. Научить надо грамоты. Наш просит помощи.

3. Сагайская степь в начале XIX столетия простиралась в длину на 250 и в ширину до 60 вёрст. Ныне она разделена на несколько однородных по растительному и животному миру: на Абаканскую, Сорокаозёрную, Уйбатскую, Койбальскую и Сагайскую степи.

4. Татарами назывались в те времена хакасы и другие народности Енисейской губернии.

Наш — много скота, баран, мясо, соболь, куница. Наш много платит.

Степанов внимательно выслушал толмача, спросил:
— Как ваше имя?
— Адайкан, свет-губернатор.
— Как звали чужого, кто такой?
— Наш не спрашивал, бил по рукам, доверял. Казак молодой, борода, папаха.

Губернатор усомнился: молодые казаки бороду бреют, носят только усы. Прокурорским чутьём понял: тут побывали лихие люди, переодевшись в казаков. Такого — ищи ветра в поле. Подобные поборы случались и в других землях губернии, и они настораживали.

Сопровождающий губернатора молодцеватый хорунжий подал голос:
— Врут, ваше превосходительство, молодые мужики бороды не носят, — он провёл рукой по своему подбородку, пригладил усы. — Подставной орудовал под казака.
— Будем разбираться, возбудим сыск, — ответил хорунжему Степанов и, обращаясь к толмачу, сказал: — Доверять чужим нельзя, надо спрашивать имя чужого. Помощь вам окажем, скупщика отыщем. Желаю встретиться с вашим родоначальником, слышал, что у вашего народа много лошадей, овец, коров. Торговать надо.
— Ладно, свет-губернатор, ходи его стойбище Улуг-Коль, день пути. Наша даёт, свет-губернатор, кушать хан, пить арака. Утро, мало-мало есть надо. Баран даём.

Толмач показал на пасущийся поблизости под присмотром пешего чабана десяток овец, затем махнул рукой стоящим кыргызам с перемётными сумами, трое выступили вперёд, раскрыли сумы, вынули завёрнутые в сатин кровяную колбасу хан, в двух керамических сосудах, прикрытых крышкой, харбан из баранины, в третьем сосуде похты — сметанную кашу, когержик с аракой. Всё это быстро, к удивлению Степанова, разместили на ковре, раскинутом на траве, поклонились и отошли в сторону.
— За угощение спасибо, Адайкан. Прошу всех откушать вместе с нами, но овец взять не могу. Нет, Адайкан, не могу, — ответил он на протест толмача. — Господин хорунжий, подайте на стол хлеб, остальную провизию, посуду, водку. Проси, Адайкан, чабанов к столу, откушаем по-братски.

Толмач передал своим людям приглашение губернатора к столу, те с робостью уселись вокруг ковра с застывшей на губах улыбкой смущения, молчаливо приняли кружки с водкой, которых, правда, не хватило на всех, ограничив спутников губернатора, но всё обошлось путём выпивания попеременно. Трапеза на свежем воздухе вылилась в задушевное знакомство. Собравшиеся расслабились, пили водку и араку, обильно закусывали ханом, ели с удовольствием хорошо проваренную баранину с лапшой, попробовали похты. Захмелели, неловкость быстро исчезла. Охотник Кайматы снял висевшую за спиной трубу-амыргу и, трубя в неё, подражая рёву марала, показал, как он скрадывает зверя во время гона. Русские заметили, что от рёва вскочили пришедшие с охотником две собаки, насторожились. У охотника получился своеобразный танец; закончив его, Кайматы вновь преподнёс отвергнутых Степановым тех же чёрно-палых соболей, прося принять дар в честь знакомства и дружбы. Александр Петрович достал портмоне, отсчитал несколько рублей, вручил охотнику и лишь тогда принял прекрасно выделанных соболей.

После завтрака толмач уселся с губернатором в карету, стал проводником в улус Улуг-Коль на угодья покровителя Сагайской степи. Кыргызы стояли кучкой, провожая гостей поклонами.

Вернувшись в Красноярск, Степанов пригласил к себе председателя суда Алексея Мартоса и губернского прокурора, поскольку им уже приходилось разбирать жалобу жителей Тюлькиной землицы, лежащей севернее центра, на подобные действия молодчиков.
— Господа, поборы скупщиками с местного населения участились. Мошенники остаются безнаказанными. Надо усилить сыск. Но этого мало. Предлагаю вам ознакомиться с моим черновиком «Наставление инородцам» на основе разработанного Михаилом Михайловичем Сперанским и утверждённого государем закона о малых народностях. Посмотрите, дополните, если есть на этот счёт соображения. В новой редакции примем его на Губернском совете, а затем будем вести разъяснительную работу среди инородцев, и, конечно, необходимо продумать вопрос обучения татар грамоте.

Написанное с добавлениями и отредактированное Степановым «Наставление» выглядело как наказ сохранять самобытность, свои язык и обычаи местным племенам не только юга, но и севера губернии. В частности, автор пишет: «Доселе вы принуждены были по делам своим хлопотать по судам, не зная ни законов, ни русского языка, с унижением и трепетом… ныне ваши дела должны разбираться в улусах родоначальниками и князцами на родном языке по правам предков, как отцы…»

Губернатор наставляет на то, чтобы люди чаще обращались со своими нуждами к земскому начальнику, доверяли ему, он же обязан доносить о назревших проблемах в местные думы, ходатайствовать о пользе родовичей. «Не воспрещается также писать в Красноярск, прямо на имя губернатора или в Губернский совет».

Просьбу об учёбе абаканских татар губернские власти выполнили, учредив приходское училище.

Оно заработало не сразу, а лишь спустя несколько лет. Письмоводитель Степного управления на первых порах стал обучать молодых татар по-русски читать и писать, нумерации и выкладке на счётах.

• • •

Возле свежесрубленного дома с шестью застеклёнными окнами от Знаменского стеклозавода, смотрящими на юг, собрался народ Красноярска. Это губернские и городские чиновники в форменной одежде, казаки в шароварах с лампасами, расшитых рубахах, подпоясанные ремнями, в фуражках с кокардами, из-под которых вились пряди каштановых, вороньих волос, купцы в атласных и шёлковых одеждах, мещане и мастеровые люди в косоворотках, тоже расшитых на русский манер. Взрослые стоят полукругом напротив высокого крыльца дома, а перед ними пестрела букетами полевых цветов молчаливая группа в два десятка детей разных возрастов с остриженными под гребёнку волосами. Одетые в длинные штанишки и разноцветные рубашки, дети выглядели празднично. Взоры собравшихся людей обращены на крыльцо с перилами и цветной лентой, на котором стояли губернатор Степанов в парадном камзоле с орденами, городской голова Иван Тихонович Гаврилов. Слева от них в укороченном, строгого покроя, однотонном платье находилась Екатерина Федосеевна, справа—средних лет протоирей в мантии и с курчавой бородой-лопатой, с церковной книгой в руках,—в качестве преподавателей. Удивляло то, что люди стояли едва ли не по стойке «смирно», молчаливо ожидая действие его превосходительства. Тем не менее с крыльца неожиданно, привлекая внимание собравшихся, раздался звон колокольчика, от которого некоторые вздрогнули. Степанов приподнял руку в знак приветствия, поклонился и сказал:

—Граждане красноярские жители, я вас приветствую на открытии первого приходского училища, в котором будут обучаться дети всех сословий за счёт губернской казны. Государь наш, Его Величество Александр Павлович, видит могущество и процветание отчизны в широком просвещении народа. Нам надо учить детей грамоте. Это необходимая мера для развития страны. Впереди грядёт век машин на промыслах различных типов, в сельском хозяйстве тоже. Грамотный человек в состоянии быстро изучить технические новинки и умело их применять в своём деле. Верный царской идее просвещения, я, как представитель государя, буду стремиться выполнять его волю. Сегодня мы собрали в училище всего двадцать детей. Мало! Это происходит от недопонимания родителями значения образования. Придёт время, и ряды школьников увеличатся. Сейчас мы разрежем ленточку открытия училища. Протоирей, он же учитель, освятит наше здание, и под гром аплодисментов и оркестра дети войдут в школу и соприкоснутся со святыми узами знаний. Прошу Ивана Тихоновича разрезать ленточку, а протоирея—освятить школу!

Голова города подхватил огромные деревянные ножницы, поданные послушником, с улыбкой смущения сделал шаг к ленточке, щёлкнул ножницами в заранее надрезанном месте. Ленточка распалась, её подхватил губернатор, высоко подняв над головами. Раздался туш сводного казачьего оркестра, ему вторили аплодисменты собравшихся жителей. Протоирей подхватил кадило и совершил обряд освящения крыльца, входа, углубился в здание, за ним несмело тронулись дети, подбадриваемые губернатором, учительницей и родителями, идущими следом. Сделалось шумно и торжественно от возгласов, рукоплесканий и оркестра.

Дети с учительницей прошли в светлый, выбеленный известью класс с партами, столом и чёрной доской на стене, шумно расселись, не зная, куда деть букеты цветов. Им подсказали, что их надо уложить на парты как символ красоты и удачи. Ребята послушно выполнили подсказку. Класс благоухал запахами цветов, искрился солнечными лучами. Загорелые лица детей выражали напряжённое любопытство. Стриженные под гребешок волосы обнажали забавно растопыренные ушки. Появились улыбки от производимой торжественности и внимания к ним взрослых, от любопытства ко всему тому, что происходит и будет делаться в будущем. В комнату степенно вошли родители, заняли пространство возле доски. В окна щедро светило солнце, упираясь своими лучами в предметы, в людей, как бы радуясь за взрослых и детей, решивших познать грамоту. Торопливо из коридора протиснулось несколько человек в русских народных костюмах. Губернатор, стоящий в центре, взмахнул рукой, и ряженые грянули гимн «Боже, Царя храни!». Песню подхватили родители, протоирей пел со всеми басом, непрестанно освящая кадилом класс.

Как только смолкли звуки гимна, губернатор сказал:

—Дети, в этом классе вы будете заниматься с восьми часов утра до полудня каждый день, кроме воскресенья и праздников. Изучите азбуку, научитесь читать и писать под руководством учительницы Екатерины Федосеевны. Протоирей научит вас складывать цифры, отнимать, умножать и делить, то есть первым правилам арифметики. Затем вместе с ним приступите к изучению Закона Божьего. Я вам желаю усердия и прилежания в учёбе. Сейчас взрослые уйдут, а Екатерина Федосеевна познакомится с вами и расскажет о нашей необъятной стране.

Несколько минут понадобилось, чтобы взрослые и певцы, отдавая напутствия ученикам, освободили класс вместе с губернатором. Он остался

весьма доволен событием, как и Гаврилов. Оба отправились к своим экипажам, что стояли на площадке перед школой.
— Дети, меня зовут Екатерина Федосеевна. Ваши имена и фамилии мы занесли в классный журнал, и давайте знакомиться. Я буду называть каждого по фамилии и по имени, и тот должен встать и сказать: «Я». Давайте попробуем,—учительница раскрыла журнал и произнесла:—Аршинов Ваня.

Екатерина Федосеевна сделала паузу, ожидая, когда мальчик встанет. Никто не вставал. Дети напряжённо молчали.
— Разве такого мальчика среди вас нет?
— Ванька, чего рот разинул? Не пужайся, вставай!—раздался голос мальчика лет десяти, толкавшего в бок своего напарника по парте.

Ребята засмеялись, обращая взгляды в сторону говорившего.

Екатерина Федосеевна прошла по проходу к парте, где сидел Ваня в ситцевой в горошек рубашке, опустила руку на его плечо, спросила:
— Тебя зовут Ваня?
— Да,—робко ответил Ваня, густо покраснев.
— Есть ли ещё у нас в классе мальчик с именем Ваня?—спросила учительница.
— Меня зовут Ваня,—откликнулся рослый мальчик на задней парте.—Я не Аршинов, а Воробьёв.
— Хорошо, Ваня Воробьёв, ты у нас в списке стоишь третьим, я тебя вызову. Ваня Аршинов, скорее всего, не знает своей фамилии, он у нас самый младший. Ему исполнилось только восемь лет, жил он в деревне у дедушки, а нынче переехал к родителям. Папа у него носит фамилию Аршинов, а дедушка, скорее всего, другую, потому Ваня пока не привык к своей родной фамилии. Да это не беда. Давай, Ваня, сразу договоримся: у нас в классе два Вани, как учительница назовёт тебя по фамилии, ты вставай и говори: «Я». Хорошо?

Ваня Аршинов кивнул головой в знак согласия.
— Давай попробуем снова. Итак, прошу встать Ваню Аршинова.

Ваня Аршинов не вставал, а покраснел до самых ушей.
— Перехожу к следующему ученику. Басаргин Емельян кто будет?

Справа от учительницы резво вскочил девятилетний мальчик. Лежавший на парте букет цветов упал на пол. Дети снова рассмеялись, но Емельян проворно наклонился, поднял его и сказал:
— Я!
— Ты живёшь на Благовещенской улице, и папа у тебя мастер сапожного дела? Ты чем-то ему помогаешь?
— А то как же! Сучу тятьке дратву, складываю на полке колодки, а если надо—подаю тяте. Раскладываю на столе инструмент.
— Молодец! Будь таким же прилежным в учёбе. Продолжаем знакомиться дальше. Воробьёв Гриша!
— Я,—бодро вскочил сосед Вани Аршинова.
— Похвально. Ты знаешь, сколько тебе лет?
— Батюшка говорил, что десять. Я с ним ноне на покосе робил. Копны к стогу возил верхом. У нас коров полдюжины, сена на зиму надо десять зародов.
— Ты знаешь счёт?
— Знаю, могу до ста сосчитать. Батюшка научил. Я люблю рисовать. Цветными карандашами речку Качу нарисовал. На синей воде утки плавают, а по берегам деревья зелёные, цветы красные, жёлтые, огоньки оранжевые—жарки́, а на покосе зароды сена.
— Прекрасно, садись, Гриша. Продолжим знакомство.

Через полчаса все дети были названы. Неловкость поведения и скованность исчезли. Дети с интересом слушали учительницу. Екатерина Федосеевна удовлетворённо закрыла журнал, сказала:
— Теперь я вам расскажу о планете Земля, на которой мы с вами живём. Она имеет форму шара. Планета крутится вокруг своей оси, подставляя бока небесному светилу Солнцу. Потому у нас есть день и ночь. Земля летит по орбите вокруг Солнца, приближаясь и удаляясь от него. Потому на Земле есть лето и зима. Планета Земля очень большая. На ней есть моря и океаны, высокие горы и широкие равнины, озёра и реки, такие могучие, как наш Енисей. На земле живёт много народов в своих странах. Самая большая страна—это наша Родина, Российская империя. Город Красноярск и Енисейская губерния находятся в самом центре России. Вы получите знания, чтобы успешно развивать нашу страну, жить богато и счастливо. На этом, дети, мы закончим первый урок. Я бы хотела, чтобы вы надолго запомнили его. А теперь я вас распускаю по домам и жду в классе завтра к восьми часам утра.
— Откуда взялась наша Земля?—неожиданно задал вопрос Гриша.—Мой батюшка сказывал, что Землю и людей создал Бог.
— Твоя любознательность похвальна,—ответила учительница.—Об этом вам расскажет протоирей на уроках Закона Божия. До свидания, дети.

Ученики шумно встали из-за парт и хлынули неудержимым потоком в коридор, на улицу. Екатерина Федосеевна, с торжественным видом и удовлетворённая уроком, шла следом за детьми.

• • •

Красноярск разрастался. Непросто созидать в этой глуши без широкой образованности людей и часто целеустремлённых к обогащению, ибо ехали в суровые места с целью нажить богатство, используя не только природные ресурсы, но и должности. Можно ли понять намерения таких людей и согласиться с их стремлениями, отнюдь не патриотическими? От лукавого сей вопрос.

Двоякий на него ответ обывателя. «Затем и ехал в глушь,—скажет иной,—чтобы обогатиться, а не перебиваться с хлеба на воду. Богатств тут немерено—бери, коли сумеешь взять!» Сам же губернатор не уставал повторять: трудись честно, с полной отдачей сил, и старания окупятся почётом и уважением, повышением по службе. Усердное старание—матерь благополучия. Не единожды он говаривал своему сподвижнику в литературных изысках Владимиру Соколовскому о своём и его первопроходстве, сравнивая с усилиями человека, взявшегося прорубить просеку в дремучем лесу, которая приведёт его к богатому прииску. Убеждённый в том, он рубил просеку до изнеможения всё лето, к осени вышел к пустоши, на краю которой зияла бездонная пропасть. Человек сел на камень, ухватил отросшую бороду в кулак и заплакал…

—И что же, человек упал духом?—нетерпеливо спросил Соколовский.—Похоронил свою мечту добраться до богатого золотоносного песка?

—Поначалу похоронил: впереди зима. Однако сошли снега, и он, снарядившись, вернулся к пропасти, спустился на её дно.

—И что же, добыл золото?

—Не добыл, но увидел впереди лежащие бескрайние долы, уверовал в свои силы человеческие, в свой дух первопроходца, решил обойти эти неведомые земли и оставить потомкам свои изыски и советы.

—Поучительно, поучительно,—в задумчивости молвил Соколовский.—Хватит ли у нас духу стать истинными первопроходцами в строительстве счастливой жизни людей в столь обширном и богатом крае?

Чередой катились дни и месяцы, и чем активнее вёл себя губернатор, тем быстрее, как по наклонной, бурля и пенясь, бежит ручей, превращаясь в реку, тем заметнее разрастался багаж сделанного. На западной окраине обозначился природный парк с дорожками и качелями, беседками и скамейками, где можно было в тени присесть, съесть мороженое из лавки купца Новикова. Можно почитать журнал или книгу, взятую по абонементу из библиотеки, что первоначально приютилась в небольшом доме. А новое здание закладывалось усилиями губернатора и казённой палаты, которой руководил единомышленник Иван Семёнович Пестов. Любитель литературы Пестов поддержал начинания Степанова в организации клуба «Беседы о Енисейском крае» и сам собирал материалы для будущей книги «Записки о Енисейской губернии Восточной Сибири». Также с глубоким пониманием в необходимости строились и открывались работные дома, хлебные магазины. Через несколько лет в Красноярске действовало шесть домов с просторными приусадебными дворами. В них трудились люди разных сословий, а не только ссыльные. Здесь можно было научиться ремеслу у бывалых мастеров, прилично зарабатывать на жизнь. Плотники и столяры, каменщики и маляры, кузнецы и слесари были широко востребованы на стройках города. В мастерских изготавливали прекрасную мебель, лёгкие экипажи, которые обходились покупателям гораздо дешевле, чем привезённые из-за Урала. Медники и серебряники, кожевники и шорники выпускали различную деревянную и металлическую посуду. Портные и сапожники шили различную одежду и обувь. Спросом пользовались меховые унты, сапоги на спиртовой подошве, кожухи и меховые шапки-ушанки. В лавках имелся широкий набор стеклянной посуды из Знаменского стеклозавода, которая пользовалась спросом у населения из-за невысокой цены и надёжности.

Сам любитель ботаники, географии, член Московского общества испытателей природы и активный член сельскохозяйственного общества, Степанов уделял большое внимание разведению картофеля, льна, овощей. Анализировал результаты и на их основе написал статью «О дикорастущих в Сибири конопле, грече и льне», опубликовал в столичном журнале. Всячески поощрял пасечников, которые с успехом брали мёд в богатейшей флоре, изобилующей различными медоносами, такими как иван-чай (кипрей), сибирский дягиль, шалфей, короставник, малина. Любил посещать ярмарки, где продавался произведённый людьми продукт. Ярмарки выливались в народное гуляние с песнями и плясками, наигрышами балалаечников, представлениями скоморохов и чтецов, акробатов и силачей.

Особенно шумные и многолюдные ярмарки—красноярские. Как апрельский обильный снег, стаявший во всех колках, логах поймы реки Качи, наполнял мутной водой извилистое русло с невысокими берегами, так местный да пришлый из деревень и хуторов говорливый народ прудил базарную большую площадь. Она лежала на окраине пыльная, унавоженная скотскими лепёшками, овечьими бурыми конфетками, рассыпанным овсом из лошадиных торб, клочками сена у прясел. Шум людских голосов то походил на музыку расстроенных инструментов, то улетал в прилегающие улицы вместе с шаловливым, но тёплым ветерком, то возвращался вновь с выкриками того или иного торговца, расхваливающего свой товар. Он был тут разный. Стояли в ряд брички, гружённые плугами, маслобойками, бочками, конской упряжью, бычьими выделанными и сыромятными шкурами, бухтами верёвок, кухонной утварью, вёдрами из цинка и клёна, корзинами из ивы. На лавках—свежая и малого посолу добротная енисейская рыба: хариус, ленок, таймень, сиг, а то и стерлядь; краснела свежая говядина, свинина

с салом в ладонь; лоснились золотистым оттенком аппетитные окорока; кудахтали куры-несушки в деревянных клетках, гуси в сером оперении, горластые, как иные неугомонные бабы. Дальше стоял скот. Годовалые бычки, годные для ярма и пахоты, телята, овцы, хрюкали и визжали с мешками на мордах свиньи, на которых косили глаз стреноженные жеребцы и кобылы. Лежал в штабелях пилёный лес: плаха, брус, кругляк и жерди.

Особо выделялись казаки, ставя на площади своеобразные куреня. Торговали товарами молодые улыбчивые каза́чки, одетые в расписные блузы, длиннополые сатиновые юбки; на голове с туго заплетёнными косами, покоящимися чаще на груди, неизменный венок: летом — из живых цветов, в другие времена — из бумажных. И непременно плечи украшали козьи полушалки или атласные с узорами. Казаки же, усатые и важные, выхаживают перед своим куренём во всей красе воинского снаряжения: в шароварах с лампасами, в папахах или в фуражках, с перевязью, на которой висит шашка.

Всегда среди них находятся плясуны. Играя обнажёнными шашками под звуки свирели или гармошки, они показывают своё удальство во владении клинками, стремительность в пляске с высокими, захватывающими дух прыжками.

А то перед куренём появится хор из нескольких казаков и казачек, и они под музыку балалайки поют задорные частушки или шутливые песни:

Девица с молодцем
Особо сидели,
Втай речи говорили:
Молодец, молодец!
Хороший, пригожий,
Кудрявый, маганый,
Холост, не женатый!
Сшей два башмачка
Из желта песочка.

Не могли ударить в грязь лицом перед казаками купцы. Эти ставили свои ряды, обособляя их холщовыми или сатиновыми вывесками с фамилиями хозяина, часто на заднем плане разбивали расписные шатры. Лавки с красным товаром — ткани, мануфактура — гораздо богаче казачьих. Здесь можно купить всё — от носков до верхней одежды, как летней, так и зимней; напиться чаю из самоваров с блинами или сдобной выпечкой, пирогами; принять «на грудь» вино или водку от любезного расторопного приказчика.

• • •

В декабрьскую стужу 1825 года Степановы получили от сыновей тревожную весть о здоровье матушки Пелагеи Степановны. Сама она сыну писала редко, но каждое письмо в семье отмечалось, как праздник, шумно и весело, словно матушка вот-вот перешагнёт порог дома с подарками. Каждое послание и являлось самым дорогим подарком. В них она сообщала о своём прибыльном хозяйстве, о внуках Петре и Николае, в которых души не чает, о том, что отписала имение на них. Меж строк можно было увидеть, как гордится матушка своим сыном-губернатором, как бы вскользь сообщая, что о нём интересуются ловатские помещики да калужские дворяне, в числе которых председатель дворянства.

И вот слегла. Не побежишь, не поскачешь к маменьке за пять тысяч вёрст, чтобы преклонить колени. Главе семейства катит уж седьмой десяток лет в кипучей, как вулканическая лава, жизни. Дай Бог, поднимется на ноги. Ожиданием писем был последний месяц уходящего года, третьего по счёту сибирского, неоднозначно необычного, в целом удачного и прибыльного. Утвердившийся авторитет губернатора подтверждён заслуженным чином действительного статского советника, дающим право на потомственное дворянство, повышение жалования. Встретили и отпраздновали Новый год — и снова ожидание.

Как гром среди ясного неба: личную тревогу за жизнь матушки отбросило запоздавшее почти на месяц официальное сообщение о неожиданной кончине в Таганроге императора Александра I, а также эмоциональные публикации об этом же петербургских и московских газет! Степанов не скрывал своей любви и преданности государю, более того — обязан своим благополучием. Скончался он первого декабря, в Петербург известие докатилось лишь на восьмой день и получено во время молебна за здравие императора. Скорбя и терзаясь в первые минуты и часы о преждевременной кончине государя, Александр Петрович задумался над тем, как же это несчастье отразится на его службе, на судьбе семьи. Ничего утешительного в голову не шло, но наверняка затрясёт общество, загромыхает личный дилижанс каждого, словно на булыжниках. Будет ли мирное и безболезненное восхождение на престол младшего брата, Николая Павловича?

Почва для сомнений имелась. Несколько лет назад в Петербурге летали упорные слухи, как чёрные галки, будоража своим криком сознание, что государь тяготится своим правлением и готов отказаться от престола в пользу брата Константина, наместника Царства Польского, но тот якобы отказывался в пользу Николая. О своём решении и нерешительности цесаревича государь известил Николая Павловича, что наследником предстоит стать ему. Такая перспектива великого князя не радовала.

«Государь уехал, — записал в свой дневник Николай Павлович, — но мы с женой остались в положении, которое уподобить могу только тому ощущению, которое, полагаю, поразит человека, идущего

спокойно по приятной дороге, усеянной цветами, и с которой всюду открываются приятнейшие виды, когда вдруг разверзается под ногами пропасть, в которую непреодолимая сила ввергает его, не давая отступить или воротиться. Вот совершенное изображение нашего ужасного положения».

Слухи витали недолго и заглохли от продолжающегося мирного царствования Александра. Но теперь они аукнулись: нехорошо отразились в душе Степанова, познавшего тягость управления частью Российского государства со своей хозяйственной и жилищной неустроенностью, вечной нехваткой казны, постоянной заботой о хлебе, о выживании в суровые зимы, о просвещении, о надзоре за невольниками, которых почти двадцать пять тысяч, и многим чем другим, требующим личного внимания и решения вопросов. Ему стало ясно, отчего же уходят престолонаследники, перекладывая шапку друг на друга.

«В чём всё же главная причина торопливости государя?—размышлял в тот год Степанов.—Здоровье пока не подводило. Я склонен к тому, что вялотекущие реформы в государстве не устраивают царя, они сильно отстают от передовых европейских стран. Он как бы укоряет себя за малодушие и нерешительность против тех обещаний и намерений, чем жил в первые годы царствования. Сопротивление реформам вельможных кругов, зная, насколько они вероломны и неуступчивы, пугает императора? Пример—участь его отца. Не проще ли переложить тяжесть правления государством на плечи наследника, а самому уйти в тень? Не удаётся!»

Как бы там ни было, а Степанову показалось, что он теряет твёрдую почву под ногами. На его жизненном пути встаёт новый государь. Вспомнились слова маменьки, сетующей на то, что едва привыкнешь к заведённым порядкам нового монарха, обживёшься, как они меняются. Каков свет зажжётся—радужно ли милостивый, угарный ли? Да лиха беда начало. Нам надо жить да дела вершить! Выстилать торную дорогу в хозяйственной трясине.

Почта следующего дня принесла известие о том, что присутствующий на молебне Николай Павлович присягнул Константину, хотя цесаревич находился в Варшаве, и начал приводить к присяге войска. В тот же день собрался Государственный совет, на котором было заслушано содержание манифеста, датированного августом 1823 года, на пакетах которого Александр Павлович написал: «Хранить до моего востребования, а в случае моей кончины раскрыть прежде всякого другого действия». В манифесте говорилось об отречении цесаревича и великого князя Константина Павловича и утверждался наследником престола великий князь Николай Павлович.

Оказавшись в двойственном положении, члены Совета обратились к Николаю. Тот не признал манифест Александра I и отказался провозглашать себя императором до окончательного выражения воли старшего брата, призвал Совет принести присягу Константину «для спокойствия государства». Следуя этому призыву, Государственный совет, Сенат и Синод принесли присягу на верность Константину I.

На следующий день был издан указ о повсеместной присяге новому императору. Дворяне Москвы незамедлительно присягнули Константину. В Петербурге присягу отложили до 25 декабря[5]. Наступили дни безвластия: Константин Павлович отказался прибыть в Санкт-Петербург и подтвердил своё отречение в частных письмах к Николаю Павловичу, а затем направил рескрипты председателю Государственного совета и министру юстиции с тем же содержанием. Создалось двусмысленное и крайне напряжённое положение междуцарствия в бурлящем страстями Петербурге.

Вечером 24 декабря 1825 года Сперанский написал манифест о восшествии на престол императора Николая I. Наследник подписал его утром. К документу прилагались письмо Константина к Александру I от 26 января 1822 года об отказе от наследования и манифест Александра I от 28 августа 1823 года.

Присяга Николаю I была назначена в Петербурге на 25 декабря.

Александр Петрович по обыкновению, а это у него шло от строгого выполнения распорядка дня, введённого императором Павлом Петровичем, первым появлялся в конторе, здоровался со сторожем-истопником, проходил в свой кабинет и садился разбирать почту. В эти напряжённые дни он следовал заведённому порядку неукоснительно. Развернув сводку правительственных «Санкт-Петербургских ведомостей», он отпрянул: газета броско давала заголовок о том, что вооружённые полки отказались присягать императору Николаю Павловичу, хотя члены Сената после отказа от престола Константина присягнули и разошлись по своим местам службы. Степанов не сразу осознал масштаб неповиновения, больше всего в этот миг его потрясло сообщение об убийстве прославленного героя Отечественной войны, губернатора Петербурга графа Михаила Милорадовича, этого незабвенного патриота и защитника монарха! Выстрел из пистолета совершил дерзновенный Пётр Каховский.

Скупо сообщалось о том, что восстание разгромлено верными царю войсками, об арестах бунтовщиков-офицеров, а также солдат; цифры не назывались. Причина—свержение царя.

О размахе движения вольнодумцев, недовольных самодержавием и крепостничеством,

5. В данном отрезке текста даты даны в старом стиле.

говорилось довольно подробно. Цель восставших — либерализация российского общественно-политического строя: учреждение временного правительства, отмена крепостного права, равенство всех перед законом, демократические свободы (прессы, исповеди, труда), введение суда присяжных, введение обязательной военной службы для всех сословий, выборность чиновников, отмена подушной подати и смена формы правления на конституционную монархию или республику. Степанов, читая, не верил своим глазам. Он не ответил на какой-то вопрос вошедшего в кабинет секретаря Ивана Григорьевича Родюкова, остановившимся взглядом смотрел на человека и не мог сообразить, что ему надо. Тот же, увидев необычайную бледность губернатора с газетой в руках, не отрывающего взгляда от строк, постоял в растерянности с минуту и вышел. Стал искать свежий номер «Московского вестника», а найдя и взглянув, ужаснулся. В нём о восстании писали более подробно.

Между тем, перебрав все газеты и журналы, перечитав их, губернатор пришёл к выводу, что восставшие явились серьёзной силой в борьбе за конституционные права российского общества, за ликвидацию рабского состояния крестьянства, в чём был солидарен с такой постановкой вопроса. Выступление было плохо организовано и быстро захлебнулось. Избранный руководителем князь Трубецкой на площадь не явился. Произошло замешательство в действиях восставших, споры в назначении нового диктатора. Время было потеряно. Как же случилось, что застрелены Милорадович и командир лейб-гвардии Гренадерского полка Николай Стюрлер? Последнего Степанов не знал. Но Милорадович, его товарищ по оружию, храбрейший человек и патриот Отечества, наконец, его покровитель? Подумал: как бы я себя повёл, в каком оказался стане, если бы оставался в Петербурге, а не здесь, на губернаторстве? Куда бы завели мысли о конституционном строе, который дал бы свободу народу? Он — верный монархии сторонник единоначалия в государстве, потому и не стал членом «Союза спасения», а затем «Союза благоденствия», организованных в 1816–1821 годах.

Ему вспомнилась дружба с Гавриилом Степановичем Батеньковым, его интерес к рассказам о жизни австрийских крестьян, бывая в заграничном походе в Австрии. Тогда Александр Петрович не придал значения этим расспросам приятеля, теперь подвёл под них базовый интерес. Крестьянство там было вольное, хозяйства крепкие, дома и дворы ухоженные. Как они трудились и жили? Юного офицера это меньше всего интересовало. Теперь, в зрелые годы, он бы изучил их труд, быт, как изучает теперь, бывая в поездках, енисейские земли, жизнь русских поселенцев и местных инородцев, занося свои наблюдения и исследования в толстую тетрадь для будущих публикаций. Эта информация используется уже сейчас. Вместе со своими ближайшими помощниками работает над проектом «Степные законы для кочевых инородцев Енисейской губернии». Тема знакомая: вместе с Батеньковым участвовал по поручению Сперанского в разработке закона об инородцах. Вот тогда-то Батеньков подробно расспрашивал его о жизни зарубежных крестьян. И говорил, что в Сибири нет крепостных и помещиков. Там есть вольные поселенцы да кочевые, свободные от крепости народы, хотя они в большой степени зависят от состоятельных баев и ханов — как и во всём мире.

Губернатор слышал нарастающий говор в приёмной у секретаря. К нему шли на доклад прокурор, полицейский, жандармский офицер, надзирающий за арестантами в остроге, городской голова, судья. Степанов слышал их голоса и не мог приказать себе начать приём из-за раскисшей, как земля под дождём, воли от прочитанного и предположения своей судьбы, останься он в столице. Дверь всё-таки распахнулась без его колокольчика, каким он подавал сигнал секретарю, и в кабинет, шумно ступая на пол в зимней тяжёлой обуви, вошёл встревоженный актив губернского правления. Председатель правления — коллежский секретарь Николай Петрович Фролов — торопливо задал вопрос:

— Ваше превосходительство, можно ли верить газетам? Мы встревожены!

Губернатор продолжал держать в руках московскую газету и, не отвечая и в то же время отвечая на вопрос, сказал:

— На Сенатской площади во время назначенной присяги императору Николаю Павловичу пролилась кровь моего боевого товарища по двум войнам графа Милорадовича. Убит разъярённым Каховским.

— О чём вы спрашиваете, милостивый государь? — с оттенком сарказма сказал председатель губернского суда Алексей Иванович Мартос. — О таких серьёзных вещах газеты обязаны высказываться официально, но скупо! Очень скупо.

— Рассаживайтесь, господа, — приходя в себя от информационного шока, пригласил чиновников губернатор, — обсудим текущий момент. Да, на Сенатской площади полки вместо присяги императору встали на сторону заговора против монарха. Возмущённый неповиновением, генерал Милорадович, в ранге губернатора Петербурга, бросился к заговорщикам, пытаясь призвать к примирению, но Каховский выстрелом из пистолета свалил с лошади героя Отечественной войны. Тот от тяжёлого ранения умер. Однако восставшие не предпринимали никаких действий. Огнём из ружей и пушек полки были рассеяны верными императору войсками. Газеты сообщают о жертвах: убито значительно больше тысячи человек: один

генерал, несколько десятков офицеров, несколько сот черни, много подростков, находившихся на площади. Начались аресты.

Тяжкая тишина повисла в кабинете. Через минуту чиновников прорвало: заговорили все сразу, и губернатору трудно было разобрать в этом гаме, кто о чём говорит. Слышались фразы возмущения в адрес восставших, соболезнования о гибели Милорадовича. Среди общего шума раздался громогласный голос жандарма Маслова. Он, как обычно, занимал место справа от судьи и прокурора, встал, выбросил руку вперёд, как бы приказывая собравшимся людям замолчать, сказал:

— Господа, мы должны принять резолюцию в поддержку императора и заверить, что губернское правление не позволит шатать трон монарха. Предлагаю составить комиссию, дабы она выразила нашу волю.

— Газетные и журнальные публикации нельзя брать за основу произошедшего волнения. Есть вероятность искажения действительности,—сказал губернатор.—Уместно подождать официальную оценку случившемуся, высочайшие рекомендации к действию и тогда изложить свою точку зрения в поддержку царского дома Романовых. Почта с таковой оценкой, я уверен, в пути. Теперь же приступим к освещению наших внутренних дел. Прошу полицейское управление доложить о событиях за истекшие сутки.

Официальная оценка восстания, незамедлительно получившая нарицательное имя—«декабристы», была получена следом. Вскоре пришло траурное письмо от сыновей о кончине матушки Пелагеи Степановны.

Потрясение за потрясением. Александр Петрович скупо рассказал о восстании декабристов жене, оставляя при себе крамольные соображения в свой адрес, нахлынувшие в то утро в кабинете. Ни к чему ей тревоги. С известием о кончине матушки невестка разрыдалась и долго горевала. Поминальные девять дней прошли, близятся сороковые, а скорбь с её лица так ни сошла. Заказали панихиду в Благовещенском соборе.

• • •

Этап государственных преступников прибыл в Красноярск в августе 1826 года. Дни стояли погожие и даже знойные, вызывали жажду, которую утолить нечем. Терпели. Закованные в кандалы арестанты вызывали сострадание у городских зевак. Как только колонна колодников под охраной солдат вошла на окраину, свернув на самую крайнюю улицу города, раздался заполошный крик:

— Ведут! Декабристов ведут!

Из домов и усадеб выскакивали босоногие мальчишки, за ними сначала несмело появлялись мужики, затем и бабы. Стоя у калиток, иные молча провожали арестантов крестным знамением, иные шли за колонной, крестясь и бормоча:

— Заступники крестьянские! За народ страдают, за волю!

— Дворянских кровей, а вот—бунтари!

— Не просты люди, петровские да екатерининские вельможи, не сдюжили против кабалы народной!

В колонне шли не только декабристы, но и преступники различных мастей: воры, казнокрады, убийцы. Изнурённые, почерневшие от солнца лица, похудевшие измождённые фигуры, в арестантской одежде люди выглядели однородной массой с потерей прежнего здоровья, бодрости, с падением духа. На бородатых лицах печать страдания, у многих—раскаяния. Глухой топот, тяжёлое дыхание, звон цепей вылились в печальную, заунывную песню: «Горячее солнце всё ниже, в степи серебрится ковыль. Колодки да тяжкие цепи, несу их в холодну Сибирь».

У кого-то вырвался едва ли не предсмертный возглас:

— Воды, дайте воды!

В колонне произошло замешательство, движение застопорилось, послышались окрики:

— Марш, марш! Стоять не велено!

Какая-то баба выскочила с кувшином из калитки, бросилась к колонне. На пути встал жандармский офицер, саданул прикладом ружья в глиняный сосуд, разбил, вода окатила ноги женщины, раздался крик:

— Побойтесь Бога!

— Не велено! Не берите грех на душу! Марш, марш!

— Спасибо, люди добрые!—взвился над колонной сиплый с надрывом голос.—Царские сатрапы беспощадны!

Арестанты, звеня кандалами, бороздя пыльную улицу, мерно из последних сил двигались в сторону острога, где утолят жажду, примут скудную пищу—и снова кандальный звон, проклятия мучителям.

Александр Петрович был уведомлён об этапе с предписанием: пополнить арестантскую кухню провизией, предоставить короткий отдых арестантам в действующем остроге, расположенном за чертой города. Губернатора депеша взволновала присутствием в этапе декабристов.

Накануне городской голова Степан Яковлевич Кузнецов, избранный в начале года красноярцами, доносил о том, что запасы хлеба в городе истощены, а торговые ряды скудеют. Крестьяне и казаки придерживают муку, боятся не дотянуть до нового урожая, а купцы ломят цену. Об этом губернатор знал. Хлебная проблема решалась в губернии медленно. Великие расстояния между хлебородными российскими землями и Приенисейским краем тормозили завоз не только зерна и муки, но и круп. Создавалась ежегодная нехватка.

Степанов видел решение проблемы не только при помощи увеличения купеческого завоза, но прежде всего через расширение пахотных земель в Ачинском, Минусинском, Канском и Красноярском округах. Выходило не так-то просто поднять целинные земли. Попросту не хватало крестьянских рук и крепких плугов. Пополнение людьми края идёт медленно. Однако на плодородных землях Ачинского и Красноярского округов пашня расширялась. Здесь стали брать ржи, а это озимые, сам-двенадцать, пшеницы—сам-восемь, ячменя и овса—сам-семь. Губернатор, выезжая в округа, изучал не только местоположение земель, рек и озёр, исследовал гумус, но и вёл статистику урожайности, занося все наблюдения в свой толстый походный журнал.

Александр Петрович в беседе с Кузнецовым прикидывал, когда крестьяне и казаки выйдут на жатву озимых, возьмут первый урожай и пополнят рынок мукой, печёным хлебом.

— Июньская жара хорошо подтянула озимые,—говорил уверенно губернатор.—В районе стеклозавода нивы золотятся, а также ниже Красноярска в Берёзовке[6], за сопками Бадалыка. Крестьяне уж навострили косы, серпы и вот-вот выйдут на жатву.

— Дай-то Бог погоду, поставим снопы—глядишь, вздохнём легче,—соглашался градоначальник.—Государственные крестьяне и берёзовские казаки, что в моём ведомстве ожидают начало жатвы с молитвами, не упустят золотое времечко. Заждались.

— Наши наблюдения и надежды, господин Кузнецов, совпадают,—повеселевшим голосом закончил беседу Степанов.—Прошу держать хлебные дела на контроле.

Губернатор изволил взглянуть на этап арестантов, посчитать количество душ, ибо в циркуляре точное число не называлось из-за дорожной убыли людей, только на месте можно определить объем пополнения провизии,—хотя мог поручить это хлопотное дело Кузнецову, председателю Енисейской казённой палаты Ивану Семёновичу Пестову, жандармскому офицеру острога. Александр Петрович ловил себя на желании взглянуть на декабристов, среди которых были хорошо знакомые дворяне. Взглянуть, возможно, в чём-то помочь. Добром ли это отзовётся или наветом, но он не думал о будущих последствиях и стремился порывом добродетели успокоить свою душу. А она у него страдала от двойной скорби. Кончина матушки—невосполнимая потеря, он не проводил маменьку в последний путь. Это обстоятельство висело на нём тяжким упрёком. Его отрада—любимая Катенька—не может смириться с потерей Толика, рождённого в Красноярске двумя годами раньше. Слабенького и болезненного, Бог забрал его вслед за кончиной маменьки. Смерть сына поразила и его, словно отравленная пуля, сидящая где-то в душе, отдаёт щемящей болью. Не вырвать её, а глядя на печальную Катеньку, и того горше сознавать эту утрату. Потеря сына, по его мнению, медленно сушит душу и тело жены. Ничем не может он её ободрить, обрадовать: ни своим здоровьем, ни делами в городе. Видит искусственную улыбку и молчаливое ободрение: мол, не печалься, друг мой, насчёт меня. Всё обойдётся хорошо, время вылечит! Не вылечивает. Всё глубже и глубже уходит печаль, давит приступами грудная жаба, от которой стали отпиваться настоями валерианового корня, пустырником. Рекомендованные прогулки на свежем воздухе, как и настои, помогали слабо: тяжёлая борьба за жизнь затягивалась. Он не мог ни с помощью губернского врача, ни с помощью фармацевтов разорвать эту петлю.

Поставить в вину кому-то эти несчастья он не мог. Разве что себе—за малое внимание к родным, а больше к делам губернии, за недостаточную медицинскую помощь захворавшей жене. Вот тогда-то он вплотную занялся вопросами здоровья подданных ему жителей, расширил больницу. По его просьбе с медицинского факультета Московского университета приехали молодые врачи и организовали широкую практику. Одновременно обновил аптеку, которая стала филиалом нижегородского фармацевта Руммеля. Аптекарь побывал в Красноярске, привёз оборудование для лаборатории, оставил прибывших с ним лаборантов, они стали готовить микстуры и порошки, широко использовать лекарственные травы. Екатерина Федосеевна к осени пошла на поправку, но полного выздоровления пока не наблюдалось.

• • •

Губернатор и председатель губернского суда Алексей Иванович Мартос ехали на пролётке к арестантам по тряской дороге. Продолжали стоять жаркие солнечные дни, на седоках летняя лёгкая одежда, поток воздуха от бега пролётки почти не освежал. Словоохотливый Степанов молчал все три километра пути до острога и удивил Мартоса, который был не прочь поговорить не о губернских делах, а о литературных, поскольку сам писал статьи в журналы о сибирских бескрайних просторах, о народах, их населяющих. Алексей Иванович с присущей ему деликатностью тоже молчал, не желая нарушать того собранного состояния своего начальника перед непростым мероприятием. И лишь подъезжая к острогу, увидев входящих на территорию закованных в кандалы арестантов,

6. В 1639 году монахи Спасского монастыря из Енисейска Иван и Герасим купили у атамана Милослава Кольцова земли в устье речки Берёзовки для строительства Введенского мужского монастыря для больных и увечных казаков Красноярского острога. В 1821 году в селе построен каменный храм, в 1840 году создана переправа через Енисей.

взбивая пыль, удручая и без того безликую массу невольников, что до отказа заполнила двор, Степанов возбуждённо бросил:
— Такого зрелища я раньше не видывал! Острог полон!

Карета остановилась, кони замерли. Появившийся пристав дал отмашку рукой кучеру, разрешая въезд в острог, отдал честь начальству и двинулся вслед за пролёткой. Степанов и Мартос торопливо спешились, с волнением глядя на сидевших на земле под солнцем, под навесами обескровленных людей. Серо-чёрные однообразные людские глыбы, словно окаменевшие, сидели тесно. Не слышалось даже дыхания, и лишь застарелый запах пота и давно немытых тел остро ударил в нос. Степанову представилась мёртвая панорама Саянских гольцов с каменными глыбами. Но он знал: там есть скрытая жизнь лишайников и мхов, летних насекомых и грызунов, низкорослых трав с редкими лоскутами вереска. Но здесь, в этих людских гольцах, есть ли жизнь, не умерла ли она, смогут ли эти изваяния ожить, если их напоить, накормить? Смогут ли они после столь труднейшего перехода в места, уготованные для каторги, быть полезными, работоспособными? Степанов, оцепенев, смотрел поверх голов, и взгляд его упал на последнего вошедшего колодника, тяжело опустившегося на землю, воскликнул:
— Ваша светлость, Фёдор Петрович Шаховский! Вы ли?

Арестант, одетый как и все, в чёрно-серый кафтан, брюки, на ногах коты, на бритой, но с уже начинающими отрастать волосами голове картуз, медленно поворотился на голос, блеснув сухой синью глаз, с трудом разжимая спёкшиеся от жажды губы. Тридцатилетний, выше среднего роста, белобрысый, он был худощав всегда. Теперь же в ходе этапа вовсе усох телом и имел довольно жалкий вид. Но эта внешняя сторона не давала полного представления о его духе.
— Степанов, вы? — не сказал, а просипел арестант. — Прикажите подать людям воду.
— Да-да, немедленно! Немедленно напоить прибывших! — раздался его звучный приказ. — Господин Маслов, распорядитесь напоить людей!

Степанов видел, как Маслов грубо, в шею, погнал своих людей за баклагами с водой. Несколько солдат, бухая сапогами, безмолвно скрылись в бараке. Гнев сверкал в глазах губернатора, он обратился к своему спутнику:
— Как вам это, господин председатель? Что, преступник — уже не человек?
— Лишения в этапе неизбежны, ваше превосходительство. Но расторопнее жандармам быть надо.

Степанов выхватил баклагу из рук подбежавшего солдата, выдернул пробку и стал наливать в кружку воду, которую держал служивый. Руки губернатора дрожали.

— Пейте, князь, пейте! — подал он кружку арестанту.

Тот, не вставая, принялся жадно пить, стуча зубами о кромку.

Степанов знал князя как изыскателя новых возможностей в производстве продуктов сельского хозяйства. Знакомство состоялось шесть лет назад, когда в Императорском обществе испытателей природы и Московском обществе сельского хозяйства Шаховского ставили в пример как образцового хозяина. В своих записках князь отмечал: «По приезде в имение жены в село Ореховец нашли мы крестьян в великой бедности и, желая облегчить их жизнь, положили значительный капитал, обратив часть оного на усовершенствование хлебопашества и хозяйственных заведений». Князем была ликвидирована чересполосица, крестьяне получили лучшую землю, была сокращена барщина, введено многополье, залужая пашни бобовыми травами с последующей распашкой под хлеба́, пары́. Князь приобретал современные плуги, культиваторы и сеялки для крестьян, контролировал использование орудий не только на собственных землях, но и на наделах крепостных. Расширил овощеводство. Доходы крестьян и самого хозяина увеличились, что стало причиной недовольства соседей и доноса на Шаховского, рушившего патриархальные устои крестьянского бытия. Памятуя увлечение в первое время развитием хозяйства в своём имении, Александр Петрович был удовлетворён нововведениями князя и сам стремился к тому же, внедрял хозяйственные наработки как в Ловати, так и здесь, в менее благоприятных условиях, вникая в нужды земледельцев. Теперь, увидев плачевное состояние осуждённого, решил оказать ему хоть какую-то помощь. Губернатор распорядился снять с Шаховского кандалы и, выяснив, что арестанта ждёт этап в Туруханск, приказал оставить его на три дня в Красноярске, чтобы подкормить, дать сил добраться до места ссылки.
— Не положено, ваше превосходительство, — возразил пристав, — обязан о таком деянии вашем сообщить в Третье отделение.

Мартос беспомощно развёл руками, на немую просьбу Степанова о поддержке. Судья подошёл к Маслову и что-то негромко стал говорить.
— Не могу, даже из уважения к вам, господин Мартос. Донесение обязан отправить.

Степанов слышал эту реплику, горько усмехнулся, но от своего намерения не отказался и подумал: «У Маслова злой ум, хотя человек начитанный и весьма образованный. Но злой ум не способен творить добро, участливо заглядывать в души людские, особенно повинных».

Убедившись, что все арестанты напоены, а с Шаховского сняты кандалы, губернатор распорядился принести ему отчёт о запасах продовольствия, какого объёма потребуется дополнение и уехал

в контору. Через секретаря Родюкова отослал распоряжение городскому голове о том, сколько же необходимо отправить в острог муки, сухарей, вяленой рыбы. Назавтра он снова посетил острог для беседы с Шаховским. В присутствии пристава губернатор спросил:

— Думаете ли вы, Фёдор Петрович, в этом суровом крае заниматься возделыванием сельскохозяйственных культур?

— Есть такое желание и мысли, коли позволит климат, да будет это угодно Всевышнему и императору,—отвечал арестант.

— Я пошлю вам по весне семена картофеля. Крестьяне в деревнях выращивают этот прекрасный продукт питания. Есть хороший сорт. Попробуйте.

— С превеликой охотой, ваше превосходительство, займусь опытом. Разводят ли там скот?

— Есть такие подвижники, но держат коров всего две семьи. Люди там занимаются рыболовством, охотой. Добывают пушного зверя: соболя, куницу, песца—наше мягкое золото. Угодно ли вам это ремесло?

— Нет, мне неведомы такие способности.

Губернатор проследил за тем, какие продукты были закуплены на деньги из фонда Приказа общественного призрения, велел сытно кормить в остроге арестантов, особенно тех, кто отправляется в новый этап на поселение,—в частности, Шаховский в Туруханск, а Семён Краснокутский на восток[7].

Поредевший этап ушёл в разные округа губернии. Степанов писал в инстанции о том, чтобы Шаховского, как человека, склонного к сельскохозяйственной науке, весьма начитанного и целеустремлённого, можно было использовать в этой области. Туруханский голова был не против предложения губернатора, поселил ссыльного в семью, что держали крупнорогатый скот. Князь наладил деловую переписку с ботаником Григорием Ивановичем Фишером, основателем Московского общества испытателей природы, так как был с ним лично знаком, сообщал ему о климатических условиях, фауне и флоре, высказывал свои соображения в разведении картофеля, овощей, просил его советы.

Несколько писем губернатора и арестанта миновали жандармского надзирателя, и от Степанова немедленно потребовали объяснение в Третье отделение—орган политического надзора и сыска в империи. Губернатор отвечал: «Переписка наша имеет сугубо хозяйственный характер, направленная на испытание возделывания некоторых культур. Ежели он разводит картофель и другие разные овощи, которых прежде в Туруханске не было, и будет их раздавать и продавать жителям, то сие не может принести никакого вреда, кроме пользы».

Сотник Сапожников сообщал в надзирающую канцелярию о поведении Шаховского: «Имею честь донести, что насчёт нравственности Шаховского наружного распутства не замечено, от жителей как Туруханска, равно и от живущих от Туруханска вверх по Енисею приобрёл особое расположение через ссужение их деньгами, обещанием улучшить их состояние через разведение картофеля и прочих огородных овощей, провозвещая им дешевизну хлеба и прочих вещей, в крестьянском быту необходимых». В следующем донесении сообщается, что «...преступник располагает иметь в Туруханске домоводство и скотоводство, разведение картофеля и прочих овощей».

Однажды председатель губернского суда Мартос осторожно высказал пожелание: прекратить всякое общение с государственным преступником.

— Оно чревато последствием, ваше превосходительство. Надзирающий в Туруханске сотник Сапожников—человек неугомонный, службист и строчит на князя донесение за донесением, хотя тот ничего противозаконного не совершает.

— Именно противозаконного. Вы знаете, Алексей Иванович, что князь в своём имении стремился облегчить жизнь крестьян. Вот и здесь помог жителям Туруханска погасить недоимки по повинностям, израсходовав триста рублей, присланных ему женой.

— Относительно закона тут нет нарушений. Человек тратил свои деньги. Но моральное воздействие на такой шаг шеф политического надзора Бенкендорф посчитал нежелательным. Преступник—а вот добрый!

— Мне хотелось бы знать, не этот ли шаг князя повлиял на решение Бенкендорфа и приказ: «Губернатору предписывается позаботиться о перемене места жительства Шаховского и надлежит назначить город, который он сочтёт необходимым в данном случае, но с тем, чтобы Шаховской от этого ничего не выиграл».

Мартос был чуткий человек, хороший психолог и видел, как Степанова волнует судьба одарённого человека, который может обогатить суровый край своими исследованиями, сочувственно относился к эмоциям губернатора, но, вставая на букву закона, напрямую поддерживать его не мог.

— Ранее я ходатайствовал о переводе Шаховского в Красноярск для продолжения опытов с сельскохозяйственными культурами, чем он активно занимался в своём имении, писал статьи

7. В Красноярске и в губернии жили декабристы: Ф. П. Шаховской (1826–1828), С. Г. Краснокутский (1831–1838), М. А. Фонвизин (1836–1838), Н. С. Бобрищев-Пушкин (1831–1840), П. С. Бобрищев-Пушкин (1832–1840), М. Ф. Митьков (1836–1849), М. М. Спиридов (1839–1854), В. Л. Давыдов (1839–1855). Из списка видно, что тесное общение с декабристами у Степанова было только с Шаховским.

и публиковал их. Вот письмо Фишера, он просит меня всячески оказывать Шаховскому поддержку,— возбуждённо говорил Александр Петрович, что вполне соответствовало его характеру.— Мне было отказано. И вот теперь разрешена перемена места жительства. Я выбрал благоприятный Минусинск. Жду ответ.

Вскоре пришло назначение: город Енисейск, расположенный ниже слияния могучей Ангары с Енисеем, где успел побывать сам Александр Петрович, найдя его в хорошем состоянии, успешно развивающимся на рыбных промыслах, золотодобыче и пушнине. Подспорьем к этому мастера железных дел отливали на заводе церковные колокола, и они звонили чистым звуком не только в Енисейской губернии, но и за её пределами.

В начале августа следующего года Шаховской отбывает на новое место ссылки, с надеждой развернуть свои изыскания в более подходящих климатических условиях, собираясь по весне устраивать парники для выращивания капусты, огурцов, свёклы. И, конечно, картофеля, как уже повсеместно отмечалось его значение в качестве второго хлеба.

Длительная зима, постоянный надзор подорвали душевные силы Фёдора Петровича.

О душевной болезни декабриста Степанов по различным каналам узнаёт только летом 1828 года, даёт распоряжение поместить его в городскую больницу, собираясь при случае навестить и оказать ему посильную помощь. Одновременно княгиня Шаховская добилась перевода больного мужа в Суздаль. Находясь в курсе дела декабриста, губернатор хлопочет о пересылке многочисленных заметок и дневников Шаховского о наблюдениях и изысканиях природных условий, почв севера Енисейской губернии для земледелия. Александр Петрович понимал, что забота о государственном преступнике, хотя и не признавшем своей вины, ничего хорошего не принесёт, но поступить иначе не мог. Безусловно, такое поведение губернатора раздражало Николая I, следившего за делами декабристов, но безупречное служение Степанова сдерживало императора от резких шагов до поры до времени.

● ● ●

Александр Петрович имел обыкновение делиться своими впечатлениями и переживаниями по многим событиям и случаям в жизни губернии с женой. Чаще всего беседы проходили вечерами во время трапезы. Теперь они перешли в спальню, где, прикованная недугом к постели, находилась Екатерина Федосеевна. В морозный вечер января Степанов торопился в дом, к жене, рассказать ей о том, что в острог прибыл его старый знакомый Краснокутский. Александр Петрович прямо с мороза, сняв пальто, вошёл в спальню.

— Саша, от тебя веет свежестью морозной. Как приятно вдыхать такой воздух. Прикажи вынести меня в сени, хочу взглянуть на застывшие во сне обледенелые берёзы, что стоят во дворе. Однако ты чем-то возбуждён? Рассказывай.

— Но твоя просьба.

— А ты прикажи и рассказывай.

— Да-да, душа моя. Оденем тебя в шубу и вынесем в кресле в сени. Ермолай, ты слышал просьбу Екатерины Федосеевны? Приготовь кресло с пуховым одеялом. Евдокия, подай госпоже шубу, шаль, валенки, одень теплее.

— Так каковы новости в губернии?

— Всех не перескажешь, душа моя. Декабриста Краснокутского отправил в Минусинск на поселение. Прибыл он к нам из более сурового Витима, что стоит на реке Лена. Хлопотала за него сестра. Милость снизошла. Семён Григорьевич — участник Бородинского сражения, дрался под Тарутино и Малоярославцем, покорял Париж, вышел в отставку генерал-майором, служил обер-прокурором. Он болен ревматизмом. Я написал окружному начальнику Кузьмину и просил оказать поселенцу всякую помощь и защиту.

Екатерину Федосеевну укутали в тёплое. Ермолай и Александр Петрович усадили больную в кресло, вынесли на веранду со стёклами, подёрнутыми инеем, открыли дверь, и губернаторша увидела в сумраке вечера стоящую заиндевевшую берёзу с опущенными низко над сугробами снега ветвями. Накануне упала лёгкая оттепель, а сейчас снова ударили морозы, и деревья оделись в сказочное льдистое убранство, горя мириадами алмазных бликов от солнечных лучей днём и от лампадных огней вечерами.

— Ты видел этого человека, друг мой? — по обыкновению с лаской говорила Екатерина Федосеевна.— Чем живёт он духовно?

— Он тяготеет к историческим исследованиям. Сейчас его интересует история французского географа Малт-Брюна, переводит его труды,— Александр, надев пальто, сел во второе кресло подле жены, взяв её правую кисть в свои руки.

— Ссылка не сломила дух декабриста?

— Как видишь, но он страдает болезнью ног. Я намерен просить позволения посетить Краснокутскому Тункинские минеральные воды.

— Друг мой, ты рискуешь снова прогневить Третье отделение, как это было с князем Шаховским.

— Это мой порыв души. Князь не признал себя виновным в декабрьском восстании, поскольку не был на Сенатской площади, а лишь однажды несколько лет назад посетил совещание тайного общества. Против него было одно серьёзное свидетельство: якобы он готов был покуситься на жизнь царя. Писал записку Александру Павловичу о том, что надо искоренить в стране рабство.

В чём я с ним солидарен, за что можно обвинить и меня,—запальчиво говорил Степанов.

Сын псковского губернатора, Фёдор Шаховский был прекрасно образован, начитан, видел благо Отечества в просвещении. Не боясь гнева, он писал императору: «Мы должны занять от просвещения народов всё, что могло развить душевные и умственные способности, водворить промышленность, обучиться наукам, которые бы делали пользу Отечеству, для блага которого каждый из сынов должен посвятить жизнь свою. Крестьянство освободить от рабства».

— Я точно так же вижу благо для нашей страны—широчайшее просвещение народа, независимо от сословия. Грамотному крестьянину или мещанину проще изучить законы и соблюдать их. В чём же тут крамола?

— В том и есть крамола, друг мой: сам говорил, что тёмным человеком управлять легче, что мысль о конституции пугает многие слои дворянства и чиновников. Как я жалею, что оставила из-за болезни труд учителя. Я поняла, что учитель—это тот же первопроходец, пробирающийся сквозь дремучую тайгу к свету. Так и учитель, поставленный не в лучшие условия от чиновников, пробивается со своими знаниями в дремучее общество, несёт ему свет.

— Мысль твоя глубока по содержанию. Я вижу, насколько беспомощны наши усилия в просвещении народа нашего. Причины—детский взгляд самодержавия на просвещение. Я как губернатор не могу развернуться со школами из-за пустой казны. Я тебе признаюсь, душа моя, всячески стараюсь помочь учителям: бесплатно завозим дрова, селим в лучшие дома, помогаем с продуктами питания, одеждой, изыскиваем деньги на поощрение на грани нарушения закона. С декабристами тоже на грани нарушения.

— Будь осторожен, друг мой, за помощь декабристам тебя не пощадят, как не щадят талант Александра Пушкина, изгнанного из столицы сначала на юг, а затем в глухое село Михайловское. За что? За вольнодумные стихи, за солидарность его, я думаю, с чаяниями декабристов.

— Его «Кинжал»[8], донесённый до нас в списках, потрясает политической составляющей против самодержавия. «И на торжественной могиле горит без надписи кинжал». Наша борьба за просвещение и есть тот «кинжал без надписи», направленный против всякого бесправия. Я рассказывал тебе о своих поездках по землям губернии, о том, что веду записи своих наблюдений, бесед с жителями, об их материальном достатке. Пока не вдаюсь в анализ, насколько хорошо или плохо богатство земель используется людьми для зажиточной жизни. Но вижу: недостаточно из-за того, что край не изведан, а дремучесть человека не позволяет умело взять это богатство. Стеклоделательный Знаменский завод, выпуск писчей бумаги под Ачинском купцом Родионовым, колокольный завод у Енисейска, старательская золотодобыча—это малая толика от того, что может дать этот край. Родилось желание глубоко исследовать губернию, описать её подробно. Просветить!

— Вот и употреби свою энергию на благородное дело, оно менее опасное, нежели помощь декабристам.

— Ты напрасно тревожишься, Катенька, я не преступаю грань дозволенного.

— Но злые языки есть всюду. Довольно потчевать соловья баснями. Вели отнести меня в столовую да накрыть стол. Проголодалась на морозном воздухе.

Александр Петрович немедля выполнил просьбу.

Это была последняя внятная и продолжительная беседа супругов, которую Александр Петрович запомнил на всю жизнь. Зима, как всегда, утяжеляя, сокращала его поездки по губернии. Теперь он никуда не стремился, видя, как медленно тает Катенька, был недоволен собой: казалось, могущественный за своим губернаторском столом, ничего не может сделать для жены. Он бессилен, как мальчик, не имеющий силы и возможностей добывать себе пищу. Многие часы проводил возле её кровати, вспоминая прожитые дни и годы. Она видела, как беспокоен сердечный друг, как порой нервничает оттого, что мало занимается делами, и отсылала его:

— Друг мой, тебя ждут в конторе. Экипаж подан, поезжай. Ты уж ничем мне не поможешь.

Эта фраза острым шилом колола его душу; сознавая свою беспомощность, он ехал в свой кабинет, кое-как вёл дела. Секретарь Иван Родюков видел, как у волевого и решительного губернатора всё валится из рук, и стремился переложить на свои плечи непосильную ношу, с бóльшим рвением служить своему патрону. Однако понимал, что никоим образом не может заменить даже части того, что выполнял Александр Петрович.

Степанову предстояло пережить с уходом Кати то, что переживает всякий любящий человек с уходом дорогого человека и что невозможно вернуться к тому состоянию, в котором пребывал прежде.

8. Стихотворение «Кинжал» написано юным поэтом в период близкого общения с членами Южного общества декабристов. В последней строфе «…без надписи кинжал» заложен смысл предназначения оружия для борьбы против всякого тирана. Этот образ создан Пушкиным благодаря знаниям революционного движения немецких студентов, которые, по средневековым традициям, указывали на кинжале имя того, против кого он будет направлен.

То состояние покинуло его навсегда, как навсегда исчезает в небытие падающая и сгорающая комета, оставляя после себя только светящийся на мгновение след, и больше ничего. Катя же оставила после себя его, любящего, детей и воспоминания!

Порой он одёргивал себя за преждевременные мысли, но видел: они вещие, и ничего уж более не способно вырвать любимую из лап смерти. Он молил Бога не отнимать так быстро, не сиротить, и уж если это произойдёт, то дал бы ей лёгкую, без мучений, смерть. И снова назойливая, ставшая навязчивой идеей, повседневная мысль о том, что он, могущественный губернатор, не может даже сгладить её мучений. Не потому ли, что он вовсе не могущественный, а добрый к людям, любит каждого, а этой-то любви, её силы не хватает, чтобы противостоять недоброму, злому оскалу жизни, оградить супругу от беды? И никто не может, даже государь — наместник Бога на земле. Как всё стихийно и непредсказуемо, как слёзы, катящиеся из глаз при панихиде.

Но надо было жить, трудиться и так жить, чтобы оправдать своё появление на свет, своё предназначение и в теперешнем состоянии совершить более весомое, нежели до этого делал, — за себя и за Катерину.

В середине февраля 1827 года Екатерина Федосеевна преставилась. Степанов с содроганием ждал этого неминуемого дня, готовил себя к неизбежному расставанию морально, предполагал то, как тяжело будет это расставание, не свалит ли его с ног. Тяжесть эта оказалась настолько великой, что придавила его к стулу возле гроба покойной на все три дня. Он не принимал пищи, кроме воды, до отпевания в Покровском соборе, поскольку священник Фортунат признан лучшим проповедником и был духовным отцом губернатора. Никакие увещевания своих приближённых чиновников, высказывающих соболезнования у гроба, не воспринимать столь тяжко утрату, встать, собраться с духом, принимать пищу — не действовали. Слёзы утраты глушили все силы, а желаний никаких не было, и он читал молитвы с раскрытого Евангелия вслух, чаше тихим шёпотом. Просил Господа принять душу рабы Екатерины в рай, оставался безучастен, что встревожило многих.

После отпевания и похорон жены Александр Петрович не появлялся на службе всю следующую неделю. Состоявшиеся поминки на девять дней после кончины поразили чиновников тем, насколько губернатор исхудал, был бледен и молчалив. Никто не знал, как вернуть Александра Петровича к прежней жизни и службе. Он не мог смириться с потерей любимой жены, вопреки всяким запретам обретя с ней любовное и семейное счастье. Она была для него постоянным заинтересованным и внимательным собеседником, вместе с тем ценителем и сподвижником всех начинаний. С ней он не скрывал своих мыслей, возникающих проблем, делился, выслушивал советы. В её обществе душа его отдыхала, а сердце таяло от любви, как масло на горячей сковороде. Она была бесконечно заботлива к нему, к своим детям, осеняла их такой же любовью и вниманием, и даже больше. Тепла её сердца хватало на всех, а голос всегда звенел в комнатах и на воле с неописуемой музыкой и притягательностью. И вдруг всё это оборвалось, исчезло! Как можно смириться с потерей?

Бытовало мнение, что жена горюет по мужу или, наоборот, из-за жалости к себе: «На кого ты нас оставляешь? Как же мы будем жить без тебя?» В таких причитаниях и молве есть смысл и немалая доля действительности. Александр Петрович страдал иначе — не только от обрушившейся привычной жизни, а прежде всего от жалости к человеку, от недожитой жизни своего спутника. Жалость эта удесятеряется именно недожитостью, относительной молодостью человека и тем, насколько он дорог и любим. Степанов вспомнил, как его незабвенный патрон Сперанский, прожив с семнадцатилетней женой Елизаветой Стивенс всего год, потеряв её от чахотки, впал в депрессию и несколько недель не появлялся на службе. Говорят, что только дочь-младенец Елизавета вернула его к прежней жизни. Однако никто не смел упрекнуть его за столь длинную паузу в службе, а император Павел I лично высказал молодому, показавшему недюжинные способности чиновнику соболезнование и просил собраться с силами и приступить к делам.

Полученные соболезнования от императора Николая Павловича, а также от Сибирского комитета несколько укрепили дух губернатора, и он снова стал энергичным и деятельным человеком. И всё же потеря Екатерины Федосеевны изменила его. Он стремился больше бывать в поездках по губернии, а по возвращении в город, чтобы погасить гнетущую тишину в доме, приглашал на чаепитие своё близкое окружение, делился с коллегами полученными впечатлениями о дальнейшем развитии губернских поселений. Одно из них вылилось в трогательный рассказ.

• • •

На перегоне Ачинск — Красноярск в середине морозного февраля, спустя ровно год после кончины жены, губернатор остановился на станции, чтобы дать отдых лошадям, самому подкрепить силы, переночевать, а утром двинуться дальше. Едва смотритель обслужил Александра Петровича, как с улицы послышался шум подъехавшего экипажа и следом — французский говор дамы. Губернатор, намереваясь отправиться в отведённую ему комнату, задержался, чтобы узнать, кто там пожаловал. Впуская морозные клубы в дверь,

распахнутую слугой, вошла молодая женщина в лисьей шубе. На голове поверх высокой причёски была накинута пуховая шаль. В тусклом свете свечей губернатор всё же смог оценить красоту тонких черт лица барышни. Она смело прошла в глубину помещения, остановилась против Степанова, удовлетворённая осанкой незнакомого и хорошо одетого господина.

— О, зравья жлаю,— сказала она, жутко искажая русские слова, и через паузу произнесла приветствие на чистом французском.

— Вас приветствует на сибирской земле губернатор Енисейской губернии. Я к вашим услугам,— сказал он на французском.— Прошу прощения, сударыня, насколько известно, в моей губернии никто не заказывал гувернантку. Очевидно, вы следуете дальше? Но прежде, прошу вас, располагайтесь, и мы выслушаем вашу историю.

— Я не гувернантка,— с иронией ответила дама, снимая с плеч в руки слуги шубу,— а Жанетта-Полина Гебль, модистка.

Во время этого короткого диалога второй слуга, вошедший следом, на русском языке обратился к смотрителю с просьбой ночлега, пищи и смены лошадей. Губернатор назвал себя по имени, чем вызвал восторг у барышни, и согласился составить компанию за столом, стремясь утолить жажду любопытства: причина столь необычного путешествия иностранки. Вскоре француженка уселась за стол за поданный ужин, состоящий из сибирских пельменей в сметане, пирогов с ливером и чая из самовара. Утолив голод необычным и понравившимся блюдом, раскрасневшись от горячего чая с мёдом, бесстрашная Жанетта-Полина рассказала о себе и о цели опасного путешествия через всю Сибирь в Забайкалье, на Нерчинские рудники.

«Сударыней движет любовь!» — восхитился Александр Петрович поступком дамы, понимая её чувства, поскольку сам глубоко любил и был любим.

Жанетта-Полина Гебль — дочь наполеоновского офицера, получила хорошее образование и, слывя красавицей, приехала в Москву и устроилась в торговую фирму в качестве модистки. Вскоре она познакомилась с поручиком Анненковым, жившим в доме своей матери, и молодые люди с первого взгляда влюбились друг в друга. Судьба уготовила им продолжительную встречу в Пензе, где Полина находилась со своей фирмой, а поручик Анненков закупал для батальона лошадей. Эта встреча определила дальнейшие отношения влюблённых. У вдовы-матери Ивана Александровича были обширные имения в Симбирской, Нижегородской и Пензенской губерниях с тысячью крепостных душ. Под предлогом объезда этих земель молодая пара путешествовала несколько недель вместе. И среди них произошло то, что происходит среди влюблённых: они отдались друг другу полностью. После грешной ночи поручик договорился на тайное венчание в одной из деревень близ села Пятино, где жила мать. Однако венчание не состоялось: Полина испугалась будущего гнева Анны Ивановны, который мог последовать незамедлительно. В Москву влюблённые вернулись глубокой осенью.

Слушая этот эпизод, Александр Петрович видел на месте поручика себя, но с той разницей, что его Катя не испугалась гнева ни своих родителей, ни маменьки Пелагеи Степановны (царствие небесное родным). Теперь же поступок влюблённой модистки, едущей к мужу на каторгу, снискал глубокое уважение к смелой сударыне.

Очаровал следующий шаг Полины. Арест Анненкова, осуждение его на вечную каторгу в Забайкалье не убили любовь в сердце Жанетты-Полины. Вскоре после восстания она родила дочку, которую не приняла мать Анненкова, как незаконнорождённую. Сие обстоятельство подвигло Полину на неслыханный по своей дерзости поступок: она написала на французском языке письмо императору, чего не позволял этикет, и просила разрешения у него отправиться к Ивану Александровичу.

— Вот это письмо,— сказала Гебль, доставая из сумочки, как драгоценность, конверт и в нём сложенный лист с росчерком императора.

Александр Петрович развернул лист и прочитал строки:

«Ваше Величество,

позвольте матери броситься к ногам Вашего Величества и попросить, как милости, позволения разделить ссылку с её незаконным супругом. Религия, Ваша воля, Государь, и закон учат нас, как исправлять свои ошибки. От всего моего сердца я приношу себя в жертву человеку, без которого я более не могу долго жить… Согласитесь, Государь, открыть состраданию Вашу большую душу, великодушно позволяя мне разделить с ним ссылку. Я отказываюсь от моей национальной принадлежности и готова подчиниться Вашим законам. У подножия Вашего трона я умоляю Вас на коленях даровать мне эту милость. Я надеюсь на неё. Остаюсь, Государь, покорной и преданной подданной Вашего Величества».

«Это любовь, только любовь может заставить человека пойти на такую жертву!» — вновь восхитился Степанов.

— Император был покорён напором моей любви к арестанту,— со слезами на глазах говорила Полина.— Нет, он был восхищён моим поступком и дал согласие, повелев выдать мне три тысячи рублей на дорогу. Таков великолепный царский жест! И вот я теперь здесь, перед вами, господин губернатор. Завтра со своими слугами мы тронемся в далёкий и неизвестный Забайкальский край, где на берегу

реки стоит заснеженный рудник Нерчинск[9]. Наша дочь Александра оставлена у Анны Ивановны, которая переменила свой гнев на милость после царственного жеста Николая Павловича.

— Полина, я не менее, чем государь, восхищён вашим поступком. Вы совершаете благородный душевный подвиг, о котором наши потомки сложат песни и легенды. Поклонитесь от моего имени всем осуждённым, особенно знакомым — барону Владимиру Ивановичу Штейнгелю, братьям Николаю и Михаилу Бестужевым, которые находятся там же, где и ваш Иван Александрович.

— Я вам напишу, господин губернатор, если встречу этих несчастных. Мне очень приятно встретить в этих диких заснеженных местах человека с доброй душой, — растроганно говорила Полина. — Мне интересно знать, господин губернатор, знаете ли вы поэта Пушкина?

— Конечно, о нём восторженно отзывался Державин.

— Как вы относитесь к его творчеству?

— То, что удалось прочитать в журналах и в списках, — несомненно, у него божественный дар. И что характерно для него, как я заметил: он рассуждает поэтическим языком о свободе, чести и совести. Его юношеское стихотворение «Лицинию», где «свободой Рим возрос, а рабством погублён», я вижу, как эти строки касаются российской действительности, где процветает крепостничество.

— В таком случае по большому секрету я покажу вам стихи Пушкина «Во глубине сибирских руд»[10]. Я их выучила наизусть, послушайте и оцените:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадёт ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придёт желанная пора…

Полина с большим напряжением памяти читала строфы, с довольно сносным акцентом, но тут она споткнулась, наморщила высокий и открытый от причёски лоб, прикоснулась к нему пальцами правой руки, припоминая стихи дальше, но так и не смогла продолжить.

— Пардон, волнуюсь, не могу вспомнить дальше. Там про оковы тяжкие, которые обязательно «падут, и братья меч вам отдадут». Вы понимаете, о чём речь? Я обязательно вспомню и целиком прочитаю моему мужу.

— Жаль, сударыня, жаль, что не услышал заключительные строфы, — горячо откликнулся Степанов. — Я сам поэт и вижу в этом послании страстную и сердечную поддержку ссыльным декабристам. Он ободряет восставших тем, что начатая ими борьба за справедливое общество не пропадёт и её продолжат борцы нового поколения.

— Вы подтверждаете смелые мысли поэта, господин губернатор. Я тоже так думаю, но вслух не высказываюсь. Это небезопасно. Я буду молиться за ваше благополучие. А сейчас пора отдыхать возле натопленной печи, впереди долгий путь.

— Не смею вас задерживать, мадам! Удачи и дальнейшего мужества!

Много раз Александр Петрович возвращался в своих мыслях к движению декабристов, соприкасался с этими людьми, в целом противниками самодержавия. Он разделял благородную цель членов «Союза благоденствия», о котором знал через Батенькова: «…цель их есть одно — благо отечества, и эта цель не может быть противна желаниям правительства… что учреждаемое общество хочет быть ревностным пособником в добре».

«Добро к людям придёт через свободу, — думал Степанов, — к тем, кто трудится на полях с сохой, даёт мясо и молоко, кто ладит в своих мастерских посуду, обувь, шьёт одежду, куёт скобяной товар. И добро бы это ширилось через школы и училища, лицеи и университеты, не штучным образом, а массой народной. Так бы повести посев знаний, чтобы он осветил жизнь, пророс могуществом, как злаки на чернозёмной почве всходят неисчислимым количеством, способные вылиться в колосья и обогатить стол каждого гражданина земли русской!»

Упрекнуть себя в бездействии губернатор не мог. Он бы гораздо шире развернулся с просвещением,

9. С двумя слугами Полина отправилась в Читу 23 декабря 1827 года. Добралась до Читы в первых числах марта следующего года. В апреле в деревянной Михайло-Архангельской церкви Читы Полина повенчалась с Иваном Александровичем, став Прасковьей Егоровной Анненковой. Только на время венчания с жениха были сняты кандалы. Лишь после 30 лет жизни в Сибири Анненковы получили разрешение выехать из мест ссылки и поселились в Нижнем Новгороде. Полина умерла на восьмом десятке жизни. Перед смертью она продиктовала дочери Ольге воспоминания о своей жизни, где упомянут губернатор Степанов. Ольга Ивановна перевела текст на русский язык и издала в конце XIX столетия в журнале «Русская старина». Образ жён декабристов был воплощён в двух художественных фильмах советских сценаристов и режиссёров.
10. Стихотворение «Во глубине сибирских руд» А. С. Пушкин написал в 1827 году от впечатлений после встречи в Москве с Марией Волконской, ехавшей к мужу, декабристу С. Волконскому, сосланному в Сибирь на каторгу. Стихи были отправлены туда с женой декабриста Муравьёвой, также поехавшей к мужу в Нерчинские рудники. При жизни поэта стихотворение опубликовано не было. Но оно быстро разошлось в списках среди молодёжи и почитателей таланта Пушкина.

если бы казна отводила достаточно средств для школ, училищ, для оплаты труда учителей. Но скудны эти средства, меценатская помощь — капля в море. Развитие губернии не стоит на месте. Разрастаются города, открываются новые промыслы, работные дома, хлебные магазины, школы, больница. Вот и в культурной жизни шаги. Музыканты, певцы в царские дни и на ярмарках дают представления. Вместе с Соколовским собрали первый в Сибири альманах. Сборник отправлен в столицу для печати. А надо бы в будущем завести свою типографию. Писчая бумага есть своя. Только что побывал на фабрике у купца Родионова. Бумага его расходится всюду по губернии, но купец просит содействия в продаже за пределы по предложенному списку. Поддержка ему горячая. Рабочие у него живут в своих домах, получают зарплату выше европейского уровня, даже германского. Кроме того, люди держат скот, занимаются огородничеством. Особенно картофелем, который губернатор постоянно рекомендует для разведения во всех округах. А это, брат ты мой, сытный и разнообразный стол. К тому же люди купца activeрыбалят на Чулыме.

Родионов показывал, как многодетный и хваткий рабочий Шумилов на зиму берёт наплавными сетями рыбу бочками. Рыба у него свежая, мороженая и малосолёная — хариус и ленок. Вкус оценён губернатором по самую высокую шкалу. Весьма существенное впечатление вынес губернатор от этого общения с купцом и его рабочими: «Они свежи умом и смелы в объяснениях своих поступков и желаний. Отсюда вытекает главная их черта: люди эти горды своею свободой!»[11] Александр Петрович эту гордость увидел в своём кучере Кузьме после того, как дал ему вольную, и после изгнания французов мужик стал удачливым извозчиком.

Александр Петрович прошёлся по комнате, приказал добавить свечей и уселся за стол, чтобы занести в журнал свои наблюдения о поездке по Ачинскому округу и реке Чулыму для задуманного систематизированного исследования о землях губернии, о жизни местного населения. Он любил этот порыв души, подчас ураганной силы вдохновение приковывало его к столу на многие часы, чтобы излить в сочинении свои мысли.

• • •

Вернувшийся из Петербурга чиновник для особых поручений Владимир Соколовский привёз дополнительную кипу напечатанного и уже прочитанного в Красноярске первенца «Енисейского альманаха» и много интересной информации о жизни столицы, о своих личных впечатлениях от встреч с чиновниками и литераторами. Главная из них — общение с Василием Андреевичем Жуковским. Поэт весьма одобрительно отозвался о выпуске альманаха и об обществе любителей словесности «Красноярская литературная беседа», о чём писали в журнале «Сын Отечества» Н. И. Греча и в журнале «Отечественные записки» П. П. Свиньина. Степанов, пылкий поэт Владимир Игнатьевич Соколовский, публицист Алексей Иванович Мартос, уже блеснувший изданной книгой «Письма о Восточной Сибири», а также председатель Енисейской казённой палаты Иван Семёнович Пестов, в тесной связке работали над выпуском альманаха, создавали литературное общество, отыскивали любителей чтения, ставили их в свои ряды. Все они стали авторами сборника. Кроме того, в их ряды вошли туруханский фельдшер Яроцкий, енисейский земский исправник Третьяков. Губернатор напечатал свои стихи, краеведческую статью «Путешествие в Кяхту из Красноярска». Отмечены были сатирические стихи Владимира Соколовского и помещённый отрывок из будущей книги Пестова «Записки об Енисейской губернии Восточной Сибири».

Князь, поэт и литературный критик Пётр Андреевич Вяземский писал, что красноярские авторы «умеют хорошо и дельно говорить о провинции своей».

— Василий Андреевич Жуковский при мне прочитал ваши стихи, похвалил, заметил, что ранее был знаком с вами, желает дальнейших успехов в словесности, — с жаром рассказывал Владимир Игнатьевич. — Вот эти стоки:

Я лечу под парусами
Между гор и средь лесов,
Вслед за бурями и льдами:
Бог мой щит и мой покров!
С Ангары до устья моря
Вижу дикие страны́;
Нет здесь радостей, нет горя:
Образ вечной тишины!
<…>
Дикари! Скорей толпою
С горных скал на Енисей!
Подружитеся со мною —
Я ваш брат, люблю людей!

Александр Петрович был польщён.

— Спасибо Жуковскому за внимание — патрону Александра Пушкина, чья поэзия нас восхищает, а его возносит на всемирную высоту.

Вспомнили о том, где были написаны эти стихи. Губернатор собирал экспедицию в Туруханский край. Цель — подробно обозреть северные земли, описать их для задуманной книги, познакомиться с людьми, одновременно провести культурно-просветительную работу. Для этих целей речники Красноярска снарядили парусное судно, поставив

11. Фраза взята из книги А. П. Степанова «Енисейская губерния».

на палубе палатку для губернатора и чиновников, вторую—для группы артистов, в которой разместились плясуны, певцы и музыканты. Их задача—давать концерты в населённых пунктах.

Александр Петрович шёл по Енисею в северные пределы впервые. Когда прошли занозистый Казачинский порог, река пленила людей своим величием, тишиной, таёжным береговым ожерельем, заставив их то возбуждённо, то молчаливо взирать на окружающие красоты летней акварели и на этом фоне более ярко высвечивающееся бездонное синее небо. Величие природы вдохновило Степанова на стихи, он набросал несколько четверостиший, озаглавив их «Страны востока оставляю», с тем чтобы вернуться к ним.

Ветер активно гнал парусное судно. К исходу второго дня движения путешественники увидели величавое слияние Ангары с Енисеем. Оно поразило едва ли не морским разливом; больше всего тем, что Ангара здесь гораздо шире и могучее узаконенного отца-Енисея. Степанов уже слышал сказ о том, как девица Ангара сбежала от отца-Байкала к своему возлюбленному и как разгневанный Байкал швырнул вслед за беглянкой утёс, но повернуть воды вспять не смог.

Среди пассажиров возникли споры о том, что Ангара притязает на имя Енисея не напрасно, поскольку визуально более полноводная: вытекая из Байкала, принимает в себя десятки рек.

— Посмотрите, какая мощь идёт с востока, теснящая воды Енисея! Она главная река!

— Да, мощь есть, но Енисей до слияния гораздо больше вобрал в себя рек, прорезал себе русло в великих Саянах и других горных хребтах! Нет, его могущество выше.

— Не оттого ли разлив Ангары кажется нам великим, что могучие воды встретили беглянку и потеснили её ток, расширив русло? Веками идёт это непрерывное противостояние, неудержимый енисейский подпор, и более податливый правый берег медленно размывается, потому тут такая ширина Ангары!

Степанов слушал спорщиков, добродушно улыбался и был склонен признать последнюю версию.

— Думаю, русло Енисея более глубокое и древнее. Несёт он воды стремительнее, чем Ангара, спускаясь с заоблачного истока Восточного Саяна[12]. Великий объём воды и натиск стиснут береговыми скалами,—высказал свои соображения Степанов.— Все наши версии требуют изучения.

Пройдя островок, губернатор приказал чалить судно к посёлку Стрелка на ночлег. Назавтра состоялось знакомство с местными жителями, потомками казаков Бузиным и Падерой, основавших в 1637 году поселение. В нём развернулся перевалочный пункт товаров с одной реки на другую. Жители посёлка с первых лет и по сей день занимаются землепашеством, охотой, рыбным промыслом, имеют различные ремёсла, строят маломерные суда. В честь встречи творческая группа дала концерт с песнями и плясками, акробатическими номерами. Сам же Степанов прочитал свои стихи, а также Пушкина, Дмитриева, Крылова, с двумя последними он имел честь быть знаком.

Впечатления от величия рек вновь вдохновили Степанова, и он написал стихотворение «Между гор и Енисеем». Стихи понравились музыкантам Илье Семёновичу Скорнякову и Андрею Прохоровичу Попову. Да и не могли не понравиться при живом авторе, умелом чтеце, каким слыл всю свою жизнь Александр Петрович. Сговорившись, они написали на стихи музыку и стали разучивать с певцами, чтобы в Енисейске, а затем в Туруханске включить песню в концерт. Времени было достаточно, вдохновения не занимать, полнота сил—как воды двух могучих рек, потому репетировали с прилежанием и доставили немалое удовольствие северянам.

Соколовский же и огорчил иными рассуждениями относительно некоторого содержания альманаха. Столичные критики говорили, что в нём нет политической направленности на обновление общества и государственной власти. Мол, авторы альманаха далее высмеивания отдельных пороков чиновников, их узких меркантильных интересов и вещизма не идут.

— И что же, разве передовые словесники не понимают силу таких публикаций? Им подавай конкретных носителей зла, этакого прямого выступления?—возразил губернатор.—Пример тому—басни Крылова, многие стихотворения Пушкина. Прямое выступление свершилось в декабре двадцать пятого года и потерпело сокрушительное поражение. Наше невольническое общество, не мне вам говорить, не готово к радикальным преобразованиям. Оно малограмотное. Его надо учить. Пока темень будет в душе человека—нечего и думать о новом обществе.

— У нас с вами, Александр Петрович, в этом вопросе разногласий нет. Мы много делаем для повышения культуры человека. К сожалению, движение это медленное. Даже местное самоуправление порой заметно отстаёт от губернского уровня. В сторону отбрасываются заботы о простом человеке, о его материальном достатке, не говоря уж о его духовной жизни, образовании.

12. Версия Степанова подтверждена современными исследованиями. Высота истока Бий-Хема (Большого Енисея)—1521 метр над уровнем моря, длина его до слияния с Каа-Хемом в Кызыле—605 километров. Высота истока Каа-Хема (Малого Енисея)—619,5 метра над уровнем моря, длина—563 километра. Высота истока Ангары— всего лишь 456 метров над уровнем моря.

Анастасия Астафьева

Глафира и Президент

Притча времён ковида

Жить по-старому Русь моя кончила,
Дней былых по полям не ищи.
Борис Корнилов. Тройка

Домой

(1 мая, пт.)

В апреле бабка Глафира переболела ковидом.

Тяжело переболела. Не думала и оклематься. Хорошо, фершалка отправила в больницу, на скорой увезли. Не хотела ехать-то, упиралась: беременную кошку Мурку да пяток курочек на кого оставить?

Провалялась недели три, под присмотром хорошим, доктора уважительные, внимательные. Кормили куда добро!

Выписали на майские. Домой ехала как на собственные именины: душа пела. И голова кружилась ещё. То ли от радости, то ли от слабости.

Вышла бабка Глафира из гремящего автобуса на своей остановке, тот поехал дальше, обдав её на прощание пылью.

Дерева-то вдоль дороги выросли! Лес целый! Теперь вот и далей не видать, а раньше-то на холме и соседняя деревня — домик к домику смотрелась. Лист на берёзе с пятак: пора лук садить, а она вот отдыхает.

Дышать-то как хорошо, Господи! Восемьдесят третий годок, а не надышалась… Травой, наверно, пахнет, черёмухой, одуванчики-жёлтоптенчики по полю рассыпались. Глафира подошла к невысокому кусту черёмухи, выросшему впритык к ржавой железной остановке, и нарочно сунулась носом в белую пышную кисть: нет, не пахнет, не чует нос. Доктора предупредили, что и нюх не сразу возвернётся, и руки дрожать могут, ну и всякое другое. У каждого по-своему проявляется.

Бабка подхватила небольшую сумку с больничным «приданым» и неторопко пошагала к своему дому через молодой березняк, засеявший сколько уж лет не паханное поле.

Родная деревенька, растянувшаяся в длинный ряд по-за этим полем, с нетерпением ждала возвращения своей жительницы. Когда-то большая и многонаселённая, ныне она одряхлела и одичала. Жилыми остались три дома. Крайний от проезжей дороги — её, Глафирин. Тот, с противоположного конца, у леса, — деда Семёна. Что случись, кричи — не докричишься. К тому же старый чёрт глух, как пробка. Третий оставшийся в живых и жилых дом принадлежал теперь дачникам — семейной паре, изредка наезжавшей из райцентра.

Остальные дома печалили Глафирино сердце и туманили мысль. Стояли они холодные, тёмные, покосившиеся, с проваленными крышами, с заколоченными окнами. И только в памяти старухи в каждом из них по вечерам зажигался свет…

Дед Семён сидел на крылечке её дома и тянул вонючую дешёвую папиросу.

— Что, ожила, старая калоша? — выкашлял он, завидев хозяйку. — Ну, принимай хозяйство. Кошка с приплодом где-то на чердаке шарится. Одну куру, надо быть, лиса утащила. Остальное в сохранности. С тебя за конвой — шкалик.

Дед расплылся в беззубой улыбке.

— Лиса-то не у тебя ли в брюхе? — задиристо прокричала Глафира. — Поди, суп из хохлатки похлебал! Вот и будет с тебя за конвой…

Тяжело отдыхиваясь, она присела рядом с дедом на крылечко, гаркнула ему в самое ухо:

— Чего ещё хорошего скажешь, старый?!

— Дык чаво… — неопределённо ответил дед Семён и поднялся. — Картошку пора садить, вот чаво.

— Не знаю, хватит ли силушки… Ладно. Ключ-то под камешко́м?

— Не копал ещё… — ответил дед уже из-за калитки.

И убрёл в свой край. Много с ним наговоришь, с тетерей.

Глафира приподняла серый в белую крапинку булыжник, привалившийся у крыльца и обросший сочными листьями сныти, достала из-под него ключи и отомкнула замок.

Изба, стосковавшаяся за три недели по хозяйке, аж засветилась от радости. Солнце плеснулось в окна и запрыгало весёлыми зайчиками по нехитрому бабкиному жилищу. И старая печь показалась вдруг Глафире вновь побелённой невестушкой, и застиранные половики вроде как заиграли яркими красками, и белые задергушки на окнах засияли чистотой, и подсолнухи на затёртой клеёнке кухонного стола потянулись навстречу тёплым лучам, а подёрнутое патиной зеркало, висящее

над комодом, отразило весь этот скромный старушечий мирок по-праздничному. Даже богатыри с выцветшей фоторепродукции знаменитой картины Васнецова, которую Глафира давным-давно вырезала из журнала «Работница» и приколола на стенку за диванчиком, заулыбались выздоровевшей старухе, а Алёша Попович даже вроде как призывно подмигнул!

Услышав хозяйку, спустилась с чердака Мурка, торопливо забежала в открытую дверь и, громко напевая извечную кошачью песню, принялась тереться о Глафирины ноги.

— Ах ты, позорница, что я теперь с твоим выводком буду делать?—незлобиво выругала бабка кошку.

Наклонилась, погладила, а когда выпрямлялась, потеряла вдруг равновесие и, ухватившись за стол, опустилась на лавку у окна.

— Ох ты ж… подумай-ка…—произнесла она вслух.—Экая ты, Глашка, стала рóзвальня…

До болезни, даже в свои восемьдесят два с хвостиком, бабка была ещё хоть куда, справлялась со всем хозяйством сама: и огородик небольшой копала, и в ближний лес по ягоды-грибы бегала, могла даже забор подлатать. Таблетки от давления, конечно, пила. Иногда фершалка делала какие-то уколы. Сына Вальку, живущего с семьёй в соседнем районе, попусту никогда не дёргала. Переезжать к нему в квартиру отказывалась. Любила волю. В длинном, жилистом, сухом теле Глафиры всю жизнь словно заведённая пружина тикала: ровно, споро, чётко. И вот пружина разом ослабла.

Бабка распахнула в майское утро створки окна, около которого сидела. В лицо ей дунул ласковый ветерок, заиграл занавеской. В огороде пенилась цветом старая груша. Пчелиный гуд над ней стоял. Любила Глафира эту скромную красавицу. Откуда и когда та попала к ней на огород—не помнила. Плоды груша давала щедро, почти каждый год, но… были они твёрдыми, вязали рот, даже варенье из них не получалось. Однако каждую весну, глядя, как бурно и радостно цветёт дерево, бабка по-детски верила, что на этот раз случится чудо и осенью она вонзит вставные зубы в мягкий, сочный, сладкий грушевый плод.

Кошка настырно бодала ноги хозяйки, просила молока. Пришлось подняться.

Глафира быстро разобрала сумку. Больничное побросала в эмалированный таз—потом простирнёт, документы прибрала в верхний ящик комода, кусочек мыла в мыльнице вернула к умывальнику, подошву тапочек протёрла мокрой тряпкой, скинула туфли, переобулась. Выложила на стол буханку хлеба и кусочек варёной колбаски, надорвала пакет молока, ливнула в кошачью миску. Мурка лакала, аж причавкивала. Бабка отрезала от кругляша колбасы пару тоненьких пластушин, покрошила на газетку, подвинула кошке. Та благодарно вздёрнула хвост трубой. Была Мурка тощая, серо-полосатая, самая обычная деревенская кошка, но котят всегда таскала красивых.

Глядя на животину, Глафира и сама сжевала розовый кружок. Безвкусно. Худо без нюха-то, вся еда как салфетка. И испортится чего—не поймёшь. Но пить-есть всё равно надо. Воткнула пробки на электрощитке, поставила электрический чайник и, пока тот закипал, включила телевизор: узнать хоть, что в мире творится.

В мире бушевал вирус. Не щадил он ни старых, ни малых. И никто не знал, где этой беде конец. Забитые больницы, полевые госпитали для приёма больных. Врачи, дежурившие днями и ночами, да ещё во всей экипировке, измученные, загнанные.

Глафира охала и с благодарностью думала, что легко отделалась. Она налила в чашку кипятку, кинула в него чайный пакетик.

На экране появился Президент России. Он вёл дистанционное совещание, а растерянные министры, сидящие в окошечках на большом экране, как пчёлы в сотах, докладывали ему об обстановке.

— Дорогой ты наш!—радостно протянула Глафира.—Схуднул-то как! Ты смотри там, поосторожнее. Ты нам здоровенький нужен. Не ручкайся лишний раз ни с кем. Особенно со всякими Ангéлками! Пусть сидят у себя в Германиях и к нам не суются.

Отхлебнув чаю, она продолжила беседу с телевизором:

— Витамины пей! Особенно который «це». Всё говорят, надо кровь разжижать. Вот «це»-то и разжижает хорошо. Я вот клюковки-то надавлю—и в чай. А хочешь, дорогой ты наш, я тебе посылочку пошлю: клюковки, шиповника, листа малинового! Или пусть уколы тебе полезные поколют, как Лариска-то мне делает…

В этот момент на крыльце скрипнула дверь, и через пару мгновений в избу зашла молодая женщина-фельдшер. Всё как положено: в белом халате, на лице—медицинская маска.

— О! Легка на помине!—восхитилась Глафира.—Я вот Президенту-то нашему говорю: проколи витамины.

— Здравствуй, баба Глаша,—по-деловому отозвалась Лариса, скидывая у порога кроссовки.—А мне с районной позвонили: проведай, как там бабушка добралась.

Она сполоснула под рукомойником руки и деловито пощупала у пациентки пульс—частит, ловко померяла давление, попросила показать язык.

— Сыми маску-то,—заглянула та ей в глаза,—я уже не заразная.

— Так положено,—сухо ответила Лариса.—Ты, баба Глаша, пока не скачи. Лежи побольше. Волнуйся поменьше.

— Да как же не волноваться, когда такое в мире творится!

— Это не твоя забота. Ты теперь вылечилась. Потихоньку восстановишься…
— Да вот нюху-то вовсе нет! — пожаловалась Глафира и пихнула фельдшерице под нос кусок колбасы. — Пахнет чем?

Лариса, даже сквозь маску ощутившая резкий чесночный запах, поморщилась, отвернулась и ответила:
— Колбасой и пахнет. Вернётся обоняние. Нескоро, но вернётся.
— Так ведь весны не чую! — воскликнула Глафира. — Всё цветёт, благоухает! Вся и радость-то — весной надышаться…
— Таблетки пьёшь, которые выписали? — перебила бабкины причитания Лариса.
— Пью.
— Вот и пей. А я тебя теперь уж через недельку навещу, — говорила фельдшерица, надевая свои модные белые кроссовки. — Да не езди никуда, посиди дома.
— А куда я поеду? Буду огород копать.
— И с огородом подожди. Успеешь свою картошку посадить.
— Это уж я сама решу… — строго отрезала хозяйка.

Лариска убежала. Новости по телевизору закончились. Глафира сполоснула чашку, убрала продукты в холодильник и охнула: забыла! Хотела ведь попросить молодуху слазать на чердак — котят изловить. А то вырастут там, паскудники, дикарём, потом никакого сладу с ними не будет.

Глафира вышла на мост[1]. На чердак вела довольно крутая лестница. Туда-то залезть — полбеды, а вот слезать…

Очень медленно, становясь на каждую ступеньку сначала одной ногой, а потом двумя, бабка полезла на чердак. Она остановилась на предпоследней ступеньке, по пояс высунувшись над стеной, всмотрелась в полумрак. Тонкие солнечные лучи пробили старую крышу дома в трёх местах, в них бесились пылинки. В засиженном мухами маленьком чердачном окошке не хватало одного стёклышка: когда выпало?.. Справа, под средним стропилом, стояла старая дырявая корзина. Наверняка в ней опросталась Мурка.
— Кыс-кыс, — робко позвала Глафира.

Тишина.

И вдруг в солнечном луче мелькнул и застыл крохотный лохматый чертёнок. Бабка чувствовала, что он внимательно, со страхом смотрит на неё.

«Большенькие уже… — подумала она. — Значит, Мурка чуть ли не в тот день, когда меня увезли… Это уж им без малого месяц…»

Чертёнок метнулся в сторону, и больше Глафира его не увидела, как ни кыскала, ни скребла по бревну ногтями, стараясь привлечь котят.

Выше она, конечно, лезть не решилась. Стала осторожно спускаться и, надо же, всё-таки оступилась на последней ступеньке и повалилась, несильно, но больно стукнувшись головой о стоящий у стены старинный буфет.
— О-ой, что ж это, Господи?.. — заплакала Глафира, потирая шишку на голове, и рассердилась на котят: — Да бес с вами, растите!

Держась за стену, она вошла в избу, намочила под рукомойником полотенце и легла на диван, положив его — приятно холодное — на лоб.

Нет, не хотела Глафира сдаваться болезни и старости! Думы о своей беспомощности ввергали её в глубокую тоску, она гнала их от себя работой, заботами о маленьком своём хозяйстве. Валяться? Никогда! Лучше бы тогда враз помереть! Что же не забрал её этот распроклятый ковид? Зачем же её вылечили?! Жить развалиной? Небо коптить? На чужих руках век долить?

Ох и тяжко было Глафире от таких мыслей. Голова болела и кружилась. Так и провалялась день до вечера. А там и не заметила, как уснула. Даже куриц не застала[2]. Когда солнце покатилось к закату, они сами дисциплинированно зашли через маленький квадратный лаз в курятник, все четыре уселись на один насест бок к боку, тесно, тепло, смежили кожистые веки и чутко задремали. Без крикливой охраны, без петуха, курицам было одиноко и жутко.

День первый. Пришествие

(2 мая, сб.)

Соскочила Глафира рано, с зарёй. И словно новая! Солнце, поднявшееся на востоке, согревало землю, заливало округу благостным светом. Синички тенькали звонко. Воробышки чирикали, таскали соломку на гнездо.

Глафира неторопливо умылась, причесалась, придирчиво разглядев себя в зеркале — совсем сдала бабка… Потом оделась, вышла на радостную весеннюю улицу, подышала, поулыбалась солнышку. Посыпала зерна курочкам, которые, деловито покряхтывая, уже рыли землю в огороде.
— Поройтесь, поройтесь, — радушно напутствовала их хозяйка, — всё мне меньше копать!

Принесла ведро воды от колодчика соседского дома — там всегда вода была вкусная, чистая до голубизны. Поэтому бабка даже после смерти хозяев многие годы следила за этим источником, не давала влаге в нём застаиваться и загнивать.

Между делом и печку затопила — всё же сыровато с ночи в избе. Хоть на воле и солнечно, и тепло, и сухо, а земля от зимних холодов ещё не совсем отошла, студит. Берёзовые поленья, уложенные на поду русской печи, схватились бодрым

1. Мост, или сени — крытое неотапливаемое помещение, соединяющее зимнюю избу и хозяйственные постройки.
2. Здесь — не заперла в курятник.

огоньком, белёсый дымок потянулся к устью, а оттуда вверх, в трубу.

Пока шумел чайник, Глафира покыскала Мурку, но та, видно, была с котятами либо где сторожила мышку. Придёт, никуда не денется.

Старуха сидела, облокотив руки на стол, мелкими глотками пила из расписанной колокольчиками чашки горяченный чай, откусывая по маленькому кусочку от любимой конфеты «Коровка». Она и сама умела варить молочный сахар, но в магазинные конфетки добавляли то изюм, то кокосовую стружку, то орешки. Такую хитрость ей было не освоить, а почаёвничать и побаловаться сладким она любила. Однако сейчас полного удовольствия от утреннего чаепития Глафира не получила: чай был просто горький, конфета—приторно-сладкая. Никаких оттенков, ароматов она по-прежнему не чувствовала. Но налила вторую чашку, и послышалось ей, что у дома остановилась машина, хлопнула дверца—раз, другой.

Глафира выглянула в кухонное окно, но ничего необычного не увидела. Не поленилась, встала от стола, прошла за перегородку, в спаленку—оттуда вид открывался на деревенскую улицу. Отдёрнула занавеску. На дороге между её домом и соседскими развалинами остановилась большая длинная чёрная машина. Рядом с машиной, спиной к Глафире, стоял высокий коренастый парень при полном параде—в костюме, с коротко стриженной головой. Смотрел он куда-то вдоль улицы. А по улице, в сторону дома деда Семёна, прогуливался невысокий человек, тоже в тёмном костюме. Шёл он без цели, останавливался, осматривался.

В это время из машины вышел второй такой же парень, тоже в костюме, тоже стриженый, такого же роста, но пожиже первого. Он коротко что-то спросил у коренастого. В ответ тот лишь пожал плечами. И теперь оба парня стали внимательно смотреть туда, где ходил, видимо, их шеф.

«Это что за начальство пожаловало?—мысленно вопросила Глафира.—Или кто дом захотел купить?.. Не-ет, на таких машинах к нам не бывали…»

Не отрывая взгляда от невиданной картины, развернувшейся на родной деревенской улице, старуха рукой нашарила на пыльной этажерке, стоящей около кровати, очки, нацепила их на нос.

Тот, что прогуливался, не дойдя метров сто до дед-Семёнова дома, развернулся и уже ходко, упруго отправился назад к машине.

«Эти… как их…—соображала в это время Глафира.—Олигархи! Во! Землю приехали скупать! Свалки свои строить! Природу нашу отравлять, значит…»

Но тут же эта мысль в голове бабки прервалась и сменилась продолжительной немотой. Не веря своим глазам, Глафира вплотную прильнула к стеклу, почти вдавилась в него. Потом проморгалась и снова всмотрелась в фигуру, а затем и в лицо идущего по улице человека. Даже дышать перестала.

—Президе-ент…—наконец выдохнула она и ухватилась пальцами обеих рук за перекладину зимней рамы, снова почувствовав дурноту и боясь упасть.

Она даже махнула рукой перед собой, стараясь отогнать наваждение, но всё осталось как было: улица, чёрная машина, около неё два охранника и глава страны—довольный, улыбающийся.

Переговорив с ребятами, Президент не сел в автомобиль, а пошагал по тропинке к Глафириному дому. Охранники двинулись за ним. Машина завелась, проехала несколько метров, развернулась на полянке и поехала следом.

Через минуту в огороде стукнула калитка, а потом и на крыльце послышались шаги.

Глафира на бесчувственных ногах выползла из спаленки, но дальше пройти не смогла, привалилась к перегородке, не сводя глаз с порога собственной избы. Раздался стук, дверь приоткрылась, до боли знакомый голос спросил:

—Можно?

И в следующую секунду в дом вошёл сам Президент.

—Доброе утро, Глафира Фёдоровна! Не помешаем?—бодро спросил он.

Сил ответить у старухи не хватило. Она вот-вот готова была грохнуться в обморок. Но два охранника, выросшие за спиной Президента, тут же профессионально оценили состояние бабули, шагнули к ней, бережно подхватили и на своих сильных руках донесли до стола, усадили на табуретку и придвинули ей чашку с остывшим чаем.

Глафира осушила её одним глотком, отдышалась.

Глава страны в это время тихо присел напротив и с тревогой следил за состоянием хозяйки дома.

—Я ведь говорил, ребята, надо предупредить, подготовить,—с укоризной заметил он охранникам и обратился уже к ней:—Как ваше самочувствие?

—Ничего,—смогла ответить Глафира,—уже лучше. Спасибо.

—Ну и замечательно! А мы вот—к вам. В гости.

—Ко мне?

—Да вы не пугайтесь так, мы всего на недельку. Вы же знаете, что в мире происходит?

—Что?—отупело спросила Глафира.

—Пандемия. Ковид. Каждый день новые жертвы коронавируса.

—А, это я знаю. Сама только вчера из больнички…

—Совет безопасности принял решение отправить меня на отдых. Подальше от большого скопления людей, от города. На природу, на чистый воздух.

Глафира подумала и недоверчиво спросила:

—А почему же именно к нам в деревню? Разве других нет?

—Ну-у…—неопределённо протянул Президент.—Совету безопасности виднее. Изучили пандемийную обстановку, экологическую ситуацию

в целом по стране. И человеческий фактор сыграл не последнюю роль. Выбрали вас!

Глафира смотрела на сияющего главу страны и не верила своим глазам и ушам:

— Разыгрываете вы меня…

— Почему же? Ребята, дайте бумаги…

Охранник, что покрепче, быстро достал из кармана пиджака какие-то бумаги, ловко освободил место на столе и разложил их перед Глафирой.

— Да что я тут понимаю?..— проворчала та.— Если вы жулики, так и не такие бумаги напечатать сумеете…

Президент нахмурился.

— Жаль, что вы нам не доверяете, Глафира Фёдоровна. Вот вам тогда мой паспорт и командировочное удостоверение.

И он действительно достал из внутреннего кармана пиджака свои документы и раскрыл их перед хозяйкой дома.

Бабка внимательно изучила всё, командировочное даже дважды, и печать через очки рассмотрела. Всё как настоящее. Взглянула ещё раз в лицо Президента, в его глаза, смотрящие прямо на неё открыто и доверчиво, и сделалось ей неловко. Она аккуратно сложила бумаги и протянула обратно.

— Вы простите меня. Сами знаете, какие времена настали. Кругом мошенники… Да и, признаться, подумала я — блазнится мне. После болезни…

— Всё хорошо. Не извиняйтесь.

Президент мягко пожал руку Глафиры, а у неё от этого прикосновения зашлось сердце. Ладонь у него была тёплая, сухая, твёрдая.

— Это вот, познакомьтесь,— указал Президент на своих ребят,— Илья.

Тот, что покрупнее, кивнул головой.

— А рядом с ним — Алексей.

Второй тоже молча кивнул.

— И ещё водитель у нас. Никитич. Не стесним мы вас?

— Дак что же, милые люди, вы в моей избёнке и жить собираетесь?— растерялась Глафира.— У меня ведь и условий нет… Удобства во дворе.

— А мы, Глафира Фёдоровна, вот так и хотим пожить,— проговорил глава страны, оглядывая старухину избу,— что называется, «дикарями»! Сеновал, банька у вас имеются?

— Сеновал… да… только там пыльно, поди. Давно свежего-то не косили… Баньку можно истопить. Веников я запасла в прошлом году много. Воды в колодчике полно.

— Видите, как всё замечательно! Диванчик, смотрю, у вас есть. Мне и хватит. А ребята на сеновале поспят. Заносите вещи!

Илья с Алексеем, склонившись в низкой дверце, один за другим вышли из избы, было слышно, как они разговаривают на улице с Никитичем, достают из машины и носят на мост вещи.

Президент же, встав от стола, прошёлся по дому, приложил руку к едва потеплевшему печному боку, заглянул в спаленку, остановился у комода, рассматривая фотографии, по старинному деревенскому обычаю собранные в одной раме под стеклом.

Хозяйка незаметно подошла, встала за спиной у гостя.

— Вся логиновская родова́ тут. Все покойнички,— проговорила она с удовлетворением, сняла рамку со стены, протёрла стекло рукавом.— Гли-ко, мухи-то засидели… Это вот мамочка моя. Всю жизнь на ферме дояркой проработала. Ну и я с ней… Рядом — папа. Он в сорок третьем с фронта пришёл. Контуженый, хромой. Это сестра старшая, Фрося. Ох, работящая была-а. Оттого рано и померла. За ней братья — Гена и Митя. Вот они тут, два парня, парочкой стоят. Оба шоферили. Потом уж — Зоя. Она у нас характерная росла. Красивая. Но судьба ей досталась… Ой, лучше не вспоминать… Я-то самая младшая, поскрёбышек… А тут вот, в уголку, совсем худо видать, дед. Он в военной, ещё царской, форме. А рядом — бабушка, его на фронт провожает, на Первую мировую. Он там и погиб. Мы его никто не знали. А бабушка-то всех нас выпестовала.

Глафира взяла рамку, отнесла её в залу на стол. Протёрла стекло влажной тряпочкой. И фотографии будто ожили под лучами утреннего солнца, льющегося в окна. Лица людей, сидящих или стоящих перед фотокамерой, были напряжены, даже чуть испуганы. Только два братца, которых фотограф запечатлел в самом горячем возрасте, смотрели на мир весело, задиристо. Особенно в этом самодельном деревенском коллаже выделялись два фотоснимка. На одном мать Глафиры рядом с её же отцом — молодая, красивая. Видно было, какими неожиданно изысканными для крестьянки чертами лица, нежной кожей, тонкими запястьями наградила её природа. На другом — какая-то бледная, измождённая пожилая женщина с осунувшимся лицом и погасшим взглядом сидела в окружении пятерых детей. Узнать в ней ту семнадцатилетнюю нежную девушку было просто невозможно.

— Это вы, с уточкой?— спросил Президент, показывая на двухлетнюю девочку в коротеньком платьице, стоящую у ног женщины.

— Конечно, я! А уточка эта резиновая, единственная купленная игрушка у нас была. Папа откуда-то привёз.

— А посередине — мама?

— Мама…

— Сколько ей здесь?

— А вот если Фросе пятнадцать, значит ей года тридцать три, может, тридцать четыре.

— Невозможно…— прошептал гость.— Она выглядит лет на шестьдесят…

— Работали много. А от работы и кони дохнут. Всё время на воздухе, на морозе, на солнце. Иссыхали

от трудов и забот… Ой, да что мы всё! — спохватилась хозяйка. — Надо ведь чаем вас напоить! Свежий заварила.

— Не откажусь. Сейчас ребята нам чего-нибудь вкусненького принесут. Рыбки, икорки. Давно не едали, наверное?

— Куда там! — отмахнулась Глафира. — Ничего ведь не чую после болезни. Мне что рыбка, что колбаска, что берёста — всё одно на вкус. А вы покушайте, покушайте… Да, может, ребятам-то кашки сварить? Посытнее чтоб…

— Это они всё сами, вы не беспокойтесь. А мне бы умыться с дороги.

— Дак вот рукомойник-то. А полотенечко сейчас подам.

Глафира повесила фоторамку обратно над комодом, выдвинула ящик, поискала и подала Президенту вышитый рушник.

Глава страны снял пиджак, повесил на пустой крючок рядом с бабкиными пальто и вязаной кофтой, закатал рукава голубой рубашки и умывался с чувством, с удовольствием, набирая полные пригоршни колодезной воды, окуная в неё лицо, протирая глаза, омывая шею, руки по локоть. А когда разогнулся от раковины и взглянул на хозяйку, то будто десять лет смыл.

— Как новенький! — не удержавшись, воскликнула Глафира и протянула ему полотенце. — Для самого дорогого гостя рушничок берегла. Вот и дождался!

Президент принял отбелённое льняное полотенце, вышитое по краям ёлочками и петухами, с почтением. Но оказалось, что от долгого лежания в комоде на ткани кое-где проступили желтоватые пятнышки.

Глафира заохала, оправдываясь: мол, чистое, новое, а поди ж ты — опозорилась старуха. Попыталась принести другое, но Президент остановил её, насухо вытерся, повесил полотенце на гвоздок рядом с рукомойником и сказал, чтоб никто не трогал — это его.

Илья с Алексеем как-то незаметно вернулись в избу, прихватив с собой сумку с провизией, и тихо накрывали на стол. Ребята вообще были немногословные, дельные, вымуштрованные. Самостоятельно нашли посуду, чашки, ложки. Алексей аккуратно нарезал хлеб, да не обычную серую буханку, как привыкла Глафира, а какой-то разный, невиданный — один коричневый, весь обсыпан семечками, другой чёрный, будто вакса, сверху облитый какой-то глазурью, да ещё длинный батон, в который зачем-то были запечены крупные чёрные и зелёные ягоды. Илья в это время красиво разложил на одной тарелке нарезанный сыр трёх сортов — от совсем белого до ярко-жёлтого с розоватыми прожилками, на другой — длинные полоски ветчины, на третьей — блестящие жиром тонкие ломтики красной рыбы. Тут же явилась стеклянная баночка, доверху наполненная оранжевыми бусинами икры, и такая же, поменьше, с мелким чёрным бисером. Поставили ребята и сливочное масло в красивой фарфоровой маслёнке, и овощей накромсали от души — огурцы, помидоры, перец и ещё что-то незнакомое, заморское, похожее на зелёную грушу. Чайник подогрели, чай-кофе заварили, стол ловко из угла выдвинули на середину избы, лавку, табуретки расставили, чтобы всем поместиться. Тут и Никитич подоспел — этот постарше парней оказался, солидный, степенный. Поздоровался с хозяйкой.

Руки намыли, стали рассаживаться, и тут случилась заминка. Гости захотели Глафиру в красный угол посадить, а она ни в какую. Мол, в красном углу завсегда мужику сидеть положено, хозяину дома! Самое место для Президента. А глава страны ответил, что ему неловко это — не успел явиться, а уж за хозяина ставят. А Глафира тут и нашлась: мол, вас народ за хозяина давно выбрал, не мне переиначивать.

Ну, слава Богу, расселись. Каждый с тарелок себе по вкусу брал. Илья с Алексеем хлеб намазывали маслом, сверху сырок, рыбку, икорку клали, огурчиком хрустели. Никитич тянул пустой крепкий кофе из чашки. Специально для Президента принесли чугунок не чугунок, крышечку открыли — парок пыхнул, а там — простая геркулесовая каша. Илья сказал, что это «мультиварка». А Глафира понятно для себя назвала чугунок «кашница». Положил Президент себе в тарелку овсянки, в неё — хороший кусок сливочного масла и уплетал с аппетитом. На икру да на прочие деликатесы даже не посмотрел.

Глафира сидела так. Стеснялась. Руки на подол платья под клеёнку спрятала. Заметил дорогой гость, что хозяйка ничего не ест, отложил ложку:

— Что же, Глафира Фёдоровна, не по душе вам наше угощение?

— Добро на меня только зря переводить, — ответила бабка, — говорю же, не чую после болезни. А сами-то вы что же деликатесы не кушаете? На кашке, смотрю…

— Это, Глафира Фёдоровна, называется ЗОЖ. Здоровый образ жизни. Хотите попробовать? Алексей, подай тарелку.

Парень тут же отложил бутерброд, принёс тарелочку, кашки положил, маслица кинул, поставил перед хозяйкой.

Попробовала Глафира. Не солоно. Не сладко. Пресно. Но постеснялась кочевряжиться. Съела всё до последней капельки.

— Спасибо, — сказала, — полезная кашка. Но я вот вам в русской печке потом наварю. Вот где польза и вкус!

— Не откажусь! — ответил Президент, попивая кофеёк с молоком. — Да вы-то так ничего и не поели! Попробуйте!

— Это вот чего за булка такая?— поинтересовалась Глафира, всё поглядывая на батон с ягодами.— Я в какой-то передаче такую занятную видала. Попробовать бы…
— Это багет с маслинами и оливками,— прокомментировал Илья и положил ей на тарелку два кусочка. Один сверху прикрыл ломтиком жёлтого сыра, другой украсил помидоркой и веточкой укропа.

Откусила Глафира, пожевала и еле сглотнула. Ягоды те солёные да жирные оказались. Противные! А не выплюнешь, когда на тебя смотрят… Стерпела, доела кусочек тот, что с сыром, через силу. Запила поскорее чаем. Второй отодвинула:
— Всё, сыта. Спасибо!

Ребята так же быстро, как накрыли на стол, и убрали с него. Посуду намыли, вытерли, на место всё поставили. Продукты в маленький холодильник еле впихнули. Пошептались о чём-то и попросили Глафиру показать баню, как её топить, откуда воды носить. Она отвела, объяснила.

Алексей с Ильёй переоделись в спортивные костюмы, похватали вёдра и снова за работу принялись. Никитич, видать, не такой расторопный. Всё больше ходил, смотрел, а потом капот машины открыл и пропал под ним, крутил чего-то, постукивал.

А Президенту кто-то позвонил, он за калиточку вышел и до-олго прогуливался туда-сюда и разговаривал. Глафира заметила, что Никитич в машине-то копается, а один глаз с главы государства не сводит. Следит, чтобы всё хорошо было.

Ей тоже пора делом заняться — весна тёплая, солнечная, земля сохнет быстро, надо за огород приниматься. Достала Глафира из кладовки любимый лёгкий заступ, грабельки, выкатила тачку, чтобы компост на грядки повозить, и пошла за дом, где у неё был разработан участочек под картошку, стояла крохотная тепличка из старых рам, торчали проволочные дуги под парник. Курочки бродили по огороду, рыли лапками, выклёвывали что-то из тёмной сырой земли. Вокруг гряд, по целине, сквозь жёлтую полёгшую прошлогоднюю траву упрямо проклёвывались перья травы молодой, упругой, сочно-зелёной. Пушилась отцветшая мать-и-мачеха, жирели одуванчики, лопухи упрямо лезли из-под земли, как ни рубила их каждое лето и лопатой, и топориком старуха.

Глафира воткнула заступ в ближнюю гряду, огляделась и с досадой отметила, что в противоположном углу повалился забор: одно прясло[3] совсем лежало на земле, второе повисло, зацепившись за стволик юной берёзки. Несколько лет подряд подпирала бабка эти прясла батожками, но, видно, срок пришёл — прогнила слега[4] окончательно, сломалась под ветром и снегом. Можно бы и не поправлять забор — скотины в деревне не осталось, никто не зайдёт, не потопчет всходы. Но душа требовала порядка, и Глафира пошла в тот угол, попробовала приподнять упавшее прясло — да где там! Только задохнулась!

За этим занятием и застал её Илья:
— Глафира Фёдоровна, вы бы нас позвали. Зачем сами-то?
— Да я уж как-нибудь…
— И лопата… Копать, что ли, вздумали? Так мы завтра вам всё за полдня вскопаем.

Илья шагнул к забору и одной левой поднял упавшую часть, поставил, подпёр, отряхнул ладони.
— Вот спасибо, Илюша!— обрадовалась Глафира и спросила, взглянув в сторону баньки.— Затопили?
— Пол там провалился, так мы чего спросить хотели: доски есть у вас? Починили бы…
— Доски-то?..— задумалась бабка.— У меня стояли где-то две, но те не годятся, тонки. Тут хорошие надо, пятидесятку.
— Ладно, мы тогда до пилорамы с Никитичем, а Алёша пока старый пол выбросит, там труха одна.

Илья ушёл, и через пару минут чёрная машина уехала.

Глафира пошла в баньку — полюбопытствовать, что там делает второй охранник.

Алёша голыми руками выворачивал из пола гнилые, заплесневелые снизу доски, даже гвоздодёр был не нужен, до такой степени они иструхли. И балки тоже: стукни ногой пару раз — и переломятся.
— Ничего, бабуль, сейчас всё наладим!— весело сказал он, увидев настороженное Глафирино лицо в дверях бани.
— Вовек бабке с вами не рассчитаться!
— Считайте, что это благотворительность!— подмигнул Алёша в ответ и, выворотив половину балки, выпихнул её на улицу через банное окошечко. Рама была предусмотрительно выставлена и убрана в предбанник.

Чтобы не стоять над душой у работника, Глафира отправилась искать Президента. Тот сидел в избе за столом, разложив бумаги. Перед ним стоял раскрытый ноутбук.
— Помешала я вам…— тихо проговорила бабка.— Сейчас уйду, уйду…
— Вы мне не мешаете, Глафира Фёдоровна,— отозвался Президент,— это я ваш стол занял. Сейчас вот пару указов изучу, подпишу и освобожу.
— Сидите-сидите, я только печку скутаю[5]. Забыла ведь, полоротая…

Глафира заглянула в абсолютно чёрное жерло печи — отвлеклась ведь, упустила тепло, ну да

3. Прясло — часть забора, ограды от столба до столба.
4. Слега — толстая жердь между двумя столбами, на которую крепятся доски забора.
5. Скутать печь — закрыть заслонку или иным способом перекрыть трубу.

подсушить жильё и этого достаточно. Задвинула заслонку и, прихватив полное ведро из-под раковины, понесла его на помойку.

Алексей со своей частью работы уже справился и теперь сидел на лавочке возле бани. А те, что уехали за стройматериалами, пока не вернулись. Увидев Глафиру с ведром, он попытался помочь, но тут уж бабка взмолилась:

— Я же не могу сиднем сидеть! Оставьте мне моё бабье хозяйство. Вам работы хватит.

Она выплеснула ведро на компостную кучу и тут вспомнила о важном деле:

— Алёша, божий человек, помоги ты мне котят поймать. Ведь одичают на чердаке совсем…

Пока парень взбирался по лестнице наверх и присматривался, Глафира давала ему указания:

— Корзинка там, справа, меж стропилами стоит. Погляди там сперва.

С чердака сошмыгнула перепуганная Мурка и теперь, тревожно мявкая, крутилась под ногами — зори́ли[6] её гнездо, мать переживала за детей.

Через минуту Алёша отозвался:

— Тут пусто…

— Разбежались, значит.

— Ничего, поймаем…

Было слышно, как он бросился за кем-то раз, другой, стукнулся обо что-то, что-то уронил, ругнулся и крикнул оттуда:

— Темно тут очень! Фонарик есть?

И тут же следом:

— Ага! Попался!

И через минуту свесился с чердака и протянул Глафире отчаянно орущего и царапающегося рыжего котёнка. Она приняла зверёныша, прижала к себе:

— Экий шубяной![7]

Алексей снова заметался по чердаку, загремел чем-то. Мурка, путаясь в ногах у Глафиры, орала не переставая, тянулась к котёнку.

Из избы на шум вышел Президент и усмехнулся:

— Чертей, что ли, гоняете?

— Котят! — показала ему Глафира изловленного рыжика.

— Хоро-ош!

А тут Алёша подал сверху второго, белого.

Его принял Президент.

Мурка заметалась между людьми, ужасно страдая за своих детей.

— Ещё есть! — крикнул сверху парень. — Ох, хитрый! Никак не поймаю…

Тут во дворе затарахтел мотор грузовика. Послышались голоса.

С крыльца на мост зашёл Илья и, не понимая, что происходит, спросил:

— Где Алёшка-то? Доски надо разгрузить.

— Помоги мне котёнка изловить! — отозвался напарник. — Тогда и разгрузим.

Илья быстро взобрался по лестнице на чердак, и через пару минут они оба спустились с третьим котёнком.

— Серый, — прокомментировал Алексей. — Больше нет.

— Не серый, а дымчатый! Породистый — посмотри-ка! Прям русская голубая, — уточнил Илья.

— Ну разве что Васька-одноухий породистый! — захихикала бабка. — Моя Мурка только его любит. За три километра ведь ходит на свиданку!

Котят принесли в избу, устроили им в большой коробке лежанку, поставили в укромное место за печкой. Мурка сразу же юркнула к котятам и развалилась, подставляя малышам сосцы, успокаивая их и себя.

Взрослые парни, как дети, не могли оторваться от этой идиллической картины — присели около коробки на корточки. Никитич и Президент стояли рядом, тоже смотрели и улыбались.

— Смотрите, как котята интересно улеглись, — сказал глава страны, — сначала белый, потом этот дымчатый и рыжий.

— Белый, синий, красный! — догадался Никитич. — Это же российский триколор!

— Ну, Мурка, ты настоящая патриотка! — подвёл итог Илья.

А кошка лежала, блаженно щурясь, громко мурча и гордясь своими котятами.

Глафира в мужские дела не лезла, а взялась сварганить работягам-ребятам супчик: чистила картошку, резала лук, тёрла морковку. А слух её тешился позабытыми звуками — на улице, около бани, трещала бензопила, стучали топоры и молотки, да ещё какой-то неведомый инструмент издавал ноющее «не-е-е-е, ну не-е-е-е», как будто никак не хотел работать, а его насильно заставляли. Ребята потом объяснили, что так «ноет» электрорубанок.

Часа через два все эти звуки стихли, а из банной трубы потянулся дымный шлейф.

— А есть ли у вас, Глафира Фёдоровна, самоварчик? — потирая, словно от удовольствия, руки, вошёл в избу Президент. — Хочется после баньки чайку из самоварчика! — и добавил: — Эх, хорошо рубаночком побаловался! Досочки, м-м-м, как лакированные! Ножку и захотите — не занозите.

— Это вы сами?.. Мою старую баню… — заохала Глафира. — Стыдно мне даже…

— А вы не стыдитесь, а гордитесь! Будут потом к вам на экскурсию приезжать — покажете скамеечку, которую я строгал! — засмеялся Президент и приобнял хозяйку за плечи. — Так что насчёт самоварчика?

— Есть, как не быть! Только достать надо из кладовки, — и, продолжая говорить на ходу, Глафира повела гостя за собой, — а то как электрический-то

6. Зорить — ломать, разорять.

7. Шубяной — лохматый, пушистый.

чайник сын подарил, так я и разленилась самовар ставить. Да и на кой он, ведёрный-то? Дольше грею. А выпью чашку-две, не боле… Вот и убрала подальше.

Она распахнула дверь утлой кладовочки, где вдоль стены на лавке стояли и висели на стене разные старинные предметы. А на сундуке, окованном по краям заржавевшими металлическими лентами, под маленьким квадратным окошечком, в окружении глиняных кринок[8], высился потускневший от времени латунный самовар-медалист.

— Да тут как в музее!— воскликнул Президент и потрогал, крутанул колесо самопрялки[9], стоящей у входа.

— Храню вот, не знаю зачем. Выкинуть— рука не подымается. Всё память…— и Глафира, прикасаясь к вещам, будто через это прикосновение припоминая историю каждой, стала рассказывать:— Сито— бабушкино наследство. Из конского волоса ещё плетено. Да треснуло вот… Вожжи и хомут на стене— отцовские! Сыромятные. А это любимая мамина мутовка[10], масло сбивать. А вот лошадка деревянная. Брат Митя делал. Он умелец был по игрушкам-то. Бывало, и свистулек глиняных нам налепит, и куколок из соломы навяжет… Да вот и куколка!

Глафира повертела в руках соломенную девочку с косой, одетую в тряпочный сарафан и крохотную косыночку, и бережно положила обратно.

— Тут вот, в мешочке, бабки[11] костяные,— продолжала она экскурсию по старине.— Это дедово наследство.

— Что за бабки?— заинтересовался Президент, принимая от хозяйки тяжёлый холщовый мешочек.

— Мужики да парни играли в стародавние времена. Соберутся зимой на пустой риге[12] и состязаются. Кидают костью в кость. Попал— себе взял. Кто меткий— разори-ит вчистую. Дед-то, бабушка рассказывала, удачливый в этом деле был. Красиво играл. За то она его и полюбила.

— Тяжёлые какие…— достал гость одну бабку из мешочка.

— А он, хитрован, свинцом их заливал. Дырочку просверлит и туда нальёт. Бабка такая и летит лучше, и бьёт точнее… Вышивка вот,— Глафира погладила рукой приколотую к стене тряпочку с васильками.— Это Фрося любила. О-ой! Зиму напролёт вышивала и кружева плела. Мастерица знатная! Я сколь ни хотела за ней угнаться, не могла.

— Зачем же она тут у вас висит? В дом надо красоту такую. Любоваться.

— Здесь лучше. Опасаюсь, что там выцветет на свету. А тут— всё как новая.

Глафира подумала.

— И то правда, возьму. В рамку повешу.

Она осторожно сняла с мелких гвоздочков края вышивки, свернула тряпочку в рулончик.

— Вот и самовар. Берите. А я трубу прихвачу.

И она сняла с большого гвоздя ржавое коленце с ручкой.

Парились мужики долго. Банька маленькая, только-только вдвоём развернуться. Вот и ходили— сперва Президент с Никитичем, потом ребята.

Глафира им травяного чаю заварила да брусники мочёной плошку поставила. А сама собрала чистое, банное— даже халат новый, в мелкую ромашку, достала, да и прилегла покуда в спаленке на кровать, поверх покрывала. Такой удивительный день выдался! Кому рассказать— не поверят! Посмеются над бабкой.

Задремалось. Но сквозь чуткий сон Глафира слышала, как тикают ходики, гудит холодильник, то и дело капает вода из рукомойника в раковину. В приоткрытую форточку окна спаленки залетали птичьи посвистывания— то синички прыгали по веткам набирающей цвет яблони. Загудел шмель, потыкался в стекло и улетел. Звонко, дружно закокотали курочки, копающиеся в огороде,— надо яичко проверить.

Глафира открыла глаза, и сделалось ей отчего-то тревожно. Она взглянула за окно и поняла причину: солнце потускнело, по небу заходили серые облачка— предвестники дождя. Она всегда предчувствовала смену погоды не только по ломоте в костях, особенно в изработанных за долгую жизнь руках, но и по необъяснимому беспокойству, накатывавшему на неё. Подумала вдруг, что всё ей показалось, приснилось— нет в её доме дорогих гостей, не стоит в проулке большая чёрная машина, не топилась баня, и полы в ней по-прежнему гнилые, и как есть она одна-одинёшенька на белом свете.

От таких мыслей сделалось Глафире зябко, сумеречно. Она села на кровати, уняла внезапную дрожь, охватившую всё тело, успокоила себя рассуждением, что болячка не до конца отпустила, вот и нашло такое состояние. Ничего, погреется, попарится в баньке, и отступит хвороба. Взглянула на часы— удивилась: казалось, подремала минут пятнадцать, а уж почти два часа прошло. Прохладно всё же. Как ребята собираются на сеновале

8. Кринка— небольшой глиняный сосуд с широким горлом для хранения молока.
9. Самопрялка— деревянное устройство с колесом для механического прядения и изготовления нитей из различных волокон.
10. Мутовка— кухонная утварь; деревянная, обычно сосновая, палочка с короткими сучками на конце.
11. Бабки— суставные кости конечностей копытных животных, вываренные для студня и высушенные, специально подготовленные для игры.
12. Рига— деревянная хозяйственная постройка для сушки и обмолота снопов зерновых.

ночевать? Да ещё после бани. Не простыли бы. Ребята… Всё-таки есть ребята или нет?

Хозяйка вышла из избы на мост, прошла доповети[13], поднялась по невысокой ступеньке, заглянула — красота! Какие всё же толковые у Президента парни: палатку поставили, внутри — матрасы раскатали. Складные стулья и столик принесли. Фонарь повесили.

Заулыбалась Глафира, повеселела, и более всего оттого, что всё оказалось правдой. Не сон, не морок на неё нашёл. Здесь гости дорогие!

А тут и шаги послышались — ребята из бани вернулись, позвали её.

— Идите, Глафира Фёдоровна, парьтесь! — сказал разрумянившийся Алёша.

— Хороша банька у вас, а венички — одно удовольствие! — вторил ему распаренный до красноты Илюша. — И вода мягкая, всё тело задышало.

— С лёгким паром, добры молодцы! Отдохните пока.

Глафира прихватила одежду с полотенцем и пошла к бане.

Президент и Никитич сидели на крыльце. Молчали. Любовались весенним лесом.

— Сил нет идти — так напарились! — радостно сказал Президент, завидев хозяйку. — Дышим вот. Не воздух — молоко парное. Пить — не напиться!

Никитич молчал и улыбался.

Внутри бани было влажно, жарко. Радостно белел новенький пол, усыпанный берёзовыми листиками. Ребята, оказывается, и поло́к[14] другой поставили, и две лавочки вдоль стены. Глафира провела рукой по струганой досочке — ни зазубринки, даже краешки сняты, сглажены. Уж не эту ли досочку миловал своими ручками Президент?.. Села — крепко, надёжно. Набрала в таз воды из котла, разбавила холодянкой из бочки. Плеснула на каменку совсем чуть-чуть. Та отозвалась не шибко, не взрывно́. Зашептала словно. Сидела бабка, грелась. Флакончики, оставленные мужиками, рассматривала, открывала, пыталась нюхать, да всё одно — не пахнет. На одной баночке прочитала крупно написанное: «Мыло натуральное». Открутила крышечку — желе какое-то розовое. Зачерпнула, размазала по мокрой мочалке, почучкала. Пены стало! Смывала да смывала, всё равно кожа скользкая. Не скрипит. Наверное, много взяла. Голову уж простым мылом намылила — так привычнее.

С наслаждением смывала с себя Глафира больничный дух, мысленно благодарила Создателя за то, что оставил её в живых, и за подарок такой на старости лет, за дорогих гостей. Решила, что завтра обязательно напечёт пирогов, квасу домашнего поставит. А ещё успеет за неделю связать в подарок Президенту носки. На память и чтобы не мёрзли у него ноженьки зимой.

Мягкая горячая вода нежила, ласкала. Тело отмякало, душа млела. Распаренные косточки ныли глуше. Тревога отошла, отпустила. Благость коснулась головы старухи, положила тёплую материнскую ладонь на макушку. Глафира прикрыла глаза, и влага скатилась из-под ресниц её, и были ли то слёзы, пот ли, вода ли с помытых седых волос стекала по лицу — какая разница?

На столе в избе уже пел горячий самовар, заварка прела в фаянсовом чайничке, на тарелках томилась закуска. И бутылочка запотевшая посередине. Рюмочки к ней.

В кои-то веки ждали хозяйку к ужину гости.

День второй. Земля

(3 мая, вс.)

Май. Когда ещё так дышит земля, если не в мае? Когда ещё она налита такой силой, такой влагой, такой страстью? Когда ещё она так торопится принять в себя семя, и обнять, и лелеять, и растить его в своём чреве? Опоздай — перегорит, пересохнет, растратит жажду любви и плодородия. Отцветёт пустоцветом. А если и завяжется плод, будет он хилым, безжизненным, завянет и опадёт. Всё должно случаться в назначенный час. Может, и научился человек обманывать природу-матушку, по наивности её, по доброте, по доверию детям своим, только всё, что через обман рождено, оно искусственное, нарочное, витамина, а значит, жизни в нём нет. Поэтому торопись, землепашец, поклониться земле своей. Твои майские поклоны, до боли в спине, до потрескавшейся кожи на руках, до мозолей, натёртых лопатой, до цветных мушек в глазах, все твои труды и старания не останутся без награды. И забудется ломота в пояснице, когда примешь ты первенцев, выношенных и рождённых землёй, когда сорвёшь пучок пахучего укропа, когда с наслаждением захрустишь терпкой, сочной редиской, погладишь пупырчатую кожицу огурца, вопьёшься зубами в сочный, упругий помидорный бок, покатаешь и взвесишь на ладони белотелый кабачок, звонко отломишь от кочерыжки кочан капусты, бросишь в ведро десяток крупных жёлтых картофелин. И усталость сменится радостью и удовлетворением. Потому что ты сыт от своих трудов, потому что своя морковка и свой лучок завсегда будут слаще магазинных. Стало быть, какие ветра ни дуют над планетой, какая пандемия ни приди, хоть помирать собирайся, а жито сей.

Удобренная, рассыпчатая земля у Глафиры в огороде. И погода все дни стояла — Божья благодать. Да и сегодня хоть и пасмурно, но пока сухо.

13. Поветь — крытая хозяйственная пристройка к дому для хранения сена и другого сухого корма для скота, сеновал.

14. Полок — широкая высокая полка в бане, на которой парятся.

Потому и не липнет земля к лопате, а, сброшенная со штыка, влажно разваливается по перекопанной гряде, обнажая голых бесстыдно-розовых червей, которых тут же норовят склюнуть прожорливые курицы.

Илья с Алёшей работали споро, весело. Что им, молодым да сильным, стоит вскопать эти три сотки бабкиного огорода?! Она одна тут две недели бы просидела, копала бы по метру в день… Никитич возил на тачке компост, раскидывал вилами по ещё не вскопанному.

День выдался тёплый, тихий, безветренный. Не жужжали над цветущими деревьями пчёлы, обидевшиеся на спрятавшееся за тучами солнце, и птицы пели глуше, скромнее. Всё же к вечеру, наверное, пойдёт дождь. Вон как давит всех. Хорошо бы успеть отсадиться. А там и польёт на славу!

Глафире было совестно сидеть без дела, и она, открыв с огорода дверцу погреба — проветрится заодно, — полезла туда набирать картошки на посадку. Села на лавочку у открытой двери, поближе к свету, подтянула к себе корзину с семенной картошкой — немного сажала бабка, хватало ей одной-то. Приятно было брать в заскорузлые руки сохранившиеся твёрдыми, с крепкими, пучкастыми ростками, картофелины. Стараясь не обломать драгоценные ростки, Глафира аккуратно раскладывала семенную картошку из общей корзины в низенькие ящики, в один слой. Пусть постоят на свету, подышат, позеленятся. Надо было за недельку-две до посадки вытащить, да вот захворала так не вовремя.

Бабка перекладывала картошку, то и дело поглядывая на работников, которые уже перекидали пол-огорода и теперь присели отдохнуть на лавочке возле бани. Илья сходил в дом, принёс воды. Парни напились, говорили о чём-то, похохатывая. Было видно, что работа им в радость — молодые мускулы размять, потешиться с лопаткой.

У Глафиры на душе было сладко, словно это внуки приехали помочь бабке и привезли с собой и подарили ей чувство опоры, защищённости, уверенности, бабьей расслабленности оттого, что рядом есть кто-то сильный и надёжный. О том, что это очень временное ощущение, Глафира старалась не думать, жила моментом. Но предательская слеза всё же скатилась по сухой щеке, и обожгла, и горечью коснулась уголка губ.

Руки привычно откинули в сторону подгнившую, сморщенную картофелину. Немного их, плохих-то, штук пять на всю корзину. Глафира закончила работу и выбралась из погреба на свет. Разогнула спину, охнула, голова закружилась. Старуха зажмурилась и постояла несколько минут, опершись о бревенчатую стену, а когда открыла глаза и проморгалась, увидела Президента. Тот присел на корточки около перекопанной гряды, набрал в ладони свежей земли, потёр меж пальцев, поднёс к лицу и с наслаждением втянул её аромат.

— Чем пахнет? — улыбаясь, спросила Глафира.

— Весной, — не сразу ответил глава страны, — талым снегом… корнями… травой…

— Жизнью пахнет, — подвела итог Глафира. — Вдохнёшь — и весь до краёв этой силой наполнишься. На год хватит! А я вот… проклятый ковид… не чую. И жизнь из меня утекает по капле. Нечем её пополнить.

Президент не ответил, да и что тут скажешь?..

С самого утра он снова работал с документами, за компьютером. Вот так отпуск! И на неделю покоя нет человеку! Глафира обычно вставала рано, с зарёй, а сегодня утром постеснялась тревожить дорогого гостя. Тот спал в зале, на диванчике, так тихо, спокойно, крепко, что она не посмела греметь посудой, дровами, хотя собиралась затворить пироги. Провалялась, промаялась лишний час на своей кровати, только бока отлежала. Потом выскользнула потихоньку из спаленки и даже не умывалась, чтобы не лить воду в раковину, не брякать пипеткой рукомойника. Ушла сразу на улицу. Но гости не были засонями. Поднялись, умылись, чаю попили да и взялись за дела.

— Помочь вам, Глафира Фёдоровна? — спросил Президент и направился к открытой двери погреба.

— Да чего уж… — смутилась хозяйка. — Разве что вот эти три ящичка взять да вон туда, к заборчику, на свет поставить.

Президент охотно перенёс ящики и спросил, что сделать ещё.

Глафира мялась, стесняясь о чём-то попросить, но потом заговорила робко:

— Ребята такие молодцы. Пожалуй, до обеда справятся… К вечеру и картошку посадим.

— Справятся! — охотно подтвердил глава. — И посадят!

— Я что хочу попросить… Дедок тут живёт. Дед Семён. На том краю, — Глафира махнула рукой, показывая, где дом того, о ком она говорит. — Он хоть меня и помоложе годика на три, но ему тоже тяжело. Дак это… Нельзя ли, чтоб ребята и ему вскопали?.. У него совсем немного. Ведро картошки посадить… Вы меня извините, что я это… прошу… Неудобно, конечно… Но и деда жалко…

Президент вдруг задумался, нахмурился, потом прямо взглянул в глаза хозяйке, взял её под локоток и тихо заговорил:

— Понимаете, Глафира Фёдоровна, это не трудно. Вскопать-то ребята вскопают. Но, знаете… лучше, чтобы нас никто не видел.

— Я это понимаю, как не понимать, — так же тихо заговорила бабка, — но дед, он безобидный. Глухой, что пробка!

— Глухой, но не слепой…

— Да он никуда не ходит! Никому не расскажет! А фершалка прибежит, дак она и слушать не станет.

Не до того ей, чтобы во все наши стариковские бредни верить…
— Ну хорошо,—согласился Президент,—отправим к нему Илью с Алексеем. Только, чур, не говорить, кто и откуда. Скажете, что ребята—волонтёры. Помогают от общественной организации.
— Вот и добро!—обрадовалась Глафира.—Всё так и скажу!—и, расчувствовавшись, поведала:—Мы тут вдвоём уже три зимы зимуем. Дак договорились, чтоб каждый день глядеть—идёт ли дым из трубы. А если до обеда дыма нет, доковылять из последних сил—проверить, жив ли. Я в ту зиму не один раз так к нему бегала. А он, паразит, дрова бережёт…
— Что же, совсем у него никого нет?—поинтересовался гость.
— Сынок был, да пропащий. Всё по тюрьмам. Доченька, так та померла, вишь, раньше родителя… И сам он вдовый, уж четвёртый год пошёл. Тамара-то, жена его, хорошая женщина была. Она за ним следила и хозяйство держала. А как не стало Тамары-то, он как старый гриб. Ворчит только, курит да засрался, прости Господи, весь…—Глафира шлёпнула себя ладошкой по губам за вылетевшее бранное слово.

А Президент тихонечко засмеялся.
— Надо вот пойти его проверить, а то не показывался вчера. Да щей отнести. И в баню я обычно его зову. Он своей-то после Тамары не тапливал.
— Ну, вот уедем мы, и помоется сосед ваш. А пока лучше, чтобы он сюда не ходил. Вы уж не обижайтесь. Так надо. Конспирация.
— Конспирация,—согласно повторила Глафира.
— А я пойду, пожалуй, в поле за деревней прогуляюсь. Засиделся. Надо размяться, подышать да подумать…

И Президент, прихватив с собой Никитича, отправился на прогулку. Бабка же вернулась с улицы в избу, чтобы собрать старику гостинец: налила в пол-литровую банку супу, в ведёрко из-под майонеза, чтобы не раздавились, положила пяток свеженьких яиц. Заглянула в холодильник и, рассудив, что не убудет, а дед такого в жизни не едал, отрезала по чуть-чуть от сыра, ветчины, рыбки и рассовала деликатесы по пакетикам.

Мурка, учуяв возню возле холодильника, стряхнула с себя котят и прибежала к хозяйке. Так и ей достался кусочек невиданной рыбки, которую она сперва недоверчиво обнюхала, посматривая на Глафиру: дескать, не отравишь ли? А потом долго жевала, похоже, так и не оценив. Запила молоком.

Деда Глафира застала тоже на улице. Он бродил с сучковатым батогом[15] по своему запущенному, заросшему огороду и, критически насупившись, оглядывал из-под густых бровей фронт работ. Которое лето не косил он травы вокруг дома, и потому сейчас вся дернина[16], среди которой чернел маленький кусочек картофельника, торчала сухими бодыльями[17], мелкой берёзкой. Забора не было вовсе—его, давным-давно повалившийся, прогнивший, старик разобрал и спалил в печи. Границы огорода можно было определить только по ровному ряду молодых крепких черёмух и рябинок, когда-то насеявшихся вдоль ограды и оттого уцелевших.
— Бродишь?!—крикнула Глафира соседу, но тот, разумеется, не расслышал. Так и стоял спиной, смотрел в землю.

Чтобы не напугать старика внезапным появлением, бабка оставила пакет с провизией на крыльце его дома, а сама обошла огород так, чтобы выйти спереди, показаться ему.

Завидев Глафиру, дед приветственно вскинул батог, заулыбался беззубо, пожёвывая прилипшую в углу рта потухшую папироску.
— Никак копать собрался?!—спросила его бабка, имитируя движеньями работу с лопатой.
— Завтра начну,—скрипуче отозвался дед Семён.
— Ну дак и не торопись!—подошла и прокричала ему в самое ухо Глафира.—Помощников тебе пришлю!
— Хвошник[18] всё заполонил,—согласно закивал старик,—земля кислая. Золы посыпать надо поболе…
— Тьфу ты, старый хрен…—выругалась бабка и заорала ещё громче:—Не копай сам, говорю! Не копай!!!—и она снова показала, что копает, а потом перекрестила руки.
— Не копать?
— Да!
— Почему?
— Ребята! Ребята посадят!!!
— Робята?
— Робята!

Дед Семён недоверчиво посмотрел на Глафиру и спросил:
— Валька, что ли, приехал? С детями?
— Дождёшься их…—сказала бабка тихо и добавила криком:—Нет! Волонтёры!!!
— Кто?—дед Семён даже ладонь к уху приставил наподобие ракушки.
— Волонтёры!!!
— Кто?!
— Да чтоб тебя… Во-лон-тё-ры!!! От общественной организации!!!
— Кто? Громче говори!—сердился старый глухарь.
— Дед Пихто!!!—в сердцах плюнула осипшая уже от ора Глафира.—Есть пошли!!!

15. Батог, или подог—толстая, крепкая палка для опоры.
16. Дернина, дёрн—целина, не перекопанная, неокультуренная почва.
17. Бодылья—сухие высокие стебли и цветоносы травянистых растений.
18. Хвошник, хвощник—заросли хвоща.

— Пошли,— сразу согласился дед и повеселел.— Супчику принесла?
— Принесла, принесла...— проговорила бабка, вздохнув.

И оба побрели к дому старика.

Глафира поставила железную миску со щами разогреваться на электрическую плитку. Выложила на тарелку из пакетиков деликатесы, отрезала хлеба, сунула деду в руку вилку и велела есть. Вечно голодный, но разбористый старик принялся ковыряться в еде.
— Это чаво такое?— спросил он, подцепив вилкой кусок ветчины.
— Мясо. Не видишь?— рассердилась Глафира.— Ешь, не перебирай!
— А это? Рыба, что ли?
— Рыба, рыба,— отвечала бабка, заглядывая в стариковскую печь.— Когда топил-то? Сыро у тебя.

Дед молча жевал, смотрел в стену.

Она принесла дров, растопила печь. Намыла картошки, сложила в чугунок, залила водой и сунула к огню.
— Завтра, даст Бог, с утра пораньше приду к тебе. Пирогов затворю да напеку. А то, видишь, у меня-то никак. Президент ночует...

Глафира испуганно осеклась, шлёпнула себя снова по губам, покосилась на деда. Тот сидел за столом всё так же прямо, шевелил беззубым ртом. Выглядел он жалко, потерянно и вряд ли вообще понимал, что ест. У бабки защемило сердце. Давно бы забрала старика к себе, но грязнуля он, да ещё курево это распроклятое.

Суп начал закипать. Глафира выключила плитку, сняла миску, поставила перед стариком, подала ему ложку.
— Яйца там. Видел?— она махнула рукой на буфет.— В тарелку вон выложила. Понял?!

Дед Семён поднял голову, похлопал на неё слезящимися глазами.
— С кем говорю...— горестно вздохнула Глафира, прихватила пакет с опустевшей посудой и, показав жестом, что она пошла, поторопилась к дому.

Работников тоже пора кормить. Зря, что ли, она вчера целую кастрюлю свежих щей наварила? Не всё ей угощаться, пора и самой гостей попотчевать.

Но на полпути, посреди деревни, она встретила возвращающихся с прогулки Президента и Никитича.
— А что там за кирпичные развалины на краю поля?— поинтересовался Президент.
— Ферма стояла.
— А сгорело что?— спросил в свою очередь Никитич.
— Школа сгорела.
— Давно?
— Давно... Вы думаете, тут всю жизнь так было? Три дома?.. Не-ет! Большая деревня стояла, богатая! И школа, и магазин, и ферма, и конюшня. Отец мой на той конюшне работал. Хомут-то с вожжами в кладовке висит... Как с фронта вернулся, назначили его конюхом, так до пенсии и работал. Вон там, видите, взгорок? Весь берёзкой да крапивой зарос...— Глафира указала рукой за дома.— Это пруд копали— коров да лошадей поить, земли-то и нагребли. А рядом как раз и ферма стояла, и конюшня. Двенадцать лошадок! Я всё детство вместе с мальчишками да вон с Сёмкой с этим же,— кивнула она на дом деда Семёна,— в ночное их гоняла. Да без седла! Голым задом на хребтине до того напрыгаешься, грех сказать, ссадишь всё, потом коростина нарастёт, сойдёт, и тогда уже всё нипочём.

Президент с Никитичем насмешливо переглянулись. Глафира уловила это и оговорила сама себя:
— Чего и мелет бабка, да?! Так и жили. Теперь и не верится... Да пойдёмте, я покажу!

И она устремилась за деревню, к зазеленевшему перелеску, только пустая пол-литровая банка стукалась об пустое же ведёрко в пакете. И гости, делать нечего, побрели за ней.

Эта деревня— нет, не родная Глафире, она сюда замуж вышла. Поставили к отцу на конюшню помощником Гришку Касаткина. Парень рукастый, разворотливый. Понравился он отцу. Ну и свёл младшую дочь с Гришкой. У них и сладилось. Ей, правда, тогда другой нравился, в клубе всё плясал с ней, подмигивал, за ручку брал. А потом уехал в Ленинград, на завод, работать, и стало как-то всё равно, за кого замуж идти. Но прожили нормально, не хуже людей. Жаль только, что сынок один у них. Так уж вышло. Подняла однажды Глафира тяжёлый мешок и... потеряла второго ребёнка. А врачи в больнице сказали: больше детей у неё не будет. Что уж тут поделаешь?

Глафира на ходу вспоминала о прошлой жизни, и та, давно покинувшая эти места жизнь, люди, уехавшие отсюда в поисках лучшей доли или перебравшиеся на вечный покой на кладбище, вновь появлялись, словно проступали, прорисовывались сквозь туман, будто видение. На пустыре выросли хозяйственные постройки, добротные дома, двухэтажная деревянная школа. Посреди деревни встал магазин с большими высокими окнами и наличниками, выкрашенными синей краской, и контора сельсовета. Вокруг деревни, докуда взгляда хватало, исчез березняк, уступив место распаханным, засеянным полям, лес отступил, сделался ниже, открыв взору синие лесные дали. Замычали коровы, пастух щёлкнул кнутом и гикнул на них, не стесняясь крепкого словца. Лошадь под ним заржала задиристо, словно вторя седоку. Запели петухи, залаяли собаки. Грузовик проехал, оставив вонькое облако отработанного бензина. Трактор затарахтел. Протопала мимо ватага мальчишек с удочками, и долго ещё слышался удаляющийся ребячий смех и громкий разговор. К колодцу

за водой пришли две хозяйки, сцепились языками. Застучал молоточек — в одном из дворов хозяин отбивал косу. Заширкали пилы, запел по брёвнам топорик — артельщики перекрывали крышу на ферме по-современному — шифером, сдирая и сбрасывая на землю пласты отслужившей своё дранки[19]. У конторы остановился председательский «газик», протопали по высокому деревянному крыльцу сапоги. Из открытых окон послышались голоса, бабья перебранка, утихомиривающий бас бригадира. Потом общий смех. На крыльцо высыпали женщины-колхозницы, получившие наряд. Вместе с ними была и молодая, стройная, высокая, кареглазая Глафира. Она поправила платок на голове, прихватила деревянные грабли и вместе с другими бабами отправилась в поле — шевелить подсыхающую скошенную траву. Весёлой говорливой гурьбой топали бабы вдоль деревенской улицы, а трое молодцев, поглядывая на них, подначивая словцом, лихо закапывали в землю уже пятый новенький беленький столб — электричество тянут! Скоро засветится во всех домах «лампочка Ильича», спрячут хозяева керосиновые лампы в кладовки. А пока — белый день, и света не надо! Солнце сияло в высоком голубом, с редкими облачками, небе. Пел и кувыркался в вышине жаворонок. Жизнь была понятная, трудовая, честная. Люди — работящие, отзывчивые, добрые. Будущее казалось ясным, приветливым, благодатным.

Колхоз богател. Новые дома строились для колхозников. Дети рождались. В каждой избе — телевизор, холодильник. Мотоциклы, даже личные автомобили покупать стали. Они с мужем два раза на курорт по путёвке ездили. В море купались. Солё-о-оное!

И когда это всё сломалось? Как-то незаметно, как-то исподволь… И работали вроде так же. И зерна-молока растили-сдавали не меньше. Вдруг стало всё хиреть, сыпаться, техника старая, на новую нет средств, запчастей тоже нет. Вот где батькины кони-то пригодились бы! Да где те кони? Давно колбасой съели… Одно поле запустили, другое… А долго ли? Год-два не паши, не сей — вот и заросло. Работы нет. Молодёжь побежала. Детей не стало. Школу закрыли. Колхоз распустили. Ферму только оставили, а коров чем кормить — не знали. Тянули, сколько могли. Потом и это прикрыли. Свезли бурёнок на мясо.

Муж Глафирин от тоски запил. Да и помер вскорости. В девяносто пятом это случилось. До пенсии два года не дотерпел. И остались в деревне Глафира, Семён со своей Тамарой, ещё одна престарелая пара да одинокий старичок. Доживали свой век да уходили по одному.

— А что теперь есть — вы и сами видите… — подвела неутешительный итог старуха.

Развалились, сгнили от одиночества брошенные хозяевами дома, магазин раскатали и распилили на дрова, сгорела по мальчишеской дурости двухэтажная школа, с фермы сначала растащили шифер, потом, сколько могли, долбили из стен силикатный кирпич, электрические столбы иструхли, накренились — того и гляди рухнут. В ветреную, мокрую или снежную погоду частенько отключается здесь свет.

Глафира с трудом вынырнула из воспоминаний. Оглянулась вокруг — светлый тонкий березняк тянулся к пасмурному небу. Под ногами — сырая колеистая просёлочная дорога. Рядом стояли усталые, продрогшие Президент и Никитич.

— Замучила я вас? — опомнившись, спросила Глафира.

Она увлеклась, не замечала времени, а мужчины, оказывается, терпеливо шли за ней, не перебивая, слушали её.

— Нет. Наоборот. Спасибо вам за рассказ, за историю нашей страны, — ответил Президент. — Да вы и сама, Глафира Фёдоровна, живая история!

— Да чего уж, — смущённо заулыбалась бабка, — ни памяти, ни сил не осталось. Только вот тут болит, — она показала куда-то на солнечное сплетение, — душа мается за внуков, за правнуков. Жизнь-то какая пошла! Живы ли будем?!

— Домой пора, — перебил её восклицания Никитич. — Дождь начинается.

Оказывается, они бродили так долго, что Илья с Алексеем не только докопали огород и посадили картошку, но и успели подновить забор — из оставшихся досок поставили, вместо сгнивших и упавших, два новых прясла. И отдельные доски тоже заменили.

Глафира, хоть и притомилась от прогулки и воспоминаний, всё же нагрела щей и уговорила всех, даже Президента, их отведать. Ели с аппетитом, нахваливали бабкину стряпню. Может, из уважения, может, по правде. В конце обеда Алёша радостно похвастался, обращаясь к хозяйке:

— А мы на вашем огороде клад нашли!

Он достал из кармана спортивных брюк монетку, подкинул её и положил на скатерть, чтобы всем было видно. Это были две копейки 1906 года, исключительно хорошо сохранившиеся в земле. Все с любопытством рассматривали их, передавали друг другу.

— Там, где сейчас огород, старый дом стоял, — пояснила Глафира, — а в старину принято было под углы монетку закладывать. Чтобы богатство в доме водилось.

— Значит, там ещё три монетки должны быть! — воскликнул Алёша. — Углов-то у дома — четыре!

19. Дранка — тонкие деревянные пластины, которыми покрывали в старину крыши наподобие черепицы.

— Перекапывать пойдёте? — поддел его Президент. — То-то Глафира Фёдоровна вам спасибо скажет за обратно выкопанную картошку!

Все засмеялись. А хозяйка слегка напряглась: вдруг и вправду пойдут снова перекапывать?

— Не-е, я думаю, надо металлоискатель раздобыть и побродить по округе, — азартно рассудил Алёша. — Много интересного найдётся.

Глафира облегчённо выдохнула (огород всё-таки не тронут) и мягко осадила ребят:

— Да тут уж всё вылазали местные умельцы. Железо ищут, потом сдают. Наверное, всё уже откопали да про́пили.

— А мы ещё поищем! — не сдавался неунывающий Алёша.

— Клад-то ваш невелик, — вставил своё слово Никитич. Он уже успел заглянуть в телефоне в Интернет. — В начале прошлого века на две копейки ты бы, Алексей, купил одно яйцо. Ну, или одну свёклу!

— Всего-то! — разочарованно воскликнул тот.

— А сейчас, если выгодно загонишь какому-нибудь антиквару… — водитель полистал что-то в телефоне, — сможешь купить десяток-полтора яиц.

Все засмеялись, даже Глафира не смогла сдержаться.

Илья дружески потрепал Алёшу по загривку:

— Не расстраивайся. Завтра походишь с металлоискателем, найдёшь подкову на счастье! Может, даже золотую!

— Надо сначала металлоискатель найти, — проворчал осмеянный парень.

— Интернет тебе в помощь! — встав из-за стола, похлопал его по плечу Никитич. — А мы с Ильёй пока поспим часок. Клонит что-то после обеда…

Ребята попытались помочь убрать посуду, но хозяйка настойчиво выпроводила их, поставила греть воду, чтобы всё, не торопясь, перемыть самой.

Президент задумчиво сидел у окна, смотрел, как расходится дождь, как всё сильнее, чаще капает с крыши, как появляются лужи на дороге. Потом тихо спросил:

— А можно мне на печке полежать?

Глафира пощупала бок русской печи — едва тёплый. Забралась по приступочке, сунула ладони под старый матрас, раскинутый на печной спине, — здесь кирпичи хранили жар дольше.

— Полезайте, я вам подушку подам. На печке в такую погоду сла-адко спится. Как в детстве!

Глава страны взобрался по лесенке наверх, устроился поудобнее. К нему сразу же пристроилась Мурка.

— Гоните её! — велела хозяйка.

— Пусть лежит. Не мешает…

— Можно я телевизор потихоньку включу? Пока посуду мою, новости гляну.

Президент разрешил.

Бабка нажала кнопочку на пульте. Экран засветился. Послышалась заставка новостей. Ведущий поздоровался, коротко осветил события. Следом на экране появился Президент — он проводил дистанционное совещание с руководителями регионов по пандемической обстановке.

Глафира выпустила из рук тарелку, которую мыла. Та грохнулась в раковину, но, по счастью, не разбилась. Бабка растерянно глянула на печку, потом снова на экран телевизора. Покашляла и, словно бы ни для кого, сказала:

— И в телевизоре Президент, и на печи Президент. Так разве бывает?

— Бывает, — спокойно отозвался Президент, который на печи. — Это мой двойник совещание проводит. А цифры мне сегодня утром передали, я их изучил, с Анной Юрьевной связался, обсудили положение. Предложения я внёс. Так что всё по-настоящему, двойник зачитывает мои же вопросы и указания.

— Значит, двойник всё-таки есть? Не врёт народ? — уточнила Глафира, вытирая полотенцем тарелки и ложки.

— Есть, как не быть! Я вам больше скажу: и тройник есть, и четверник! — засмеялся Президент и свесился с печки. — Разве возможно одному человеку везде успеть? Утром у меня совещание, днём — приём, вечером — я уже где-нибудь в другом конце страны, а ночью, глядишь, в другой стране.

— А я-то вас жалею, дура старая! — воскликнула бабка. — С ног говорю, сбился, наш дорогой! Нет ему покоя ни днём, ни ночью!

— Так и с двойниками, Глафира Фёдоровна, покою нет! Не успеваю ничего! На неделю вот к вам отпустили, так я сколько упрашивал! Устал, говорю! На волю хочу!

Глафира внимательно вгляделась в лицо человека, лежащего у неё на печи, и вдруг жёстко спросила:

— А кто докажет, что у меня на печи лежит настоящий Президент? А не двойник и не тройник?

— Просто поверьте, — ответил человек, лёг обратно и, вздохнув, добавил: — Я и сам-то иногда не понимаю, где я, а где не я… У этого, который сейчас совещание ведёт, нижняя челюсть острее, а лоб — ниже. И глаза у него темнее.

Глафира вгляделась в лицо Президента в телевизоре. Может, и правда. И лоб, и челюсть… Но сюжет тут же сменился, и рассмотреть точнее она не смогла.

— А как его зовут? Двойника-то?

— Ну зачем вам знать то, что знать не нужно?..

— И то верно. Меньше знаю — крепче сплю… — согласилась старуха. — Давайте я лучше печку затоплю, чтобы вам теплее было.

«Надо беречь Президента, — рассуждала она, складывая в тёмное жерло печи берёзовые поленья. — Настоящий он или нет. Другого не будет. Во всяком случае — в моей жизни…»

По вечерам Глафира привыкла смотреть какой-нибудь сериал по телевизору. Не любила, если дрались и стреляли. Выбирала фильмы простые, житейские, ей понятные. Сочувствовала героям в их любовных метаниях и рабочих или семейных неурядицах. И не важно, что героями этими были в основном городские фифы или топ-менеджеры. Жили они в загородных домах или элитных квартирах. Ездили на дорогущих иномарках. Ели в ресторанах. Отдыхали в саунах и спа-салонах. Заключали договора, строили бизнес-проекты, открывали счета, переводили деньги, обсуждали всевозможные аферы или становились их жертвами. Пожилая телезрительница искренне сопереживала страданиям какого-нибудь красавца в дорогом костюме, когда его подставлял его же друг или предавала длинноногая невеста.

— Экий ты простодырый…—сокрушалась Глафира.—А я сразу поняла, что эта краля-секретарша тебя не любит нисколечко! Денежки ей твои были нужны. То ли дело парикмахерша-то, девка простая, нашенская. Вот и женись на ней!

При высоком госте Глафира лишний раз включать телевизор постеснялась. Но и сидеть весь вечер в спаленке ей было скучно. Она хотела начать вязать носки для Президента, уже и нитки, и спицы приготовила, но не знала его размера, и спросить тоже не знала как. Поэтому в этот воскресный вечер, помаявшись, робко выползла в залу.

Президент полулежал на диванчике и читал книгу.

— Вы не будете возражать, если я снова телевизор включу?—отчего-то шёпотом спросила хозяйка.—Кино там… Я посмотрю маленько. Если неинтересное, так и спать пойду.

— Глафира Фёдоровна, вы у себя дома и можете делать всё, что хотите,—вежливо ответил гость.—Мне вы нисколько не помешаете.

Бабка включила телевизор и присела у стола на табуретку. Сразу убавила звук до слышного ей минимума и теперь, половину не разбирая, старалась вникнуть в сюжет фильма.

Какой-то богатенький папенькин сынок ехал на дорогой машине и сбил простую девицу. Повадился ходить к ней в больницу, цветочки-апельсины носить. Девица, перееханная машиной, лежала на больничной койке вся розовая, довольная, с одной ссадиной на лбу. Ну, может, ещё на ручке пальчик сломала. Конечно же, накрыла их неземная любовь. Конечно же, папенька оказался против. Попробовал сунуть девице денег. Она их гордо бросила ему в лицо, из больницы сбежала и уехала в свою родную деревню.

Пока события развивались в городской среде, Глафира как-то умудрялась молчать и не комментировать вслух, только один раз, когда папенька принялся измываться над болезной, не сдержалась, погрозила ему кулаком и прошептала:

— Куды лезешь в дела молодых? Сами разберутся!

Но когда началась часть деревенская, бабку понесло. Оказалось, создатели фильма вообще ничего не смыслили в сельском быте. Девица везде и в любую погоду скакала в коротком платьишке и босоножках. Умудрялась даже так ходить в лес и на ферму.

— Там навозу по колено, а она голыми ляжками сверкает!—возмутилась Глафира.—Это где они такие фермы видали?! Пол хоть языком лижи!.. О-ой, да она и доить-то не умеет! Ишь, пальчики наманикюрила!..

Спохватившись, бабка извинилась перед Президентом и продолжила какое-то время смотреть молча. Но тут героиня пришла домой и стала затапливать печку. Вместо дров приволокла какого-то хворосту и давай поджигать. Тут уж бабка сдержаться не могла и даже хлопнула себя от возмущения по коленкам:

— Да что ж она делает-то?! Заслонку-то не открыла! Слышь? Ведь вся дымина сейчас в избу повалит! О-ой, это ж надо такой беспутой быть!

Но волшебная кинематографическая печка топилась бездымно.

Девица принялась чистить картошку, и Глафира не могла смотреть, как она снимает вместе с кожурой по полкартофелины.

— Порося-то у тебя есть? Столько добра на выброс, рученьки бы тебе оторвать…

Президент книгу уже давно отложил, потому что читать, конечно, было невозможно. Он прилёг, закрыл глаза и тихонько посмеивался над каждой бабкиной репликой. Потому что Глафира и телевизор—это было своё, отдельное кино.

— Да что ж они двери-то никто не закрывают?! Ведь зима же! Всё выстудят!—негодовала Глафира.—А стены-то, стены-то у избы почему все в дырьях? Воробей пролетит! Они их что, не конопатили? Вот улицу-то и топят!

Тут хозяйка заметила, что гость хочет спать, снова извинилась перед ним и терпела довольно долго.

Последней каплей стал эпизод, в котором приехавший к девице папенькин сынок спасал из пожара свою возлюбленную. Дом полыхал. Герой на руках выносил героиню из огня, а у него за спиной рушились горящие потолочные балки.

— Это что же за дом?!—закричала бабка.—Из чего его строили?! Из бумаги? Не успел загореться, уж матицы[20] попадали. А эти, молодые-то, до того доцеловались, что и дыма не учуяли! Лежат на кровати, милуются, а у них уж занавески горят! Тьфу!

20. Матица—потолочная балка, стёсанное бревно, на которое крепился потолок. Также служило основой для стропильной конструкции крыши.

Глафира вся исплевалась, телевизор выключила, в сердцах отбросила пульт.
— Запретите вы им такое кино снимать. Ведь всё брешут! Вводят людей в заблуждение относительно нашей деревенской жизни.

Рассерженная, она побрела в спаленку и, укладываясь спать, продолжала ворчать:
— Вот раньше фильмы снимали. Ведь умели! Не чета этому… Как там одну молодую, красивую в председательши-то выбрали. А она не знает, за что и взяться. Поехала к начальству за советом. Да полюбила начальника-то… «Хороший,—говорит,— ты мужик, но не орёл!» А он и глазом не повёл. О-ой! Слезами умоешься… Как же артистку-то звали?.. Знаменитая ведь… Или ещё кино смотрела. Давно-о! Даже к нам в клуб привозили. Мы с Гришей ходили смотреть… Вот ведь голова дырявая. Опять не помню название! Паренька-то он взял, сироту. И жили они душа в душу. Потом кралю завёл. А пареньку-то она не по нраву пришлась, он ей космы и обрезал ночью. Шукшин! Вот! Василий Шукшин мужика-то играл! Этого помню, как звать! Настоящий, нашенский потому что. Помер вот только рано. Какой хороший артист был!

Глафира выключила свет, легла на кровать, укрылась одеялом. Полежала молча с закрытыми глазами, но, видимо, ещё не совсем успокоилась и договорила:
— Вы им там скажите, чтобы в следующий раз приезжали ко мне, я им всё растолкую! Как люди в деревне живут. И дома дырявые строить не надо. Так и быть, свою избу под съёмку уступлю… Ой, киношники, только расстроили бабку. Как и уснуть теперь?..

День третий. Вода

(4 мая, пн.)

Всю ночь по крыше колотил дождь. Он то затихал, то принимался идти сильнее. Доверху наполнились дождевой водой бочки и старый банный котёл, поставленные бабкой под сток. Намокла и раскисла дорога, в колеях стояли лужи. Черёмуховые соцветия пожухли, смялись. Одуванчики с утра не раскрыли свои жёлтые клювы, значит, дождь затянется. Пусть промочит землю. Смоет прошлогоднюю траву, подгонит свежую.

Утро пришло серое, неприветливое, промозглое. Но, помня про важное дело, поднялась Глафира по обычаю рано. Она ещё с вечера сложила в сумку двухкилограммовую пачку муки, кочан капусты, баночку солёных грибов, пару крупных луковиц и бутылку постного масла. А сейчас достала из холодильника и сунула к продуктам брикетик дрожжей и отправилась на другой конец деревни.

Дед Семён ещё спал. Лежал он на комкастом тюфяке, постеленном на провисшую сетку железной кровати, в каком-то коконе из старых полушубков. Дверь он не закрывал давным-давно, поэтому Глафира свободно прошла в его избу, пристроилась на кухонном столе: затворила в большой кастрюле быстрое постное тесто, мелко нашинковала капусту и поставила её жарить в глубокой сковороде. Покрошила лук, промыла и порубила солёные грибы. Пока готовилась капуста, бабка нашла старые Тамарины противни, намыла их, просушила. И только когда тесто подошло, затопила печь.

Хозяин поднялся, почуяв вкусные запахи, первым делом засмолил цигарку, долго, грудно кашляя, выполз к печи, посмотрел, чего делает старуха.
— Погли-ко, кашляешь,—заворчала на него Глафира,—скоро лёгкие выплюнешь, а всё дымишь!

Она уже сгрузила капусту со сковороды в глубокую тарелку остывать и поставила жариться грибы с луком. Между делом замесила тесто и принялась лепить маленькие, аккуратные пирожки с капустой, укладывала их на противень, сверху смазывала взбитым яйцом—так поджаристее будут. Пирогов она не пекла давно, но тесто подошло хорошо, а руки сразу вспомнили привычное занятие.
— Умывайся давай!—велела она старику.—Скоро пироги поспеют, а ты ещё глаза не продрал!

Дед отмахнулся от неё—и не слышал ничего, и мыться не хотел. Сам вскипятил чайник, сам заварил чай и теперь сидел, пил его, пустой, горячущий, вприкуску с новой папироской.
— Перерыв хоть делай! Всю пенсию на табак изводишь!—пилила его Глафира.

Печь протопилась. Стряпуха торопливо сгребла красные, пышущие жаром угли к задней стенке и один за другим сунула в широкое печное устье противни с сырыми пирожками и булочками-витушками. Прикрыла заслонкой. Присела рядом с печкой на табуреточку отдохнуть.
— Давно ты меня печивом не баловала!—прошамкал дед.—Чего вдруг засуетилась? Словно гости у тебя.
— Может, и гости есть,—тихо ответила Глафира, понимая, что тот всё равно не расслышит,—да не про твою честь!

Не прошло и десяти минут, а она уже ссыпáла на чистый стол готовые румяные пирожки. Не считала, сколько вышло штук, но большая получилась горка!

Своими корявыми пальцами с вечными глубокими трещинами и чёрными ногтями старик выхватил из кучи горячий пирожок, разломил, втянул ноздрями духовитый парок. Откусил, помял беззубым ртом и вынес вердикт:
— Тамарка моя вкусно пекла-готовила, жирно, но твоя, слышь, Глашка, стряпня мне всегда больше нравилась.
— Вот и ешь!—удовлетворённо кивнула головой старуха.—А мне бежать пора!

Она сняла фартук, покидала в сумку оставшиеся продукты и освободившуюся посуду. Оделила деда десятком пирожков и улиток, а остальное сложила в большое блюдо, которое поставила в широкий пакет.

Когда старуха вышла на улицу, дед Семён отложил недоеденный кусок, поднялся от стола, побрёл до окна и долго смотрел ей вслед. Что-то странное творилось с Глашкой, будто помолодела она лет на десять. И даже равнодушному ко всему старику захотелось узнать причину такой перемены.

Дождь ещё моросил, но поднявшийся ветер гнал тучи по небу всё быстрее и быстрее, обнажая голубые проталины. А когда Глафира доковыляла до своего края, лучи солнца пробили хмарь. Во хвалу победившему ненастье небесному светилу хором запели птицы.

В проулке перед домом не было чёрной машины. Глафира забеспокоилась, заспешила в избу. Никого. Только котята возятся на полу. Диванчик аккуратно застелен. Вещи Президента и его ноутбук—на месте. Было видно, что гости позавтракали и прибрали за собой. Даже чайник ещё тёплый. Хозяйка заглянула на поветь—палатка тоже на месте. Наверное, по делам уехали—рассудила Глафира, но тут на крыльце послышались шаги. Она выглянула туда, увидела Мишу и Лену—пожилых соседей-дачников, и не смогла скрыть досады.

—Доброе утро, баба Глаша!—поприветствовала её женщина.—Как здоровьице? Ты, говорят, болела?

Соседи, привыкшие к её гостеприимству, направились было в избу, но Глафира нарочно повернулась к ним спиной и стала перебирать пустые банки, стоящие в старом буфете на мосту.

—Здравствуй, Лена,—сухо ответила она.—Болела да выздоровела.

—Я тоже переболел!—сообщил Миша, принявший внезапную бабкину суровость за страх снова заразиться.—Кровь сдавал—антитела зашкаливают!

—И у меня,—добавила Лена,—только я бессимптомно, а Миша-то повалялся недельку. Слава Богу, без больницы обошлось!

—А у меня не обошлось,—проворчала Глафира и, наклонившись к нижней части буфета, демонстративно выставила соседям зад,—сначала в районную увезли, а потом и в область.

—Повезло вам, Глафира Фёдоровна, в вашем возрасте мало кто выживает!—брякнул Миша и получил тычок в бок от жены.

—А Мурочка как?—искренне поинтересовалась Лена.

—Жива. Чего ей сделается?—ответила бабка и распрямилась, повернулась, наконец, к соседям лицом.—Троих вон, паразитка, принесла.

—Поглядеть бы! Маленькие, наверно, хорошенькие?!

—Спят они,—отрезала Глафира.—Зачем тревожить?..

Беседа не клеилась. Хозяйка не знала, как побыстрее сплавить соседей, потому что в любую минуту могли вернуться её гости, а дачники, чувствуя неловкость, топтались на месте.

—Ну, мы пойдём,—сообразила, наконец, Лена.—Конфетки тут тебе, баба Глаша.

Она протянула бабке пакет. Та, не глядя, взяла и машинально сказала спасибо.

—Хотим сегодня картошку посадить и лук,—поддержал жену Миша.—Промочило хорошо да теплынь. Самое время!

—Переночуем, а утром на автобус!—добавила Лена.

Соседи как-то боком сошли обратно на крыльцо и отправились восвояси, тихонько переговариваясь. Странное поведение всегда радушной Глафиры Фёдоровны удивило и немного испугало их. Но они быстро решили, что такая перемена в характере старушки могла быть вызвана перенесённым ковидом: говорят же, что на нервную систему, на психику вирус сильно влияет. На том и успокоились.

А Глафира не знала, что делать: вернётся машина с гостями—глазастые и любопытные Миша с Леной обязательно заметят, вся конспирация насмарку. Хорошо, что в избу они так и не вошли, не увидели чужих вещей. Что же делать? Что же делать? Как предупредить Президента и его команду? И тут её осенило…

Через двадцать минут Глафира стояла на грунтовой дороге, рядом с отвороткой к деревне, под синим указателем. В руках у неё был тот же пакет, в котором она несла от деда Семёна пироги.

Припекало солнце. После дождя земля пари́ла под его лучами, быстро просыхала. Свежая трава заметно подалась и уже почти затянула голые тёмные участки почвы или серые—прошлогодней лежалой растительности. Скоро всё зазеленеет, зацветёт, потянется к небу, к солнышку, будет впитывать его силушку для своей пользы и людской радости. Листья на деревьях и придорожных кустах тоже развернулись. Ещё младенчески нежные, не запылённые, блескучие, они тешили глаз и вызывали прилив нежности в сердце. Сосна выпустила молодые мягкие побеги. Глафира сорвала один, очистила от ещё гибких, не колких хвоинок, пожевала. Он был кисло-горький и ничем не пах.

Ждать пришлось минут сорок, и одинокую старушку на дороге дважды пытались подвезти. Она хорошо знала людей, предлагавших помощь, и они её, конечно же, знали—обе остановившиеся машины были из ближайшего посёлка, но Глафира отговорилась: мол, просто гуляет. Люди удивились и уехали.

Наконец чёрная машина, которую она ждала в волнении, показалась из-за дальнего поворота.

Глафира вскинула руку, будто бы голосуя. Но Никитич заметил её раньше, подъехал, остановился.
— Что случилось, Глафира Фёдоровна? — опустив глухо-тёмное стекло задней двери, поинтересовался Президент.
— Нельзя вам пока в деревню! — обеспокоенно зашептала бабка, наклонившись к нему. — Конспирация! А там соседи нагрянули!
— Ну так что же… Надолго они?
— До завтрашнего утра. Картошку сажать приехали.
— А утром точно уедут? — строго спросил Илья, сидевший рядом с Никитичем на переднем сиденье.
— Точно. Они долго не задерживаются, у них и в городе хозяйство.
— Автобус во сколько? — снова спросил Илья и добавил, заметив приближающийся автомобиль: — Да сядьте вы уже в машину!

Глафира забралась на заднее сиденье, села рядом с Алексеем, отгораживающим от неё Президента.
— Автобус около восьми бывает.
— Как вкусно пахнет! — воскликнул глава страны.
— Так это ж я для вас пирогов напекла! — запустила Глафира руку в пакет и протянула Президенту пирожок с капустой. — Специально к деду ещё засветло ушла. Думала к завтраку поспеть. Вернулась, а никого нет.
— Мы за металлоискателем ездили, — пояснил Алёша, принимая от неё угощение, — вон, лежит в багажнике. Нашли через «Авито», близко и дешёвый совсем.

Илья и Никитич тоже получили по пирожку, и пока все жевали, бабка озвучила свой план:
— Тут недалеко святой родник есть. Давайте туда съездим, воды наберём. По бору погуляем. Там бор рядом — большой, светлый! Еда есть, и квасу я бутылку прихватила. А в сумерках домой вернёмся.
— А поехали! — согласился Президент. — Только дайте мне ещё пирожок! Больно уж они у вас вкусные.
— И мне! — сказали в один голос Илюша и Алёша.

А Никитич тронул машину с места.

Родник скрывался в глубоком овраге. Круча оврага поросла старыми замшелыми елями и пихтами, а внизу источник заполонило сорным ломким ольховником. Но добрые люди расчистили небольшой отрезок русла, положили осиновую колоду, построили длинную деревянную лестницу с удобными широкими ступеньками и перилами. Воду брали просто на питьё, на чай; кто-то говорил, что она минеральная, кто-то — что святая. Здесь всегда лежали про запас две-три пустые чистые пластиковые бутылки, стояла кружка. Потом кто-то повязал на веточку ивы, склонённой над родником, цветную тряпочку как поминовение о родных. Скоро тряпочек стало больше. К источнику поехали с отдалённых деревень, с района…

А однажды в летний церковный праздник из райцентра прибыл целый автобус паломников во главе с батюшкой. Родник освятили, воткнули рядом с ним деревянный крест, а со временем устроили и молельный домик с крытой купелью. Так маленький, затерянный в лесу ручеёк, вытекающий из отвесной стены оврага, превратился в знаменитое на всю округу место, куда люди ехали испить священной влаги, омыть лицо и руки, окунуться в купель не только на Крещение, но и в любой день. Особенно если на душе было тяжко, если болел кто в семье. Человеческая вера сделала из обычного лесного родника целебный источник, вера же явила чудеса: то там, тот тут испивший воды родственник исцелялся, беспокойный младенец начинал крепко спать по ночам, а загулявшая жена возвращалась к мужу. Ну, или муж к жене — какая разница? Главное, помогало!

А то, что источник и впрямь чудесный, доказала неверующим старая ель, рухнувшая с подмытого весенним паводком края оврага прямо на молельный домик и… не задевшая его. Ровнёхонько рядышком легла высохшая лесина, только ветви, со скрежетом и треском скользнувшие по железной крыше, посыпались в разные стороны. Люди потянулись смотреть на чудо. Подбирали и уносили домой осколки еловых веток как доказательство его. Кто-то пробовал заваривать эти веточки и пить настой: мол, тоже помогает от хвори.

Прошло несколько лет. И вот сырой прошлой осенью пронёсся над округой страшный ураган. Сколько леса поломал, сколько крыш посрывал! Старухи потом говорили, что как раз в эти дни в далёком Китае и завёлся распроклятый ковид. И Господь предупреждал: мол, дойдёт и до наших мест поветрие. Да только не думал никто, не верил, не озаботился заранее…

Приехали люди после стихии к источнику помолиться и набрать воды, а вместо густого елового леса в овраге лежали одни выворотни да стояли высоченные, двухметровые пни — как спички ломал и рвал ветер старые деревья.

Долго пропиливались мужики к роднику, а добравшись, ахнули: молельный домик, вокруг которого, что называется, Мамай прошёл, стоял целёхонек. Ну, тут уж у самых железных атеистов холодок по спине пробежал.

И сразу вспомнилась старинная легенда о сиротке Манечке, которой явилась на этом самом месте Богородица…
— Что же это за легенда? — спросил Президент, распрямившись от родника, в котором он только что умывал лицо. — Ох, благодать какая…
— Бабушка мне рассказывала, я совсем ма́лая была… — ответила Глафира, перекрестившись.

Она наклонилась к колоде и, зачерпнув ладонью воды, медленно, мелкими глоточками, пила её, нестерпимо ледяную.

— Что же мужики только тропинку пропилили? — посетовал Никитич, потрогав нависший над лестницей пихтовый спил. — Столько ёлок навалило. Прибрали бы хорошенько! И обществу польза, и себе дрова.
— Дрова! — хмыкнула Глафира, оглядев поваленные друг на друга, белевшие разломами и спилами стволы. — За эти дрова потом век не рассчитаешься!
— С чего вдруг? Это же валежник. По закону разрешено.
— Разрешено, — подтвердил Президент. — Но есть нюансы…
— Да ещё какие! — Глафира нахмурилась, пожевала губами. — Иди, подбирай трухлявые сухари, от которых уже отстала кора. А на кой они мне? В них жа́ру нет. Одна сажа да зола. Да и тут хитрость! Пили́, но технику никакую использовать не моги. Вот и швыркайте, бабка Глаша с дедом Семёном, ножовкой заржавевшие ёлки да потом на себе таскайте. Хорошая зарядка.
— Какая вы подкованная, однако, Глафира Фёдоровна! — хохотнул спустившийся к роднику Илья. За ним шёл Алёша.
— Будешь тут подкованная… Сынка моего нынче зимой оштрафовали на тридцать с лишним тысяч за самовольную порубку сухарей. Достала бабка из смертного, подала сынку.

Глафира замолчала, обиженно поджав губы.
— Сухари-то на корню были? — хитро подмигнул Президент.

Но бабка на него даже не посмотрела, как будто это он лично оштрафовал её Вальку.
— А родник всё же надо расчистить, — обратился глава страны к охранникам и водителю. — Это общественное место. Завалы разобрать, обломанные вершины распилить, ветки сложить аккуратно. Что-то здесь оставить, что-то привезти Глафире Фёдоровне, сами разберётесь.
— А не оштрафуют меня? — недоверчиво покосилась на него бабка.
— Под мою ответственность, — успокоил тот и решил переключить её мысли на другое: — Так что же всё-таки произошло с сироткой Манечкой?

Глафира ответила не сразу, задумалась, припоминая. Присела на лавку. Президент опустился рядом.

Никитич с ребятами поднялись наверх — пошли осматривать фронт работ на завтра. Было тихо. Только журчал родник, да попискивали пичужки, перелетая с ветки на ветку. Солнце, давно перевалившее за полдень, проливало свет на самое дно оврага. Было оно нежное, весеннее, не жгучее. Раньше тут всегда было темно, сыро, жутковато — ели, подпиравшие вершинами небо, закрывали свет. А теперь здесь, у источника, будто и дышалось легче. Нет худа без добра.

Глафира подставила своё морщинистое лицо солнечным лучам, прикрыла глаза, прислушалась к ручью и заговорила тихо:
— Давно это было. Адамовы годы… Жила в деревне Завражье сиротка Манечка. Ну, не всегда она сироткой была. Папа-мама её родили, но так случилось, что сгинули они. Зимой в лесу заплутали да волку на зуб попали. И осталась Манечка шести лет одна. Ну, взяла её на воспитание бездетная тётка. Взять-то взяла, а полюбить не полюбила. Работала Манечка день и ночь, а всё неладно. И била её тётка, и голодом морила. Мужик тёткин не встревал: мол, сама взяла — сама и воспитывай… — Глафира кашлянула, отмахнулась от приставшей мушки. — Так прожила Манечка год. И уж сколько за этот год она слёз выплакала, сколько тумаков получила, сколько бранных слов проглотила. Как ни старайся — не угодить тётке. И тут, случись, а так часто бывает, когда приёмыша возьмут, будто мзду заплатят, — у тётки своё дитё в животе завелось.

Улыбка скользнула по губам Президента. Рассказчица заметила это.
— Нет, правда! Я сама такие случаи знаю. Живут-живут, делают-делают — не получается. Отчаются, возьмут из детдома, а тут и родной ребёнок приспеет.
— Я ничего, ничего… Это я го́вору вашему улыбнулся. Песня просто! Продолжайте. Очень интересно.
— А всё как бабушка мне в детстве говорила, и словечки все её. Столько лет прошло, а помнится вот!.. Значит, как своё дитё в животе завелось, так стала тётка Манечку со свету сживать. И решила сиротка уйти. Думает, лучше замёрзнуть в лесу, как её мама с папой, чем такую горькую долю долить. А зима была, мороз, вьюга. Одела Манечка худое пальтишко своё, лапоточки дырявые, — голос Глафиры задрожал от жалости, — а рукавичек да шапочки у неё вовсе не было, — она смахнула слезу, — сухарик в ладошку зажала и пошла куда глаза глядят. Нет… не могу…

Рассказчица заплакала по-настоящему.
— Да что ж такое! — приобнял её за плечи Президент.
— Всегда плачу в этом месте… Бабушка рассказывала — плакала, и я всегда плачу. Жалко сиротку.
— А что же дальше было? Как она Богородицу встретила? Хочется узнать…

Глава страны поднялся с лавки, зачерпнул кружкой воды из родника, протянул Глафире:
— Попейте. Успокойтесь. Всё же хорошо закончилось?

Он сел обратно.

Рассказчица глотнула пару раз, смочила ладонь, провела по глазам и продолжила:
— Долго ли, коротко ли брела Манечка, а дороги не видать, всё замело. Оступилась, горемычная,

скатилась в овражек, ножку зашибла. Слышит, ручеёк где-то журчит. А это вот это самое место и было. Так вот, ручеёк журчит. Думает, поем сухарика, водицей запью, может, согреюсь немного. Ветра в овраге нет, вьюга не метёт. Погрызла девонька сухарика, склонилась к роднику водицы зачерпнуть, и тут вспыхнул над ней невиданный свет!—в этом месте голос Глафира от волнения задрожал, и она перешла на таинственный шёпот.—И увидела она в отражении рядом со своим личиком лик Богородицы. Перекрестилась Манечка…—тут рассказчица и сама кинула на лоб и на грудь быстрое крестное знамение.—Говорит: «Матушка-заступница, за что мне доля такая злая досталась? Не лучше ли мне к матушке моей, к батюшке моему отправиться? Ведь в Раю они, под Божьим крылом…» Улыбнулась Богородица, накинула сиротку своим кружевным платом, и так тепло сделалось Манечке, так хорошо, не страшно совсем. «Жива твоя матушка, и батюшка жив,—сказала Богородица.—У Бога все живы…» Заснула Манечка сладко-сладко, и встретили её родители на пороге Божьей обители. И живут они в Раю, горя не ведают, ангелы им поют…

Глафира замолчала.

— Подождите, так она, получается, замёрзла? Умерла?!—воскликнул Президент.—А где же тут хорошее окончание?

— Сейчас доскажу…—бабка глотнула из кружки.—Нашли Манечку весной у этого родника. Нетленную! Спит сиротинушка, даже румянец на щеках играет, а в ручке иконка зажата, «Защитница сирых и оставленных», а в простонародье—«Матушка-Сиротская». Обретение образа случилось на этом самом месте! Поэтому и источник этот всегда святым был. И особенно вдовам, сиротам вода эта помогала. Помолится вдова у ручья, и, глядишь, возьмёт её с сиротками хороший человек замуж. А если сам сиротка поплачется на месте Манечкиной гибели, примут его в семью. И обязательно приёмные родители будут с ним добры и ласковы… А Манечку схоронили. Страсть народу пришло. И круглый год на её могилке цветы цветут. Даже зимой снег разгреби—и увидишь подснежник голубенький. То душа невинная на белый свет глядит.

— Очень грустная история…—вздохнул Президент.—А тётка? Тётка Манечкина никак за зло не поплатилась?

— Бог всё видит—кто кого обидит!—погрозила Глафира в воздухе пальцем.—Родила тётка больного ребёнка. Всю жизнь с ним маялась-каялась. Да ничего назад не поворотить.

— А как же узнали, что Манечка Богородицу здесь встретила? Кто мог рассказать, если свидетелей не осталось?..

Бабка неодобрительно взглянула на главу государства.

— Так это Богородица девочке в ручку свой образ вложила, неужели непонятно? А Манечка людям во снах стала приходить и просила поставить часовню. И вот там, наверху,—Глафира показала рукой,—построили сельчане деревянную часовенку по наказу Манечки. И образок этот туда внесли, и молились ему. Но вскоре настали безбожные времена. Часовенку спалили лихие люди. Пропал и образок. А вера человеческая не пропала!—голос рассказчицы возвысился, зазвучал твёрже.—По сей день живёт! Поэтому и окончание у истории—хорошее. Загляните в молельный домик—там образки стоят всё Богородицыны, всё «Матушки-Сиротские». Несут люди, молятся о заступничестве.

В воздухе повисло торжественное молчание. Только ручей всё шептал, только птички всё попискивали.

— Я, наверное, всё же искупнусь,—поднялся Президент с лавки и, махнув стоящим наверху ребятам, крикнул:—Алексей! Принеси мне полотенце!

А сам снял и положил на скамейку куртку-ветровку, стянул с себя футболку. Глафира невольно засмотрелась на накачанный торс Президента, на его сильные, мускулистые плечи, смутилась и, спрятав взгляд, пошла к лесенке.

— Я там, наверху, подожду…

На середине лестницы она встретилась с Алёшей, всё же оглянулась и увидела в приоткрытой двери купели, как глава страны трижды погрузился с головой под воду, быстро выскочил из ледяной воды. Охранник шагнул к нему с большим развёрнутым полотенцем. Президент закутался и трижды перекрестился.

Глафира стала подниматься дальше, но тут голова у неё закружилась, она схватилась за перила, зажмурилась. А когда открыла глаза, в них всё ещё плавал цветной туман, и в этом тумане стояли и улыбались ей Богородица и Манечка.

Совсем близко белка метнулась по стволу уцелевшей ёлки. Глафира вздрогнула. Видение рассеялось. И сколько ни жмурилась очарованная им старуха, больше не являлось.

Глафира сошла с лестницы, повернулась к источнику и отвесила ему поясной поклон, коснувшись пальцами земли. А когда распрямилась и в глазах её снова поплыл туман, увидела, как над поднимающимся от родника Президентом засиял ореол из солнечных лучей. Она оглянулась на стоящих рядом Никитича и Илью: может, тоже увидели чудеса,—но те о чём-то тихо и буднично переговаривались.

Не каждому даётся…

После родника и купания Президент сделался молчаливым, сказал, что хочет побродить один, подумать. Но Никитич его одного, конечно, не отпустил. Шёл следом на приличном расстоянии, но чтобы спину главы всё время видеть.

Илюша с Алёшей — вот ведь мальчишки! — занялись металлоискателем. Не сразу разобрались, как им пользоваться, поспорили, думали даже, что сломан. Попытались найти подсказку в Интернете, но в лесу телефоны сеть не ловили. Плюнули, покумекали и дошли до всего сами. А потом часа два бродили по полю и по бору со своей игрушкой, рыли чего-то лопаткой, пока не надоело.

Когда и они, и Президент с Никитичем вернулись, Глафира стала всех кормить всё теми же пирожками с квасом. Парни похвастались трофеями: складной ножик — видно, грибник потерял, медная пуговица, обломок лемеха от плуга и пара пустых гильз от охотничьего дробовика.

— Надо в цветмет сдать, — хохотнул Илья, — на два чупа-чупса как раз хватит!

— Да ладно тебе, — добродушно осадил его Алёша, настойчиво пытавшийся реанимировать намертво заржавевший ножичек, — мы же только начали. Может, ещё клад найдём настоящий. Чугунок с золотыми монетами.

— Жили тут у вас в дореволюционные времена богатеи? — обратился Илья к Глафире. — Покажете местечко?

— Да какие у нас богатеи?.. — отмахнулась старуха. — Беднота да голытьба, крестьяне — одно слово, — она задумалась и продолжила: — А вот в соседнем уезде барынька жила-а. Усадьба у неё, коляска с конями, дворовые люди, всё как положено. Муж её, барин, значит, старше её был намного. И помер рано. А она красивая была, стройная, глаза — озёра. Сватались к ней молодые люди. Но барынька никому больше руки не подала. Сорок лет в трауре провела, в молитве, с монашками. Всё мужнино добро в дар монастырю и принесла.

— Так уж и всё? — засомневался Никитич. — Жить-то на что-то жила, и дом содержала, и дворовых.

— Это я не скажу, не знаю, — пожала плечами Глафира. — Наверное, на хлеб-то приберегла, а дворовых распустила, оставила при себе двух девок да кухарку. Жила в трёх комнатах, остальной дом заколотила.

— Вот ведь бабы, — проворчал Алёша, у которого заметно испортилось настроение, — барин копил-копил, усадьбу строил, хозяйство вёл, а она вместо того, чтобы беречь и преумножать, монастырю отдала. Дары, видите ли! И много она через эти дары счастья поимела?

— Дак она же не просто так отдала! — возмутилась Глафира. — Не сдуру! Это муж её, барин же, и попросил!

— Хозяйство разорить попросил? Никогда не поверю! — продолжал злиться парень.

— Экий ты... — обиделась бабка.

Но Президент успокоил её:

— Не обращайте внимания, Глафира Фёдоровна, у Алексея своя личная драма и зуб на всех женщин. Рассказывайте дальше...

У Алёши желваки заходили на скулах, но возражать он не посмел.

— Душу свою отмолить он её попросил! — продолжила Глафира. — Барин по молодости в Петербурге жил и гордый характер имел. Что не по нему — дуэль. И убил не то девять человек, не то одиннадцать. А его самого никакая пуля не брала. Поговаривали, договор у него с чёртом. Душу заложил. Но с последним у него вышла осечка. Сильно барина ранили, еле выжил. Тогда он и женился, и уехал в свою усадьбу с молодой женой. А как помирать стал — мается, мучается, криком кричит. Ну и позвал жену, за белу ручку её взял, слезами омыл, покаялся. Говорит, стоят убиенные вокруг кровати, каждый со своей раной. Попросил за него молиться и Богу душу отдал.

— Чёрту! — грубовато уточнил Алёша.

— Что чёрту? — не поняла рассказчица.

— Ну, душу-то. Он же чёрту душу заложил, значит, и отдал ему!

— А-а... — задумалась Глафира. — Но он же покаялся. Может, и простил его Господь.

— Про это вам, Глафира Фёдоровна, тоже бабушка рассказывала? — спросил Президент, который слушал и не мог сдержать улыбки — такими наивными и трогательными были эти истории.

— Она, — согласно закивала бабка. — Кто же ещё?

— Похоже, знатная сказительница была ваша бабушка. Такое записывать надо, чтобы не пропадало устное наследие!

— Да кто же запишет-то? Бабка неграмотная была, а я — в голове помню каждое словечко, а как писать — так всё сбивается.

— Надо студентов-филологов к вам направить. Это их дело...

Глафира раздухарилась и начала хвастать:

— Ещё знаю сказку про то, как мужик нос потерял. Проснулся утром, а носа нет. Гуляет где-то. Или вот один мужик всё в карты играл. Да не больно везло ему. И пошёл он к ведьме, чтобы она ему, значит, главные карты сказала, а она его обманула. Он проигрался и умом тронулся.

Мужчины недоумённо переглянулись.

— Неужели и это бабушкины сказки? — спросил Алёша, с трудом сдерживая смех.

— Даже не сумлевайтеся! — радовалась бабка тому, что смогла так развеселить гостей.

— А вы про писателя Гоголя слышали что-нибудь? — спросил в свою очередь Илья и задавленно прыснул смехом в кулак.

Никитич просто сидел, закрыв ладонью глаза, и мелко трясся.

— Да имя вроде знакомое, — растерянно ответила Глафира.

— А про Пушкина?

— А как же! В школе учили. Как там?.. «Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз…»
— Ну, это, допустим, Некрасов,— вытирал проступившие на глазах слёзы Алёша.
— Вы уж извините бабку. Ведь всё в голове перепуталось…— виновато опустила голову рассказчица.

Но тут вмешался Президент и остановил измывательство над старушкой:
— Глафира Фёдоровна, а вы песни старинные знаете?
— Я всё больше частушки!— вновь оживилась Глафира.— В девках-то бойкая была! Всех перепою, перепляшу!

Она встала со складного стульчика и, завлекательно поглядывая на Президента, выдала:

Ой, милок мой, Василёк,
Кудрявая головушка!
Закатился уголёк
Во сердечко вдовушке!

Ребята, подбадривая, захлопали ей.

Бабка прошлась по воображаемому кругу, сдёрнула с плеч платок, и, махнув им, выдала:

Ой, дружок, Володенька,
Больно ты молоденький!
Не ходи до мужней жинки,
Соберёшь одни дожинки!

Президент, опустив голову, прятал смеющийся взгляд, сдерживал улыбку. Но получалось плохо. Не ожидал он от хозяйки такой прыти!

Глафира задохнулась, тяжело осела назад на стульчик и закончила:

Не зада́лася любовь
С самого начала.
Ах, зачем тебя, милёнок,
В жизни повстречала?..

Ей вдруг стало стыдно за свою смелость, неприличную для её возраста, и она поспешила оправдаться:
— О-ой, да никак с квасу бабка захмелела! Меня уж на том свете с фонарями ищут, а я плясать вздумала. Господи помилуй…

Глафира мелконько перекрестилась.
— Простите меня, если что не так. Какой спрос со старухи?..

Окончание следует

ДиН ревю

Серия «ДиН библиотека»

Иса Айтукаев

Дедушкина трость

Красноярск, 2023 г.— 80 стр.

Иса Айтукаев— чеченец по рождению, русский по глубокой корневой причастности к русской классической литературной школе (воспитанник выдающегося учёного-литературоведа и педагога Г. М. Шлёнской) и сибиряк по жизни и судьбе. Как, вероятно, большинство писателей, он начал творческий путь стихами, но ярче всего заявил о себе в прозе. Рассказы Исы Айтукаева пронизаны особым кавказским, с первых строк узнаваемым, духом,— но в то же время это— русская проза, точная, яркая, ироничная, афористичная и, насколько это вообще возможно, даже в самых забавных моментах своих звучащая тревожно и подчас трагически. Частные, повседневные моменты бытия всегда даны у него как бы «с точки зрения вечности». Профессиональный историк, Иса Айтукаев умеет подать житейские сюжеты так, что в них обнаруживается глубина исторической правды, точный психологический акцент.

Герой этих рассказов— объективированное авторское «я»— отличается острым взглядом наблюдателя, умеющего различать за обыденностью скрытые связи вещей и явлений. При этом он никогда не берёт на себя роль проповедника, нравоучителя, а действует как талантливый художник— быстрыми точными штрихами набрасывает на полотно жанровую картину или портрет.

МАРИНА САВВИНЫХ

Елена Скуратова

Верка. Я родилась в Сибири

Мать свою Верка не любила.

А за что её любить было? Холодную, отрешённую. Она ходила от дивана до калитки с почтовым ящиком, ожидая письма от своего тюремщика. Каждый день, как призрак: туда-сюда, туда-сюда.

Верочка? Вера? Веруня? Доченька?.. Нет!

— Ве-е-ерка! Верка-а! Верка, иди огород поливай! Верка, пол помой…

Дел по хозяйству много, и все их кому-то надо делать. А хотелось за калитку — побегать с ребятишками в догоняшки да в войнушку поиграть. И бегали-играли. Помоешь пол как попало — и скорей на улицу. Польёшь огород — и бежать к подружкам, хотя лучшей подруги, чем родная сестра Аська, у Верки не было.

Как-то мамка привезла из Абакана шерстяные варежки. Красивые, с вышитыми гроздьями клубники. Тёплые, наверное. Она куда-то торопилась и никак не могла найти вторую рукавичку. Бегала по квартире, но рукавичка как сквозь землю провалилась. Нигде не было.

— Верка, не видела рукавицу мою? — без особой надежды спросила мать.

— Видела, видела! Обними меня, и скажу где, — сама не понимая зачем, соврала Верка.

Мать рывком обняла её и тут же отпустила.

— Ну, давай рукавицу-то! Где она?

— Не знаю…

Раздосадованная женщина отвесила второй рукавицей по лицу девочки оплеуху.

Верка рыдала — не могла остановиться. Ей не хватало воздуха, но перестать плакать она не могла. Даже объятия бабушки не спасли. Верка зарылась в одеяло и ревела в голос.

Этот момент сильно врезался ей в память. Навсегда. Рыскающая злая мать в поисках злосчастной варежки — и несчастная, плачущая взахлёб Верка.

Нет. Мать свою она точно не любила. За что её любить-то? Верка — папкина дочка.

Давным-давно, когда мамка не была призраком и папка был живой, на балконе цвели настурции в ящичках, играла музыка.

— Молодожёны, наверное, — говорили прохожие.

Верка с родителями и младшей сестрой — Аськой — лепили пельмени, ездили на рыбалку, собирали лесную клубнику и лечебные травы. Вместе. Вместе устраивали игрушечные бои «все против всех», когда обстреливаешь и папку, и мамку, и друг дружку. Ох и весело! А потом так же весело и дружно наводили порядок. Папка брался за пылесос, а Верка с Аськой вытирали пыль и мыли посуду.

Вечерами смотрели какой-нибудь фильм. Щёлкали калёные кедровые орехи, мастерили поделки из бумаги или рисовали. Папка показывал, как «оживлять» человечков, нарисованных в блокноте. Ничего особенного: палка, палка, огуречик — вот и вышел человечек! А потом он — р-р-раз — и как бы «оживает», начинает бегать, пинать мячик… Не по мановению волшебной палочки, конечно, — с помощью самого обычного карандаша. Получался такой мультик с незатейливым сюжетом.

Если Верка или Аська обдирали коленку или локоть, что нет-нет да случалось, мамка доставала пузырёк зелёнки и йода. Папка макал ваткой и осторожно обрабатывал рану. Чтоб не щипало, они по очереди дули, и казалось не больно. А через несколько минут девчонки опять бежали на улицу — радостные и с боевым коричнево-зелёным раскрасом.

Это было давно, в прошлой жизни.

Для Новосёлово, посёлка в двухстах сорока километрах от Красноярска, Маринка Шульгина была персонажем любопытным. Взять хотя бы тот факт, что у неё имелось несколько париков. Сегодня она знойная брюнетка, завтра — роковая блондинка.

Не все понимали эти её преображения.

Верка на странности подруги не обращала внимания: ну, подумаешь, брюнетка, ну блондинка — какая разница! Главное, что человек хороший.

Добродушная и лёгкая в общении, Маринка отлично компенсировала Веркин невыносимый характер. Они дружили класса с пятого.

Верка как-то заступилась за Маринку, которая только-только переехала с матерью из города.

Худенькая девочка, одетая по последней моде, у одноклассниц вызвала зависть.

Мальчишкам она поначалу понравилась, но свою симпатию они выражали какими-то дурацкими, обидными способами — по-другому, видать, не научены.

Маринка держалась от всех в стороне, мало с кем разговаривала, на уроках отвечала сумбурно, но правильно, сама руку не поднимала.

Когда кто-то из одноклассников пытался с ней заговорить, она, как фарфоровая кукла, хлопала длинными ресницами и отходила на расстояние.

Одноклассники поняли, что общий язык с новенькой найти вряд ли получится — не того поля ягода, и её начали травить.

— О, смотрите, Клавдия Шифер идёт!

На тогдашнем молодёжном сленге это означало «Клава», то есть «лохушка». Вряд ли можно припомнить что-то более обидное.

А Маринка закусывала нижнюю губу и пожимала своими красивыми тонкими плечами.

Если честно, она и правда была похожа на фотомодель.

— Ну-ка отошли! — тихо сказала Верка пацанам, которые сбились в стаю и кричали гадости новенькой.

В своём пятом «А» классе Верка — непререкаемый авторитет: на голову выше одноклассников, крепкого телосложения и с характером, что палец в рот не клади.

Спорить с ней боялись не то что школьники — учителя. Запросто могла отправить на три советских буквы.

При этом отличница, брала призы на краевых олимпиадах по математике и русскому, капитан районной баскетбольной команды. В общем, спортсменка, активистка. Насчёт красавицы — спорный вопрос. Но смесь получилась гремучая — однозначно.

Новенькая Верке понравилась.

Как там у Пушкина: «Они сошлись. Вода и камень, стихи и проза, лёд и пламень не столь различны меж собой».

....

Маринка вечно в кого-то влюблялась. И ради этого кого-то была готова на всё. С обрыва сигануть, покраситься в рыжий цвет — дело нехитрое. А вы попробуйте историю выучить — вот это подвиг так подвиг!

В девятом классе Маринку застукали целующейся с учителем истории. Он сразу после института. Стройный интеллигентный блондин с модной стрижкой, как у актёра из «Беверли-Хиллз» (был такой сериал).

Что уж говорить, у многих девчонок при виде этого педагога сердце начинало биться быстрее.

Маринка со своей импульсивностью была прямо без ума от него. Втрескалась по уши. У влюблённости оказался приятный побочный эффект. Успеваемость по истории у девушки резко улучшилась. На каждом уроке она поднимала руку, брала доклады, писала рефераты. И досадливо закатывала глаза, когда Верка тыкала её в бок локтем, чтоб подружка немного пришла в себя.

Всё без толку.

Однажды на таких «внеурочных занятиях» по истории их застукала англичанка, которая хоть и была женщиной замужней, но тоже оказывала молодому коллеге знаки внимания.

Скандал получился мощный.

Маринкина мать пила валерьянку и грозилась сослать негодную дочь учиться в техникум после девятого класса. Директриса устроила разнос Маринке, историку и соцпедагогу — что не досмотрел.

Только русичка вошла в положение: мол, а что такого, а может, это любовь?

Двадцать лет назад она, тоже после института, закрутила роман со старшеклассником. Эта история закончилась счастливым замужеством. Учительница теперь уже с бывшим учеником живут долго и счастливо.

Но историк оказался героем не Маринкиного романа и, выставив четвертные оценки, поспешил, от греха подальше, уехать в город.

Маринка перестала ходить в школу, ничего не ела. Брала с собой кошку Муську и целыми днями спала.

Так прошла неделя.

Мать и совестила, и пугала, что дочка такими темпами станет или дворником, или пойдёт «коровам хвосты крутить». Как в пустоту.

После угроз в ход пошли уговоры. Бесполезно.

От бессилия обратилась к школьному психологу.

Веронику Евгеньевну, Маринкину маму, в посёлке уважали. Работала она в финотделе администрации. В обществе имела вес. А тут такое…

Чтобы уважить хорошего человека, психологиня пришла один раз к ним домой, но Маринка разговаривать с ней не стала.

— Ну ладно. Нет так нет! — развела руками женщина. — Я попыталась…

Верка тоже пыталась утешить подругу.

— Нет, Вера, не сейчас. Потом давай. Попозже. Сама позвоню, — отвечала Марина.

И не звонила.

Верка ходила по дому, как лев в клетке. Ей хотелось хорошенько поговорить с этим историком, взять Маринку за шкирку и трясти, пока не выветрится вся эта «любовь».

— Да утихомирься, Верушка, — ласково окликала бабушка.

Бабушке она возразить не могла. Садилась рядом и клала голову ей на колени.

Так и сидела, пригревшись под крылышком, как взъерошенный воробышек.

— Не переживай, касатка, всё у неё наладится. Отойдёт сердечко.

— Ох-х-х,— только и кряхтела Верка, а у самой глаза — на мокром месте.

С бабушкой она разрешала себе плакать, расслабиться и просто быть.

— Ну, пойдём холодец разберём, что ли, а то поздно уже, спать надо,— спохватилась Анна Александровна.

Делать холодец с бабушкой Верка любила с детства. Это ж был почти что ритуал.

— Когда я была маленькая, из этих хрящиков мы делали бабки и играли,— в который раз рассказывала Анна Александровна.

— Интересно,— перебирая хрящики, говорила Верка, а сама живо представляла: сороковые годы, орава деревенских ребятишек шумно играет в забытую теперь игру — и маленькая бабушка с косичками среди них.

Такие истории про деревню Кривошеино, Старое Новосёлово Верка любила и слушала с открытым ртом.

Она старалась запомнить каждую деталь, каждое слово.

...

Воскресенье. В девять утра как ни в чём не бывало пришла Маринка. В красивом платье, с кудряшками.

— Ну, так нечестно,— наигранно-возмущённым тоном, протирая глаза спросонья, полезла Верка обнимать подругу.

Вообще-то все эти обнимашки она не любила, но тут — дело другое. На радостях…

А из кухни уже доносился запах свежеиспечённых блинов.

Сколько себя помнит, каждое воскресенье Верка просыпалась с этим ароматом.

На плите стояла высоченная стопка блинов, и бабушка допекала последние.

— Баба, давай помогу!

— Садитесь, садитесь, касатки. Ешьте, пока горячие. Я уж допеку.

Спорить было бесполезно, поэтому Верка с Маринкой с удовольствием стали уплетать бабушкины румяные блины — с малиновым вареньем и домашней сметаной.

— Да ну их, этих мужиков! — с аппетитом лопая очередной только что испечённый блин, осторожно подбадривала Верка подружку.— Помнишь стихотворение:

Сегодня воскресенье — девочкам варенье,
А мальчишкам-дуракам — толстой палкой по бокам!

— Ага, Вера, умеешь ты найти нужные слова поддержки,— едва не давясь от смеха, прошептала Маринка.

И девчонки начали безудержно хохотать, выплёскивая наружу напряжение последних дней. И так легко им стало друг с другом, как будто этот нелепый роман с историком и связанные с ним неприятности — вчерашний сон.

— Ну почему, Верка, ты родилась девчонкой, а не пацаном? Из тебя бы такой парень получился. У тебя характер — ух какой боевой. Вон ты какая смелая и сильная. Представь, как бы классно было. Мы б с тобой влюбились в друг друга, поженились и жили долго и счастливо,— перестала, наконец, смеяться и мечтательно предположила Маринка.

— Ну уж дудки! Ты со своей влюбчивостью назавтра втюрилась бы в другого. Я тебя знаю! И что бы мне оставалось бы делать? Пришлось бы убить и тебя, и соперника?

Вера взяла пучок своих густых волос, сделала себе экспромтом «усы» и «набросилась» на Марину:

— Молилась ли ты на ночь, Дездемона?

«Дездемона» сложила руки в мольбе и стала просить пощады.

Девчонки схватились за животы и начали кататься по полу от смеха.

— Да, Маринка, какая нам любовь-морковь?! Детский сад. Младшая группа.

...

Осень нагоняла на Верку тоску. Грязь, лывы, холодина, промозглый ветер. А ещё двадцать соток картошки, которую надо выкопать, стаскать в мешки, перебрать и спустить в подвал.

Картошку обычно копали в первых числах сентября. Два-три дня — и с ней покончено, зато вымотаешься так, что картофельная ботва ещё неделю снится.

Поле в нескольких километрах за посёлком. Надеваешь старые штаны, берёшь вилы — и вперёд!

Привычка сажать двадцать соток картошки осталась в наследство с тех времён, когда в семье было трое мужиков: дед, его взрослый сын от первого брака и папка.

Тогда сажали и копали картошку быстро, дружно. Кроме картофельного поля за посёлком, держали огород в Старой деревне. Верке с Асей нравилось туда ездить.

Неподалёку от их огорода поселилась кукушка. Весенне- и осенне-полевые работы проходили под её однообразные песни, а девчонки то и дело спрашивали у птицы, сколько кому осталось жить, и бережно отсчитывали каждое «ку-ку».

Врала кукушка.

Но девочки этого не знали. Они беззаботно носились друг за дружкой. Весной наперегонки таскали маленькие ведёрки и помогали матери бросать клубни в лунки — обязательно ростками вверх. А мужики в три лопаты подкапывали — только успевай кидать!

Осенью с азартом рыли картофельные лунки самодельными «трёхпалыми копалками». Особенно радовались девчонки диковинным клубням, похожим на что-нибудь эдакое.

— О, смотрите, у меня картофельный гном!
— А у меня шапка Мономаха!
— Я собачку откопала!
— У меня хоккейная шайба!

Такие находки откладывали в сторонку. Их можно было отнести на выставку в школу или, на худой конец, показать соседям.

Осеннего холода как будто и не чувствовалось. Солнце припекало макушки и отражалось в бабушкиной улыбке.

— Делу время — потехе час! — говорила баба Анна, расстилая на капоте машины скатёрку.

После работы аппетит у всех был зверский.

Бабушка резала копчёное сало, доставала варёные яйца, котлеты с пирогами, домашний хлеб. Наливала горячий чай из термоса.

Как же было вкусно!

Верка закрыла глаза от удовольствия и увидела струйку пара над эмалированной кружкой… И тут её, как ушатом воды, обдал крик матери.

— Верка, чё копаешься?! Одну тебя ждём! — крикнула мать сердито.

Её голос жестоко вернул дочь в настоящее.

— Да иду я! — заворчала девочка, очнувшись от воспоминаний.

Верку в семье часто обзывали копушей. Собиралась она долго, переключая внимание с одного на другое. То вспомнит что-то, то ей надо срочно что-то записать.

А время-то идёт.

Мать с вилами наперевес и Ася в резиновых сапогах, держа вёдра с туго скрученными мешками под картошку, ждут в дверях.

Верка взяла ведро, надела рюкзак с провизией на плечо, и все трое отправились на поле. Бабушка осталась дома — на хозяйстве. Рвалась с ними, помогать, но возраст уже не тот, да и здоровье. Чуть понервничает или от перенапряжения — давление поднимается.

До поля — километра два. По пути девчонки с матерью успевали поговорить обо всём и ни о чём, посмеяться и поссориться несколько раз из-за какой-нибудь ерунды.

Дойдя до своей картофельной плантации, тут же принимались за дело.

Обхватывая правой рукой раскидистый куст картошки, мать подкапывала лунку за лункой, выворачивая на поверхность ровные ярко-жёлтые клубни. Девчонки собирали их в вёдра и ссыпáли в мешки.

Мать не щадила себя и такой же беспощадной была по отношению к детям. Работали без остановки, за весь день делая только пару перерывов, чтобы перекусить.

Картошки было много. Новый сорт. Веркина мать называла его «китайский». Папка сам развёл его из нескольких килограммов покупного.

Картошка была вкусная и хорошо хранилась до следующего урожая. Её хватало и на еду — забивали погреб в доме и подвал в гараже. Ею кормили скот: коров, поросят, куриц, гусей, коз.

Хозяйство держали большое. Тоже «имперские» замашки с прошлой жизни, когда в доме были крепкие мужские руки, и не одни.

С хозяйством бабий батальон во главе с бабушкой, Анной Александровной, научился справляться. Зато мясо, молоко, сметана с маслом, яйца и овощи были свои. В погребе стояли по двадцать банок маринованных огурцов, помидоров, всякого варенья. Даже в самые голодные девяностые годы, когда в магазинах ничего не продавалось и денег никому не выплачивали, их семья не жила впроголодь и со своего хозяйства выручала небольшие деньги, продавая молоко, сметану или ту же картошку по весне. На рынке стоять не надо было. Покупатели сами приходили домой.

Работы Верка не боялась. Она успевала и помогать, и учиться на отлично, и на секцию по баскетболу сбегать три раза в неделю, да ещё и с друзьями во дворе поиграть. То же самое можно сказать и про Асю, только вместо баскетбола она ходила на кружок шитья и училась не так прилежно.

После смерти папки Верка и Ася быстро повзрослели.

Был ли у них другой выбор? Бабушка — немолодая, мать ушла в себя, стала холодной и отрешённой и только изредка выныривала из этой своей отрешённости, чтобы потом опять в неё окунуться с головой. К этому её состоянию девчонки тоже привыкли.

Нет, выбора у них не было.

…………………………………………………………

— Соберитесь, тряпки! — кричала она девчонкам, передавая очередной пас.

Проигрывать Верка не умела.

Она не сдавалась, даже когда табло показывало «десять — два» и до конца матча оставалось несколько минут. И тогда она играла так, будто у команды есть шанс изменить ход игры.

За волю к победе и бешеную энергию её и любили в команде — не зря ж выбрали капитаном.

Верка заражала своим энтузиазмом, но и раздражала всех вокруг тоже. Она не могла сдержать своей досады и злилась, что игра не шла. Команда сделала всё, чтобы сравнять счёт. Но не всегда получается, даже если сильно стараешься.

Прозвучал финальный свисток.

Верка сжала кулаки — уже не от злости, а от обиды: ну не могла же она прямо здесь, на поле, взять и расплакаться, как маленькая девочка? Именно этого ей хотелось.

Верка помахала всем рукой и быстрым шагом пошла в раздевалку, сбросала вещи в рюкзак и, не переодеваясь, побежала на улицу.

— Вера, Вера, ты куда? Жди нас! — кричали девчонки.

А Верка не могла из себя выдавить даже «пока».

Только на крыльце осенний воздух, как пощёчина, немного привёл её в себя. Но ком по-прежнему предательски подступал к горлу. Она не хотела, чтобы кто-то видел её слёзы, и уходила подальше от стадиона и своего проигрыша.

Когда отошла на безопасное расстояние, Верка выдохнула и, дав волю чувствам, заплакала навзрыд.

Она плакала от обиды, от злости на себя. Это она, Верка, не смогла. Не смогла забросить мяч в корзину. Не смогла собрать команду. Это она струсила, сломалась, дала слабину.

То, что она почти сравняла счёт и команда считала её молодцом,—несчитово.

Она видела перед собой неудачницу Верку и табло со счётом «десять—девять».

Ей было обидно за себя, за свою команду, за своего тренера. Как будто это её последняя игра. И больше она никогда не выйдет на поле.

Проигрывать Верка категорически не умела.

— Вера, ну ты чего?!—услышала она строгий голос догонявшего её тренера.—Ну-ка не раскисай!

Верка вытерла слёзы рукавом, высморкалась и остановилась. Тренер точно не отстанет—это понятно.

— Ну и чего расклеилась? Ты же хорошо играла, молодец!—приободрил Пал Андреич.—Проигрывать тоже надо учиться. И в баскетболе, и в жизни нельзя всё время выигрывать, понимаешь?! Так не бывает, Вера!

— Не ожидала от вас, Пал Андреич! Вы, как тренер, наоборот, на победу нас настраивать должны, а вы…—выпалила Верка.

— Нет, Вера! Если не научишься проигрывать, я тебя с соревнований буду снимать, пока не поймёшь!—категоричным тоном подытожил тренер.

— Ага, и команду без капитана оставите?—не унималась девушка.—Пал Андреич, мне сильно надо домой! Мамка попросила пораньше прийти. До свидания!

Пал Андреича Верка уважала, но он явно говорил что-то не то.

Она хотела выигрывать. Всегда. Каждую игру. Хотела всегда быть первой.

Приходя со школы, Верка полушутливым голосом рапортовала бабушке и всем присутствующим:

— Две пятёрки по математике, пятёрка по литературе, за сочинение пять/четыре. Пятёрка по химии. По ОБЖ поставили четыре.

Баба Анна откладывала все дела и громко восхищалась успехами внучки.

Бабушке учиться не дала война. Четыре класса образования и тяжёлая работа с двенадцати лет—этому поколению досталось.

Верка старалась бабушку радовать хорошими оценками каждый день.

Двойки у Верки тоже случались. Однажды ей поставили даже кол! «1» (в скобочках—«единица»)—крупными буквами написала учительница по математике. Хотя расшифровка была излишней. Верка никогда не прятала дневник и не закрашивала оценок, которые ей не нравятся. Она была за справедливость: заслужила—получай!

По этой же причине Верка никогда ни у кого не списывала. Она считала это ниже своего достоинства и рассуждала: неужели кто-то другой знает больше, чем она?

Обычно списывали у неё, и не всем она разрешала—по настроению.

На следующую тренировку Верка опоздала.

— Ну и? Что за причина, почему наша звезда не может прийти вовремя?—спросил Пал Андреич, пока Верка вставала в строй.

— Пять кругов по стадиону—марш!—скомандовал тренер.—И два дополнительных круга: скажите спасибо капитану!

— Ну Пал Андреич,—попыталась вступиться Олеська Шибанова.

— Два с половиной,—протяжно скомандовал Пал Андреич.—Ещё вопросы есть?

И все побежали. Молча.

— Чё, пораньше прийти не могла? Тоже мне звез-да,—послышался шёпот сзади.

Это Ирка Голикова. Она бежала следом за Веркой и не упускала случая подколоть кого-нибудь, а тут такая возможность! С Веркой они постоянно в контрах.

— Тебя не спросила! Чё, вопросы есть? Давай после тренировки разберёмся,—обернулась Верка.

— Беги уже,—сбавила тон Ирка, опасаясь открытого столкновения.

Потом синяки, ссадины—кому это надо?!

Верка дралась в исключительных случаях. Было это всего несколько раз, и то с мальчишками.

Один раз—когда соседский пацан попал Асе камнем в лоб, в сантиметре от виска.

Второй раз вступилась за двоюродного брата Мишку, которого во дворе дразнили очкариком. Слово за слово—и оскорбления полетели уже в её адрес, а потом кто-то из хулиганов толкнул первый. И понеслось!

В первом случае Верка так накостыляла обидчику сестры, что у того остался синяк на память. А ещё сходила к нему домой, поговорила с матерью, что какой-то сантиметр—и сына бы посадили за убийство.

Во втором случае Верке самой хорошо досталось: ей вырвали клок волос, поцарапали ногу и вывихнули палец на руке. Брата ударили в живот. Но бой был неравный. Она с братом-ботаником против троих пацанов.

Верка с Мишкой ко всему получили хорошую взбучку дома. Тётя Люба отругала племянницу, что лезет куда не просят.

И Мишка туда же — ворчит:

— Говорил же, не надо! А ты: пошли, пошли! Вот и разобрались.

Но после драки Мишку во дворе обзывать перестали.

Верка осталась довольна результатом. И, присвистывая, подбадривала брата:

— Вишь, Миха, победителей не судят! Ну явно ж мы с тобой победители, раз добились чего хотели! И по фигу на синяки!

— Ага, ага, победители! Я два дня потом буквой «Г» ходил, разогнуться не мог, — парировал Мишка, с умным видом поправляя очки.

— А кто сказал, что будет легко? Ты, главное, слушай старшую сестру — она плохому не научит! Я на целых два месяца тебя старше как-никак, — хохотала Верка, подмигивая брату.

....

Когда Верке было лет восемь, в здании бывшего комиссионного магазина сделали храм. Повесили иконы, крест на крышу поставили.

Было это совсем рядом — за углом от бабушкиного дома.

Это место казалось таким таинственным и манило ребятишек.

Верка с Асей и Тимкой, осмелев, забегали в храм как были — в одних шортах. Забегали запыхавшиеся — и тут же усмирялись. Они смотрели вокруг с открытыми ртами.

Полуденное солнце проникало в церковь через большие окна и преломлялось каким-то необыкновенным образом, превращаясь в столбы света, отражающиеся в окладах икон.

И такая необъяснимая радость появлялась в душе. Ниоткуда. Её не могли спугнуть даже замечания бабок: «наденьте платок», «в шортах в храм нельзя».

Верка чувствовала, что Бог — здесь, рядом. Откуда она это знала? Сама не смогла бы ответить. Просто знала, и всё. Это казалось так же естественно, как дышать.

....

В середине сентября у Веркиной одноклассницы Аньки Дровцовой нашли вшей. Она ходила в школу как ни в чём не бывало. Когда об этом узнали, её стали сторониться. Но было поздно. Чесался весь класс.

— Анька, ты вообще думаешь своих вшей выводить?! — высказала в глаза всеобщее возмущение Верка.

Анька была та ещё оторва. Могла и двинуть, поэтому в лицо никто её вшивой не называл — только заочно. Верка закулисных игр не вела и Аньку не боялась — они с ней примерно одной весовой категории: ещё неизвестно, чья возьмёт.

А решать проблему надо!

Веркины волосы — её благословение и проклятие. Длинные, ниже пояса, густые и толстые, как конская грива. Красивые. Но сладить с ними ой как непросто.

Бабушка заплетала тугие косы, которые к вечеру всё равно расплетались. Никакой силой их невозможно было удержать. Как и Верку.

При таких волосах — и узнать, что завелись вши…

— Ну баба, давай обстригём! Ходят же девчонки со стрижками, и ничего, нормально, — взмолилась Верка, вычёсывая прядь за прядью тонким гребешком и вспоминая Аньку «добрым словом».

— Верочка, ну что ты?! Иди, помогу. Такие волосы красивые. Жалко же. Выведем мы их, выведем!

— Баба, мы с тобой как мартышки в зоопарке, — причитала Верка, лёжа на коленях у бабушки. — А что, если ещё и Аську, не дай Бог, заражу этой пакостью?.. Как она свои кудри гребешком вычёсывать будет?

У Аси тоже длинные волосы, цвета топлёного молока — золотистый блонд. Не такие густые, как у сестры, зато кудрявые, особенно после дождя.

Асю Верка, конечно, заразила.

На ближайшую неделю у них появилось ещё одно «хобби», будь оно неладно! Верка, Аська и бабушка каждый день самоотверженно боролись с незваными гостями. Вычёсывали их гребнями, каждый день топили баню, кипятили бельё на газу, пылесосили кровати.

— Кому чё, а вшивому — баня! — глумилась над подростками мать, но потом и сама начала чесать голову.

Тут уж и ей стало не до смеха.

— Нечего было злорадствовать, топи баню! — смеялись Верка с Асей.

В школе карантин не объявляли. Зато дежурные в каждом классе проверяли головы. Стыдная процедура.

— Да уж, двадцать первый век на носу! Технологии… А мы со вшами справиться не можем. Не хватало, чтобы нас ещё из-за этого от соревнований отстранили. И так уже все секции отменили, — охала Верка, перебирая волосы.

Ей казалось, голова чешется всё время.

На её счастье, бабушка где-то раздобыла керосину и под дружные визги сделала девчонкам керосиновую маску для волос. Запах стоял в бане невыносимый! Но зато вшей вытравили.

— Неужели мы их победили? Много ли человеку надо? — не веря своему счастью, радовалась Аська.

— Баба, ты мой герой! Как ты узнала, что поможет? — допытывалась Верка у бабушки, которая знала столько всяких житейских премудростей.

— В войну керосин выручал — часто приходилось травить. Вши тогда были обычным делом. Жили тогда впроголодь, ели мёрзлую картошку. А когда организм ослаблен, всякая дрянь привязывается.

Ох и изматывали они! — рассказывала Анна Александровна, тяжело вздыхая.

В честь освобождения в воскресенье Аська испекла смородиновый торт. Пока она занималась коржами — получались они сиреневого цвета, Верке поручила взбивать на крем сметану с сахаром.

Верка взяла ручную маслобойку и принялась за дело. Работа была для неё привычная: через день бабушка сепарировала молоко, и сметаны с творогом всегда оставалось много. Из сметаны делали масло, из творога баба Анна варила сыр.

— Вера! Опять ты переборщила! Давай заново! — коржи уже остывали, и Асе не терпелось намазать их кремом и поставить пропитываться на подоконник.

Когда взбиваешь крем из сметаны, главное — не перестараться, а то в масло превратится. Верка часто пропускала момент, когда надо остановиться.

— Мам, а давай электрический миксер купим — в «Дунинский» привезли, — предложила Ася.

— Ага, у нас три маслобойки. Вон, электрическую берите! На какие вши будем ваш этот миксер покупать? Сама знаешь, вместо денег — талоны только дают. Талонов на миксеры не предлагали, — мать махнула рукой и пошла к себе в комнату.

— Ой, мама, поняла. Только про вшей не надо больше! — засмеялась Ася.

— Только не это! Не надо никаких вшей! Лучше я уж вручную буду взбивать, — поддержала Верка сестру.

…………………………………………

Ничем Верка не могла заглушить осеннюю хандру. Только ещё предчувствуя осень, она начинала грустить без всякой видимой причины.

— Верка, ну чего ты? Ну подумаешь, осень… И что? Каждый год… Пора уже привыкнуть, — закатывала глаза Маринка. — Типа «унылая пора, очей очарованье».

— Ну-ну, ты меня доконать решила? Знаешь же, что у меня на стихи аллергия! Ежу понятно, «унылая пора». Куда уж унылей. Грязюка. Холодина. Дожди, лывы, листья бурые под ногами и деревья голые. Тоже мне очарование. На любителя. Фигня вся эта ваша поэзия. Вечно какую-то лапшу на уши вешают.

Поэтов Верка терпеть не могла. К местным алкоголикам и тунеядцам, кажется, относилась и то более снисходительно.

Чем объяснить эту нелюбовь? Она и сама не знала. Даже когда задавали учить стихи в школе, у Верки всегда получалось отлынивать от декламации. То у неё резко заболит живот, то голова закружится, то пропадёт голос, то гриппом заболеет.

В младшей школе учительница хоть и заметила странную закономерность, но для отличницы делала исключения и пересдавать стихи наизусть после болезни Верку не заставляла. У неё и без этого хватало оценок, и выходила твёрдая пятёрка.

В пятом классе новая преподавательница по русскому языку и литературе вызвала Верку к доске. Надо было выучить отрывок из поэмы Лермонтова «Бородино».

Девушка встала лицом к классу. Она выглядела жалко: запиналась, заикалась, краснела, но так и не смогла выдавить из себя ни строчки.

Зоя Михайловна крайне возмутилась таким отношением к классике (а ещё отличница!). И назначила Вере назавтра пересдачу после уроков.

Это был позор. Нет, позорище!

Верка взяла всю свою волю в кулак и с каменным лицом пришла вечером в кабинет литературы.

Зоя Михайловна встретила её приветливо.

Она любила свой предмет и верила, что сеет в души детей доброе, вечное.

— Михаил Юрьевич Лермонтов. «Бородино», отрывок, — произнесла Верка и почувствовала, как к горлу подступает ком, но она снова взяла себя в руки и начала читать. С чувством, с толком, с расстановкой.

Вдруг после первых нескольких строчек что-то пошло не так. Верку стало тошнить. В прямом смысле.

Зоя Михайловна сделала строгое выражение лица. Она подумала, что ученица прикидывается, а может, даже и прикалывается над ней.

И тут Верке стало плохо. Она побледнела и стала терять сознание.

Такого исхода не ожидала она сама.

Зоя Михайловна подхватила Верку за плечи и усадила на стул. Она побежала в лаборантскую и принесла чай с лимоном.

— Вера, что это сейчас было? Ты плохо себя чувствуешь? Заболела?

— Ну, не знаю. Не могу я стихи читать. Не моё это, — призналась Верка сдавленным голосом.

— Ладно, Вера. Иди домой, — сжалилась учительница.

Она была так обескуражена случившимся, что вместо проверки тетрадей тоже налила себе чаю.

— «Скажи-ка, дядя, ведь недаром»! Классика! Это ж надо такое. Стихи — не моё, — бормотала учительница, задумчиво размешивая сахар.

Больше рассказывать стихи Верку Зоя Михайловна не вызывала. Ещё долго учительница испытывала неловкость за этот странный случай.

А Веркина неприязнь к поэзии стала ещё яростнее.

Если бы она могла посмотреть немного вперёд, она бы сказала, что не зря не доверяла рифмоплётам.

Там, впереди, Маринка выйдет замуж за местного поэта, и Верка придёт к подруге попросить отвёртку, а тонкой душевной организации человек завалит её на диван с намерением изнасиловать.

Но всё это случится потом, в будущем.

А сейчас Верка злится, что от лета осталось одно воспоминание, что листья предательски желтеют, а по вечерам так резко похолодало, что впору пуховик надевать.

Маринка общается с местными поэтами и поэтессами, они создают поэтический клуб, публикуют свои стихи в районной газете.

Больше всего ей нравится творчество Ирины Карповой[1].

> «Велюар сэ пувуар»,—слышу голос Анны.
> Стих читаю про войну и про взгляд случайный…—

запали Маринке слова из стихотворения Ирины. Что-то в этих строчках есть.

Маринка и сама пробует писать. Мама поддержала начинание дочери и купила ей печатную машинку. Компьютеры тогда были ещё не в ходу. Но стихи свои не любит. Кажутся ей они пустыми и бессмысленными.

— Графоманка!—ругает она себя, выбрасывая очередной черновик, а рука будто сама тянется к новому листу бумаги.

· · ·

На фото—маленькая девочка в чепчике (годика полтора—не больше) бережно обнимает младенчика на кровати, и их обоих придерживает бабушкина рука.

Это Вера и Ася.

Они погодки и сколько себя помнят—везде вместе. Измерять лужи в резиновых сапогах—вдвоём, лазить по крышам—вместе. Вместе собирать малину, отгонять корову в стадо рано поутру, пить парное молоко, бегать в догонялки, играть в куклы, прятать подружку в машине, чтобы взять с собой по траву. Высиживать птенцов, положив куриные яйца в дедушкину меховую шапку?! Серьёзно? Да, давай! Опять вместе.

Они были неразлучны, как близнецы. Им даже одежду часто покупали одинаковую, только разных размеров. Верка была и старше, и крупнее. Ася—тонкая, как тростинка, и звонкая, как ручеёк. Её заливистый смех слышался издалека.

— Ася, тебе палец покажи—смеяться будешь!—закатывала Верка глаза, показывая сестре указательный палец.

И Ася смеялась. Нет, она хохотала чуть не до упаду, держась за живот.

Ни с кем и никогда Верке не бывало так весело и легко, как с младшей сестрой.

У них существовал свой детский мир, открытый для всех, но сокровенный. Друг от друга же—никаких тайн и секретов. Общие друзья и подруги. Одна детская, один на двоих велосипед. И никакой ревности.

При этом каждой из них удавалось оставаться собой.

Ася—добрая до невозможности. С большими, широко открытыми к миру глазами. У неё и сердце такое—нараспашку.

Верка тоже наивная, но гораздо рассудительнее и осторожнее—за себя и за сестру. Она—сама серьёзность со всеми, кроме Аси.

— Верка, а помнишь, мы с тобой стекловаты за пазуху нарезали на стройке?—Ася любила вспоминать какие-то моменты, всплывающие в памяти, как цветные осколки калейдоскопа.

— Ага, помню, помню. Она сияла на солнце, как бриллианты. Только бабушка не обрадовалась нашим сокровищам. Помнишь, как она испугалась и побежала нас мыть. И деду попало, что не досмотрел.

Вера и Аська родились в восьмидесятых.

Лет до двенадцати им ни в чём не отказывали. Буквально. Верка не могла вспомнить ни одного случая, чтобы родители или баба с дедой ей или Асе сказали «нет». Но девчонки не были избалованными, не наглели.

А вот приврать немного могли. Если очень хочется…

Однажды в сентябре Вера и Ася подумали и решили, что им сильно не хватает доски, как в школе, чтобы писать мелом можно было.

— Нам в школе задали, что дома надо поставить доску и решать домашнее задание.

Наверняка же взрослые сразу догадались, что в школе такого не задавали. Но спорить не стали и разоблачать маленьких врушек тоже.

Этим же вечером дед принёс большой лист то ли двп, то ли дсп, высотой до потолка, и прикрепил к стене. Мел нашёлся—им подкармливали корову.

Вера и Ася тут же приступили к «урокам».

— Палка, палка, огуречик—вот и вышел человечек!

Когда надоело рисовать, стали играть в школу, меняясь по очереди, кто учитель, а кто—ученик.

Долго ещё доска висела в комнате—наверное, год. Её не снимали, пока девчонки не наигрались и сами не попросили убрать.

Или тот же случай с высиживанием цыплят.

Это ж надо догадаться: высиживать цыпушек в старой меховой ушанке! А Вера и Ася—наседки две—высиживали несколько дней, сменяя друг друга. И никто из старших не покрутил пальцем у виска. Не сказал им, что никаких птенцов они, конечно, не дождутся.

Когда приходили в магазин с бабушкой или мамой, девчонкам всегда покупали то, что они просили.

Если приезжали в город, на рынок, перво-наперво мамка с папкой шли и покупали дочкам платья—такие, как им нравились.

---

1. Ирина Карпова—новосёловская поэтесса, ушедшая из жизни в юном возрасте. Хочется, чтобы её вспомнили.

Нужна звёздочка с Ильичом — брали самую красивую, пластиковую, с маленьким портретиком златовласого мальчика в центре.

Взрослые не откупались от них — такое и в голову не приходило. Девчонок брали с собой за ягодой, за грибами, на рыбалку. Они с бабушкой копались в огороде и помогали матери убираться в квартире.

Вера и Аська жили в атмосфере любви и довольства. И не знали, что бывает по-другому.

....

— Верка, вставай! Помоги полог расстелить! — разбудила мать спозаранку.

Зевая, Верка натянула штаны и потихоньку, чтобы не разбудить сестру, прокралась в коридор. Там уже надела тёплый свитер и пошла за матерью.

Зябкое утро. На градуснике плюс четыре. Лужи за ночь ещё не сковывает льдом, но пар изо рта идёт.

В такую погоду из постели — сразу на улицу, не испив горячего чая, жестоко выходить.

Но помогать надо.

— Верка, давай быстрее! Дядя Паша сейчас зерно привезёт! — подгоняет мать.

Она не знает жалости.

Непослушными руками Верка расправляет концы полога по огороду.

А вот и дядя Паша на самосвале! Успели.

Большая машина разрывает утреннюю тишину маленького сельского переулка. Водитель деловито спрыгивает с подножки и помогает матери открыть ворота.

— Здорово, Валька! Надо по-быстрому разгрузиться да на поле, — торопится мужчина.

Несколько минут — и кузов самосвала пустой, а в огороде, на пологе, красуется огромная куча зерна. Пыль стоит столбом.

— Я вечером заеду, — говорит дядя Паша. — Тёте Ане передай привет!

Дядя Паша — сын бабушкиной подруги, а по совместительству какой-то родственницы деда. Он вернулся из Афгана и устроился водителем в совхозе. Каждый год в начале сентября, в конце уборочной страды, он привозит Веркиной матери с бабушкой машину зерна для скотины. Если покупать корм в совхозе, это обойдётся гораздо дороже — для семьи это неподъёмные деньги.

А дядя Паша делает скидку, как своим.

Вечером, как и обещал, он приехал. Бабушка с матерью накрыли стол к его приходу, поставили бутылку «Пшеничной».

Сами они не любительницы выпить, но бутылка всегда в доме была, как самая ходовая в те годы валюта для расчёта с местными мужиками. Тариф был один: сено привезли — бутылка, свинью закололи — бутылка…

После возвращения с войны дядя Паша стал пить по-страшному. Пока трезвый — хорохорился: мол, рассказывать про службу нечего. Но рюмка за рюмкой, и вот он заплетающимся языком, полушёпотом, рассказывает матери о «ду́хах», Кандагаре… А под конец он обычно плакал, подперев голову кулаком, и громко сморкался.

Что точно он говорил, Верка уже не слышала — было за полночь, и она засыпала. До неё доносились отдельные слова, какие-то несвязные фразы да надрывные всхлипывания.

Дядя Паша приходил редко — только по делу или когда совсем уж невмоготу и некуда податься.

Тогда тётя Аня и Валька, бабушка и мама Верки, сочувственно слушали его невесёлые рассказы и вздыхали. Жалели.

Воспоминания о войне дядя Паша разбавлял присказками вроде «никто не любит — не понимает» и ругал себя, что опять гонял жену или без причины налетел на сына. Тут ему становилось совсем горько, и он пил одну рюмку за другой.

— Понимаешь, Валька, чё-то переклинивает у меня в башке! Щёлк — и всё! Ни с того ни с сего! Как с цепи срываюсь и ничё сделать с собой не могу, — жаловался он сам на себя Веркиной матери.

Жену и детей дядя Паша любил. Сам из большой семьи и пятерых ребятишек настрогал — четыре сыночка и лапочка-дочка. Все красивые, умные.

В любом состоянии, при любой погоде он возвращался домой, как будто на автопилоте. А потом снова искал по посёлку приют своей изболевшейся душе. Выход обычно находился на дне стакана. Всё закончилось тем, что совсем спился дядя Паша и свёл счёты с жизнью.

Жалко его. Баба Анна рассказывала, что в школе он учился и мог после армии поступить в институт. Получил бы интересную работу и прожил долгую счастливую жизнь.

....

Любовь Михайловна жила наискосок от бабушкиного дома.

У неё всегда находились гостинцы для Веры и Аськи — пара шоколадных конфет или леденцов точно.

Любовь Михайловна любила порадовать соседских ребятишек чем-нибудь вкусненьким. То пирог с яблоками испечёт и угощает, то ранетки вынесет.

Муж её давно умер. Жили они вдвоём с сыном Сашкой. Она родила его поздно, и по незнанию некоторые принимали мальчишку за её внука.

Любовь Михайловна была из той когорты советских учителей, которые не давали себе поблажек. Хоть она и немолодая, но всегда одета элегантно. На шее — газовый платочек. Модная стрижка. Хорошо поставленный голос.

И добрая. За это качество Вера и Ася её и любили.

Любовь Михайловна тоже благоволила девчонкам, которые делились с ней какими-то своими

детскими секретами, когда она приходила к бабушке за молоком, а иногда и сами относили банку с молоком учительнице.

Сама она хоть и жила в таком же частном доме, но вести хозяйство совсем не умела.

— Да что вы? Я ж не знаю, с какой стороны к ней подойти! — отвечала она смущённо на советы соседей, отчего бы ей самой не завести корову.

Она не жеманничала. Была интеллигентной до мозга костей, а к деревенской жизни совсем не приспособленной.

— Ин-тел-ли-ген-ци-я — что с них возьмёшь? — не от большого ума цедили сквозь зубы деревенские бабы.

Любовь Михайловна приехала в Новосёлово из самого Ленинграда — после института. Да так и осталась здесь учительницей.

Долго ходила в девках, пока руку и сердце не предложил ей директор сельской школы. Мужчина он был хороший, хоть и старше на пятнадцать лет.

Детей у них не получалось. Да и переживать по этому поводу учительской чете было некогда. Помимо своих предметов — Любовь Михайловна преподавала русский и литературу, а Александр Степанович — историю, — оба супруга вели кружки. Много читали, спуская на библиотеку половину зарплаты, гуляли, ходили в кино.

Сашка у них родился, когда уже и надеяться перестали. Любовь Михайловне было уже за сорок. Александр Степанович и вовсе готовился к пенсии. А тут сын! Радость-то какая!

Конечно, всё только для него. Но мальчик рос не баловный, под стать родителям. Можно сказать, идеальный советский ребёнок. Помогал старшим, участвовал в соревнованиях, учился на пятёрки.

По пути в столовую, проходя мимо школьной Доски почёта, Верка, хоть и была первоклашкой, с гордостью косилась на Сашку. Вот он, пример для подражания — гордость школы, гордость мамы и папы, хотя Александра Степановича к тому времени уже не было. С фронта он пришёл весь израненный. Мечтал дожить до свадьбы единственного сына, но получилось Сашку подрастить только до пятого класса.

Откуда Верка знала столько подробностей про семью Блиновых? От бабушки, которая восхищалась их интеллигентностью и ставила их в пример внучкам.

Когда Сашка пошёл в армию, на проводины пригласили всё село.

Вера с Аськой, конечно, не могли такое пропустить и наперегонки бежали в гости. Бабушкины замечания словно пролетали у них мимо ушей.

— Сашка, а у тебя девушка-то хоть есть? Кто тебя будет из армии ждать? — спросила Ася.

Сашка на проводинах — как именинный торт — привлекал всеобщее внимание.

— Ну, есть! А что?

— Жалко, — протянула Аська с досадой. — А так бы я тебя из армии ждала, письма бы тебе писала. Я уже почти все буквы знаю — Верка меня научила.

— Ну и пиши, кулёма! По-соседски. Я только рад буду, — приобнял девчушку Сашка.

Шутка ли — пятилетняя невеста будет ждать!

Потом его утащили за стол одноклассники.

Стол накрыли огромный — на всю комнату.

Лавки из бани притащили, чтоб всем гостям было место усесться.

Любовь Михайловна испекла фирменный пирог. Баба Анна принесла шаньги.

Детям накрыли стол в соседней комнате, но время от времени они бегали к взрослым поплясать или послушать песни.

Сашка играл на гитаре какие-то современные песни. А Любовь Михайловна подыгрывала на пианино, ловко подбирая аккорды.

На фоне всеобщего веселья вид у неё был как будто рассеянный.

За столом выяснилось, что в компот она вместо сахара положила соль.

— Ой, как же это? — спохватилась учительница. — Ну, значит, без компота. Извините уж меня, пожалуйста, гости дорогие!

Сашка сел поближе к выходу, чтоб помогать матери с угощеньями. Рядом с ним — Светка Глазкова. С Сашкой они дружили с девятого класса. Она-то и есть та самая «соперница», которая собиралась ждать Сашку из армии.

Светка веселилась вместе со всеми и подбадривала будущего солдата заранее заготовленными стихами.

Домой Верка с Асей ушли вместе с бабушкой в двенадцатом часу ночи.

Девчонки просились утром проводить Сашку до автобуса, но баба Анна не разбудила.

— Ладно-ладно, я ей припомню! — надулась Аська.

— Да ладно тебе! Подумаешь, не проводила! Письма будешь писать! — подтрунивала над сестрёнкой Верка.

И Аська писала — раз в месяц огромными каракулями письма в несколько слов: «Привет Сашька. Ат нас», — или: «Привет ат Аси».

Цензура в роли Любови Михайловны правки не вносила — прикладывала письмо к своему и отправляла в часть.

Потом тем же макаром передавала ответ от Сашки. Аське он писал на отдельном листе печатными буквами: «Привет, Аська! Учи буквы!»

Аська каждый раз носилась с письмом, прижимая к сердцу, и складывала их в шкатулочку с секретами.

В феврале письма от Сашки долго не было.

— Здравствуйте, Любовь Михайловна! — поздоровалась Верка, как обычно.

Любовь Михайловна прошла молча.

— Баба, а что это с Любовь Михайловной? Поздоровалась с ней, а она молчит,—спросила Верка у бабушки вечером.

Баба Анна ничего не ответила.

Назавтра в школе Верка узнала, что Сашка погиб в Афганистане, выполняя свой интернациональный долг. Так сказали на школьной линейке.

Что такое интернациональный долг, Верка не знала.

Сашкин портрет с Доски почёта перевесили на другую стену—с чёрной ленточкой и надписью: «Родина гордится!» Рядом с ним там висели ещё три портрета бывших учеников, погибших в Афгане. Двоих из них Верка видела у Сашки на проводинах.

...

Лазать по деревьям Верка не умела. Зато Ася в этом деле была мастером—тоненькая, как веточка, она в два счёта забиралась на самую макушку.

— Верка, ну ты чего там? Лезь уже! Тут невысоко!

И Верка, как Винни-Пух, пыхтя и охая, принималась штурмовать дичку вслед за сестрой.

— Ага, невысоко! Ещё как высоко-о-о!—подвывала она беззвучно, еле шевеля губами.

Чувствовала себя она как раз косолапым медвежонком, еле перебирающимся с сучка на сучок.

Медленно одолев несколько нижних веток, Вера поднялась выше, и только она собралась перевести дух, как ветка под ней предательски треснула.

Бах! И Верка лежит под деревом—аккурат угодила в жестяную ванну. И откуда она только здесь взялась, треклятая?! Хорошо, что ванна с мусором,—обрезанные ветки с сорняками смягчили приземление.

Нет, Верка не плачет. А ой как хочется, между прочим, всплакнуть! Не знаешь, от чего больше—то ли от боли, то ли от обиды, что Аська—опять там, наверху, ест спелую дичку, а Верка—тут, валяется в ванне с разбитой коленкой. Это ещё легко отделалась!

Вообще, давно пора понять, что как лазун она, мягко говоря, не очень! После того случая, когда залезла вслед за Асей на крышу и съехала оттуда на пятой точке, напоровшись на здоровенный гвоздь, уж точно можно было уяснить раз и навсегда!

«Нет, ничему меня жизнь не учит»,—думала Верка, сжимая губы.

— Вера, Верочка, тебе больно? А? Ну как ты так?—сочувствует сестра, в три секунды спускаясь с макушки и протягивая горсть ягод неудачливой скалолазке.

— Вот, я тебе дички набрала!

Верка запихала мятые ягоды в рот и закрыла глаза от удовольствия.

Воздух уже осенний, холодный. Но предвечернее солнце пригревает так ласково, что совсем не хочется грустить.

Огород убрали. Остались стоять только капустные кочаны—до первого снега—да островок бессмертников.

Цветы так и манят сделать букет, мотая по ветру своими мохнатыми головками, похожими на пластмассовые.

— И почему мамка не разрешает их рвать?!

— Глупости какие-то. Говорят, что нельзя в доме держать сухостои. Примета плохая… Предрассудки дремучие! Давай нарвём: зря, что ли, они такие красивые тут стоят, мёрзнут?

Вера с Асей наломали цветов и, как заправские контрабандисты, крадучись, пронесли букет в зал. Достали из стенки большую вазу и поставили на подоконник, «скрыв» преступление тюлевой шторкой: авось и не заметят.

Так и простояли бессмертники до Нового года. И ничего. Никаких бед в доме не случилось.

А Верка с Аськой то и дело загадочно поглядывали на подоконник и улыбались. Накануне Нового года их секрет мать раскрыла, но ругаться в честь праздника не стала, только закатила глаза и махнула рукой: мол, да ладно, пусть стоят.

...

Капелька подсолнечного масла, хорошо раскалённая чугунная сковорода—и через несколько минут семечки начинают весело подпрыгивать и щёлкать. Ох и прижигают они, если в лицо выстрелят.

Тут главное—успеть словить, когда пора снимать с огня, иначе сгорят, и тогда уж только в мусорное ведро.

Кто в девяностые годы не умел жарить семечки? Веркина мать в этом деле уж точно—непревзойдённый специалист.

Каждый зимний вечер, за редким исключением, вся семья собиралась с семечками перед голубым экраном телевизора «Горизонт».

По будням показывали «Рабыню Изауру», и в полном составе, не отрываясь, следили за судьбой подневольной красавицы—переживали за неё как за родную. Всерьёз негодовали на подлого рабовладельца Леонсио под очередную порцию «советского попкорна».

Потом сердца Верки и Аси захватил комиссар Каттани.

— Ух и смелый же он! В одиночку—и против целой мафии прёт!—восхищалась Аська и закрывала глаза, когда показывали очередной поворотный момент.

Верка тоже восхищалась. До поры до времени.

— А по-моему—дурак! Всю семью угробил, и ради чего? Толку-то?

К концу фильма в главном герое Верка окончательно разочаровалась.

Семья для Верки всегда была на первом месте. Разве можно так глупо погубить всех, кто дорог?

Нет, ни за какую справедливость, даже и ради спасения мира, Верка на это бы не пошла.

Уезжая на соревнования, она потихоньку, чтоб никто не видел, крестила дом и ограду. И после этого, поглядывая на небо, ехала в полной уверенности: всё будет хорошо, родные под защитой.

Про Бога Верка откуда-то знала. Знала, и всё. Как данность. Может, старенькая прабабушка—баба Катя—ей что-то рассказывала.

А потом, мультики показывали—«Живая книга» и «Летающий дом», в «Мурзилке» печатали какие-то библейские истории.

В одном из номеров опубликовали момент соблазнения Адама и Евы. Картинка без купюр: Адам и Ева голышом, дерево и змей. Это была раскраска.

Верка с Аськой с энтузиазмом взялись за карандаши, а потом понесли показать свои художества мамке с папкой.

У девчонок ни одной крамольной мысли не возникло. Вот что значит—чистые сердцем! Ну подумаешь—голышом! Так это ж в Эдемском саду. Ни стеснения, ни стыда они не испытывали. Родители посмотрели картинку и похвалили.

Когда вышел фильм «Маленькая Вера», взрослые заранее уселись на диване в каком-то возбуждённом состоянии.

Ася с Веркой, как обычно, плюхнулись на свободные места.

— Вы точно хотите посмотреть?—каким-то испытующим тоном спросил папка.

— Ну конечно! А что такого?!—уверенно ответили девчонки, с удивлением переглядываясь.

Больше никаких комментариев и вопросов от взрослых не последовало.

Верки и Аськи хватило где-то на десять минут фильма. Как раз до первой откровенной сцены, после чего им стало неловко, и они сбежали играть во двор. Тут-то и поняли: не зря все им задавали вопросы.

А откуда им знать, что́ это значит—эротический фильм? И название, главное, какое! «Маленькая Вера». Да ещё имя…

Досаднее всего, что девчонкам пришлось экстренно ретироваться в смущении. Вот это действительно стыдно! Они же взрослые: десять-одиннадцать лет!

Ни в пятнадцать, ни в двадцать лет Верка не чувствовала себя такой взрослой, как тогда.

На осенние каникулы Верка с Асей поехали в Дивный к бабе Вале—бабушкиной сестре. Ещё только ноябрь, а снегу навалило—по колено. Всю деревню замело.

Дивный—деревушка в сорока километрах от райцентра. Несколько улиц деревянных избушек, несколько двухквартирных домов, почта, клуб да школа, которую строил, кстати, Веркин дед. Место—живописное. Кругом тайга. Енисей рядом.

Баба Валя жила на самом краю деревни. Её дом—последний. Дальше грунтовая дорога, а за ней—лес. Летом на полянках клубники видимо-невидимо—знай собирай!

А зимой девчонкам в лес путь заказан.

— Верка, а пошли после завтрака снеговика лепить! Теплынь. Минус двадцать всего.

— А пошли! Чё ещё делать-то…

Баба Валя натопила печку, сварила молочного киселя—странный вкус у него, конечно. Кисель привычнее, когда из варенья, поэтому Верка съела тарелку без всякого энтузиазма, только чтобы бабушку не обидеть.

Асе, наоборот, кисель понравился.

— И чего мы дома такой не варим? У нас же этого молока…

— Вот и вари, если тебе нравится. Кто ж тебе не даёт?—закатила глаза Верка.

Девчонки засобирались на улицу.

— Рукавицы-то наденьте!—хлопотала Валентина Петровна.—Да далеко-то не уходите. В лес чтоб—ни ногой!

— Да ладно, баб Валя! Мы же почти что местные. Чего опасаться-то?—громко захохотала Верка.

Волки днём в деревню не зайдут, а кого ещё бояться? Чтоб её, Верку, кто-нибудь обидел? Да ни в жизнь! Она сама кого угодно обидит—рослая, сильная. Даром, что ли, с пятого класса баскетболом занимается?

И Аську, конечно, никому в обиду не даст.

Полчаса делов—и снеговик готов! Правда, смешной какой-то вышел, несуразный.

Нашли старые валенки—надели снеговику обновку.

На голову, как и полагается, водрузили ведро—нашли за сарайкой дырявое, без ручки.

— Эвон чё удумали! А ну вертайте ведро на место!—прибежала баба Валя, увидев в окошко.

Ведро баба Валя давать категорически отказалась: мол, в хозяйстве «исчо сгодится».

Зато принесла эмалированную чеплашку да старенькую шерстяную шальку:

— Чем вам не шляпа, а? Да шаль накиньте ему, чтобы не мёрз. Морозы обещают на той неделе.

— Ну и что у нас за чучело получилось?—театрально ужасалась Аська, падая в сугроб.

— И главное, шаль вам не жалко, а ведро старое—не трожьте!—ворчала Верка, подбоченившись.

Её внутренний перфекционист был в обмороке от такого снеговика.

— Я всё слухаю, между прочим!—снова выглянула баба Валя, держась за калитку, и разразилась хохотом вперемежку с матами—любила она вставить крепкое словечко.—Ой, девки! Не приведи Хоспади. Вечером кто из соседей пойдёт, удар бы не хватанул! Но ведро, как хотите, не дам!

Шаль-то—одно название, дырка на дырке—выбросить не жалко. Да и Танюшка мне новую из города на Новый год отправила. А ведро—поди купи!

Валентина Петровна постояла минут с десять с девчонками да пошла управляться. Не в деревенской традиции без дела стоять—разве что с соседкой языками зацепиться, но это уже совсем другая история.

Зимой коровы уходили в запуск. Это у них так отпуск перед «декретом» называется.

Чтобы не сидеть в это время без молока, к коровьему «декрету» готовились заранее: морозили молоко в мисках, а потом эти ледяные молочные круги хранили в кладовке.

Заносили кругляш с мороза, отстаивали и ставили на плиту—кашу варили.

Верка это «зимнее» молоко терпеть не могла. При нагревании появлялись хлопья—этого было не избежать.

А вот в стряпне совсем не чувствовалась разница.

Хотя в доме был самый современный по тем меркам холодильник «Бирюса», многие продукты хранили по традиции в кладовке.

Там стояли ларь с мясом, баки с солёным салом и пара кадок квашеной капусты, сложенные на полках колобки сливочного масла. Здесь же обязательно стояли пятидесятикилограммовые мешки с мукой и сахаром. С таким запасом и в самый безденежный год не пропадёшь.

Откопаешь чеплашку капусты из бочки, принесёшь в дом и, пока мамка или бабушка режут лук, так и ешь её—вместе с кристалликами льда, чувствуя, как во рту появляется приятная кислинка. Никакого мороженого не надо.

А потом уже—за ужином—заправленную луком, с подсолнечным маслом. Кроме этого салата, в Веркиной семье другие и не признавали в повседневной жизни.

А ещё Верка обожала принесённые с мороза булочки с горячим чаем. Еле могла дотерпеть, пока отойдёт с мороза, чтобы можно было откусить.

Ещё одно зимнее лакомство—зимняя ранетка. До самой весны Аська снабжала всех этим деликатесом. Этот сорт ранетки в другое время года не ели—сильно твёрдые они, пока морозом не ударит.

Зато потом—такое лакомство!

— Ну хоть бы помыли!—ворчала мать на девчонок.

А они нет-нет да запихают в рот одну-две ранетки, не успев донести до раковины. Невтерпёж!

Нехорошо, конечно, микробы и всё такое, но вкусно-о-о!

И никаких, кстати, проблем с пищеварением не было.

— Ну, двойку тогда ставьте! Если я этот карман чёртов откуда-то отпорола, какая мне четвёрка? За что?!

Верка бросила дневник на учительский стол и подбоченилась.

Наталья Геннадьевна задохнулась от возмущения:

— Хамка! Ты как с учителем разговариваешь?

— А как мне с вами разговаривать? Не видно, что ли: сама я его сшила! Где бы такую нелепую расцветку я нашла, по-вашему?

— Не знаю, где, но хорошо видно, что этот карман с покупной вещи отпороли.

— Ага, с Петрушки сняла,—захихикал злобно Верка, рассматривая образец накладного кармана из нескольких пёстрых, никак не сочетающих между собой кусочков.—Да идите вы… куда подальше!

Верка схватила дневник и побежала на улицу.

Ясное дело, и Маринке пришлось уйти с трудов. Из солидарности.

— Тоже мне—Че Гевара! Ну, поставила она тебе эту четвёрку, ну и фиг с ней! Остальные у тебя все пятёрки. Чё, так принципиально?

— А как?

Маринка не стало отвечать. Что с ней разговаривать, с этой Веркой? Упёрлась рогом. Было бы из-за чего бодаться!

Так и разошлись подружки по домам—молчком.

А дома Аська:

— Хвастайся: оценили твой карман?

— Ага, оценили. На все четыре балла.

— Почему на четыре?

— Сказали: сильно хороший, не сама, мол, сшила, а отпорола где-то, поэтому четвёрка.

— Вот это поворот, Верка! Вот он, твой перфекционизм, до чего доводит! Это хорошо, что ты только один раз ко мне на швейный кружок сходила!

— Ну-ну, посмейся ты ещё надо мной! Я, между прочим, из-за этого кармана Наталью Геннадьевну куда подальше послала.

— Не может быть. Ты не могла!

— Ещё как могла. Не пойду больше на этот твой кружок. «Сильно хорошо—тоже не хорошо», как мамка говорит. А карман этот в рамку поставлю и любоваться буду. У тебя-то как дела в школе?

— Да никак. Опять Петруха до меня докопалась, две двойки поставила. Не знаю, чё ей от меня надо! Пошли бабушке поможем корову напоить, по дороге расскажу.

Девчонки надели старенькие шубейки и отправились во двор.

— Ну у нас и видок, Верка! Мы с тобой как немцы в отступлении.

Верка не ответила, а подцепила пригоршню рыхлого снега и запустила в Аську, пока та натягивала на ходу рукавицы.

— Ах, ты так?! Ну, подлая, берегись!—засмеялась Ася и быстрым движением закинула снежок Верке прямо за шиворот.

Верке ничего не оставалось, как обороняться.

Так, перебежками между снежными боями, они добрались до стайки. Верка взяла вёдра, чтобы принести воды. Одного ведра мало—надо сделать рейса два-три, пока Звёздочка напьётся. Аська тем временем таскала вилами сено из огорода.

За работой девчонки забыли об учителях, оценках и остальном мире, который существует где-то там, за калиткой их дома. Здесь есть только Верка и Аська: всегда рядом, и в огонь, и в воду друг за дружку.

...

Верка решила быть плохой. На всякий случай. Чтобы не оправдывать ничьих ожиданий.

— Курить будешь?

— Нет!

— Чё, слабó?

— Не хочу. И чё?

С наглыми Верка вела себя нагло. А Женька Белова очень наглая. Мать—училка. Отец—директор коммунхоза. Бабушка—бывший главбух совхоза. Блатная. Но и мы—не лыком шиты!

Видя, что новенькая не тушуется, от неё отстали на какое-то время.

И как только Верка угодила в эту компанию?! Из любопытства. Маринка уехала к отцу, в город. С Аськой поссорились из-за какого-то пустяка.

Верка пошла куда глаза глядят—лишь бы от Аськи подальше.

А тут Катька из баскетбольной команды:

— Пошли с нами потусуемся! Я тебя со всеми перезнакомлю.

— Ну, пошли…

С Катькой они особо не общались: так, «привет—пока». Но почему нет? Всё лучше, чем одной бродить.

Катька с друзьями тусовались на рынке. Днём за прилавками торговали бабушки—молоком, шерстяными носками, яйцами—в общем, кто во что горазд. А по вечерам рынок превращался в злачное место для местной молодёжи, которой особо податься было некуда. Кинотеатр к тому времени в посёлке закрылся, дискотека—по выходным и за деньги. Осталось два варианта: или рынок, или по улицам слоняться.

— А вино будешь?—опять к Верке прицепилась Женька.

— Не-а, я вино не пью. Газировка есть?—Верка демонстративно жевала свой «Бомбибом» и надувала пузыри.

Чувствовала себя она тут явно не в своей тарелке. Только ребятам это знать точно не надо. Нет уж. Сегодня Верка решила быть плохой.

Газировки не оказалось. Из закуски предлагался солёный арахис в пакетиках—учителям его выдавали вместо зарплаты, коробками.

— Меня Сашка зовут. Орехи будешь?—протянул ей пригоршню парнишка, одетый не по погоде в лёгкую кожаную куртку «на рыбьем меху».

Про таких мать говорит: форс морозу не боится.

— Ну давай, Сашка.

Верке не впервой предлагали выпить. Одноклассницы частенько после физры приносили то пиво, то вино. Звали и Верку пару раз, но она только морщила нос. Потом и предлагать перестали.

Чтобы стать «своей», надо бы не выделяться, наверное. Только Верке нравится идти наперекор. Кто тут авторитет—Белова, что ли?

А алкоголь…

Лет в шесть Верка бахнула стопку портвейна или коньяка—кто там различит. Бабушка студила ей чай, наливая из чашки в рюмку, чтобы быстрее остыл, а взрослые выпивали. Был какой-то праздник. И Верка перепутала—по ошибке взяла вместо чая что-то горькое и противное.

Взрослые забегали, заахали, а Верке вдруг сильно захотелось спать. С того раза спиртного она больше не пробовала.

— А чё не пьёшь-то?—вкрадчиво спросил Сашка.

Он знал, что Женька просто так не отстанет.

— На фига? У меня своей дури хватает,—пошутила Верка.—А вы часто тут?

— Да почти каждый день.

— Ни фига… И откуда у вас время?

Тут, навернув очередной круг по рыночному пятачку, подошла уже весёленькая Белова.

— Верка, ну ты пить-то будешь? Или чё, типа, вся такая примерная? Дак примерным тута не место. Или в падлу?

— Ну, кому Верка, а кому Вера Пална. И пить не буду. Не-о-хо-та!

— Сашка, а ты налей, налей ей!—не отставала Женька.

— Отцепись по-хорошему! Сказала—не буду я пить,—вступила в перепалку Верка и, глядя на Катьку, добавила:—Клёвые у тебя друзья, Катька, конечно! Ничего не скажешь. Но я пошла. Чау-какау!

— Чё, так и уйдёшь, что ли?—с вызовом спросила Женька.

— Ну, так возьму и уйду, прикинь.

— Иди-иди, скатертью дорожка! Чтоб мы тебя тут больше не видали,—«подбодрила» Белова.

— Ага, счас! Куда хочу, туда и хожу. У тебя не спросила!—огрызнулась Верка напоследок.

В эту компашку она явно не вписалась. Но, может, оно и к лучшему, что так.

Замёрзшая и злая, как собака, пришла гулёна домой. Аська с ней не разговаривала. Ну и фиг с ней. Перебесится. Зато дома тепло и никто не достаёт.

...

Верка ревела навзрыд. Рядом с ней в подушку плакала Аська.

Василёк не выкарабкался.

Когда котята родились, девчонки сразу распределили: белая кошечка с рыжим пятнышком на шее — Аськина, Динка. А Верке достался котик — Василёк. Белоснежный — от ушей до хвоста.

— Верка, а почему не Снежок, не Белыш?

— Как хочу, так и называю! Мой кот. Васильком будет. Никаких Белышей-Беляшей!

— Ну и на Ваську он тоже не похож…

— Какой тебе Васька? Сказала — Василёк. Цветок такой есть, понятно?

Котятам был месяц, когда мать отдала их по соседям. Приходят Аська с Веркой со школы, а нету ни Василька, ни Динки.

— Где? — побежала к матери разбираться старшая. — Ты куда котят дела?

— Одного тётя Нина взяла, другую Татьяна Михална. Куда нам их? Нам одной кошки хватит! Нечего причитать, — без всяких эмоций ответила Валентина.

— Неси моего Василька назад. Я его никому не отдавала! Или сама пойду к тёте Нине — заберу. Аська вон тоже по своей Динке плачет.

— Ну, касатки, куда нам столько кошек? — вступилась бабушка. — Одной хватит! Ася, ну не расстраивайся ты так! Динке у Татьяны Михалны хорошо. Она одна: ни ребёнка, ни котёнка. Пожалей уж её… Мурка ещё окотится к лету. Нанянчитесь.

— Ладно, — сказала сквозь слёзы дрожащим голосом Ася и убежала в свою комнату.

— Ты, Верочка, тоже не упрямься… — не успела договорить Анна Александровна.

— Нет, баба! Не начинай! Я своего Василька не отдам! Лучше пошли со мной к тёте Нине — забирать! А то я одна пойду, прямо сейчас! Такой скандал подниму — самим вам будет стыдно!

Разговаривать с Веркой было бесполезно.

Анна Александровна надела фуфайку с шалью и вместе с внучкой пошла к соседке — за котом.

Василёк встретил делегацию в коридоре. И сразу залез к Верке, исцарапав ей все руки.

Шерсть дыбом, шипит, хвост — трубой. Мяукать ещё не научился, зато пищит так, что уши затыкай.

— Ой, хорошо, Анна, что вы пришли. Не знала, чё и делать. Все углы мне наметил. Пищит — уши закладывает. Забирайте вы его подобру-поздорову.

Бабушка пожала плечами: мол, ничего тут не поделаешь.

Пока Анна Александровна, опираясь на свой бадожок, не спеша закрывала соседскую калитку, Верка с Васильком за пазухой уже к дому подбегает.

— Ой ты, мой хороший, натерпелся! Ах, они! Разлучить нас удумали! Не бойся! Никому тебя не отдам, — наглаживала котёнка хозяйка.

А он прижался к ней, положил голову на грудь и уснул под шубой.

Дома Верка аккуратно, чтобы не разбудить, положила Василька на свою кровать и сама легла рядышком. Так и спали.

А Аська не спала. Всю ночь плакала. И почему она, как Верка, не пошла свою Дину выручать?! Забрала бы, и всё! Теперь-то что… Сама виновата — слабохарактерная!

Наутро, только зазвенел будильник, Верка подскочила делать уроки. Учились со второй смены, а надо было ещё реферат успеть написать.

Смотрит, а котёнка нету. Пошла искать-кыскать. А его Аська на кухне уже молоком свежим поит да по головке гладит.

Грустно так стало. Потихоньку, чтоб сестра не заметила, Верка включила задний ход и, крадучись, вернулась в комнату. Неловко перед Аськой, а радостно.

Но Веркина радость длилась недолго. Василька через месяц крысы в подполе подрали. Два дня и две ночи сёстры возле него дежурили по очереди, повязки меняли. Всё одно на третью ночь умер.

Томиться в ожидании — не в Веркином характере. Уж лучше враз узнать!

— Слушай, Никита! Ты мне нравишься, — репетировала Верка у зеркала.

— Да, нравишься! — работала она с возражениями. — Что тут такого?

А если в ответ — тишина? Нет, лучше по-другому.

— Никитос, пошли вечером погуляем!

— Фу, голос-то какой у меня гнусавый. Не замечала.

— Ага, Атос, Портос и Никитос, — передразнивала Верка саму себя, строя рожицы отражению.

Никита зашёл за ней в половине пятого. Он всегда заходил за Веркой по четвергам. Она шла на баскетбол, а он на репетицию — играл на ударных в школьной группе.

Верка на ходу натянула шапку с рукавицами и вприпрыжку вылетела за калитку вслед за товарищем.

— Никита, а вообще, по-настоящему, я молчунья! — торжественно, сверкнув глазами, начала Верка непростой разговор — сразу, чтоб не передумать.

Никита посмотрел на Верку и рассмеялся:

— Ты?! Ну-ну, конечно, молчунья! Ага! И стесняшка ещё…

— Кстати, да! Я очень стеснительная на самом деле, — сказала Верка серьёзно, и в её голосе появились сердитые ноты.

— Чё-то незаметно, — опять засмеялся Никита.

— Ну и смейся! Дурак! Я тут ему душу открываю, а он ржёт, как лошадь Пржевальского!

— Это счас в тебе молчунья заговорила? Или стесняшка? — не унимался одноклассник.

— А вообще, ты же знаешь, я и врезать могу! — резко переключилась с романтики Верка. — Так что не усугубляй!

— Ну, такая ты мне и нравишься больше как-то.
— Ладно, закрыли тему! Математику сделал?
— Ага, конечно, с утра до ночи только математикой и занимаюсь. Параболы с гиперболами черчу. Ты чё, забыла?! У нас же концерт в конце месяца. Репетирую я.
— Ну точно дурак! Экзамены на носу, а ты репетируешь…

Верка закатила глаза от возмущения. Слова у неё кончились. Остались одни междометия.

Всё-таки она рациональная до мозга костей. Где экзамены — и где музыка…
— Да ладно, не ворчи, баб Вера! Приходите с девчонками на репетицию лучше. Аська пусть тоже приходит. Чё ты её не берёшь?
— Да звала я. Не идёт она. Тоже мне — звёзды российской эстрады, группа «Простые ребята».
— Подумаешь, «Ласковый май» когда-то тоже никто не знал.
— Мечтай, мечтай. Мечтать, говорят, не вредно, — съехидничала Верка, подмигнув своему тайному возлюбленному. — Вон за тобой уже Мишка с Андрюхой пришли. Атос, Портос и Никитос…

Верка помахала ребятам с ухмылкой и побежала в спортзал.
— А с математикой-то не шути! Помогать на экзамене не буду, так и знай!

…………………………………………………………

Веркина мать любила подгинать ноги под себя. Особенно это раздражало, когда она садилась так за стол.

Верка закатывала глаза. Что ещё ей делать? Не будешь же отчитывать собственную мать?

В такие моменты Верка чувствовала тоску и бессилие. Так это её задевало! И девчонка выдумывала любой предлог, лишь бы не находиться на кухне. У Верки сразу находилась куча дел.

Она брала общую тетрадь и решала логарифмы, строила гиперболы с параболами, высчитывала тангенсы-котангенсы. Только бы её не трогали.
— А, занимаешься, Верочка? — заглядывала потихоньку бабушка и уходила еле слышно, чтоб, не дай Бог, не помешать.

Анна Александровна, со своими четырьмя послевоенными классами, всегда радовалась, когда видела, что внучки усердно учатся.

Верка сидела над тетрадями, как будто и правда была в каком-то параллельном мире — цифр, графиков, переменных. Она обожала математику.
— Что ты там видишь, в этих буквах и крючках? — с недоумением спрашивала Аська. — Скукотища же! Вон Маринка к тебе идёт — шапка её в окошке промелькнула.
— Сама ты — скукотища! Ничё ты, Аська, не понимаешь в колбасных обрезках. Пойдёшь с нами на стадион на коньках кататься?
— Ну, пошлите! Только ты, Верка, всё равно не умеешь кататься.
— Не умеет — научим, не хочет — заставим, — загоготала Маринка в дверях. — Пошлите, девочки! На улице теплынь. Грех дома сидеть в такую погоду!

Пока подружки наряжались в две пары шерстяных штанов, Маринка пила чай с клубничным вареньем. У них такой экзотики не водилось.
— Скучно вы живёте, — подколола её Аська не без гордости. — Ни варенья у вас, ни молока со сметаной. То ли дело у нас!
— Да-а-а, — мечтательно согласилась Маринка, — нету… У нас и бабы Анны такой нету, которая шаньги да пироги стряпает.

Маринкина мать хоть и родилась в посёлке, но начисто городская стала. После института вышла замуж за городского парня и восемнадцать лет в Красноярске прожила. Потеряла всю свою деревенскую сноровку. «Обынтеллигентилась» — про таких говорят.
— Дак нечё мечтать о молоке со сметаной, — подключилась Верка с деловым тоном, натягивая свитер. — В субботу приходи к десяти. Нам сено привезут с зимника — будем на сеновал таскать. И сметану получишь, и масла дадим. А без труда — не вытащишь и рыбку из пруда!
— А что? Без приколов — приду, — согласилась Маринка.

Она одна в семье — ни сестры, ни брата. Верке с Аськой хорошо. Их-то двое. Они всегда вместе.
— Ну, пошли, Веруня, счас мы тебя с Маринкой будем на коньки ставить! — Аське эта перспектива явно доставляла удовольствие.
— Ой, тушите свет! Что делается! — шутливо запричитала Верка.
— Девочки, вы только осторожно! Не побейтесь там, — не выпустила без напутственного слова Анна Александровна.
— Ну баба! Чего с нами будет-то?! Мы всего лишь на каток, — закатила глаза Верка.

Она, как обычно, прокопалась и выходила из дома последней.

А перед этим подбежала и чмокнула бабушку в щёку.

Чтоб не волновалась.

…………………………………………………………

— Да знаю я, что на коньках — как корова на льду!

Веркины ноги опять разъехались, словно не свои. Отталкивается со всей силы, делает шаг, и… вместо плавного скольжения «фигуристка» летит кувырком или плюхается назад.

Над ней хохочет весь стадион. Ну как весь — Маринка и Аська. Больше никого и нету.

В конце концов, после очередной неудачной попытки Верка села прямо посреди катка, и никакие доводы подняться на неё не действовали.

— Ты чё, Вера?! Давай ещё разок! Ну! Москва не сразу строилась! — Маринка подбадривала подругу как могла, протягивая руку помощи.

Пушистые варежки из собачьей шерсти были все в снежных катышках.

— Да ну вас, не пойду! Сами катайтесь. Чё пристали? Надо будет — встану!

Маринка с Асей на коньках держатся уверенно. Только что двойной тулуп не исполняют. Разгонятся и едут навстречу друг другу, а то наперегонки круги нарезают.

Им-то что, они стройные, как две тростинки. А у Верки — пятая точка перевешивает. Фигуристка из неё — никакая. Зато… Зато баскетболистка она классная. Только успевает мячи забивать.

— И вообще, рождённый ползать — летать не может, — растянулась Верка на льду и стала делать ангела.

— Ну, если Вера Пална классиков начала цитировать, дело швах! Поехалите домой, греться. Моя очередь вас чаем поить, — засобиралась Маринка. — Правда, варенья у меня нету, зато есть шоколадные конфеты. Батя на Новый год прислал целый мешок. Не могу ж я одна их слопать? Айда, девочки, ко мне!

Жила Маринка как раз рядом со стадионом — в панельной двухэтажке.

— Ох и завидую я тебе, Маринка! Приходишь со школы — дома одна, сама по себе. Делай что хочешь! А у нас всегда кто-то есть. Никакого тебе личного пространства, — рассуждала Аська за чашкой горячего чая, откусывая «Мишку на Севере».

— Тоже мне, нашла чему завидовать, — засмеялась Марина, наливая кипяток в большую кружку с китом — Веркину любимую, в гостях она только из неё и пила.

— Отец тебя на каникулы не зовёт? — спросила Верка неожиданно для самой себя.

— Мы с ним летом договорились к бабушке в Москву ехать. Я у неё ни разу не была. Да ну его… Как у него сын новый родился, он про меня окончательно забыл. Конфеты ещё будете? Вон, ещё целая коробка «Птичьего молока», — засуетилась подруга.

Зря Верка, конечно, подняла тему с отцом. Она и сама это поняла, да и Аськин пронзительный взгляд, на несколько секунд припечатавший сестру к стулу, подтвердил: зря! Но теперь уж чего?.. Слово — не воробей.

Аська с любопытством и восхищением рассматривала интерьер, получая явное эстетическое удовольствие. Мебель в квартире у Веркиной подруги была современная, подобранная со вкусом. Видно, что на обстановку денег не пожалели. А ещё в зале — компьютер. Но к этому «зверю» и подходить-то боязно. Сломаешь ещё ненароком…

— Кто хочет в «Денди» поиграть? Давайте в «Супер Марио»? Или уток постреляем, — предложила хозяйка.

— Клёво! Только, чур, я первая, — заторопилась Аська, составляя чашки в белоснежную раковину. — Кто последний, моет посуду!

Последняя была, конечно, Верка. Только в баскетболе она — быстрая на реакцию.

— Спасибо, девочки, я сама потом помою. Пойдёмте играть, — подгоняла Маринка.

Гости у неё бывают нечасто, хотя они с мамкой — обе гостеприимные. А какие пекут ореховые кексы! М-м-м… Жалко только, что редко получается. Целыми днями мать на работе. И домой берёт эти свои отчёты.

Зато и работа у неё хорошая — финансист. Ответственная. Денежная.

…………………………………………

— Ну и дура! — Верка оттолкнула Маринку, и та плюхнулись в лужу, неловко подогнув ноги.

Противно смотреть: тушь — по всему лицу, сидит, хлюпает носом да вытирает слёзы с соплями рукавом.

— Пошли домой, говорю, — уже орала на всю улицу Верка.

— Отстань! Отстань! Не пойду я никуда с тобой! — прошипела Маринка заплетающимся языком.

— Ну, нет так нет! И сиди, овца!

Верка отвернулась и быстро пошла в сторону дома.

На улице было аномально тепло. Вместо крещенских морозов ночью пошёл дождь.

Верка с Маринкой и Аськой пошли на дискотеку в дк. Пока Верка с Асей танцевали, Маринка как-то незаметно умудрилась наклюкаться. И когда успела?! С кем?

А главное, идти домой она наотрез отказывалась. Верка с Аськой пытались её тащить — вырывается ещё!

Аська в итоге пошла домой с одноклассницами. А Верка осталась Маринку вразумлять. Да только без толку.

Мобильных телефонов не было. Маринкина квартира — через дорогу от Дома культуры.

Поздно, конечно, для гостей. А куда деваться? Пошла Верка к Маринкиной матери — всё равно же не спит, ждёт дочь.

— Вера, а ты чего одна? Маринка где? — открыла дверь взволнованная Вероника Евгеньевна.

— Пойдёмте быстрее. Маринка наклюкалась. Возле дк сидит. Домой со мной отказывается. Не знаю, когда успела, — тараторила Верка, подавая пальто ошарашенной Маринкиной матери. — Пойдёмте скорее, пока её никто не подобрал.

Женщина надела сапоги, а пальто накинула уже в подъезде. И бегом к Дому культуры.

— Ну, я ей покажу! — запыхавшимся голосом ругалась Вероника Евгеньевна на бегу.

— Мы ей завтра такую взбучку устроим, — поддерживала Верка, задыхаясь от возмущения.

Маринка сидела на лавочке как ни в чём не бывало.

Счастливая. Улыбается, будто миллион в лотерею выиграла.

— Ой, мама… А ты… как тут? Верка-а-а, ты чего её привела? Предательница!

Вероника Евгеньевна без разговоров взяла дочь под руку, Верка подхватила с другой стороны. Так они и пошли до дома, пошатываясь из стороны в сторону.

Маринку мать уложила спать. И пошла Веру провожать. Как та ни отнекивалась, а одну её женщина не отпустила по такой поздноте.

Баба Анна стояла у калитки и издалека увидела Верку с провожающей.

— Вера! Ты?—крикнула она, не дождавшись, пока подойдут поближе.

— Я, баба.

Анна Александровна с облегчением вздохнула и пошла навстречу, опираясь на деревянный бадожок.

Маринкина мать поздоровалась и побежала домой.

— Ты где это ходишь? Чё так поздно? Аська давно дома.

— Да всё нормально, баба. Маринке плохо стало— пока проводила. Пошли спать. Спать охота—сил нету.

Дома Верка обняла бабушку и—прямиком в кровать. Даже чай пить не стала.

Когда на Верку нападала меланхолия, она забиралась на чердак. Там пахло сушёными берёзовыми вениками, развешанными над головой. Иногда этот запах смешивался с ароматом душицы или белоголовника. Бабушка любила добавлять эти травки в чай.

В дальнем углу чердака лежал полосатый ватный матрац от старой панцирной кровати. Им сто лет никто не пользовался, но его хранили—«на всякий случай».

Верка проваливалась в матрац, как в кресло, и погружалась в свои мысли или просто засыпала, если совсем грустно.

Дни рождения лет с тринадцати она не любила. После смерти папки и Новый год был—не Новый год. Но киснуть было нельзя. Этак если все раскиснут… Поэтому Верка не показывала вида и бодрилась.

Генеральную уборку сделали. Паласы и ковры снегом почистили, вымыли клеёнчатые обои, отдраили дверные косяки, хрусталь натёрли до блеска, перемыли люстры. Ёлку тоже поставили, нарядили—настоящую, с пушистыми лапами, со звёздочкой на макушке, с мерцающими гирляндами и мишурой. В доме пахло свежестью, хвоей и мандаринами: куда без них?

Праздник наступал так же неотвратимо, как немцы под Полтавой. От него было никуда не деться. Разве что на чердак, за веником.

Баню уже растопили, и пока топится, можно затихариться под благовидным предлогом и погрустить в тишине.

Деревянная лестница хрустела под Веркиными ногами, но ей было не страшно. Залезть на чердак—дело привычное, не то что на дерево взгромоздиться.

Это Веркин тайный кабинет, убежище, в которое можно нырнуть, и никто не найдёт. Даже Аська.

Грустить вдвоём Верка не умела. Да и разве с Аськой можно грустить по-серьёзке? Она тут же начнёт смешить—не отцепится!

А Верке надо побыть наедине со своей грустной грустью, чтоб потом опять засмеяться и впустить в себя этот самый Новый год, раз без него никак не обойтись.

Но ни о чём не думалось. Ни о плохом, ни о хорошем. Верка уселась в своё «кресло» и задремала.

— Вера-а-а, Вера-а-а, ты куда пропала?—разбудил её голос бабушки.

Верка поёжилась от холода и, как заправский партизан, прихватила веник и потихоньку спустилась с чердака, подождав, когда баба Анна зайдёт в дом.

— Ну и где ходишь? Салаты я одна, что ли, должна доделывать? И баня вон почти готова. Ты чё, Верка, обнаглела?!—ворчала Аська, доедая остатки свежего огурца.

— Да иду я! Веник доставала. Чё делать-то?

Крошить салаты—была работа Верки с Аськой. Они сделали традиционные оливье с винегретом, которые постоянно путали, и любимую бабушкину селёдку под шубой.

В домашних делах Верка была послушная: что скажут, то и делает. Надо ковёр почистить—почистит без лишних разговоров, надо картошку кубиками нарезать—нарежет.

Бабушка к празднику испекла свои знаменитые шаньги и пироги—рыбный и с черёмуховым вареньем, который сверху намазали сметанным кремом. Мать нажарила котлет.

Запахи стояли умопомрачительные. Самое обидное, что пробовать запрещалось строго-настрого! Всё на праздничный стол! Такая дурацкая традиция. И кто её только выдумал?!

У Веркиной мамки была своя новогодняя традиция. Минут за двадцать-тридцать до полуночи она обязательно обижалась на всех, снимала нарядное платье и уходила в свою комнату. А Верка, Аська и бабушка должны были бегать—уговаривать, чтобы Валентина соизволила и села за стол.

С каждым годом эта традиция бесила Верку всё больше и больше.

Может, так мать выпускала напряжение и усталость этого бесконечно долгого, хлопотного

и суетливого дня. А может, сожалела, что прошёл ещё один год, а она так и не стала счастливее. Верка с матерью никогда это не обсуждали.

В половине двенадцатого все приготовления и уговоры заканчивались. И Аська с Веркой, напаренные в бане, намытые, наряженные, наконец усаживались за стол. Бабушка под бой курантов неумело раскупоривала шампанское, а девчонки бежали под ёлку—распаковывать свои подарки—и загадывали заветные желания.

Конечно, в Деда Мороза они давно не верили—да и верили ли вообще когда-нибудь?!

Но достать из-под «снега» подарок было приятно.

Пластмассовые Дедушка со Снегуркой приветливо смотрели на девочек своими нарисованными глазками.

У Веркиной матери к этим персонажам не то чтобы трепетное отношение—слабость. Они были её фетишем. Даже в самый бедный год она, отодвигая первостепенные расходы, вопреки всякому здравому смыслу, на последние деньги покупала новых Деда Мороза со Снегурочкой—самых-самых. То в меховых шубках, то со светящимся посохом, то со встроенной музыкальной открыткой… Они её радовали, как, кажется, никто и ничто другое! Она радовалась как ребёнок.

У всех свои странности. И своё представление, из чего состоит праздник. Но вся штука в том, что родных людей мы любим со всеми их «прибамбасами».

Да, они умеют делать больно так, как никто другой. Ну и Бог с ним. Главное, чтобы они жили. Такие как есть.

ДиН ревю

Владимир Капелько

Мне ветер холсты натянет…

Стихи, рассказы, письма, воспоминания друзей

Красноярск, 2023

Владимир Феофанович Капелько (1937–2000), а проще—Капеля. Редко кто в Красноярске или Абакане не слышал этого имени!

Член Союза художников СССР, заслуженный художник РФ, мастер прикладного искусства, поэт, археолог, исследователь истории и природы Сибири… А главное—неугомонный человек титанической работоспособности!

Одни любят его стихи, удивляющие глубиной и естественностью, другие ценят живопись и графику, а третьи благодарны ему за подвиг по сохранению искусства древних художников.Более четверти века Владимир Феофанович посвятил захватившему его делу, в пеших походах исходив всю Сибирь…

Помимо огромного количества его собственных работ, он создал метод точного эстампажного копирования наскальных рисунков на микалентной бумаге и оставил богатое наследие, состоящее из тысяч копий петроглифов, многие из которых ныне утрачены: разрушены строительством, мелиорацией земель, затоплены водами рукотворных морей…

Стихи, написанные им то на пачке сигарет, то поверх газетного текста, то карандашом на серой обёрточной бумаге, мне пришлось фотографировать, увеличивать, расшифровывать, восстанавливать, дорожа каждым его словом. Все они размещены здесь впервые. Также впервые опубликованы и его рассказы, обнаруженные в архиве,—философские, документальные, лирические.

Кроме того, сюда помещены и уже известные его стихи из книги «Горланят над Россией петухи!» (2012) и других изданий.

НАДЕЖДА ОМЕЛКО
составитель

Маргарита Графова

Эта музыка выше скорби

Баллада о леснике Теодоре

На опушке лесной
Жил лесник Теодор,
Под столетней сосной
Разводил он костёр.
Он любил солнца лик
И небесный простор.
Вот такой был лесник
Теодор.

Он кормил из руки
И волков, и лисиц,
Понимал языки
Соловьёв и синиц.
Средь дубов вековых
Пел ему птичий хор.
Вот такой был лесник
Теодор.

Но в безлунную ночь,
Что чернее, чем бес,
Раз цыганская дочь
Забрела в тёмный лес.
Лёгкий шелест травы
Нарушал тишину.
И летел крик совы
В вышину.

Но, увидев чертог
Сквозь полночную тьму,
Дочь цыган со всех ног
Устремилась к нему:
«Я искала огня,
Дорогой человек,
Так пусти же меня
На ночлег!»

Теодор средь лесов
Тридцать лет жил один —
Князь медведей и сов
И волков господин.
Не поднял он очей
На цыганскую дочь,
Лишь сказал тихо ей:
«Шла б ты прочь!»

Разорвал небо гром,
Озверела гроза.
Загорелись огнём
Той цыганки глаза.
И она в тот же миг
Посмотрела в упор:
«Будь ты проклят, лесник
Теодор!»

Не прошло и двух зим —
Захворал Теодор.
Как старик, стал седым,
И погас его взор,
Белый свет стал не люб…
А цветущей весной
Рвали вороны труп
Под сосной.

Нет скворцов и синиц:
Опустел шумный лес.
Нет волков и лисиц
И костров до небес.
Только во́рона крик
Разрывает простор:
«Спи спокойно, лесник
Теодор!..»

Троя

Пала Троя, и Елена уже не прекрасна—
В недрах буйного века растворилась её ипостась.
Равнодушный закат угасает фиалково-красным,
Шёлк сибирского снега разъедает апрельская грязь.
Одинокая ночь похоронена в недрах хрущёвки,
Где недремлющим светом выделяется пятый этаж—
Там душицевый чай и варенье из дачной грушовки,
И насмешница-старость, не скрываясь, ведёт шпионаж.
Бесовница-тоска коронует на вечное царство,
Жёлтый плащ на плечах заменил королевский вельвет.
За любовь бледной девы, увы, не желает сражаться
Ни наследник Эллады, ни пахнущий водкой сосед.
Нет дороги к свободе из этого душного плена,
Все стальные мечи разобьются ударом оков…
Пала Троя. Немного—падёт и Елена,
Погребённая в склепе печальных и светлых стихов.

Байкал и Кама

Байкал не гремит, не волнуется, не течёт—
Алмазно-кристален воды пленивший лёд.
Он прочен, что обожжённая в пекле сталь,
И безразличен, как юной весне февраль.
Байкал не бурлит, не играет живой водой,
Он мёртв, словно ночь девицы немолодой.
Байкал не силён, не отважен и не кипуч,
Он скован, что солнце вуалью морозных туч.
Красавица Кама так радостна и юна:
Сражается насмерть с медной луной волна,
К утру не оставив противницы и следа—
Искрящейся гладью шёлка кровит вода.
Но волнам Байкала, увы, не пробить пути
В тот край, где обвенчан с Камой жестокий Стикс,
Где белые ночи плавят останки лун,
Где вечная музыка рвёт кровотоки струн.

Синяя

Маленькая безумная женщина,
Облачённая в синее,
Устрашает взглядом бешеным—
Рыжеволосая, некрасивая.
Вот идёт она, наполненная синим светом,
Мечтает с прохожими слиться…
И смеётся солнце, смеётся лето,
Смеются дома безымянной провинции.
Прохожие думают: «Меченая!
За какие грехи?»
Но они не знают, что синяя женщина
Пишет стихи,
Что в доме её с обоями синими,
Между чашек и старых игрушек,
Дремлют строки живые и сильные,
Способные обезоружить
Тысячи пустых и красивых женщин
В неизвестных провинциях и столицах.
Ибо такая—Богом отмеченная—
Раз в столетие родится…

Ода

Не собрать черепков горшечных,
Разделённых смертельной дробью…
Эта музыка будет вечной!
Эта музыка выше скорби,

Нарождённой от злого лета,
Обречённой на век бессрочный…
Эта музыка—звуки света—
Вещий голос крещенской ночи.

Захороненный не воскреснет,
Погребающий да обрящет
В сочетании строф и песен
Юный светоч души скорбящей.

Неразрывность живых творений
Станет выше бездарной смерти—
Так встречаются Бог и гений
На коротком земном концерте.

Для творцов не земля—могила,
Память славная—им гробница,
Где впечатаны грозной силой
Времена, имена и лица.

У творцов нет святого брака:
Их неволят иные узы,
В нервном споре огня и мрака
Обжигаются те союзы,

Как фиалки, цветут пороки,
Замирая чернильной речью.
Брызги нот поглощают строки,
Нежным шёлком вплетаясь в вечность,

Где в антракте пути земного
Обретутся смертельной вязью
Имена: дар живого Бога
И наследство мирского князя…

Дорожная

Бесконечная дорога,
Беспросветная тоска.
Мёртвый месяц тонким рогом
Тускло светит свысока,
Где бесчувственные звёзды
Украшают небеса…
Умирая, стонут вёрсты
Жутким скрипом колеса.
Остывающее лето
Давит холодом на грудь.
До туманного рассвета
Нескончаем трудный путь.
В вышине страдают птицы,
Извергая резкий крик,
И скрывается в гробнице
Побеждённой смерти лик.

Наталия Черных

Бремя мелкого человека

• • •

Господи, я даже не шила — на руках подрубала ткань.
И пред Тобою почти не ходила, вставая в самую рань.
Я не Тебя вспоминала, рыдая, глядя на белые стены,
Повороты судьбы принимая и людей принимая измены.
А Ты был рядом, так близко, и не издавал ни звука.
Что я теперь, говорю, атеистка, сама с собою разлука?
Кто же ещё меня мог распилить, как пилят бюджет и планету?
Кто меня смог без вреда сохранить без дома, тепла и света?
Кто в этом мире из трубочек для коктейля целое мог найти?
Кто это целое выжег с корнем, оставив мне полпути,
Когда ни дойти, ни вернуться, ни сгинуть, ни есть и ни спать не можешь?
Кто не забрал меня с этой биржи, когда чище была и строже?
Я не играла в творца, не создавала идей и общественных организаций,
Не брала на себя обязательств, как Лига объединённых наций.
Я молоко не всегда пила. А кажется, что нормально:
И рост, и вес, и болезней воз, и — в плане материальном.
И вот теперь, ожидая, что перед лицом Твоим встанут
Все блохи болей моих и слабостей и самые давние раны,
Молчит моё сердце, окаменело. Оно ничего не просит.
Душе ничего не нужно. А тело идёт себе и гундосит.
И вспомнить почти что нечего. Кроме ткани да ниток с иглою.
Священник скажет: помстилось.
Но что было — то было перед Тобою.

• • •

На правом фланге толкучка, как и на левом.
Торговля обмером и весом.
Товар пропадает медленно, между делом,
Покупатели с маленьким интересом.
Правый фланг помоложе и поживее,
В сущности, он — та же Тишинка.
А предзимний ветер понемногу звереет,
И всё тяжелее моя корзинка.
И хорошо, если зима будет дружной.
От усталости ртом что попало намелешь.
А судьба скользит в направлении южном,
И на могиле моей написано: ты ничего не умеешь.
А Тишинка всё так же шумит, поднимает цены.
Тревоги — это по-русски. На сленге было — измены.
На любую беду у меня ответ:
Вы все дома.
Я, извините, нет.

Не время для искусства. За окном,
Не ведая о том, ваяет осень
Из меди и из бронзы ветви ив,
И старого каштана чёрный остов
Укрыт листвы сиянием последним.
Как мало красок. Сколько в них оттенков.
И самоликвидации кошмар,
В ленивый пригород непрошено пришедший,
Не виден за окном. А лишь каштан
С почти прямой принципиальной веткой,
Плечо весов старинных, под огнём
Согнувшееся дикой красотой,
Определяет времени границы.
К закату небо—словно медный купол,
А листья клёна по земле катятся,
Как странные звенящие шары.
В картине этой столько глубины,
Лишь в Подмосковье осенью явленной,
Что даже белый голубь дворовой,
Надежду источающий в полёте,
Не нарушает странного покоя
Задумчивого пламени. Каштан
Не в силах опустить руки. Зима
Не далеко, но и не наступает.
Не время для искусства. Но, пока
Осадок я великого великий,
Оно живёт. Задумчивое пламя—
Стихия, где назначено мне быть,
Пока осадок я, великого—великий.

Моё дело—хамить старухам
И покрикивать на детей.
Я последняя всем разруха,
Гневный голос живых частей.

Вы, рожавшие богатеев,
Вы, кормящие паразитов,
Стали ль ваши души теплее,
Стали ль ваши утробы сыты?

Вы, орущие не зверьками,
А намного зверья страшнее,
Вы—проклятие вашей маме
И ярмо у отца на шее.

Вы—зловестники позитива,
Покупавшие души на вес,
Вместо вас у черты прилива
Полумёртвый высится лес.

Даже те, кто изведал боли,
Даже те, кто отведал страха,
Знает о разрухе не более,
Чем районная здесь деваха.

Моё дело выше и тоньше,
Моё дело—беды опека,
Ибо здесь всех тяжестей больше
Бремя мелкого человека.

Анатолий Зябрев

Толька-охотник

Рассказы для детей

Новосибирское книжное издательство, 1959 *(переиздание)*

«Вовка Семёнов засиделся во время большой перемены в школьной библиотеке и чуть не опоздал на урок зоологии. В класс проскочил, когда Мария Львовна с неизменно толстым портфелем показалась в конце коридора. Откровенно говоря, Вовка не любил зоологию, он предпочитал литературу, так как собирался стать поэтом и уже имел свои труды—две стихотворные подписи под карикатурами в классной газете, чем очень гордился. Пробегая к парте, он дёрнул за рукав Седелкину, худую, узколицую девчонку, которая сидела, закрыв глаза, и что-то зубрила про беспозвоночных».

(Из рассказа «Стерлядь»)

Илья Новиков

Пора на млечный свет

Волынь

Остался памятник
И нежелание о прошлом знать.
Качнётся маятник,
И не дай Бог таким же прошлым стать.
Петляет лесенка
От вечной тьмы до златоснежных врат.
Гуляет песенка
Кузнечика меж сонных рощ и хат.
Согреет солнышко
Пристанища замученных людей.
Обронит зёрнышко
В травы венок певучий соловей.
Осядет высенец,
Укутав бахромой лесной ручей,
Огарки виселиц
И тени кровожадных палачей.
Качнулся маятник,
И не дай Бог нацизмом воспылать.
Остался памятник
Под тучами свинцовыми стоять.

Вора бей!

Висела капля над каскадом крыш,
Сверкая солнцем вымокшего дня.
Ей любовался ангельский малыш,
Ей щурилась на марше солдатня.

В себе она перевернула мир,
И он перевернулся в ней вверх дном—
Культурным очагом восстал фронтир,
А бедный стал приличным богачом.

Всмотрелись зеркала людей в людей,
Сбылись мечты, свершились чудеса.
Цвели цветы, лишённые корней,
Несли морскую пену небеса.

Вдруг каплю, отражающую мир,
Проворно выпил рыжий воробей.
Тогда с ума сошёл земной эфир,
Вещая шум: «Бей вора! Вора бей!»

* * *

Москва прощается с поэтами,
Умыв апрель дождём косым.
Москва смеряется планетами,
Катая их по мостовым.

Москва с поэтами останется
В печёнках, в сердце, в головах.
Кому беда, кому избранница,
Кому янтарь на облаках.

Человек замёрз

Я ступаю на хрупкий лёд.
Подо льдом моя песня спета.
В тихом омуте тёмных вод
Черти топят за лучик света.

Неуклюже скольжу по льду,
Притворяясь, что так и нужно.
В полусонном бреду бреду;
Обезличенный, безоружный.

По лицу бьёт колючий снег,
Лёд трещит, замерзают ноги.
Где-то должен быть человек,
Но вдали только пень двурогий.

Упираюсь в прибрежный вал.
Разбегаюсь, лечу в сугробы.
Так до ночи и проскакал
На краю ледяной утробы.

Отдохну и с утра опять
Попытаюсь забраться выше.
Засыпая, успел понять,
Что чертей под водою слышу.

Мне явился бродячий пёс,
Ткнувшись носом холодным в ухо.
Он сказал: «Человек замёрз»,—
А потом я лишился слуха.

Левиафан

Мы все приснились великану,
Заснувшему на облаках,
Чей сон, подобно океану,
Качает звёзды на волнах.

Качает влево—яхты топит.
Качает вправо—губит рыб.
А в штиль подобно квасу бродит,
Хватая солнечный бэд-трип.

На глубине штормит кораллы;
Во всех ракушках белый шум.
Нон-стоп пиратят бездну тралы;
В маяк заехал шоурум.

Мы все исчезнем, как фантомы,
Когда проснётся великан.
Ты, может, спросишь: «Слышь, а кто мы?»
Мы сонм его безбрежных ран.

Зима на Востоке

Когда-то я жила
На берегу Байкала
И вечное «бла-бла»
На веру принимала.

Теперь Байкал со мной,
Шипит в стеклянной кружке
Под фосфорной луной
В убогой комнатушке.

Теперь и я шиплю
Лисой дальневосточной.
Играю ритм-энд-блю
На трубах водосточных.

Мне вторит товарняк,
Мне подпевает вьюга,
И хор худых дворняг,
И даже центрифуга.

Я горе-дирижёр
Домашнего оркестра.
Леплю гряду озёр
Из дрожжевого теста.

Сигналю простынёй
На маленьком балконе,
Бессмысленной фигнёй
Страдаю в телефоне.

Всё стерпит Интернет;
Прикрасит все пороки,
И мой фотопортрет,
И зиму на Востоке.

Скорей бы ты пришёл
С работы ненавистной,
Пускай хоть трижды зол.
Мне нужен кто-то близкий.

Дивный мир

Знают ли камни, куда упадут?
Видят ли звёзды, куда нас ведут?
Нам ли неведомо бремя чудес?
Нами покинут родительский лес.

Помнят ли песни, о ком их поют?
Чуют ли судьбы, во что их вплетут?
Крутится-вертится над головой
Опыт, дарованный вечной тоской.

Верят ли сказки в плохие концы?
Делят ли царство живых мертвецы?
Море удачи волнуется—раз.
Море всё дальше и дальше от нас.

Прячут ли ангелы нужных людей?
Любят ли кроны держаться корней?
Хочется жить вопреки новостям,
Перерастая себя по частям.

Много ли жизней у наших имён?
Многих ли мы никогда не вернём?
Долго ли выгореть целой страной,
Лица друг друга запачкав золой?

Тает ли в небе последний закат?
Банят ли павших у замкнутых врат?
Вспыхнет чернящий узор над землёй.
Спи, дивный мир. Я прощаюсь с тобой.

Разговор о вечном

Так много темноты,
Но свет на кухне млечен.
Так много тем, но ты
Заговорил о вечном.

Пора на млечный свет.
Пора проветрить спальню
От запахов конфет
И тишины сакральной.

На кухню за тобой
Вползает самоедство
С квадратной головой—
Не лучшее соседство.

Скрывают свет углы,
Затягивая стены,
Вокруг табачной мглы
И мёртвой хризантемы.

Объят любимый сор
Пожаром многолетним.
О вечном разговор
Жужжит подбитым слепнем.

Татьяна Щербинина

Под небом бревенчато-серым

• • •

Красота и безмолвие—классика нашей зимы.
Мир безмерно суров, только нет безнадёги и грусти.
Молодильным весёлым огнём причащаемся мы,
словно древние русы.
Пусть ярится январь, обжигая стальным ветерком.
Выходя на мороз, даже хочется выкрикнуть: «Любо!»
Словно Пушкин, проказник, целует беспечным стихом
чьи-то юные губы.
В белой комнате—сумерки.
Штору чуть-чуть приоткрой:
на стекле и на сердце узор удивительный выткан,—
там взрывает бразды и летит по степи снеговой
удалая кибитка.

• • •

Потому что Господь—художник,
и Он хотел
рисовать этот мир
пастелью, но лучше—маслом.
Первозданная радость—жадно смешивать краски,
замирать перед белой вечностью на холсте.
Ещё миг—и лавина,
ветер,—всё, что внутри,—
станет робким мазком,
неловким наброском тверди…
Рисовать, рисковать,
восставать против косной смерти,
сквозь открытое сердце ликующий космос лить…

• • •

Замерзают и сопли, и слёзы.
Не согнуться уже, не вздохнуть.
Привыкай выживать на морозе
как-нибудь.
Рукавицы—почти из металла.
На ресницах висят кружева.
И не больно, и ты не устала,
и—жива.
Лучше лес, лучше белое поле,
Чем людское безмерное зло.
—Красна девица, любо? Тепло ли?
—Ой, тепло!

• • •

Мир—старый добрый пятистенок.
У снега тысяча оттенков.
Синицы, весело затенькав,
клюют пшено.
Январский лес монументальный,
лес богатырский, лес брутальный.
Хрусталь, и тишина, и тайна—
всё сплетено…

Застыли ёлочки-ракеты,
густые сны свисают с веток.
Скажи, откуда столько света
в лесной глуши?
Дороги зимняя палитра
огнём серебряным облита,
и очаровывает ритмом
живая жизнь.

Старая пластинка

Тронуть иглой
пластинки гибкую плоскость.
Голос живой
в зазубринках и бороздках.
Старый конверт,
кажется, тот же самый…
Выключен свет.
Папа танцует с мамой.
Мир молодой.
(Всё, что отнято,—свято!)
Год-то какой?
Верно, восьмидесятый.
Редкий снежок.
В тихом театре тени.
Точно ожог—
тайна прикосновенья.
В чёрном кругу
блики, хвоинки, льдинки…
Я не могу
остановить пластинку.

Одержимые

С одним топором через горы,
Леса—одержимые, шли.
Они не страшились простора
До самого края земли.

Под небом бревенчато-серым
Бил ветер свинцовый—в висок.
Вела их угрюмая вера
И воля—вперёд, на восток!

Смогли уцелеть, и согреться,
И выжить, и сказку сложить.
Не больше, чем русское сердце,—
Страна, где нам выпало жить,

Где предки плясали и пели
Без валенок и рукавиц.
А мы всё бежим от метелей
В крысиные норы столиц

И дальше—в кошерные страны.
Там в сладком тумане сиест
Вдруг вспыхнет простор—первозданный,
Скуластый, родной, нежеланный,
Раскольничий яростный перст!

• • •

От первых рубцов и отметин
До самого судного дня
Твой голос—из юности ветер—
Волной накрывает меня.

И вновь, зачеркнувши рассудок,
В глазах твоих вижу весну,
И знаю, что счастья не будет,
И руки навстречу тяну.

Не плачу, не жду, не ревную…
Пусть сердце идёт с молотка.
Рябина твоих поцелуев
Ещё горяча и горька.

Сумерки

Сумерки. Лес.
Чёрные крылья ёлок.
Медленный блеск,
неба жемчужный полог.

Матовый снег.
Воздух стеклянно-сизый.
Контуров нет,
словно снимаешь линзы.

Белая шаль—
воздух—покой и пламя.
Плачет душа
между мирами.

• • •

Яблоко пахнет яблоком. И—соблазном.
Такое, наверное, когда-то кусала Ева.
…Помнится точно: яблоко было красным,
Солнце смеялось в листве, шелестело древо.

Помнится точно: был август. Роскошный август.
Падали двое, познавшие невесомость.
Господи, прости меня! Ты неправ был,
И ни при чём дурацкие хромосомы.

Евой наивной, нежной, неосторожной
Сам Ты меня слепил из чего-то там, но,
Ластясь к родным ногам золотистой кошкой,
Я Тебя любила, а не Адама.

Это же Ты научил меня быть такою:
В сильных руках трепетать, гореть, не сгорая…
Яблоко пахнет яблоком. И—любовью.
Тот, кто вкусил, навсегда уходит из рая.

• • •

Подняться в пустоту над серыми домами,
Подпрыгнуть и разбить
Небесное стекло.
Поэзия—огонь, который над словами,
И больше ничего.
Тревожит по ночам бессовестною кошкой,
Царапает, скребёт и будит просто так.
Покой недостижим.
Жить с нею невозможно,
И без неё—никак.
Поэзия звенит нездешним, вешним звоном.
Бьёт ветер в барабан, и жизнь не дорога.
Мы—рекруты её.
Чисты наши погоны,
Как русские снега.

• • •

Так стрелки обнимались на часах—
Чтоб вместе быть—хотя бы на мгновение.
Слова соединялись в небесах
В стихотворение.
И облака—седые корабли—
Входили в гавань зимнего заката.
А мы с тобою рядом тихо шли
Под снегопадом.
И снег мерцал, и музыка звала,
С хрустальной тишиной перекликаясь…
Сливались два серебряных крыла
В единый парус.
Я помню всё… Так больно, горячо
Ладонь мою нечаянную стисни—
Как будто будет что-нибудь ещё
Там, после жизни.

Иветта Лишенко

Твоя далёкая, душою близкая

* * *

Этот квест кисловодский повторить бы ещё!
Вдоль по парку гуляя, ощущая плечо,
Что надёжнее клятвы, что роднее, чем дом,
И самой растворяться в светлом взгляде твоём.
И нет слов под копирку, лишь от сердца слова,
А на горной вершине кру-жит-ся голова,
От весеннего ветра чувств пылает костёр!
Этот квест кисловодский—наших душ разговор.

К тебе

Твоя далёкая, душою близкая,
Опять в июнь иду под тучи низкие,
Под яблонь белый дождь, под снег черёмухи,
А ночью сны спешат беззвёздно-тёмные,
Но утром солнца свет скользнёт заманчиво…
Как жаль, что встреч огни опять обманчивы!
Спасенье—сотовый, чат с перепиской и…

Ты так далёк-далёк, но сердцем близкий мне!

Долька апельсина

Над соседним домом долька апельсина
Аппетитно смотрит из чернильной сини,
Светит, словно солнце, на ночных прохожих,
Что идут в обнимку, так на нас похожи…
И сочатся сверху цитрусовым соком
Сны о чём-то важном, светлом и высоком.
Верю, их увижу, и к тебе, любимый,
Сон придёт о счастье, в жизни негасимом.

* * *

Помолиться хочу за тебя, за себя
В горький час, когда сердцу немило,
И вдохнуть от лампадки искринки тепла.
Ты почувствуй их дюжую силу!

Попрошу у Всевышнего счастья, добра,
Сколько нам предначертано свыше.
…И сожжётся тоска непременно
Дотла!
Веруй!
Голос мой будет услышан.

Весенние каникулы

Давай уедем в Нальчик, в Теберду…
Забудем про блицкриги и работы,
Не Пятницей я буду, а—Субботой.
Жди, Робинзон, сама к тебе приду.

Необитаем остров райских кущ!
Звенящий воздух, колокольни счастья…
Наш мир далёк от низменных напастей,
Но как крепки объятья близких душ!

Исхожен Кисловодск, Ессентуки…
И Пятигорск, с Остапом у Провала.
Уже отъезд, суббота, время—мало.
Мой Робинзон!
Такси—и… взмах руки.

Облака

Облака—точно белые птицы,
Что спешат неизвестно куда.
Как душа хочет с ними сродниться,
В даль взметнуться, что столь высока!

Облака, изменив очертанья,
Опереньем устлав небосвод,
Как крылатая стража, в молчанье
В райский храм охраняют проход.

В марте

Светлеет небо голубое
В мерцании высоких звёзд,
А к вечеру спешит мороз
По зимней памяти в былое.

Тьма занимает повсеместно
Остекленевшие пути…
Спешу к тебе… Нет! Не дойти!
Лишь мыслью трону поднебесье.

Валерий Неудахин

Я найду тебя

Гармонист

Дед Иван стоял на пороге бани и перебирал ногами под мелодию, исполняемую на гармони. Да и как не перебирать некогда лучшему гармонисту на селе, когда за околицей у озера слышна хромка? Это что же за шельмец появился в нашем околотке, такие выводит коленца? Заслушается любой, а тут бывший и бессменный исполнитель. Ревность говорила в хмельной голове, и никак не мог с ней справиться старый. Он сегодня казался сам себе добрым к окружающему миру: к берёзам, бросившим на потную землю первую желтизну; к сельчанам, что копали в выходной картошку в поле; к старухам, устроившим разговорный балаган у магазина по поводу привоза свежего товара. Секрет такого благодушия объяснялся просто: удалось-таки незаметно просочиться в дальний угол огорода, где хрен листвой переваливался через плетень. А там, в потайном месте, рядом с третьим столбиком от угла, закопана в земле бутылочка красненькой. Из неё он и хлебнул от всей русской души, потому и деловито снуёт возле бани, поленницы дров, возле кадки с водой, дабы бабка не спохватилась.

Но та увязалась за кумой, и, наверное, не первую сплетню у порога сельпо обсуждают. Вот и вышло ему раздолье да просветление от сумрачной временами погоды. Второй раз отхлебнул из бутылки спокойно, размеренно. Так сказать, с полным осознанием того, какое удовольствие ему выпало. Остатки запечатал пробкой и в глубину хрена опять-таки закопал. Сорвал и пососал запоздалый помидор, тронутый ранними заморозками, крякнул от удовольствия, распиравшего изнутри, и принялся топить баню.

Но главное-то, конечно, не это событие. Гармонь! Кто так уверенно выводит ноты? Отродясь такого не слыхивал. Ивана никто не в состоянии переиграть. На спор с парнями в молодости исполнял целый день без остановки, вся деревня приходила посмотреть, кто в споре прав окажется. Такие коленца выкидывал — голова кружилась от удовольствия. Победил! Девчонкам голову вскружил. У туфель каблуки отлетали, как перепляс барышни вели. Тонкий слух его поймал небольшой сбой, Иван поморщился, словно свою оплошность допустил. И тут гармонист вдарил камаринскую, так ловко мелодия повелась, заливаясь и удивляясь звукам, издаваемым ею самой. Переборы ускорялись и ускорялись. Мелькнуло: ведь собьётся сейчас. Запереживал за незнакомого исполнителя дед, да даром. На самой верхней ноте запела и зазвенела, уводя с поляны к реке. Как он в прежние времена уводил за собой. Стихла, а спустя секунды полилась печалью: «Извела меня кручина…»

У Ивана невольно заломило пальцы в суставах, поднёс к глазам руки и внимательно поглядел. Громадные утолщения в соединениях фаланг, болящего вида подушечки, бугристая тыльная сторона, изрезанная реками и ручейками вен. От морщин и свободного места не найдётся. К тому же трясёт их лихоманка: что ни возьмёшься делать — с трудом управляешься. Смех сказать: за стол сядешь и ложкой в рот попасть не можешь. Только морковь сеять. Какой тут — гармонь в руки взять, стоит, родимая, с десяток, а то и более лет на почётном месте. На комоде, накрытая вязаной салфеткой.

Сколько себя помнил, столько с гармошкой и представлял. Дед передал наследство, как старшему внуку. Он и игре обучил, хитростям разным. Гармонь одна на всю деревню — пуще глаза берегли. Времена сложные выпали на молодость: борьба с международным капитализмом, с разными внутренними врагами. Простой народ понять, почто сегодня врагом стал тот, кому ещё вчера в ладоши хлопали, — не мог. Но в силу обстановки, сложившейся по всей стране, понимали: хлеб отдать надобно, чтобы станки покупать, вырваться вперёд и победить супостата. Да и кто особо сопротивлялся? Всякое упорство с властью обходилось болезненно.

Припрячут, бывало, хлебушек в ямы, в потаённых местах вырытые, надеются не помереть от голода. Придут уполномоченные государством люди и приглядываются. Как хлеб изъять? Явно попрятали. А чего присматриваться, коли все друг дружку знают и даже место схрона указать могут? Отец собрал детвору на пыльном дворе, Ивана играть заставил, а остальных детей плясать. Кто без рубахи, другие и вовсе без штанов. Сопливые и грязные — что с таких взять? Да хитры люди, что государством назначены хлеб изымать. Это понять надобно, им тоже жить хочется, не он — так его.

За правило взяли: коли дети живы, не перемёрли с голода, значит, есть в доме хлеб: а тут такая орава. Отцу невдомёк, а они пытают у младшенького. Мамку с тятенькой поставили и у них на виду мальцу ручонки выкручивают. Не выдержал отец: что так, что эдак изведут до смертушки. Повёл к яме в рощице берёзовой.

В тот год выжили благодаря тому, что мать схитрила и вторую ямку от отца тайком устроила. Небольшую, да запаса гороха, проса хватило, чтобы выдюжить. Хорошо, не отправили по этапу в болота Нарымские, других не миновало. Уехали люди и пропали. Спустя время вернулись некоторые, угрюмые и молчаливые.

Благодаря гармони их семья не попала на баржу в долгий путь к Северу. Молодой председатель свадьбу праздновал, играть позвали Ивана. Ему не хотелось такого присутствия, невдомёк, чего это отец настаивает, чтобы отыграл. Только спустя годы окончательно понял, что семью глава спасал от северного свежего воздуха. После праздника записал председатель семью как активистов колхозной жизни, и случай со спасительной ямой забыт оказался.

Подсел во хмелю к молоденькому гармонисту и выдал сокровенное:

— Я ведь, Ванятка, собирался списать с баланса вашу семейку. Документы готовил на отправку на поселение. Хорошо играешь, молодец. Считай, спас семью-то. Ну а теперь живите, разрешаю!

И налил бражки стакан, заставил выпить. То первая порция питья хмельного для мальчишки оказалась. Выпил, чтобы страх погасить, на второй день меха растягивал, хотя болела голова. С той поры ой сколько выпито! Нет, не злоупотреблял, он и сейчас не грешит. А тайком от Клавы, жены своей,—так оттого, что беспокоится она за сердце больное его:

— Мне, Иван, без тебя жизни нет на этом свете. Как я одна? Ты побереги себя, вместе уйдём, как срок подойдёт.

Он ведь фронтовик. Почитай всю войну протопал в пехоте от Москвы и до Берлина. Как напал немец, в военкомат пришёл, да военком завернул:

— Куда ты собрался? Что, думаешь, на парад? Крови и на твоём веку доведётся насмотреться. Не приписывай годы, на следующую осень приходи.

Не утерпел Иван, собрался и тайком, напрямки через поля и сенокосы, до станции ушёл. Там и забрался скрытно в вагон с лошадьми. Они и прикрывали его несколько дней, в сене прятался, пока не обнаружил дотошный младший лейтенант. Вывели его на станции, поставили перед большим чином, полковником, ответ велели держать, куда путь держит и как в поезде оказался. Рассказал всё как на духу, да обидно—расплакался от бессилия что-либо доказать. Военный начальник снять приказал с эшелона.

Стоит состав, дожидается сигнала на движение, в штабном вагоне на гармошке солдатик пиликает, играть учится. Попросил: дозволь с горя напоследок сыграть вам? Взял инструмент, привычно пальцы по клавишам пробежались. «Семёновну» выдал, словно ахнул, да так, что в пляс солдатики пустились. Перебор на переборе—такие наигрыши вспомнил! Подошёл политрук:

— А можешь про войну?

Заиграл: «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой…» Иван научился подбирать музыку. Чего не исполнить? Лица людей преобразились, сгрудились возле гармониста. Хором запели. Полковник на просьбы политрука махнул рукой:

— Под твою ответственность!

И поехал Иван на фронт, Родину защищать. В морозы и в жару, в дожди и в метели топал, выполняя свою солдатскую работу. Не стеснялся пулям кланяться, но и не прятался за последний бугорок. Награды имел, на особом счету у командования числился. Оказался в разведке. Уйдут иной раз в тыл, обратной дороги не видно. Ходят по вражьим позициям, дома потеряют давно, только по рации сведения получают.

А как выберутся к своим, гармошка зазвучит в землянке—и печаль, и удаль выскажет окружающим берёзам да осинам, привет песенный посылает домой вместе с треугольником полевой почты. Сам Иван петь не умел. Вернее, умел, но голос отсутствовал. Заиграет—и инструмент будто бы словами разговаривает. А бойцы пели! Вспоминая перелески, поля и огороды родных деревень: у кого попавшие под оккупацию, у кого—в далёком тылу. Пели с печалью о любви, оставшейся дома на тяжёлой работе. Оно понятно—и на фронте тяжело, да бабёнок жалко: надорвутся, а им ещё рожать, чтобы детьми численность населения страны поднимать.

Дошёл до столицы вражеской ни разу не ранен. Видно, хорошо за него матушка по ночам молилась, поклоны на праздничный угол отбивала, иконы-то в доме сильно не разместишь. Тогда деревни в рощах и в лесах молились. Оплакивали павших, здоровья желали стоявшим в строю, терпели! Терпели! Будь Иванова воля—над каждой избой поставил бы купол и ангелов попросил летать.

Отыграл на ступенях Рейхстага, отплясали на радостях товарищи по оружию, да просто война не прошла мимо. Собирались домой, а пришлось на Дальний Восток мимо дома проехать, самураев бить. На востоке-то пуля и достала Ивана. Несерьёзно, но пришлось отлежать в госпитале, чтобы домой отремонтированным вернуться. А когда отступило дневное светило, порвала сумерки мелодия. Всё село ощутило: гармонист вернулся. Зиму на вечёрках играл: днём трудился, а к вечеру зазывали поиграть. Соскучился народ по нормальной

жизни да по песне русской, что душу перевернёт своими напевами.

Там и приметил Клавдию. Худенькая, после войны сильно справных не найдёшь, а эта подавно светится. Плясать любила, всякого в переплясе угомонит. С Иваном завязались отношения, ни на шаг не отходит, прислонится головой к плечу — у гармониста сердце замирает. Изредка не выдержит, посмотрит жалостливо в глаза, испросит разрешения: припустит в пляс — не остановишь. Мужиков в деревне мало осталось, только деды на завалинках сидят. За фронтовиками увивались, на женитьбу рассчитывая. Но на всех не наберёшь, на поле боя остались. Бабёнки встречались, которым и минуточки счастья в достатке, большего не просили. Но Иван любил свою ненаглядную, не смел её обидеть не только отношениями на стороне, даже взгляда косого на холостячку не позволял себе.

А что? Дружно прожили, дети в городе, дед с бабкой на лето внуков принимают. Только не смог Иван передать искусство игры на гармони по наследству. А сейчас поздно, сам боится в руки взять, стоит теперь на комоде, не тронута, не обласкана пальцами музыканта, хромка любимая, раньше такие северянками называли…

А в наступивших сумерках звала гармонь, полились страдания, зазывая за собой в берёзовую рощу. Деда разобрало любопытство: кто посмел переиграть старого гармониста? Он нашёл лаз в плетне, обжигаясь крапивой, пробрался и тихо подошёл со стороны. Не выходя на свет, замер. Молодые девичьи голоса чисто выводили песню, поддерживая музыканта. Кто же таков? И увидел на лавочке мальчишку лет пятнадцати, растягивающего меха и перебирающего клавиши-пуговки. Вот шельмец! Чего творит-то! Да как ловко у него получается, душа задохнулась от восторга! А новые коленца всё вырывались из инструмента. У деда покатилась слеза, и он, боясь себя выдать, попятился назад к спасительному лазу.

— Ванюша, пойдём на речку, — послышался задорный голосок.

— Иван, Иван! Да ты где запропал? — звала жена…

Надо свою хромку отдать мальцу. У неё голос золотой, сейчас таких нет. Чего ей молчать в доме? Гармонь играть должна, чтобы вокруг неё жизнь радовалась!

Табун

Зимняя проза природы разукрасила алтайские просторы. Холодный воздух предгорий упал на местность изморозью. Голубоватая от лёгкого мороза дымка слилась с чернотой восточного горизонта и высыпалась богатым инеем на перелески, на урему, на кусты и высокие стебли сухой травы. В светлом от белого снега пространстве серебром осыпалась из тёмного неба остывшая влага и ложилась в немыслимых морозных узорах на любую горизонтальную поверхность. Симметричные изломы снежных завитушек ловили невесть из чего лёгкий, невесомый свет и выкрутасами и загогулинами подчёркивали пространство вокруг веток и стеблей.

Чуть ниже, возле воды, так и не сумевшей замёрзнуть в перекатах небольшой реки из-за тёплого не по погоде января, поднимался туман. Клубы белоснежной ваты не устремлялись высоко, а, сталкиваясь с холодным воздухом, нависали вдоль русла, показывая на местности повороты шумевшей течением струи. Кусты и деревья вдоль уреза воды, получив дополнительную влагу, собирали на себя иней и заплетали узенькие длинные косички из мелкого крошева белизны. Каждая палочка покрылась золотистыми нитями руна и покачивалась от тёплого воздуха, исходящего от влаги.

Косогор под снегом, но в таком тёплом воздухе засыпан не пушистым покрывалом, а слоем мелких замёрзших капель, цеплявшихся за свою жизнь и за стебли травы. Живность, срывая такую для еды, дополнительно получала необходимую порцию воды.

Вскоре из глубины неба замерцали звёзды, довершив картину природного благоденствия, вывесилась узенькая полоска месяца, говорящая о приближающемся новолунии. Словно опрокинутая пиала выливала Млечный Путь, протянув его за черту горизонта. Этой туманной небесной дороги как раз не хватало для полного торжества линий и изгибов, узоров и орнаментов леса и поля.

На склоне пасся табун. Лошади привычно и без боязни ходили по косогору, разыскивая под снегом траву. В кучу не сбивались, чтобы не мешать друг другу. Молодые жеребцы развели в стороны небольшие косяки и внимательно наблюдали за кобылицами и жеребятами, огораживая своих от чужого поголовья и не допуская смешивания. Этот установленный веками порядок соблюдался беспрекословно, ссор и драк из-за кормов не вспыхивало. Лишь в весенний период друг перед другом распляшутся, красуясь перед кобылицами, табанят ногами, заполнят ржанием окрестности. Знай — пришла пора о поголовье задуматься. Вот в такое время лучше не подходить к косяку ни животному, ни человеку. Ненароком затоптать могут.

Тихо. Серый в яблоках, с длинной шерстью, жеребец, поднявшись выше своего табунка, внимательно наблюдал за окрестностью, чтобы своевременно увидеть чужака. Голова мерно опускалась вниз за очередной порцией травы, но по напряжённым мышцам и по отведённым назад и в сторону ушам видно, что бдительности не теряет и находится в готовности. От дыхания морда покрылась инеем, осевшим на каждом волоске. Длинные ресницы загнулись от тяжести снежинок,

из-под них—внимательные и широко раскрытые глаза. Куржаком покрылось тело, оттого и шерсть длинная у алтайских лошадей, помогает морозы переносить. Под снежной коркой тепло держится, не отдаётся пространству, прослойкой не позволяет холоду проникать к телу.

Рядом кобылицы и жеребята: отъёмыши, годовики и двухлетки. Его потомство, которое продолжит род и понесёт гены в другие табуны. А сейчас молчаливо, едва слышно пережёвывают траву, мохнатыми снежными фигурами нагуливают вес. Не первый год таков порядок. Взбрыкнёт от восторга и переполнивших чувств какой однолеток—мать быстро успокоит: позовёт тихим ржанием. Не куролесь, будет время. А сейчас не теряй тепла да насыщайся для роста. Вот прыгнул пружиной распрямившийся двухлеток, задел крупом молодую берёзку. Осыпалась белым водопадом, напугала неопытного, завалила снежным сугробом. Запрыгал, чтобы освободиться от кучи, попал в занос, рассмешив кобылиц. Заржала одна, другая. И вновь тишина!

Прикрывает табун невеликий размерами лес, ветру не разгуляться, да и нет его особо, далеко слышно. Вот зажужжали со стороны вершины, словно шмели, снегоходы. Лошади знают этот звук. С ним появляется рядом хозяин, заботливо осматривая табун. Насыплет соли, кому-то перепадёт краюха хлеба. Жеребец любит, когда его похлопают легонько по шее, потеребят ласково за уши, прижмут голову к пахнущему домашним теплом полушубку. «Ты уж смотри! За порядком-то»,—попросит хозяин. Откинет хвост коняка, запляшет на месте. Голову высоко поднимает и карими глазами смотрит на кормильца. Ушами прядает, слушает доброе слово…

Они собирались сумрачно и зло. Готовили оружие и боеприпасы, глушители на карабины. Оптика для такой «охоты» не нужна, снимали и откладывали в сторону. Патроны с пулями, полный патронташ, распиханы по карманам по возможности. Должно хватить для такого. Два снегохода прогреты и стоят у дверей зимника.

У кого возникла эта идея—поквитаться, не помнил никто из четвёрки. С чего началось? Удачлив в разведении лошадей оказался конкурент. Каждая кобылка по весне с приплодом, падежа нет, быстро продаёт лошадей, рука лёгкая. В туристический бизнес требовались животные, конных маршрутов по горам много, пользуются спросом у отдыхающих. Из соседнего Казахстана приезжают покупатели, для них лошадь и подавно первый друг, кормилец. Брали хорошо.

Зависть проскочила у Чики, кличку он получил в детстве в азартных играх. Увидел однажды пачку денег в руках конкурента, рассчитались с покупателями из сопредельной страны. Не нужно это делать на виду у посторонних, да так вышло. Ненавистью полыхнуло, а отчего—сам не понимал. Постреляю лошадей, один коннозаводчик останусь. Убийство, не убийство—об этом не думалось. Странный этот мир, где двое смотрят на одно и то же, а видят противоположное. Запало в душу: почему сосед удачлив, а у меня не идёт так дело? Помощники за умеренную плату быстро нашлись. Бродило в голове: стоит ли так безжалостно учить? Но после того как задаток уплатил, обратной дороги не виделось. Долго выбирали ночь, сегодня решились. Распили бутылку водки, без закуски, из горлышка. Торопились.

Снегоходы на малых оборотах, такое дело не любит шума, поднялись от зимовья в гору, покрутились по склонам и перелескам, запутывая следы. Несколько раз останавливались, глотая холодную водку, стараясь задурманить мозг, который сверлило одной мыслью: зачем идём? Наконец повернули и направились к месту…

Разбитые на отдельные косяки кобылицы мирно паслись, не пугаясь присутствия человека. Люди зашли со стороны горы, отрезая пути отхода и прижимая табун к деревьям на опушке леса. Лишь почувствовал необычайность серый в яблоках, закружил табунчик, потом гордо поднял голову и пошёл на приближающегося человека, вступая в открытое противостояние. Громко затопал передней ногой, выражая протест и неудовольствие. Да сбили с толку ласковый голос и рука с коркой хлеба, протянутая в его сторону. Успокоился, поводил ушами, потянул пушистую от инея морду в сторону подходящего. Человек дал взять хлеб!

Хлопнуло и ударило больно в бок, под лопатку. Выпал хлеб, взятый одними губами, жеребец, почувствовав слабость, осел на передние ноги, не в силах поднять голову от земли. Большие глаза безучастно увидели приближающийся снег, заломило шею, и уже угасающий взгляд увидел, как упала в нескольких шагах от него рыжая молоденькая кобылица. Он отчётливо понял всё, хотел заржать, предупреждая об опасности, но лишь захрипел. С последней мыслью, пролетевшей в воспалённом мозгу: «За что? Ведь она жеребая! Обоих убиваешь!»

Лошади с жеребятами не поняли происходящего и тянулись губами к человеку. Когда упал их предводитель, затем молодая кобылка, проявили тревогу. С широко распахнутыми глазами, дёргая ушами и шумно выталкивая воздух через ноздри, закружили на месте, прикрывая детей. Затем после хлопка оседали на снег и заваливались на бок, после падения успевая несколько раз перебрать ногами в предсмертной судороге, «убегая и уводя за собой жеребят». Далеко! В небеса! А отъёмыши пятились несмышлёно в лесок, увязая в сугробе. Перебирали тоненькими ножками, затем подламывались в коленках и утыкались в сугроб головой и грудью. Двухлеток попытался прыгнуть в сторону, да метко стрелял негодяй—влёт бил, достал

в прыжке. Так и замер, угодив головой в небольшое разветвление веток. Повис, взбугрив под собой снег, да невольно струёй мочи окропил белое.

Подумалось Чике: «Хватит, пора остановиться!» — да не сговорились заранее, и напарники продолжали стрелять, хлопками обозначая место. Внизу склона вдвоём положили несколько кобыл, те упали, перегородив пути отхода. Повести молодь некому, и та табунилась, не найдя прохода среди стволов берёз, на одном месте. А люди в белых маскхалатах увлечённо били с руки, посылая пули одну за другой в податливое тёплое тело. И вот уже парит от горячей крови, дурманит без того пьяные головы.

Поднявшись на задние ноги, покрывшись по́том от стресса и гнева, пошёл взрослый жеребец на обидчика, перебирая передними копытами. Успел ударить в плечо и выбил карабин из рук. Хоть какая-то надежда, да второй ударил пулей в бок одной и второй; упал, придавливая телом человека. Хоть таким способом оградить несмышлёнышей. Третий выстрел остановил движение.

— Вот зараза. Кровью испачкал маскхалат, — и, выбравшись из-под туши, со злости пнул в бок уже неподвижного, мёртвого защитника табуна.

И только тут тоненько заржала недобитая кобыла, задёргала ногами и завертела головой, отчаянно скосив глаз на лесок. В её зрачке отразились звёзды и Млечный Путь, ведущий в вечность. Белое поле с чёрными буграми, разрыхлённый снег и четыре белых человеческих фигуры. Пар над неостывшими телами, поднимавшийся в темень, и души лошадей в белом мареве, с широко открытыми от ужаса глазами, устремившиеся вверх.

Оглядев поле с расстрелянными лошадьми, содрогнулись вдруг убийцы и бегом кинулись к снегоходам. Отъехав пару километров, остановились, открыли бутылку водки и принялись глотать, словно пытаясь утолить жажду. Чика трясущимися руками всё не мог попасть горлышком в глотку, жидкость текла по подбородку, по шее, по рукам. А его трясло до стука зубов.

Остыли тела, остыла кровь! Перестало парить, обозначая место гибели лошадей и жеребят. Пятьдесят три тела покрывались инеем от утренней прохлады. Посыпал мелкий снежок, присыпая белым чистым цветом место убийства, заметая человеческие следы и следы снегоходов. Первый луч заискрил в ветвях берёз. Возвращалась с утром на землю красота природы. Жаль, не увидят её жеребцы и кобылки, дети одного да двух лет, да тем более те, кто не успел родиться и погиб с матерью в её чреве.

Послышался звук приближающегося снегохода…

Я найду тебя

Они прощались у входа в аил, человек и волк. Всё селение засвидетельствовало это расставание, невольно вытирало украдкой слёзы. Старый Эсен — живой, здравствующий уважаемый кайчи, рассказавший за долгую жизнь массу интересных историй и легенд жителям посёлка, гостям и строителям дороги, и Бору — волк, его верный соратник по охоте, а в последнее время — поводырь для почти ослепшего старика. Отца забирал в город на жительство младший сын, давно основавшийся в большом селе, стоявшем у истока дорожной ленты под названием Чуйский тракт. Забрать бы Бору с собой, да не найдётся волку место в городской квартире. Потому и приняли столь тяжёлое для всех решение — разлучить. Пусть животное останется в привычных условиях, а слабовидящему старику уже не справиться с обязанностями по дому. Охота и подавно заказана.

Старик встал на колени и протянул перед собой руки. Не звал Бору. Ждал, и трясущиеся от переживаний кисти молотили воздух, пальцами отыскивая жизненную опору последних лет. Волк медленно подошёл, потянул носом, привыкая к запаху нового халата, опустился на брюхо и пополз в направлении деда, виновато опуская морду к земле.

Руки человека прикоснулись к голове животного, и кайчи тихо и невесомо запел, грустно и жалобно. Так поют, прощаясь с друзьями навек, при отсутствии любой надежды на встречу в будущем. Пальцы погрузились в густую шерсть, старик перебирал ими, любовно поглаживал уши и нос, трепал за шею. Слёзы катились из давно не видящих глаз, тряслись губы неведомо отчего: то ли от злых обстоятельств, требующих разлуки, то ли от жалости к животному, которое явно не сможет жить с другими людьми.

Бору подполз к старику вплотную, потёрся головой о плечо и осторожно лизнул шершавым языком лицо. Затем принялся вылизывать слёзы товарища, жалобно подвывая так, что мурашки у окружающих по спине просквозили. А солёная вода всё бежала по лицу, и не хватало движений языка, чтобы прекратить боль расставания. Плакали оба! Наверное, не придётся увидеться в этом бренном мире. У изгороди в голос запричитали старухи и бабы, не в силах видеть этой сцены.

— Нет, не могу больше, сердце порвётся, — сын надел ошейник на волка, никогда не знавшего такое ограничение свободы, и протянул ремень стоявшему рядом родственнику.

Волка отвели к столбу, врытому посреди двора, и закрепили цепь в кольцо. Эсена усадили в машину, и пока прощались с жителями селения сын и внук, он всё поднимал голову и тянул шею, чтобы услышать и почувствовать рядом верного друга. Наконец прощание завершилось, хлопнула дверца автомобиля, надёжно отгородив Эсена от Бору, и машина выбралась на тракт. В этот момент рванул цепь волк, и округу разорвал вой

животного, полный отчаяния и боли. Наблюдавшие сцену прощания поспешили домой. Шли, втянув голову в плечи от понимания безысходности ситуации. Казалось, обеспечена бессонная ночь. Не даст покоя волчара. Только ошибались: Бору лёг в пыль, положил голову на лапы, взгляд его потух, и он замолчал, словно умер для окружавших его людей…

Мальчишкой Эсен повадился ходить на охоту с мужчинами. Ружьё уже доверяли, но больше приглашали для рассказа историй. Таким образом охотники общаются с ду́хами, ублажая песней и выспрашивая разрешения на добычу зверя. Малец, при наличии хорошей памяти, занимал почётное место у костра, получал долю от добычи и кормил мать. Как хозяин дома. Отца в молодости задрал медведь-шатун, встретились на перевале и не смогли поделить дороги. Легенд, песен и историй набиралось всё больше, желающих послушать прибывало, и Эсен пел уже и для приезжих, для водителей Чуйского тракта в Доме шофёра. Его любили за безотказность, петь мог бесконечно, не повторяясь. Многим помогла его песня, вылечивала души, кромсала болью за судьбу Горного Алтая. Бежали годы, появилась семья, вместе с ней дети. А он продолжал петь, вспоминая, что истории его слушали и на войне на привалах. Он прошёл фронты и получил ранение в голову, которое заставило забыть об охоте, зрении, но не о песне. Два сына имели семьи. Любимая Айгуль, вечная жена и спутница, давно оставила его в этом мире и перебралась к Ульгеню на небеса. Эсен бродил по привычным для него горкам возле селения, изредка удаляясь по знакомым с детства тропам. Свободно ориентировался и безошибочно угадывал направления. Ловил лучи солнца, чувствовал дуновение ветра, слышал крик орла в небе и писк пищухи в камнях. Что ещё нужно счастливому человеку?!

В одном из таких путешествий забрался высоко к снежному перевалу. От ощущения восторга перед природой, наполнившего душу наслаждения присел на камень и запел о том, как могуч и обилен Алтай. Какое дарит благо каждому, кто с ним соприкоснулся. Не услышал, а почувствовал кожей тоненький писк из-за камня. Обошёл останец и различил волчью нору. На пороге лежало три бездыханных тельца волчат, погибших от голода. Мать, видимо, попала под отстрел и не вернулась домой. Упираясь головой в грунт, пытался шевелиться ещё один кутёнок. Жив! И Эсен принялся кормить маленького хищника молоком, захваченным в дорогу. Насытившегося щенка сунул за пазуху и пошёл домой.

С той поры не разлучались. Волк вырос, а когда дед совсем плохо видел свет, превратился в поводыря. Деньги не нужны, пропитание для жизни сам добывал. Туристы приезжали послушать искусство пения. Занятие в удовольствие. Гиды исправно платили, ведь современный туризм на коммерческой основе строится. Деньги перечисляли на карточку, которая непонятна и хранилась у сына. Пришёл момент, от которого не уйдёшь и не скроешься,—совсем дедушка зрение потерял. Повезли его к врачам и в подходящие условия жизни. Заботу нужно понимать и принимать. Но как сыну объяснить, что наилучшее место для Эсена—горы?

Бору терпеливо ждал, отрешившись от мира. С отъездом старика он потерял всё, душа не хотела с этим мириться. В голове давно созрел план побега. Он будет бежать по дороге, не важно сколько, но догонит старого Эсена. Прижмётся к нему головой, даст запустить руки в шерсть и примется любовно урчать, слушая добрый, дребезжащий от старости голос. С наступлением темноты поднялся и подошёл к ненавистному столбу. Поглядел на него и, распаляя себя желанием свободы, впился зубами в древесину. Выхватывая и выплёвывая щепки, вновь и вновь вгрызался в треклятое тело бревна. Лиственница подавалась медленно, уж слишком плотные волокна. Но он рвал куски всю ночь и под утро почуял едва уловимый смолянистый запах—значит, близко сердцевина. Волк подошёл к столбу и рванулся в сторону, натянув до звона цепь, несколько раз повторял попытку, пока не покачнулась преграда и не завалился столб на землю.

Бору побежал в сторону дороги, туда, где хозяина посадили в машину и отгородили дверью. Сзади гремела цепь, путаясь в стеблях растений, мешала движению. Когда выбрался на асфальт, полегчало; привязь гремела за ним, выдавая нахождение животного.

Первые три дня он спешил, рассчитывая догнать автомобиль, но вскоре понял, что розыск деда—дело непростое. Его непрестанно обгоняли автомобили, которые летели на огромной скорости по пышущему жаром полотну. Дела до животного никому не было. По дороге попадались строения, от которых вкусно пахло пищей. Но он не позволял себе расслабиться! В местах стоянок Бору метался в поисках запаха Эсена. Сначала бессистемно, так как не понимал, где можно обнаружить след. Спустя время определился и пробегал несколько раз вдоль обочины с одной, затем с другой стороны. Ничего не обнаружив, бежал дальше.

Он не позволял себе охотиться, боясь, что утеряет след и не найдёт хозяина. На исходе третьих суток пересилил себя и насытился в ящиках с отходами, чуть не попавшись на воровстве, когда, испугавшись крика человека, рванулся в сторону и зацепился крюком цепи за контейнер. Испуганно дёрнулся раз, другой и замер. Ему повезло, попался неопытный турист, не понимающий отличия собаки и волка. Обманулся и с опаской отстегнул ошейник. Бору почувствовал полную свободу.

Со временем волк понял, что розыск старика — дело сложнейшее. Дорога убегала вдаль; казалось, конца ей не будет. Скоро он научился выпрашивать пищу: садился смиренно в стороне от туристов и тихо поскуливал. Некоторые прогоняли — огрызнувшись, убегал; другие бросали кусок хлеба, а то и мяса. Время шло, бежала лента асфальта. Бежал вдоль неё и Бору.

В один из вечеров прошёл ливень. Такой паники волк не испытывал давно. Он, конечно, укрылся под деревом, забившись в нижние ветви лиственницы. Да вдруг мысль пронзила мозг и сковала тело. А след?! Как найти след после такого дождя? И, не дожидаясь окончания ливня, побежал дальше. На ближайшей стоянке принялся рыскать, проверяя догадку. Запахи присутствовали, это главное в его положении. Он не понимал одного — что следы свежие, от последнего посещения места туристами. Но воодушевился и двигался дальше. Нюх притуплялся, мешали запахи бензина и выхлопов машин. Только любимого, родного не попадалось на остановках.

Бору изменил тактику. Дорога никуда не денется! На время уходил в сторону, чтобы поохотиться, набить желудок мясом, это давало новые силы. После чего бежал вдоль полотна. Волки не уходят на такие большие расстояния, не покидают логова. Но где теперь его логово? Кто подскажет? Нужно искать!! Он двигался среди леса и камней, вдоль большой реки, играющей огромными валунами. Эта картина прибавляла сил и давала надежду. Если река большая, то и большое селение должно располагаться рядом. Крупные сёла на дороге проходил ночью, чтобы местное население не заприметило хищника и не устроило охоты на него. Только выли собаки от присутствия волка. Позволить себе обойти стороной не мог: порвалась ленточка полотна, а вдруг с ней и след потеряется?

В одном посёлке заприметил большой забор и огромных псов. Попытка с первого раза преодолеть участок пути не удалась, запах его учуяли четвероногие охранники. Вернулся обратно и вывалялся в грязи, чтобы чем-то усыпить бдительность собак, бежал дальше.

Расслабиться он не мог, тем более что следов туристов встречалось всё больше. От обилия запахов и голода кружилась голова. Опасностей природных он не боялся, в нём жил волк, и способность преодоления трудных ситуаций в любых условиях жила с ним всегда.

Вскоре встретился перевал, дорога уходила серпантином вверх, извилисто скрашивая обыденность прямолинейного пути. Здесь люди не останавливались, и Бору, задыхаясь от недостачи кислорода, вывалив язык набок, упирался из последних сил, пока не увидел небо в развале горного камня. Огромная площадка возникла перед ним. Столько людей не видел ни в селениях, ни на стоянках, попадавшихся прежде. Выждав ночи, когда съехали из лавочек торговцы, он обследовал эту территорию и ответвление от неё старой дороги. Убедившись, что следа хозяина нет, он по ночной прохладе спустился в широкую долину.

Человек! Зачем ты построил такое количество дорог? Зачем тебе так много посёлков? Неужели не хватает места на земле, чтобы дышать свежим воздухом, пить воду из хрустальных рек, питаться дичью, в обилии проживающей на склонах? Куда ты устремляешь свои шаги в этом мире? Ужели страсть к изобилию выше свободы и внутренней независимости? Зачем рубишь дерево и строишь большой дом, изводишь лес, чтобы согреть пространство больших комнат? Так много суеты и ненужного движения — ради чего? Бору лежал, положив морду на лапы, наблюдая, как в ночи резали тьму острые кинжалы фар автомобилей. Он насытился пойманным зайцем, напился воды из родника, в желудке уютно урчало, он предавался мыслям, что тревожили и беспокоили: сколько пройдено, а следа нет.

Под утро задремал в прохладе и освежающей росе. Снилось, что Эсен блуждает в незнакомой местности, некому помочь. По морде скатилась слеза, которую Бору смахнул лапой. Как без него хозяин в горы ходит? Пропадёт! Волк вскочил на лапы и спустился на дорогу.

После очередного посёлка, когда бежал на взгорок, вдруг пахнуло едва различимо. Знакомым, родным. Слева бежала река, за ней большая поляна со строениями. Там его хозяин! И волк бросился в воду. Сносило быстрым течением речушки, тело било о пороги. Но видна цель, которой он достиг. На поляне стоял жертвенник, с веток лиственниц и берёз развевались ленты дьалама. Пробежки вдоль и поперёк поляны показали на то, что старик в этом месте появлялся, но давно. След старый. Убедившись, что опоздал и хозяина нет, Бору вернулся на тракт.

От дороги в сторону заходящего солнца шла другая большая трасса. Прямо или налево? Задумался, не в силах принять правильного решения. Затем облегчённо вздохнул: прямо! Если не найдёт в конце этой дороги, вернётся на перекрёсток. Затем встретился другой перевал, длинный и крутой. Волк потратил на него много сил, слишком большое количество запахов тревожили ноздри. Боязнь, как бы не пропустить родного, заставила задержаться и обследовать подробно местность и площадки.

Бору бежал дальше днём и ночью. Трудность возникла из-за того, что посёлки на пути встречались всё чаще и бóльших размеров. Каждый кусочек местности необходимо обследовать, ничего не пропустить. А после большой реки, которую видел с моста, селения шли сплошной чередой. Вдоль дороги много запахов, которые им внимательно

изучались. Порой казалось, что ноздри уже и не чуют, не различают ароматов. Сколько Бору бежал, сосчитать сложно, много километров осталось за хвостом. Сколько их ещё впереди? Вот и горы устали и оказались далеко позади. Трасса гудит асфальтом, к этой музыке он уже привык. Только не проглядеть! Справа и слева от дороги перелески менялись открытыми местами. Не в силах понять, когда лучше бежать, днём или в темноте, старался избегать встреч с большими массами народа. На одной стоянке маленькая собака на руках хозяйки учуяла хищника и взвыла дурным голосом, напугав людей. Те замахали руками, зашикали, отгоняя животное.

Нужно бежать и нюхать каждый куст, каждый метр, отбрасывая в сторону ненужные запахи.

Где ты, Эсен? Любимый старик, спаситель жизни Бору. Ты так бессилен без друга. Я иду к тебе. Только где конец этой дороги, где последний шаг для усталых лап? Снова пыль километров, охота и выпрашивание пищи на стоянках машин. Скоро ушла в сторону и большая река. Только дорога лентой бежала вперёд. Встретился непривычный лес, с соснами, подпирающими своими стволами небо. Лиственные деревья роняли первый жёлтый лист. Много времени в дороге!

Бору почуял большое селение. Здесь предстоит много работы: обилие ароматов и большие расстояния. Но ему не привыкать.

Утро. Волк сделал несколько шагов в направлении первого дома. Встал и затряс мордой. Вот он! Запах хозяина! Даже голова закружилась от чёткого осязания следа…

Старик не мог привыкнуть к новым условиям жизни. Даже незрячий он чувствовал отсутствие гор, и это сводило его с ума. Нет, он не требовал для себя ничего, но на глазах угасал. Изредка просил внука вывезти на Чуйский тракт, послушать, как дорога поёт. И пусть она пела не так, как в родном селении, но звала по-прежнему. Вот и сегодня договорились: с утра, до того как на работу убыть, отвезёт. Хлопнула дверь, внук помог выбраться деду, а тот вдруг замер, словно впервые услышал звуки автомобилей. И, сделав самостоятельно, без помощи, несколько шагов, опустился вдруг на колени. К нему навстречу, вжавшись брюхом в твердь обочины, ползла серая собака. В пыли, грязная и ободранная. Поскуливая, коснулась руки старика.

— Бору,—прошептал слепой Эсен.

Плакал старый кайчи, не в силах завести песню, катились слёзы у волка. Замер от неожиданной встречи внук. Какая-то женщина украдкой смахнула слезу, отломила кусок хлеба и протянула животному. А тот, голодный и грязный, но счастливый до состояния блаженства, что отыскал хозяина, всё елозил животом по земле, подметая хвостом без того чистую обочину.

Рисовальщик

Роман поднимался с трудом. Мало—подъём оказался крут, папка с эскизами, большая и неудобная, переворачиваемая ветром, била то по спине, то по груди. И никакой управы не находилось. Порывами сбрасывало бейсболку с головы, и её приходилось постоянно поправлять. Оказывается, потоки воздуха не останавливаются не на секунду и тревожат всё живое и неживое, находящееся на вершине и близко к ней. Редкая трава под напором ветра клонилась к земле. Внизу обстановка казалась спокойной, или это расстояние скрадывает картинку действительности.

Он уже напробовался полевой клубники, которая здесь нетронутая и «непуганая». Никто на высоту не поднимается, и ягода чувствует себя вольготно, спокойно. Но с подъёмом меняется растительность, появился можжевельник с зеленоватыми ещё ягодами, кое-где бок посинел от тепла яркого солнца высокогорья.

Выбрал Роман эту гору не зря, мог бы подняться по другой, лесистой. Где лиственницы забирались наверх к небесам и стояли свечками, как в храме, вершили службу во славу природы. Настолько утвердились в своей святости, что даже под ветром не гнулись, лишь слегка клонили головы, приглашая в первозданную, нетронутую красоту. С высоты смотрели в долину реки, как часовые порядка. Где-то здесь должен открываться портал перехода из одного времени в другое и в иные расстояния. Попасть в такое место—и соблазн великий, и боязнь необыкновенная. Попадёшь и окно не сможешь найти—как выбираться?

Кто в горах завсегдатай—знает это удивительное состояние. Погода меняется непредсказуемо, освещение новые краски на окружающие вершины накладывает. Находишься в одном месте, не сходишь с точки, да словно во многих местах побывал. А время? Успел только отдышаться от подъёма—уже несколько часов прошло, как вступил в этот храм. Роман всегда боялся в таких случаях потеряться во времени, спускаться сложно в темноте, ночь в горах приходит рано и вдруг.

Он распрямился, подставил свежей струе лицо. Сегодня жарко—даже на высоте, в которую забрался. Родников поблизости нет, напился из походной фляги, предусмотрительно захваченной с утра. Принялся подыскивать место для работы. Вроде несложное занятие—садись, где ровно, и работай. У него так не получалось, не могла душа приспосабливаться к любой нише в природе. Всегда искал свою, сокровенную, с которой никогда не повторится тот вид, который один раз стал родным и близким. Обычно осматривал место, выбирал точку и вставал на неё. Если не задевала за живое, не тревожила энергетикой, откровения не находил. Меняй, толку в работе не будет. По часу уходило на поиск.

Ещё во время учёбы на худграфе за ним отметили эту особенность друзья. Рисуют уже полчаса, а он всё бродит и ищет. Но уж если нашёл! Работа складывалась как сказка, что ни линия — завершённость. Особенность такого выбора места подсказывало необычное видение объекта. Ракурс: либо выбор точки, с которой смотришь, либо — положение, в котором видишь то, что рисуешь. Бывает, ходят люди и ежедневно видят предмет, но не трогает он за живое. Стоит остановить в определённой точке — и виденное по чьему-то волшебству предстаёт неузнаваемым.

Скоро нашёл, расположился и неожиданно для себя замер. Что за мысль потревожила его? Как оказался здесь, в глубине Алтайских гор? На Романа нахлынули воспоминания. Рисовал он всегда, сколько себя помнит. Ещё в школе отмечали работы, выставляли на разные конкурсы. По детской наивности и нетерпению страшно переживал неудачи, уходил в себя. Подолгу не брал в руки кисти и карандаши. Но, соскучившись, возвращался к холсту и бумаге, начинал рисовать и писать. Словно напиться не мог после жажды, настолько истосковывался и душой, и руками.

Затем поступил в училище, отучился и юным мальчишкой попал в армейский Афганистан. Школу эту жизненную запомнил на всю оставшуюся жизнь. Дембельские альбомы изрисовывал стопками. Нет, не филонил от опасной армейской работы, вместе с друзьями уходил в рейды, сбивал в кровь ноги от ходьбы и руки о камни, цепляясь и удерживая вес тела и груз боеукладки за плечами. И всегда с ним имелись карандаши и планшет. Сколько Роман получал нареканий за невольное нарушение, но скоро на него махнули рукой, и после этого он уже не расставался с любимыми карандашами.

Здесь, в горах, ему пришло откровение простоты. Этой чудовищной красоты в камне и снегу. Даже «зелёнка» так не трогала красками оазиса, как чётко очерченные немыслимыми изломами камни, рассвет над заснеженными пиками гор, рванные в клочья облака. Ложилось это великолепие лучше в карандаше, чем в красках. И он рисовал в чёрно-белом цвете камни и скалы, водопады и высокогорные ручьи, перевалы и лица друзей — всё пытаясь понять суть. Чем они так близки сердцу. Пока, наконец, не понял: здесь, высоко в горах, не только ближе к Богу, но и товарищи, идущие в бой рядом с тобой, — на пике высокого осознания ценностей жизни. Соединяется духовное и физическое состояние индивида в совершенное ощущение единства мира в человеке.

Из Афганистана приехал с орденом и медалью, возмужавший и привлекательный для взглядов девушек. Он и женился вскоре, не успев отойти душой от испытаний, выпавших на неустойчивую психику мальчишек Союза. Свершивший обязательства по исполнению интернационального долга. Главное, что он вынес из этой горной страны, — уверенность в рисунке. В его стиле появилось нечто необыкновенное, какие-то отдельные штрихи, находимые его сердцем, по-новому изображали то, что видели перед собой глаза зрителя. Они, любители изящного, порой и не понимали отличия от других художников, а вот специалисты отмечали эту неуловимую особенность. Да и работал Роман по-иному, больше размышлял и только затем укладывал штрих на лист бумаги, расположенный перед ним.

Рассуждать и думать об окружающем можно всё, что душе угодно. Отчёт себе отдавать нужно — небрежно мыслить нельзя, этим урон великий природе и людям принести можно. Мысли и размышляй достойно! — превратилось в кредо, о котором он никому не рассказывал…

Что ж, место найдено! В течение пары часов Роман сделал несколько набросков. Довольно удачных, на его взгляд. Приходит время возвращаться в город, туда, где ждёт его другая жизнь.

Жена смолоду взяла семейные бразды в свои руки, отмечая постоянно, что толку от Романа никакого нет: мало зарабатывает, по дому ничего толком не может сделать, руки не из того места растут. Долго терпел её высказывания и главенство. Однажды, доведённый до отчаяния женой и тёщей, когда те принялись выбрасывать его рисунки, схватил большой молоток и на видном месте вбил в стену железнодорожный костыль. Видимо, настолько женщины напуганы оказались, что к отброшенному в сторону молотку два дня не подходили, а костыль до сей поры торчит из стены напоминанием о твёрдом характере хозяина дома. Да и действительно, как не психануть, когда жена в каждом разговоре подталкивала воспользоваться своим боевым прошлым и хоть как-то показать себя в обществе? Не за тем же Ромка воевал и товарищей прикрывал да выносил из боя. Каждую годовщину той бойни на перевале вспоминал, скольких друзей убили душманы. И на этом строить свою жизнь? В конце концов, махнули на него тёща и жена. Жили в одном доме, да в разных комнатах.

После случая с костылём уехал в гости к армейскому другу. Тот давно приглашал к себе, всякий раз, как заезжал по надобности в город. Всё сетовал, что товарищ не может время выбрать. А как выбрать, коли дела идут ни шатко ни валко? Рисунки, предлагаемые в картинные галереи региона и страны, не пользовались особым спросом. То есть брали и деньги, хоть небольшие, платили. Только не того хотела душа и требовало естество. Аржан, дружище афганский, помог, отправил несколько работ на международный конкурс. Только молчат организаторы.

Потому и манили камни и скалы. Только здесь и находила себя душа. Хотелось другого: чтобы

люди останавливались перед его рисунками и замирали в блаженстве сердца и торжества разума. Всякий художник ищет такого признания; ему пока не удалось найти линию отсчёта, от которой начинается оценка тебя как состоявшегося художника. Михаил Михайлович, педагог в училище, и по сей день поддерживает с ним отношения, отмечает необычные работы Романа. Слова его приятны, только что же молчат другие искусствоведы? Работы просятся на смотрины, а вот поди ж ты—никак!

У друга Роман оживал, становился одержимым в работе. Горы на Алтае другие, нежели он видел в Афганистане,—может, из-за того, что не бывал далеко от посёлка. Однажды друг взял живописца с собой в ущелье горной реки. Мощный водный поток бешено скакал среди камней, ударялся во встречные камни, взрывался снопом брызг. Затем соединялся в струю и продолжал жить, стремительно убегая в долину. Вот где росли камни! Здесь они жили! Вот где энергия гор будоражила ум и тревожила сердце. За неделю в этой поездке он выполнил столько рисунков, сколько не удавалось в повседневной жизни и за полгода. Голова и рука рождали фантастические помыслы. Которые сами собой просились в сюжет рисунка. Ромка лез в такие опасные места, отыскивая свои точки, что Аржан только головой качал, опасаясь за жизнь друга. Товарищи, что были с ними в походе, от головокружительных трюков художника пребывали в трепете. А он всё взбирался в неприступные места, словно вернулся в молодость. Туда, где опасность и жизнь были неразделимы,—в горную страну Афганистан.

В этом ущелье Роман впервые ощутил удивительный портал, нахождение человеческой души на грани двух миров. Временами он проваливался по ту сторону, иногда оставался в реальном мире. Но именно благодаря этому—рисовал всё светлое время суток, иногда и ночью у костра добавлял в рисунки никем не виденные нити, ощутимые только в реальности. В работах появились ду́хи гор и исполнители их воли—камы (шаманы). Полуфантастические сюжеты с людьми скал, которые незримо присутствуют в каждом камне, пещере, ущелье. Их одухотворённые фигуры. Не лица, а именно фигуры. Где каждый жест говорит о накопленном веками жизненном опыте и готовности передать его людям, живущим ныне. Когда его поймут? Когда его рисунки увидят?! А впрочем, его душа и его мир, самое важное—что ощущает он!

Своим житьём товарища не утруждал. Тот предлагал остаться в его доме, но Роман напросился на турбазу, принадлежащую Аржану. Здесь в небольшой каморке проживал вместе с подсобным рабочим. Когда находился в творческом поиске и скучно казалось в душе, занимался уборкой территории. Всё ж таки труд и занятие для размышления. С удовольствием колол дрова для бани, устраиваемой для туристов. В каждом спиле искал свой характер, видел, в каких условиях росло дерево. В срезах находил лики старцев, по сей день живущих в природе, рядом с нами. Только мы их не видим. А Роман искал таких встреч. И всё не находил, по его уразумению.

Завтра ждёт путь домой. Он давно собрал вещи. Да и что собирать? Главное—папки с рисунками, а они всегда с ним. Вновь год рутинной жизни с нелюбимыми женщинами. Он думал уйти, да только воспитан не так. Дал когда-то обещание—выполняй. Появился бы ребёнок—прирос бы через него к семье. Роман собрал рисунки, тщательно уложился, чтобы не разметал листы ветер. Начал спуск.

Темнело, когда он подходил к турбазе. В каморке уже виднелся огонёк. Навстречу вышел человек. Знакомое показалось в облике. И точно—Михаил Михайлович. Он какими путями здесь? Обнялись, и учитель, как обычно, скороговоркой заговорил, боясь, что его перебьют и остановят:

— Роман, ты только не волнуйся. Ты помнишь, что мы с Аржаном договорились и отправили картины на международный конкурс? Так вот. Приехал искусствовед из Голландии, по твоим рисункам. Они решили приобрести большую коллекцию зарисовок по Афганистану и Алтаю. Работы понравились жюри конкурса, и представитель картинной галереи здесь…

На огромном камне, нависшем над рекой, появилась фигура старца. Он стоял с поднятой головой, словно рассматривал нечто неведомое среди народившихся звёзд и дальше—в бесконечной вечности Млечного Пути.

Удивительная история пастуха

Конь расстилался на скорости по траве, сливаясь с мелькающими прогалинами красного грунта и желтовато-коричневой глины. Пена клочьями срывалась с крупа, с шеи животного и, совершив полёт, падала на сухую от недостатка влаги подстилку высоких косогоров. Не один десяток минут, не один километр пути остались в бешеной гонке, затеянной хозяином по неизвестной животному причине. Встречающиеся водные потоки конь преодолевал махом, успевая украдкой глотнуть взметнувшийся фонтан влаги. Это спасало от жары, рождённой движением тела и работой мышц на износ. Он устал выбрасывать передние ноги далеко перед мордой. В прыжке складывался, приставляя задние, чтобы затем сильнее оттолкнуться от земли и выбросить, как из пращи, тело в направлении движения.

Ветер, спускающийся в долину с белых шапок и движимый холодом тающих снегов, мало выручал при такой огромной нагрузке. Конь почувствовал усталость, захрипел на полном скаку, давая седоку

понять, что необходимо сменить режим движения. Но тот продолжал всаживать стремена в бока и охаживать плетью круп умаявшейся скотины. Перед лицом неспешно приближалась очередная кромка горы, опускаясь и открывая перспективу дальних вершин, манящих и зовущих к себе, в лучезарную глубину неба. Даже небольшие облачка, на горизонте порождая и своим видом отару овец, манили за собой всё дальше.

Только седок, давно принимающий это как данность природы, не видел этой привычной для чабана красоты. Живность горной степи благоразумно разбегалась от топота копыт и с большим запасом по времени пряталась в норы, за камни, в редкие кусты. Казалось, остановка наступит только тогда, когда конь не сможет делать движение. Но животное понимало: хозяин стремит бег туда, где постоянно проводил трудные минуты своей жизни,— к группам вкопанных в землю камней, оставленных в таком состоянии давними предками горного сеока-всадника.

Эти камни манили загадочностью, непредсказуемостью поведения в этой обширной, заполненной спусками и подъёмами степи. Здесь не видно ковылей, травы в пояс не вырастают. Едва продираясь из земли, растения попадают в жёсткие условия обжигающего холода или жары. Тем не менее поднимаются и закрепляются. Богаты, питательны и насыщены солнцем, которого среди гор очень много. Табуны ходили здесь с давних времён, как появился человек. А старики передавали из уст в уста: задолго до поселения людей. И запахами мелкие стебельки сводили с ума, напитывали и нагуливали жир огромным отарам овец и множеству лошадей. Даже зима щадит животных в этих землях и не засыпает сугробами подножные корма. Самое сухое место в России—Чуйская степь и отроги гор, расположенные округ её.

Дурманящие запахи горькой полыни поднялись вверх, потревоженные ногами коня, и даже на большой скорости догоняли человека и кружили голову пряностью. За этим пятачком запашистого растения следует гребень горной гряды и далее—пологий спуск в долину, хранящую тайны бытия. Здесь не ходят лишние люди, нет туристических троп, и только местные пастухи с отарами бороздят просторы от горизонта до горизонта. На противоположном склоне останцы продрались и выступают каменистыми боками. Смотрят петроглифами на долину внизу и напоминают пришедшим к их подножью о далёком прошлом. О сакральных временах напоминают и камни, усыпавшие всё округ. Они вкопаны в землю на месте захоронений павших воинов. Их очень много, не одно столетие сюда привозили павших в боях и провожали в последний путь. Многие уже вросли в почву и почти не видны. Другие едва просматриваются. Третьи, принадлежащие знатным воинам, поднимаются высоко, местами выше человеческого роста.

На долину с высоты смотрит голова грифа, нанесённая мастером в далёкие заповедные времена. Сами мегалитические камни расположены в определённом порядке, понятном разве что духам гор. Местами глазницами раскопов смотрят в небо бывшие курганы. И только постоянный спутник—тишина—находит себе место для умиротворения. Люди не говорят в долине громко, лишь обмениваются знаками и движением рук. В этих местах от присутствия гор особо чувствуется расстояние, по-иному течёт время и вечность прикасается к телу человека, пришедшего в долину предков.

Всадник бросил повод коня и соскочил на землю на полном скаку. Пробежал несколько метров, еле успевая перебирать ногами, чтобы не споткнуться, и только потом упал на землю, уткнувшись в траву лицом. Плечи вздрагивали от сдерживаемых рыданий, сгоряча ударил несколько раз кулаками в грунт и затих под солнцем и степным воздухом.

Час пролетел незаметно для Адучи (даже имя его звучало в переводе—«табунщик»), пока он, наконец, не оторвался от тёплой, нагретой солнцем земли и не сел. Плечи опущены вниз, склонённая голова, согнутая в позвоночнике спина—такой удручённой формы фигура его не приобретала в этой жизни. Невыносимо тяжёлый груз давил на плечи, в оставшейся жизни вряд ли кому удастся снять его с души. Казалось, произошло то, что неминуемо приближалось день за днём. Он всячески противился этому, хотя по большому счёту прекрасно отдавал себе отчёт: не пара Айбола, красивая, как луна, ему, простому скотоводу.

Её и просватали с раннего детства за одноклассника, сына агронома колхоза. Зажиточная, крепкая семья, на хорошем счету в партийных органах. Случилось так, что с приходом новых экономических отношений не сломалась—наоборот, окрепла. В сеоке своём твёрдо стояла на ногах: дом, машина, большое стадо и хороший табун. Старые связи позволяли решать возникающие проблемы. Потому и крепли год от года, нанимали работников пасти скот. Одним из первых—отец Адучи, а вскоре и сам юноша водили по родовым землям несметные поголовья бывшего агронома на выпасá. Работали исправно, в счёт оплаты получали овец, порой лошадей. Вскоре свой обособленный табун имели и отару овец: впрочем, кто их считает в общей массе?

Всё селение наблюдало за ситуацией: парень любит девушку, боготворит её. Она отвечает взаимностью. Но глупое сватовство в детские годы настораживало: а ну как вспомнится данное родителями слово? Думалось: времена другие, кто же по старым обычаям строить современную жизнь будет? Это и обнадёживало Адучи, не верил, что его Айбола пойдёт замуж за кого-то другого.

Детские годы, юность проходили на глазах у селян. Все и мыслить не могли иного: коль увидишь мальчишку — девочка где-то рядом. В зрелом возрасте Адучи крепче вставал на ноги, достраивали новый дом с отцом, думалось, приведёт в него вскорости любимую девушку.

Он проходил по земле уже четверть века. Совсем немного по ощущению времени. Основу знал и умел работать, казалось, опыта набрался и научился жизни. Но разве это возраст? Вот только чувствовалось, будто тысячи вёрст отмотал по степи. Устал, пора семейную жизнь налаживать.

В этом году с ранней весны увели табуны и отары на дальние пастбища. Зима оказалась непредсказуемая, с крепкими морозами. Не отогрела землю прохладная весна, потому и ушли далеко. Напарник Адучи заболел, и уже больше месяца приходилось управляться одному. Работа с животными в отдалённых местах приучала к неспешности. День начинался и заканчивался как вчерашний. Все движения и задачи доводились до автоматизма, и задержек не возникало. Но какие же преимущества давало такое существование? Возможность наблюдать и мыслить о том, как течёт время в природе. Законы развития мира приходили в действие на глазах, звали к осмыслению без излишней торопливости и суеты. В таких просторах утекающих за горизонт гор терялось собственное «я». А ведь отец учил главному — уметь принадлежать себе.

Он и принадлежал себе, поступки строились во взаимодействии с природой. Лишних людей не было, они не докучали ему своим присутствием. Только хорошие помощники — два крепких алабая — помогали в работе. Одно тревожило: давно не видел любимой, а сердце подсказывало тревогу, зароняло сомнение в душу. Три дня назад вернулся помощник и привёз нехорошую весть: Айбола замуж выходит. Говорить не хотел, но проболтался ненароком. Оседлав коня, тронулся в дорогу молодой человек. Трёхдневный путь одолел в два дня и на подъезде к селению понял: опоздал. Звуки свадьбы гремели во всех дворах родственников жениха и невесты, не смогла любимая в одиночестве противостоять традициям сеока.

Проехал на коне мимо, сдержался от резких слов. Не испортил праздника для людей. Они чем виноваты? Дома переночевал, дал отдохнуть коню и ранним утром, ещё роса не успела упасть на траву, выехал в обратный путь. В открытой степи дал волю своим чувствам. В чём их находит потомок кочевников? В движении с бешеным ритмом и скоростью. Он слился с конём, не обращая внимания на окружающую местность. Не до красоты в такой ситуации. И он понукал жеребца, гнал вперёд, уходя от посёлка, где ему плохо, в любимую степь. Не умом, а нутром понял и почувствовал, как тяжело четвероногому другу. Под рукой — влагой разгорячённая шея коня. Что он творит?! Бессловесное животное обижает. Разве можно так поступать? Самый большой грех — обидеть слабого, это легче всего сделать.

Конь приостыл, насытился травой и легонько толкнул головой хозяина в плечо, словно требовал извинения за гонку по степи. Фыркнул в самое ухо. Адучи рукавом вытер мокрое от слёз лицо. Он и не заметил, что проплакал весь час, пока лежал, уткнувшись головой в землю. Сел, обхватив руками ноги ниже колен. Как теперь жить? Любимая ушла к другому, всё селение шептаться за спиной станет. Не сумел оберечь. Какой он мужчина? И с этой мыслью в тяжёлой от дум голове приподнял подбородок, глазами окинул долину.

Она словно сочувствовала ему: плакала травами и камнями. Крупные капли влаги от утренней росы согревались, укрупнялись и под силой тяжести падали на парящую землю, скатывались ручейками по бороздкам на поверхности скальника. От реки из низины поднимался белый пояс тумана, неся очищение и чистоту. На пригорках совсем потеплело, и травы родили запахи, струящиеся с воздухом вверх. Не боясь намочить меховую шубу, из нор повыскакивали пищухи и принялись строить свой день короткого лета. С неба послышался гортанный клёкот орла, ещё не рискнувшего свалиться в пике за добычей. Невесомо дрожит воздух вблизи земли, искривляет картину, и легко промахнуться. Подождёт, пока совсем не согреется земля. Куда спешить? Всё идёт своим чередом.

В душе, однако, пусто и неустроенно. Как ни гонишь от себя мысль об Айболе, она тревожит и бередит нутро. Адучи поднялся и осмотрелся, привычная картина сакральной долины принесла успокоение. Видно, удел его таков — страдать за несбывшиеся надежды. По поверьям, шулмусы, злые подземные духи Эрлика, не любят того, кто в жизни обречён на страдания, и потому по окончании пути отправляют на небо, в царство Ульгеня.

Он в горячке и не приметил, что остановился в столь значимом для его сеока месте. Как он здесь? — первый вопрос. Нужно разобраться в себе, восстановить душевное равновесие. Жизнь не изменить, надо уметь находить нужную нишу и в ней обустроить свой мир. Да, без этого не жить! И он привычной упругой походкой направился к трём высоким оленным камням, расположенным рядом. Это место для него имело свой смысл и звучание. Именно звучание: средний камень пел. Прикасаясь к нему руками, человек слышал гул наподобие звука трансформаторной будки. Пение появлялось всплесками, то угасая до полной немоты, то поднимаясь до высоких нот так, что мелкими иголочками кололо пальцы и ладони. Энергия земли истекала через менгир, пульсируя и заряжая находящиеся вокруг предметы, а также и живые организмы.

Не всякий камень с его энергией подходит человеку. Одному помогает, другого и покалечить может. Адучи всякий раз заряжался от него. Подошёл и сейчас. Обнял, прижался щекой, и каменная плоть, почувствовав, что человеку плохо, подала о себе знак. Громко. Завибрировали два других менгира, и невидимые, но осязаемые волны поплыли, пронзая плоть. Почувствовав эту природную мощь, конь предусмотрительно отошёл на безопасное расстояние, наблюдая, как хозяин сел и навалился спиной на поверхность.

Вибрация накатывала и спустя секунды затихала, словно успокаивала. А может, усыпляла бдительность. Вскоре почувствовалось облегчение, организм коснулся спокойствия, потянуло в сон. Остатками уже помутнённого сознания Адучи успел рассмотреть, что местность перед ним меняется. От низовий потянуло синие потоки воздуха, закручивая спиралью и толкая вверх плотную волну. Зелень травы срасталась намертво с голубыми прожилками воронки и превращала окружающую местность в фиолетовые полосы, словно очнулась от спячки зимняя позёмка и протягивала по низинам свои косматые пряди. Из далёкого начала скрученной в точку спирали на Адучи надвигались предметы, растения, облака, которые рассасывались к краям и таяли, растворяясь в воздухе.

Издалека нарастало облако пыли, затмевающее горизонт. Оно родилось от табуна коней, стремительно приближающегося и увеличивающегося в размере. Впереди с небольшим отрывом скакала девушка в традиционном наряде тюрков. Такую одежду юноша видел только на картинке в музее. Следом неслась группа мужчин. Скачущий впереди держал правой рукой волосяной аркан, в готовности набросить его на девушку. Той явно не по нраву такая погоня, и она гнала своего скакуна во весь опор. Всадница оказалась совсем рядом, видны черты лица. О духи! Это же Айбола! Откуда она здесь и в таком наряде? И что означает эта погоня? Юноша вскочил на ноги и призывно замахал руками, сменилось направление движения, и конники неслись прямо к камням. Увидев непонятного человека, впереди скачущие проявили агрессию, явно угрожая чужестранцу: один выхватил лук, заправил стрелу и нацелил оружие в сторону Адучи. Секунда, и стрела запела, полетела в человека. Вот так оборот. Поющие стрелы тюрков — откуда? В тот самый момент девушка повернула коня на юношу, ударила крупом животного, сбив с ног. Стрела пронзила плечо. Если бы не падение, прошила бы грудь на вылет. Он схватился за древко рукой, потянул стрелу из раны. В этот момент кони пролетели рядом, унося седоков в погоне за беглянкой.

Рассыпались нити воронки, голубыми и синими искрами осыпались на землю. Полыхнуло с неба солнце, брызнула зелёным и жёлтым трава, и протянуло ветерком, подняв пыль с косогора. Юношу словно что толкнуло в бок, и он открыл глаза. Тишина. Только слышно пищух: их попискивание и шелест шагов. Потянулся рукой к плечу — потереть саднящее болью место. Мешал предмет, зажатый в кулаке. Адучи раскрыл ладонь, на ней лежал бронзовый наконечник старинной стрелы. Откуда?!

Тут же в голове вспыхнули отрывками картинки ближайших событий. Осмотрелся — никого рядом нет. Только широкая тёмная полоса следов на траве со сбитой наземь росой от реки и в гору, за кромку перевала, указывала на путь проскакавшей конницы.

Адучи положил наконечник стрелы в сумку, подозвал коня, поправил сбрую. Запрыгнул в седло и тронулся на дальнее пастбище.

Марина Курноскина

Личное дело Савушкина

Меня зовут Вова Савушкин. Мой пятый день рождения прошёл давным-давно, а шестой — уже близко, поэтому на вопрос о возрасте я отвечаю так: скоро будет шесть. Ведь шесть — это вам не пять, это совершенно другое дело.

До вчерашнего дня я был дошкольником. Дорога в мой детский сад идёт мимо школы, где учатся все ребята из нашего двора. Когда на школьных воротах появилось объявление о приёме в первый класс, я понял, что больше не хочу играть в кубики и настольный хоккей, а после обеда спать на деревянной кроватке под голубым одеялом. Хватит, подумал я, пора заняться своим образованием. Я умел писать и читать, знал наизусть кое-какие стихи, а главное — привык всегда добиваться своего. Уж если я что задумал — будьте спокойны, ни за что не отступлю, если сам не пойму, что дело того не стоит. В общем, я твёрдо решил поступить в школу.

В понедельник я подошёл к воспитательнице и заявил, что ухожу из сада. Она удивилась.

— Вова, — сказала она, — это твоё личное дело, но имей в виду: в школу принимают детей, которым исполнилось семь лет, а тебе нет ещё и шести. В этом году тебя наверняка не возьмут.

Что ж, посмотрим, подумал я. Вечером я сообщил маме о принятом решении и попросил выдать мне на завтра длинные брюки и светлую рубашку. Не идти же на переговоры в шортах и футболке, которые я надеваю в сад! Я надеялся, что строгая одежда поможет мне выглядеть старше. Возраст — вот что было единственным слабым местом в моём плане, насчёт всего остального я был спокоен.

— Хорошо, — сказала мама и поцеловала меня в макушку. — Попробуй, раз тебе хочется. Если не выйдет, мы с папой в пятницу сможем отпроситься с работы, тогда все вместе сходим.

Отец тоже не возражал.

— Раз принял решение — действуй, пробивай, — напутствовал он меня. — Понадобится помощь — сигналь, будем искать пути для манёвра.

Мой папа военный, он всегда так выражается. Бабушку мы решили к этому делу пока не привлекать, Неизвестно, как оно там обернётся, а она вечно переживает из-за всяких пустяков.

Утром я позавтракал и пошёл. Жёлтое здание школы находится совсем рядом с нашей девятиэтажкой. Я перебрался через дорогу, обогнул кафе и вошёл через арку в школьный двор. На входной двери висел белый лист бумаги. Я остановился и прочитал: «Вниманию родителей! Для подачи заявления о зачислении детей в первый класс обращаться в учительскую». Я заглянул внутрь. Вдоль стен просторного вестибюля лежали мешки со стройматериалами и коробки с керамической плиткой. Пахло сырой штукатуркой. Рабочий в комбинезоне красил валиком стену.

— Куда? — строго спросил меня пожилой охранник.

Он сидел на табурете возле входа и читал газету.

— Мне в учительскую, — сказал я вежливо. — Насчёт поступления.

— Не положено, — ответил он. — Приходи с родителями или с кем-нибудь из взрослых.

Я не стал его уговаривать и вышел на крыльцо. По опыту знаю: есть взрослые, которых можно попытаться убедить, а есть такие, с кем говорить бесполезно. Этот попался упрямый, с таким спорить — только время зря терять.

Стою на крыльце, размышляю, как бы мне попасть в здание, не дожидаясь пятницы. Смотрю — по школьному двору идёт Ваня Локтев со своей мамой, Ольгой Петровной. Тут я вспомнил, как он недавно хвастался, что в этом году идёт в школу.

— Здравствуйте, — говорю, — Ольга Петровна. Вы насчёт заявления? Давайте пойдём вместе.

Нужный нам кабинет оказался на первом этаже слева от входа. На двери было написано: «Учительская». Проходя мимо охранника, я на всякий случай взял Ванину маму за руку. Она улыбнулась. Охранник внимательно посмотрел на меня, но ничего не сказал.

Ваня Локтев — мой лучший друг. Когда мы в прошлом году переехали жить в этот дом, мама повела меня во двор знакомиться с ребятами. Двор у нас большой, зелёный, возле подъездов растёт сирень, а берёзы вымахали такие, что достают верхушками до третьего этажа. Лавочки на детской площадке стоят среди высоченных голубых елей, и везде, куда ни глянь, цветы. Моя бабушка называет наш двор Берендеевым царством. От такого количества растений здесь всегда прохладно и пахнет грибами, как в лесу.

— Вот, мальчики, — весело сказала мама и указала на меня, — познакомьтесь с вашим новым соседом.

Ребята бросили мяч и стали меня разглядывать. Потом один из них подошёл и неожиданно ударил меня по плечу, да так сильно, что я чуть не упал. Бабушки, которые сидели на лавочках, стали шуметь и охать.

— Ты что делаешь? — закричала одна и схватила мальчика за руку. — Разве так можно?

Моя мама растерялась и всё спрашивала, очень ли мне больно. А мы с мальчиком стояли и разглядывали друг друга. Он был невысокого роста, коренастый, крепкий, подстриженный под машинку, как и я. Руки его были сжаты в кулаки, а глаза смотрели спокойно, с любопытством. Я почему-то нисколько на него не обиделся. Я понимал, что он ударил меня не со зла, а наоборот, потому что я ему понравился. Это было вроде испытания. Взрослому трудно объяснить, но все мальчики из моей группы в саду, которым я рассказывал про этот случай, согласились, что такое бывает. Так мы познакомились с Ваней Локтевым.

Ольга Петровна — единственный человек, которого Ваня слушается. Она разрешает ему гулять во дворе одному, хотя прекрасно знает, какой Ванька драчун. Хлопоча дома по хозяйству, она открывает настежь окно кухни и следит за тем, чтобы обстановка во дворе не слишком накалялась. Когда внизу нарастает шум, она выглядывает из окна и строго кричит на всю улицу:

— Ва-а-ня-я-я!!!

Бабушки на лавочке не одобряют Ваню, говорят, что у него всегда кулаки наготове. Но моя мама считает, что он хороший и справедливый. Она говорит, что его привычка драться с возрастом пройдёт, и Ольга Петровна права, что не водит его с собой за ручку.

После каждой жалобы соседей Ванина мама очень огорчается. Она пытается объяснить сыну, что, кроме кулаков, есть ещё и другие способы решения спора: переговоры, взаимные уступки и даже хитрость. Но Ваня с ней не согласен. Вот вам пример. В субботу мы с ним пошли в магазин за мороженым и видим: Стасик Мясоедов из первого подъезда носится по тротуару за нашей дворовой кошкой Сонькой, которая по каким-то своим делам вышла со двора на улицу. Он её пугает, топает ногами и гонит на проезжую часть под машины, а она уши прижала и мечется туда-сюда, не знает, куда от него бежать. Сонька живёт в подвале нашей котельной, у неё трое маленьких котят. Многие жильцы её подкармливают, оставляют сухой корм или сосиску возле подвального окна, но она всё равно очень худая и вечно голодная. В общем, мы с Ваней не стали тратить время на переговоры, а сразу налетели на Стасика. Ваня бежал за ним до самого перекрёстка и пару раз хорошенько ему поддал, а я взял Соньку на руки и отнёс во двор, она дрожала и громко мяукала.

Бабушка Стасика ходила жаловаться на нас в домовую контору, но мы рассказали председателю, как было дело, и он не стал нас ругать.

— Надо лучше воспитывать внука, — строго сказал он бабушке Стасика, — уже большой мальчик, а на уме одни глупости.

Вечером мама Вани пригласила нас в гости. Пока мы играли у него в комнате, взрослые пили на кухне чай. Я вышел в коридор и услышал, как Ольга Петровна говорит моим родителям:

— Вот что с ними делать? Отругаешь за драку с негодяем — вырастут равнодушными людьми, станешь за это хвалить — будут, чего доброго, бандитами.

— Не будут, — сказал отец, — я в это не верю. Нормальные мальчишки растут.

Ну вот, про Ваню я рассказал, теперь можно продолжать про школу. Заглянули мы в учительскую, Ванина мама говорит:

— Здравствуйте, мы пришли подать заявление в первый класс.

— Очень хорошо, — повернулась к нам пожилая дама в очках. — Какой у вас адрес?

— Улица Радищева, дом пятнадцать, — хором ответили мы.

Она кивнула.

— Берите, — говорит, — бумагу и пишите заявление по образцу.

Я заметил, что эту даму все остальные слушались и говорили с ней очень уважительно. Наверное, она была директором.

Мы стали писать, Ольга Петровна за Ваню, я — за себя. У неё буквы получались ровные и красивые, у меня — кривые и корявые, то наверх вылезут, то набок завалятся, но я старался, как мог. Там, где в образце было сказано: «Прошу принять моего сына (дочь)», — я написал: «Прошу принять меня», — а в остальном — всё как положено. Я посмотрел, какое число поставила внизу Ванина мама, и расписался, нарисовал внизу заглавную букву «С» и обвёл её кружочком. Это моя подпись, я её придумал, когда заполнял карточку в библиотеке.

— Очень хорошо, — опять сказала дама в очках, прочитав заявление Ольги Петровны.

Потом взяла мой листок и пробежала его глазами. Сняв очки, она удивлённо посмотрела на Ванину маму.

— Позвольте узнать, — сказала она, — кем вам приходится этот мальчик?

— Этот мальчик — наш сосед по дому, — ответила Ванина мама. — Он человек серьёзный и самостоятельный, очень хочет учиться.

Ваня с мамой попрощались и ушли, а я остался. Проходя мимо моего стула, Ольга Петровна ласково потрепала меня по плечу, а Ваня двинул кулаком в бок. Он всегда так прощается.

Тут директор повернулась ко мне.

— Скажи, пожалуйста, твои родители знают, что ты в этом году решил пойти в первый класс?— спросила она.
— Конечно,— ответил я— Мне разрешили самому обо всём договориться. Мама с папой в пятницу придут к вам с документами.

Тут у директора зазвонил телефон. Пока она отвечала, мужчина, который сидел за компьютером, перестал стучать по клавишам и внимательно посмотрел на меня.
— Сколько тебе лет?— спросил он меня.
— В конце августа будет шесть,— ответил я, и сердце у меня замерло.
— Рановато тебе в школу,— заметил он.— Приходи к нам через год. В шесть лет никого не принимают в первый класс. Крайний случай— шесть с половиной. Это, брат, закон, ничего не поделаешь.

Я быстро подсчитал на пальцах и говорю:
— Шесть с половиной мне будет уже в феврале, а это совсем скоро. Как говорит моя бабушка, оглянуться не успеешь. Зачем же мне из-за такой ерунды целый год терять? Давайте посмотрим: вдруг в законе ещё какие крайние случаи есть, под которые меня можно подогнать?

Все засмеялись. Тут девушка в кроссовках, которая стояла со стопкой бумаги возле копировального аппарата, говорит:
— Нет ли там оговорки насчёт одарённых детей, вы не помните, коллеги? Может, это наш случай? Как ты сам считаешь, мальчик, ты одарённый? Очень интересно услышать твоё мнение.

Я подумал.
— Не знаю,— говорю,— одарённый я или нет. Но то, что вы документы неправильно копируете, это я хорошо вижу.

Я подошёл поближе.
— Документы надо класть буквами вниз, чтобы аппарат их видел. А вы буквами вверх кладёте, вот он вам и выдаёт то, что видит,— белую бумагу.

Я встал на цыпочки, перевернул листок, закрыл крышку и нажал на кнопку «СТАРТ». Снизу вылезла нормальная копия. Девушка покраснела.
— Я,— говорит,— учитель физкультуры, в технике не очень разбираюсь.

Я кивнул. Техника— это не шутки, тут не каждый справится. Взять, к примеру, меня. Каждый вечер, кроме выходных, мы с мамой после моего сада идём к ней в офис. Днём она работает с заказчиками, а вечером занимается документами. Я ей помогаю: печатаю договоры и сканирую платёжки. Я в этом деле опытный.

Мужчина за компьютером усмехнулся.
— Этот парень, может, и не одарённый, но уж точно не дурак, соображает,— сказал он и подмигнул мне.— Лично я считаю, надо его принять.

Тут в комнату вошла высокая полная женщина в зелёном платье. Её тёмные волосы были уложены в красивую причёску, как у артистки. Все оживились.
— Вот, Татьяна Сергеевна, неординарный случай,— сказала дама в очках.— Мальчику в конце августа исполняется шесть лет, и он просит принять его в первый класс. Вы психолог, за вами решающее слово.
— Где же он, ваш вундеркинд?— спросила Татьяна Сергеевна низким голосом и оглянулась.
— Вот он,— ответили все хором и подтолкнули меня к ней.

Она посмотрела сверху вниз и кивнула:
— Ну, садись, будем беседовать.

Она положила на стол папку, на которой большими печатными буквами было написано: «Детская оздоровительная площадка средней школы №201. План работы»,— и взялась за меня. Целый час она меня расспрашивала о нашей семье, о том, почему я больше не хочу ходить в детский сад, кем собираюсь стать, чем увлекаюсь и что вообще думаю о разных вещах. Бабушка говорит, что от некоторых моих высказываний её бросает в дрожь, поэтому я отвечал осторожно, чтобы не испортить дело. Под конец нашей беседы я порядком устал, да и она утомилась. Остальные учителя с интересом прислушивались к разговору. Мне велели нарисовать человека, идущего по улице, отгадать несколько лёгких загадок и рассказать стихотворение. Так я и знал, что будут стихи спрашивать, подумал я, хорошо, что вчера вечером повторил. Я встал, откашлялся и громко начал:

Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
Постой-ка, брат мусью!
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдём ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою!

Это мой любимый отрывок, я его читал на празднике, посвящённом поэту Лермонтову.

Только на один вопрос я не смог ответить: что такое шлагбаум. Вроде что-то знакомое, вертится в голове, а вспомнить не могу.
— Ну что ж, молодец,— сказала психолог. Она взяла папку и стала обмахиваться ей.— Информативный уровень высокий, речь хорошо поставлена, с моей стороны возражений нет.

Она написала заключение на бумаге и отдала даме в очках. Мне было приятно услышать, что моя речь хорошо поставлена. Я ведь не так давно научился говорить. Вот как это было.

До трёх лет я не ходил в детский сад. Мама рано утром отводила меня к няне, а после работы приходила за мной. Няня жила в старом деревянном доме, вокруг которого стояли новенькие многоэтажки. Мы все удивлялись, как это его не снесли, когда строили такие огромные дома. Мне нравилось у няни. У неё был маленький сын Тёма, она возила нас гулять в парк, играла с нами,

читала сказки. Когда няня на нас не смотрела, мы по очереди брали из миски их кота Васьки вкусные хрустящие шарики. Кот сидел рядом и смотрел, как мы ели.

Как только я немного подрос, все стали беспокоиться насчёт моей речи, я тогда плохо говорил. То есть я говорил охотно и много, но неразборчиво. Начинал я медленно, потом незаметно разгонялся и тараторил до тех пор, пока не замечал, что мой собеседник смотрит на меня удивлённо и немного испуганно.

Одна мама понимала, что я хотел сказать. Когда я пытался с кем-нибудь поговорить, меня выслушивали, а потом смотрели на маму, ждали, когда она переведёт. Это было неудобно, ведь мама не всегда бывала рядом.

— Опять нёс свою тарабарщину,— жаловалась ей бабушка.— Удивляюсь, как ты не примешь меры, ведь ребёнка могут не взять в школу.

Мама долго не хотела вести меня к логопеду. У нас в семье все отлично говорят, она надеялась, что и моя речь со временем выправится. Мы ждали, ждали, но речь не выправлялась, и меня решили отдать в логопедический сад. Попасть туда оказалось непросто — в городе было много детей, которые плохо говорили. Нас направили на медицинскую комиссию.

— Перед поступлением придётся пройти полный медосмотр,— сказала нам участковый врач,— посмотрим, какое заключение сделают логопед и психолог.

Мама отпросилась с работы, и мы отправились на осмотр. В поликлинике было очень жарко, по коридорам ходили врачи и бегали дети, малыши плакали, а взрослые всё время спорили из-за очереди в кабинет. Мы провели там так много времени, что я совершенно выбился из сил. Радовало только одно: каждый доктор, выписывая справку, говорил, что я здоров, как космонавт. Наконец мама сказала:

— Остался последний врач, психиатр. У него интересно, он будет с тобой играть и задавать разные вопросы.

И правда, доктор попался общительный. Я охотно сосчитал ему до десяти и обратно. Не знаю, понял ли он меня, но считал я энергично, поэтому он кивнул и сказал:

— Хорошо, вижу, что знаешь.

Тут он достал из стола ящик, на крышке которого были вырезаны разные отверстия — круглые, треугольные, в виде звёздочки и другие. Он высыпал из мешка на стол деревянные фигурки и говорит:

— Объясняю правила игры. Возьми вот эти фигурки и брось их в ящик, но так, чтобы каждая прошла в своё отверстие.

Я попробовал затолкать кубик в прорезь для звёздочки, вижу — не идёт. Ага, думаю, значит, сюда звёздочка должна пролезть. И правда, легко поместилась. Так же и остальные, там для каждой фигурки своя собственная дыра проделана. Очень хорошая игра, я быстро справился с заданием. Потом игрушки из ящика высыпал обратно на стол и крышку аккуратно закрыл, как было вначале. Доктор кивнул мне и стал выписывать справку, а я деревянные фигурки со стола тихонько переложил в мамину сумку и сижу, ногами болтаю. Думаю, ящик можно будет из картонной коробки для обуви сделать, нужные отверстия вырезать ножницами, а фигурки где возьмёшь? Тут мама сумку взяла и увидела их. Врач тоже увидел. Засмеялся и говорит:

— Ловко!

Мама тогда рассердилась на меня:

— Разве можно чужое брать?

Пришлось всё выкладывать обратно. Я потом долго вспоминал эту игру, мама обещала купить мне такую же, мы её искали в разных магазинах, но так и не нашли.

В общем, я успешно поступил в логопедический сад. Там все ребята говорили так же плохо, как и я, поэтому никто ничему не удивлялся. Каждый день к нам в сад приходила молодая женщина, наш доктор-логопед. Она была очень добрая. Некоторые ребята на занятиях шумели и отвлекались, но я слушал внимательно, мне очень хотелось научиться хорошо говорить. Когда за мной приходила мама, логопед меня хвалила:

— Ваш Вова так старается, ставит свой стул прямо напротив меня, а иногда встаёт с места и заглядывает мне в рот, чтобы понять, как надо правильно прижимать язычок, чтобы получилась буква «р».

Эти занятия помогли, я перестал картавить и глотать буквы и начал говорить правильно и понятно. Я любил свой сад, но идти в школу вместе с Ваней — это было совсем другое дело, я в последнее время ни о чём другом и думать не мог. Мама тоже считала, что сад выполнил свою задачу, поэтому не стала меня отговаривать.

Ну вот, про логопеда рассказал, теперь продолжаю про школу.

Пока психолог писала своё заключение, мужчина за компьютером вдруг заметил:

— Странно, что у нас сегодня телефон молчит. Идёт приём на летнюю площадку и в первый класс, обычно с утра звонят, а тут — тишина.

— Может, ведут работы на линии? — говорит учительница физкультуры.— Я сейчас позвоню с мобильного на станцию, узнаю, когда нас подключат.

Я заглянул под стол, вижу — провод с разъёмом выдернут из розетки и валяется на полу. Я сполз со стула и полез его на место ставить. По пути пришлось чью-то ногу плечом отодвинуть, чтобы до стены дотянуться. Я уже давно заметил, что они всё время ноги под столом туда-сюда переставляют, то под стул их закинут, то, наоборот, вперёд вытянут.

Шуршат башмаками — шур-шур, вот и выдернули провод. В общем, вставил я разъём в розетку, в трубке появился гудок, да такой громкий, даже мне под столом было слышно.

Я вылез, отряхнул брюки и спрашиваю:

— Ну так что же, могу я сказать дома, что вы меня принимаете в первый класс?

— Можешь, — сказала директор. — Учись, Савушкин, я в тебя верю.

Она вынула из стола новую папку с заголовком «Личное дело», написала внизу: «Савушкин Владимир Алексеевич», — и положила внутрь моё заявление вместе с заключением психолога.

Я попрощался и вышел из кабинета. Охранник отложил свою газету и посмотрел на меня поверх очков.

— Что-то долго тебя принимали. Взяли или велели через год приходить?

— Взяли, — ответил я и спросил: — Вы, случайно, не знаете, что такое шлагбаум?

— Как же, — он пожал плечами, — это такая полосатая палка, которая перекрывает ход машинам.

Я хлопнул себя по лбу: ну конечно, как я мог забыть?! Такая палка висит перед пожарной частью рядом с парком, я её сто раз видел.

Ну вот, этот вопрос я решил, думал я по дороге домой. Взрослые, оказывается, совсем не такие сердитые и вредные, какими иногда кажутся. Надо только правильно к ним подойти, проявить терпение.

Я остановился у светофора и стал ждать, пока загорится зелёный свет. Через дорогу, через распахнутые ворота нашего двора я увидел, как Стасик Мясоедов возле песочницы строит шалаш из веток, а Ваня стоит рядом и смеётся. Конечно, смешно: кто же так делает? Надо ветки крест-накрест вязать, сверху класть опорную перекладину, а уже на неё укладывать боковые, а он просто приложил их концами друг к другу и думает, что они держаться будут. Светофор переключился, и я помчался по белым полоскам перехода мимо замерших машин в прохладную тень двора, в зелёное царство моего последнего дошкольного лета.

(1935–2011)

Илья Фоняков

Абсурды века

Перекат на Енисее

Ёлки — чёрные чётки.
Красный-красный закат.
Беспокоимся в лодке:
Как пройдём перекат?

А река-то, река-то —
В острых зубьях камней.
Рокоток переката
Всё слышней и слышней.

Как ни жгут, ни терзают
По зиме холода —
Всё-то не замерзает,
Всё клокочет вода.

Как ни парится лето —
Но, прозрачна до дна,
Здесь не будет согрета
Никогда быстрина.

И, наверное, наши
Беспощадные дни
Этой каменной каше
В этой каменной чаше
В чём-то очень сродни.

Всё куда-то, куда-то
Нас уносит поток —
Клокоток переката,
Ледяной кипяток…

Палиндромоны

Велик — аки лев.
И крокодила долго глодали — до корки.
Лом о смокинги гни, комсомол!

Мыло — голым!
Осело колесо.
Тарту дорог как город утрат
Я — Анна, долгом оглоданная.

«ДиН» №4/1994

Никита Свикуль

Раз в год

Кастрюля

Из заставленного коробками коридора выбежал дед Петя. Бежать так, как бежал он в свои восемьдесят девять,—не каждый может. Торопился дед Петя к своему соседу Лёше.

Зашёл через калитку, разогнал палкой кур с утками и ею же постучал в дверь. Послышались шаги, хлопки дверьми, и вскоре на пороге появился Лёша. С заспанным лицом, в рабочих штанах и с голым торсом, бóльшую часть которого занимало добротное пузо, он стоял и внимательно рассматривал соседа.

— Что у тебя с лицом, Кузьмич?—спросил он.— Опять выпил?

На сухом морщинистом лице проступали мелкие красные пятна.

— Воры у меня побывали,—отдышавшись, сказал дед Петя,—обокрали меня!

— Какие ещё воры?!—возмущённо сказал Лёша.— Бывали у тебя уже один раз воры, до сих пор вон один по дому ходит, хвостом виляет.

Лёша надел тапки, спустился во двор и принялся загонять кур и уток в сарай.

— А куда тогда моя кастрюля пропала, раз не воры?

— Какая ещё, к чёрту, кастрюля?!—донеслось из сарая.

— Ну, большая такая, двадцатилитровая, я её в кладовке внизу хранил. А сегодня посмотрел— нету. Воры побывали, говорю же!

Лёша вышел из сарая и, облокотившись одной рукой на дверь, начал:

— Кузьмич, вот как ты достал уже, а! Скажи ты мне: зачем тебе эта кастрюля сдалась?! Ты что в ней делать собрался?

Дед Петя только успел открыть рот, как Лёша продолжил:

— Шура отдала твою кастрюлю Кате.

— Как Кате?!—оторопел дед Петя.—Ну, я ей щас покажу.

Дед Петя подорвался и заспешил к выходу, бормоча что-то себе под нос. Лёша только развёл руками и зашёл обратно в сарай.

Так же быстро, как уходил, дед Петя вернулся домой. Взял телефон со стола, нажал на единицу и стал ждать. Послышались гудки и после—женский голос:

— Алло!

— Шура?

— Да, пап. Что-то случилось?

— Зачем ты отдала мою кастрюлю Кате?

Молчание.

— Ну чего молчишь?

— Пап,—тяжело вздохнула дочь,—ну вот как тебе не стыдно, скажи мне? Ты живёшь один, тебе эта кастрюля не нужна.

— Но она же моя!

— Я отдала её Кате, ей нужнее. У неё хозяйство большое, поросёнок. Ей пригодится, а тебе она на что сдалась?

Не дождавшись ответа, она продолжила:

— Постыдился бы. Катя за тобой ухаживает. В магазин ходит, по счетам платит, убирается, готовит, присматривает за тобой. А ты… кастрюля тебе понадобилась… Переполошил весь посёлок, как всегда.

Дед Петя долго молчал.

— Алло!

Молчание.

— Папа?

— Да, я что-то переборщил.

— Ладно, ничего. Я ей позвоню. Как твоя рука сегодня?

Дед Петя сжал и разжал кисть.

— Вроде получше.

— Ну, разрабатывай, разрабатывай.

— Хорошо.

— Пап, осталось немного. Скоро найдутся покупатели, и я заберу тебя. До зимы точно будешь в Москве.

— Может, до Нового года оставим? Я ещё ничего.

— Прошу, не начинай по новой. Лучше скажи: тебе всего там хватает?

— Да, спасибо.

— Смотри не пей, даже ни капли. Катя будет следить.

— Хорошо.

— Ладно, давай, пап, пойду щас позвоню Кате.

— Пока.

Дед Петя положил телефон и просидел где-то с полчаса, просто глядя в окно. День таял. Небо покрывалось лёгкой розовой пудрой. По кольям забора акробатически перебирал лапами кот. Лёша поливал из шланга грядки.

— Да уж,— вслух сказал дед Петя, взял из холодильника шоколадку и вышел из дома.

Уже никуда не спеша, как самый прилежный старик, он пошёл в сторону Катиного дома. Катя увидела его из-за поворота и уже шла навстречу.

— Кузьмич, ты чего? Мне Шура уже позвонила.

— Да я вот как-то сам решил прийти извиниться,— сказал дед Петя и достал из кармана шоколадку.

— Не надо мне тут твои шоколадки, пошли в дом,— ответила Катя, взяв его под руку.— Пошли, пошли, что ты еле идёшь?

Когда на столе стояли две дымящиеся кружки, а кухню освещала янтарно-жёлтым светом лампочка — за окном совсем стемнело. Бились о стекло редкие мошки, подвывал от тоски Катин пёс.

— Ну а с хозяйством как?— спросил дед Петя, показав на свою кастрюлю, стоявшую на плите.

— Кастрюлька хороша, в самый раз.

Катя приподняла крышку, и из кастрюли поднялось облако пара.

— Это Ваське моему, пусть остывает.

— Ваське?

— Да, поросёнку.

— Сто лет у меня без дела пролежала,— виновато сказал дед Петя.— Ты уж прости меня.

Катя отмахнулась.

— Тебе-то всего пока хватает? В магазин не надо?

— Да, Шура много тогда на юбилей привезла.

Катя расплылась в улыбке:

— Кузьмич, ну какой юбилей? Тебе восемьдесят девять исполнилось. В следующем году юбилей у тебя!

— Не-ет,— ухмыльнулся дед Петя,— в моём возрасте каждый год — юбилей!

Раз в год

Новогодний рассказ

Илья, выпускник педиатрического факультета, шёл поздравлять бабушку неохотно. Раз в год он получал от мамы подарочный пакет и смиренно шагал дворами через весь район. На этот раз содержимое пакета было ещё скромнее, чем год назад: коробка конфет и… шоколадка. Илье даже стало как-то не по себе. Он забежал в магазин через дорогу и докупил коробку чая.

На улице было серо. Снег, накопившийся за выходные по бокам дорог, растекался по улицам. Под ногами хлюпало.

— Внук!— крикнул в домофон Илья.

— Внук?— удивлённо переспросили.— Ах, Ильюша, проходи.

В квартире его встретила маленькая, худая, с редкими седыми волосами, бабушка.

— Ильюша,— начала она,— какой же ты большой стал! Раздевайся, проходи.

— Бабушка,— Илья протянул ей пакет,— это тебе от всех нас. С наступающим!

Бабушка улыбнулась и поставила пакет на стул.

— Проходи, не разувайся.

Илья даже не стал спорить и прошёл в мокрых ботинках в комнату.

С каждым годом комната становилась меньше. Некоторые предметы уменьшались или исчезали, а другие — такие как стол, полный лекарств, или диван, заваленный подушками,— становились больше, занимая почти всё место в комнате.

Илья провалился в диван.

От всего пахло сухой застоявшейся пылью и корвалолом.

— Лариса,— донеслось с кухни.

— Ну чего тебе?— крикнула бабушка.

— Дай мне с Ильёй поговорить.

В комнату зашёл высокий тощий старик.

— Здравствуйте, Андрей Афанасьевич.

— Говори громче,— сказала бабушка,— он совсем слышать перестал.

Илья сказал громче.

— А, привет, привет.

Говорил Андрей Афанасьевич хрипло, тяжело, словно в гортани ему что-то мешало. В руках он держал грязную ложку.

— Ты,— он поперхнулся,— прочёл брошюру, которую я тебе в прошлый раз давал?

— Дай ты мне с внуком поговорить!— перебила его бабушка.— Мой внук, не твой.

На стене, рядом со шкафом, висел знакомый Илье портрет. На нём был изображён мужчина, похожий чем-то на лысого Блока. Это, насколько помнил Илья, был отец бабушки.

— Щас я с ним немного поговорю,— хрипел Андрей Афанасьевич,— а потом ты будешь болтать сколько захочешь.

Илья вспомнил, что год назад было ровно наоборот: сначала с ним разговаривала бабушка, а только потом Андрей Афанасьевич.

— Иди на кухню, дай нам об умных вещах поговорить. Нечего тебе такое слушать.

— Дурак старый,— тихо сказала бабушка, взяла у него из рук ложку и вышла из комнаты.

— То, что мы с тобой читаем,— сказал Андрей Афанасьевич, показав на стопку книг на полу,— им,— он затряс пальцем,— никогда не понять!

Лысый Блок смотрел со стены взглядом, полным возмущения.

— Ну так что, читал ты брошюру, что я тебе давал?

Илья припомнил, что год назад Андрей Афанасьевич дал ему тоненькую книжку с изображением каких-то индийских людей в золотых украшениях. Он тогда повертел её в руках и тут же, пока Андрей Афанасьевич не видел, незаметно засунул между книжками на полу. Илья присмотрелся и нашёл уголок этой брошюры, торчащий там же, между книг, где он её и оставил.

— Да, конечно, прочёл,— соврал Илья.

— И что ты понял?

— Ну, это было интересно,— начал импровизировать Илья.— Я, конечно, не сторонник всего этого,— он окинул взглядом комнату,— но для общего развития — было полезно прочесть.
— Во-от!— обрадовался Андрей Афанасьевич.— Для общего развития! Как же мы мало знаем о нашем мире! А то, что находится за его пределами, а?

Илья посмотрел под ноги. Снег на ботинках растаял, и на ковре вырисовывалось тёмное пятно.
— Нам нужно вырваться из круга перерождений и оказаться в Голоке, понимаешь? Мы не знаем, кем мы были в прошлой жизни. Коровой там или червяком, букашкой или человеком, это не важно. Важно то, что если мы до сих пор здесь, значит, в прошлой жизни мы что-то сделали не так и были наказаны.

Илья попытался представить себя коровой, которая в своей жизни где-то свернула не туда.
— У тебя,— Андрей Афанасьевич показал пальцем на Илью,— есть все шансы закончить своё путешествие на земле в этой жизни!

Так продолжалось ещё достаточно долго. Андрей Афанасьевич восторженно, надрывая связки, говорил о земном перерождении и прочих сопутствующих вещах, а Илья, как и любой порядочный человек, терпеливо ждал, пока собеседник закончит говорить. Через какое-то время Андрей Афанасьевич начал приподниматься, качаться из стороны в сторону, подводить разговор к логическому концу, но потом вновь цеплялся за край своих сухих мыслей и хриплым голосом продолжал:
— И все наши привычки, страсти, поведение,— он раскинул руки насколько мог,— всё это... из прошлых жизней. Мы их не помним, но след они оставляют.

Илья чуть не засмеялся, представив себя опять коровой, полной страстей.
— Давай уже заканчивай,— крикнула бабушка, войдя в комнату,— тебе ещё на рынок идти!
— Да, Лариса, сейчас,— отрезал Андрей Афанасьевич.— Я просто хочу,— обратился он к Илье,— чтобы ты знал и понимал, что мы не просто так живём на земле и что всё это,— он опять раскинул руки,— есть великий замысел Кришны.

Илья кивнул и, намекая на завершение беседы, протянул Андрею Афанасьевичу руку.
— Дать тебе что-то почитать?— пожимая руку, спросил он.
— Нет, нет, спасибо. Мне есть что сейчас читать,— ответил Илья.
— И что же ты читаешь?

Илья посмотрел на портрет.
— Блока. Стихи.
— А-а,— одобрительно кивнул Андрей Афанасьевич,— поэзия — это одно из...
— Давай уже, а то рынок закроется,— перебила его бабушка, направляя к выходу.

Андрей Афанасьевич заторопился, но то и дело останавливался, пытаясь что-то припомнить. Даже поднимал палец вверх, точно сейчас произнесёт что-то важное, но, кроме поперхиваний, Илья ничего не услышал.
— Совсем он тебе голову задурил, Ильюша,— шёпотом сказала бабушка, присаживаясь рядом.
— Да нет,— смущённо ответил Илья.

В руках бабушка держала картонную вырезку, на которой чёрным маркером были написаны названия лекарств.
— Сплю я плохо, Ильюша,— начала жаловаться она,— посплю четыре часа — и то хорошо.

Илья читал список лекарств на картонке. Из всего перечня он сумел увидеть только один единственный препарат, который знал: «Атенолол» — бета-блокатор. Все остальные лекарства были сплошной гомеопатией со смешными маркетинговыми названиями. Сухим пальцем бабушка водила по названиям и на каких-то останавливалась, спрашивая:
— А вот это хорошее лекарство?
— Я... я не знаю, я же не взрослый врач... педиатр.
— Ах, ну да, да,— как бы припоминая, сказала бабушка,— ты же с детьми.
— Ну а вот это,— она показала на какую-то то ли «Спирулину», то ли «Сопрулину»,— знаешь?
— Нет.
— А мне он так хорошо помогает!
— Это хорошо.
— Аватары же не просто так появляются на земле!— донеслось из прихожей.

В дверях показался, в ушанке и потёртой зелёной куртке, Андрей Афанасьевич.
— Они приходят, чтобы показать нам, как нужно жить, чтобы быть в самом конце вместе с Кришной. Да и то, что сейчас происходит с миром,— он начал перечислять различные катаклизмы,— не просто так! Это наказание нам за нашу бестолковую жизнь!
— Иди уже,— крикнула бабушка,— опоздаешь!

Андрей Афанасьевич одёрнулся, что-то пробубнил и вышел. Бабушка с облегчением выдохнула, махнула рукой и продолжила:
— Сплю плохо. Бывает, в десять усну, а проснусь в три и хожу до утра.
— Из-за недостатка физической активности организм не успевает уставать,— объяснял Илья,— отсюда такой короткий сон. Все старые люди мало спят.
— Да откуда взять эту активность, Ильюша? Сил нет ни на что. Вот,— она показала на ряд стульев, заваленных одеждой,— вытащила все вещи из шкафа — перебрать. Уже неделю так лежат, руки не доходят.

Илья представил, что когда-нибудь эти стулья оживут и, одетые, сбегут из этой квартиры, тихо перебирая скрипящими ножками.

Бабушка продолжала разговор о лекарствах, и Илью в какой-то момент даже начало это веселить. Он с удовольствием брал со стола бесполезные препараты и вертел их в руках.
— А вот это,— бабушка приободрилась и буквально скакала вокруг стола с лекарствами,— мне Изерская посоветовала.

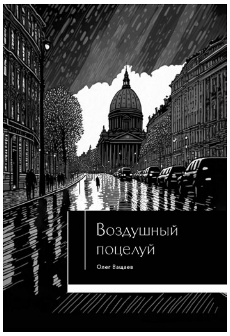
Илья взял в руки стопку пластинок, перемотанную резинкой, и, не прочитав названия, сказал:
— Хорошие, да.
— А вот эти,— говорила бабушка, как бы хвастаясь,— последние в аптеке были. Дороги-ие — ужас.
— Вон как,— подыгрывал Илья,— неплохо, неплохо.

Вдруг за окном раздались хлопки. Стекло сквозь узорчатый тюль празднично заиграло красками. Илья подошёл к окну. Уже вечернее тёмно-синее небо сверкало красными, зелёными и золотыми искрами. Разноцветные огни разлетались в разные стороны, рисуя круги. В парке, на деревьях, висели золотые гирлянды, а из-за угла был даже виден кусочек ёлки на центральной площади. Только сейчас Илья вспомнил про Новый год. Мангал с шашлыками во дворе, музыка, дети с хлопушками, шипящий бокал в руках, сладкие мандарины — всё это вдруг стало для него таким близким и нужным, что он как никогда захотел побыстрее уйти отсюда.
— Я, наверное, пойду уже.
— Конечно, конечно, Ильюша,— залепетала бабушка, держа в руках стопку таблеток.

Хлопки продолжались. Тусклая комната точно одёрнулась от таких ярких цветов и сжалась ещё больше. Илья быстро накинул куртку и уже стоял у порога.
— Возьми,— сказала бабушка, протягивая ему деньги,— подсластишь себе жизнь.
— Спасибо,— ответил Илья и незаметно подсунул купюру под стопку лекарств.— С наступающим.
— Как там мама? — спросила бабушка.
— Да ничего вроде, хорошо.
— Главное, чтобы все здоровы были. Ну ладно, с наступающим вас тоже всех там, передай.

С неба падали крупные хлопья снега и сразу же таяли. На улицах никого уже не было, но повсюду слышались свисты и хлопки, которые, казалось, происходят сами по себе. Вдалеке Илья заметил длинный, тонкий силуэт Андрея Афанасьевича и свернул в арку.

ДиН ревю



Олег Ващаев

Воздушный поцелуй

Красноярск: «День и ночь», 2023

Стихи Олега необычны, они нестандартны, они нарушают привычные размеры и типовые поэтические конструкции.

Кто-то видит в них футуристический модернизм, а кто-то — античный академизм. Его поэзия многогранна и полифонична, слова в строчках скользят с необычайной лёгкостью, слагаясь в гармоничные словесные узоры.

Тем не менее в стихах Олега произрастают мощные корни, уходящие в глубь классической поэзии, и на стихотворных стеблях распускаются ажурная листва изящных строк и лучезарные соцветия причудливых образов.

Стихотворения поэта подобны сказочному саду, в котором душа забредшего читателя непременно обретает красоту и гармонию. Ибо поэзия — это всегда соприкосновение с небесной гармонией.

Читатель, ты удивишься, узнав, что у такого замечательного поэта, как Олег Ващаев, эта книга, которую держишь в руках, первая! Олег часто печатался в разных популярных журналах, но книг почему-то не издавал. Наверное, потому, что ему гораздо важнее было читать свои стихотворения и исполнять песни на публике, перед живой аудиторией, когда возникает неописуемая магия единства поэта с читателями и поклонниками.

Но у поэта обязательно должна быть книга! Книги стихотворений остаются людям.

И книга поэта Олега Ващаева появилась, она вышла, наконец, в свет.

Очень надеюсь, что это первая, но никак не последняя книга чудных стихотворений замечательного поэта, норильчанина, нашего земляка Олега Ващаева!

Вадим Наговицын

Наталья Сафронова

Ты одна, одна на свете

Красный

После новогоднего праздника Дашу отправляли в зимний лагерь. Мама достала ей путёвку от предприятия — всё же дочери скоро четырнадцать, а она лишь раз отдыхала в пионерском лагере, и это было летом. Домашнее тепло, интересные фильмы по телевизору, живая ёлочка, сказочно отражающаяся в трельяже, держали Дашу, но возможность пожить на природе манила новизной. К тому же мама, взяв дополнительные дни к выходным, уезжала на неделю в гости к родне. Отец оставался дома — ему на работу. Дочь видела, что родители в последнее время ссорятся. А теперь, может, отдохнут друг от друга.

Территория лагеря расположилась в окрестностях города, ненавязчиво вписавшись в верхнюю часть пологого склона, обрамлённого хвойным лесом. Низ склона, ступенчатый, топорщась зарослями дикого кустарника, упирался в гору, по каменистому подножию которой бежала невидимая зимой речка. Эта покатая белёсая гора с чернеющими складками леса, с оголённой скалистой верхушкой, казалось, висела перед лагерем, закрывая полнеба, и постоянно притягивала взгляд. В пределах уже самого лагеря другим не менее интересным объектом для прибывших горожан оказалась ледяная горка, спускавшаяся по рельефу от двухэтажного здания, где поселились школьники. Недалеко от горки выделялась коричневой полосой дорожка, ведущая к центральному корпусу и воротам. За ней белела выпуклостями нехоженая поляна с запорошёнными беседками и маленьким бассейном. С противоположной стороны дремал за забором пустующий пионерский лагерь.

Горка так заманчиво блестела на солнце, что все кинулись кататься. Санями служили бурые шкуры — может, коровьи или даже медвежьи, специально припасённые организаторами отдыха для зимних забав. Для этой же цели валялись кругом обрывки картонных коробок. Свалившись кучей на меховую подстилку, очумевшая от свободы молодёжь с визгом скатывалась вниз. Кому не хватало места на шкурах, съезжали на картонках, а самые смелые — на ногах, размахивая для равновесия руками.

Дашка, не успевшая ни с кем подружиться, тоже старалась забраться вместе со всеми на шкуру и мчалась, задыхаясь от скорости. Над лагерем, нарушая естественную тишину, гремели песни, издаваемые невидимым репродуктором. Это поднимало настроение.

Накатавшись, бежали в тепло. Девочки разместились в большой комнате на первом этаже, мальчишки заняли несколько комнат выше. Шум, беготня, радостные румяные лица, игнорирование замечаний вожатых, которые сами, наверное, недавно окончили школу. Но им всё же удавалось организовать подопечных, и все шли обедать в главный корпус с кухней, столовой и залом для танцевальных вечеров.

Дашка в день приезда не решилась пойти со всеми на дискотеку. Она бродила по дорожкам лагеря вдали от жёлтого света фонарей. Сойдя с натоптанной тропы, увязла в плотном снегу и остановилась, всматриваясь в тёмную даль, где ни домов, ни машин, лишь уснувшая под снегом природа. Оглянулась на лес, пугающий густой чернотой, вспомнила лето. Здесь, на этой поляне, заросшей розовым клевером, стояла она года два назад в жаркий июльский полдень. Летом сюда выезжают на отдых детские сады, а Дашина мама педагог, и хотя дочка школьница, она тоже приезжала вместе с мамой. Как же привольно гулялось тут: горы, земляника под соснами, речка! А сейчас холодно. Зима.

Даша выбралась на тропу и вернулась к корпусу. Обрадовавшись, что горка пустует, решила скатиться с неё, лёжа на спине, как делала в детстве. Чувствуя через пальто бугристую неровность льда, смотрела на звёзды, висевшие на одном месте независимо от её передвижения по наклонной плоскости. Снова взбежала наверх, легла на спину и, казалось, не съезжала, а парила по небу, широко раскинув руки. Но неожиданно её радостное состояние усилила необычайно нежная мелодия, вылетевшая вдруг из репродуктора на свободу подобно диковинной неземной птице, разлетевшаяся на миллионы звенящих частичек и уносящаяся вместе с Дашей в бесконечность Вселенной:

Анжела, ты на счастье мне судьбой дана,
Анжела, если ты со мной, солнце светит…
Анжела, ты одна на Земле, одна.
Анжела, в добрый час тебя я встретил.

С тобой я забываю все невзгоды.
Уходят тучи прочь, стихает ветер.
Над миром дни летят, а может, годы.
Я знаю лишь, что ты живёшь на свете.

Анжела, ты одна, одна на свете.
Анжела, в добрый час тебя я встретил…

Необыкновенный голос певца, проникновенные слова и недосягаемо-воздушный аккомпанемент скрипок необъяснимой, волшебной силой проникали в сознание, волновали. Предчувствие чего-то важного согрело сердце, увлажнило глаза, отчего всё вокруг расплылось и виделось как через подтаявшую льдинку. Даша, скатившись, лежала на льду, слушала, и ей хотелось, чтобы песня звучала бесконечно!

Но песня сменилась на другую, которая не радовала, а упорно уводила от блаженства полёта. Даша продолжала кататься с горки, надеясь вновь услышать магическую музыку и слова:

Анжела, ты одна на Земле, одна.
Анжела, в добрый час тебя я встретил…

Утро следующего дня началось с пробежки. Вожатые резко отдавали команды, пытаясь взбодрить проснувшихся в непривычной обстановке девушек. Даша решила бегать без пальто, так удобнее, к тому же потеплело, и она, смешавшись с полусонной толпой, выскочила на крыльцо в маминой розовой кофте, вязаной и уютной. А кто знал, что мама уговорила дочку взять тёплую вещь? Неуклюжая мужская шапка из коричневой цигейки, тоже предложенная мамой на случай холодов, смешно хлопала ушами, сползала на глаза. Девчонка стеснялась своего головного убора, но другого не было.

Серость раннего утра и тишина ещё не проснувшегося репродуктора казались обыденными. Даша бежала по дорожке, удивляясь, что без пальто очень легко и не холодно, а яркая розовая кофта красиво смотрится на фоне белого снега. В городе ей не случалось бегать по утрам, не считая ранних походов в школу, и она радовалась таким переменам. Вспомнив вчерашнее ощущение от волшебной песни, мельком взглянула на пустую горку и, улыбнувшись, побежала веселее.

После завтрака — свобода! Кто на лыжи, кто на горку, девчонки обсуждали вчерашние танцы и поглядывали на мальчишек. Прокатившись с горы и поняв, что днём, без музыки, это занятие совсем не вдохновляет, Даша остановилась внизу, заметив мальчика в красной шапочке с помпоном. Он стоял, нагнувшись, у начала спуска и долго приспосабливал лыжи к ботинкам. Затем решительно выпрямился и посмотрел вокруг. Может, он заметил девчонку в ушанке? Вид у него был геройский.

«Неужели по льду поедет? — недоумевала Даша. — Какой смелый, прямо спортсмен». Девчонка засмотрелась на худощавую фигурку смельчака. Когда дома по телевизору показывали соревнования лыжников, она даже об уроках забывала. И вот лыжник прямо перед ней!

Но паренёк не стал рисковать. Сделав несколько шажков в сторону, где лежал снег, присел и, оттолкнувшись палками, поехал вниз. Его триумф был недолгим. Потеряв равновесие, он свалился, смешно растопырив лыжи. Разочарованно вздохнув, Дашка пошла в корпус.

Проходя мимо мальчишки-лыжника, успевшего выбраться наверх со своим снаряжением, хотела подбодрить его, но, взъерошенный, весь в снегу, он даже не заметил её. Дашка не придала этому никакого значения. Вернувшись в комнату, уселась на кровать, достала прихваченную из дома тетрадку, приспособила её на коленях, пофантазировала и записала карандашом стихи:

Ты стоишь на лыжной трассе
В красной шапочке с помпоном.
Хоть сейчас ты очень смелый,
Но совсем ещё ребёнок.
За крепленье ты уверен,
Не сфальшивят лыжи с кручи.
Хоть похож ты на мужчину,
Но совсем ты не могучий.
Всё ж похож ты на спортсмена
На слаломных трассах мира.
А что гордо смотришь сверху —
Это только для блезира.

День проходил быстро. Где-то к обеду по лагерю разнеслась весть: машина скорой помощи увезла девочку, упавшую на горке и получившую сотрясение мозга. Вожатые задумались, стоит ли позволять детям кататься, и решили: запретить! До ранних сумерек горка пустовала, но когда стемнело и включили музыку, на ледяном аттракционе вновь появились ребята.

Радостная Дашка забежала на гору, торопя миг наслаждения от следующего стремительного спуска. Сзади на шкуре места не нашлось, и девчонка, мигом обогнув кучу-малу, пристроилась впереди всех, упав на коленки и вцепившись пухлыми от снега рукавичками в обледенелую шерсть шкуры. Мгновение — и толпа несётся на бешеной скорости! Когда проехали уже половину крутого спуска, Даша увидела внизу впереди девочку в вязаной шапке, не успевающую освободить место для мчащейся на неё оравы. Девочка суетливо отталкивалась, скользила, пытаясь сдвинуться к краю…

Удар пришёлся в переносицу! Даше показалось, что она услышала, как треснул её лоб; страшная боль пронзила тело, перехватило дыхание. От столкновения её отбросило в сторону, и она лежала теперь в снегу на спине. Словно праздничный фейерверк на фоне чернильной пропасти неба, разбегались перед глазами цветные круги и искры.

Шапка свалилась с головы, но дотянуться до неё не хватало сил. Машинально нащупала под рукой комок снега, прижала его к гудящему лбу и ещё какое-то время с ужасом созерцала затухающие в глазах вспышки.

Над лесом эхом звенела задорная песня. Подошла какая-то девочка, надела на неё шапку и убежала в корпус.

Вскоре над Дашей склонилось перепуганное худощавое лицо кареглазой вожатой Любы:

— Сильно ударилась? Встать можешь? Что же вы так носитесь-то? Осторожнее надо!

Люба не спеша усадила Дашу, опасливо заглядывая ей в потускневшие глаза, потом помогла подняться на ноги. Каждое движение мучительно отдавалось в Дашиной голове: ощущение, будто внутри всё оторвалось и болтается как кисель в чашке, к горлу подступила тошнота. Дошли до здания. Даше помогли раздеться и уложили на кровать. Девочке было страшно, хотелось домой к маме, она лежала с закрытыми глазами, осязая на лбу прохладу принесённого кем-то влажного полотенца.

— Может, скорую вызвать? Как ты себя чувствуешь?—нерешительно беспокоилась Люба, со страхом косясь на вторую вожатую, стоящую за её спиной.

— Днём скорая была, и сейчас снова вызывать? Нам же влепят за это по первое число,—шептала высокая напарница.

— Даша, как голова? В больницу поедем?—допытывалась Люба, прикасаясь к тонким рукам девушки, безжизненно лежащим вдоль тела.

Даша представила больничную палату, врачей, представила сидящего перед телевизором отца, оставшегося дома. А мама? Мама сейчас очень далеко.

— Не… не надо скорую, мне уже лучше,—еле слышно прошептали губы, а затуманенное сознание проваливалось в тяжёлое забытьё.

Проснулась, когда Таня, полненькая соседка по кроватям, позвала её на ужин. Добравшись до умывальной комнаты, Даша посмотрелась в зеркало и не узнала себя: переносица и лоб опухли, покраснели, заплывшие веками воспалённые глаза разъехались к вискам. Осторожно потрогала раздутый, как дрожжевое тесто, отёк и, не почувствовав прикосновения, испуганно отдёрнула руку. Вернулась в комнату, с трудом оделась и пошла вместе с Таней и вожатой Любой в столовую. Тёплое помещение и запах мясной подливки вернули Даше чувство голода. Не глядя по сторонам, низко склонив голову и пряча лицо под длинной чёлкой, принялась есть. Но, положив в рот кусочек котлеты и начав жевать, сникла от пронзающей тупой боли, будто по вискам стучали молотки. Давясь, проглотила немного картофельного пюре, запила сладким чаем и, одевшись, грустно поплелась одна в спальный корпус.

Вожатые некоторое время обращали на неё внимание, но, видя, что девочка справляется с болезнью сама, успокоились. Что случилось с другой жертвой столкновения, Даша не знала, никто об этом не говорил.

Последующие три дня она лежала на кровати, подолгу спала и вставала только немного поесть. Умываясь, испытующе осматривала лицо в зеркале. Отёк уменьшался, возле глаз появились синюшные круги. В одно утро Даша убедилась, что собственное отражение уже не так пугает её: синева под глазами сменилась желтизной, взгляд прояснился. Она стала чаще выходить на улицу, но кататься с горки не решалась, лишь с затаённым участием смотрела на чужую радость. Внутренний страх останавливал её, как только носки обуви приближались к кромке коварной наледи. Но когда возникали, словно переливающиеся на солнце хрустальные льдинки, первые аккорды любимой мелодии, Даша замирала, слушала, и душа её ещё более трепетно ловила каждое слово:

Над миром дни летят, а может, годы.
Я знаю лишь, что ты живёшь на свете…

Жёлтый

Даша сидела на кровати и наблюдала за девочками. Они собирались на танцы: подводили глаза, красили тушью ресницы, причёсывались, доставали из сумок наряды. Наступил последний вечер в лагере. В комнату то и дело забегали мальчишки: может, им не терпелось увидеть девчонок красивыми, а может, просто подсматривали. Девчонки незлобно возмущались.

Таня, переодевшись в платье салатного цвета, задвинула свой чемоданчик обратно под кровать, жалостливо посмотрела на Дашу и принялась её уговаривать:

— Ты хоть сегодня сходи на дискотеку! Посмотришь, какая там красивая ёлка стоит. А то просидела тут одна. Доставай самое нарядное, что у тебя есть, и приходи. Приходи! Я побежала, скоро начнётся!

Таня поправила рыжеватые локоны, крикнула подружек, и они ушли.

«Может, правда сходить? Лицо почти нормальное, голова не болит»,—рассуждала Даша, стоя в умывальной перед зеркалом. Пригладила на себе мамину голубую кофточку, застёгнутую на пуговички-жемчужинки, повернулась боком, стараясь разглядеть спину, выровняла шов синей юбки, сшитой на уроках домоводства. Сходила за расчёской, вернулась к зеркалу, сдёрнула резинки, перехватывающие волосы на два хвоста, расчесала рассыпавшиеся каштановые пряди, поправила непослушную чёлку. «Я же ходила на школьные

вечера, и там, в городе, остались мои платья и туфли,—размышляла девушка, возвращаясь в комнату.—А здесь?» Подтянула обвисшие на коленках хлопковые чулки, надела валенки на резиновой подошве, пальто с меховым воротничком и, вздохнув, водрузила на голову ушанку. Присоединившись к группе не сильно торопящихся девочек, отправилась в главный корпус.

Уже внизу были слышны музыка и громкие голоса мальчишек, подпирающих перила лестничной площадки второго этажа. Даша проскочила мимо них в тесную комнатку, душную от пахнущей мокрым снегом одежды, сваленной на стулья, разделась и наконец с волнением зашла в зал.

Возбуждённые лица танцующих старшеклассников, их старательные телодвижения вызвали у Даши растерянность. Одно дело—веселье на горке: привычное занятие для загородного отдыха. А тут, в зале,—такое представление!

В дальнем углу высмотрела ёлочку, протиснулась к ней. На душе стало уютнее, всё-таки ещё новогодние каникулы. Ёлка поблёскивала игрушками, подмигивала гирляндой, отсвечиваясь в оконном стекле, наполовину покрытом искристым инеем. А за окном, поверх инея, Даша разглядела в черноте вечера едва заметно проступающий силуэт неподвижных гор.

— И что там интересного?

За секунду до того, как обернуться на голос, Даша увидела в отражении окна за спиной жёлтый свет. Перед ней стоял высокий парень в жёлтой рубашке. Светлые пряди стильной стрижки сдвинуты набок, уверенный взгляд серых глаз. Он аккуратно взял испуганную незнакомку под локоть и отвёл от ёлки. Только сейчас она заметила, что быстрый танец сменился на медленный. Нерешительно положив руки на плечи парня, Даша вдруг ощутила, как тепло от его ладоней, прижимаемых к лопаткам, побежало по всему её телу. Опасаясь, что может сильно покраснеть, как случалось в минуты неловкости, склонила лицо к груди юноши и видела теперь перед собой только серо-коричневый галстук и подбородок с ямочкой. Раскачиваясь в такт музыке, парень пытался разглядеть странную девушку, но та, пряча смущение и синяки под глазами, ещё ниже опускала голову.

Танго закончилось, пары разошлись. Даша, оставшись одна, не могла успокоить волнующую дрожь. Она незаметно поглядывала вокруг, пытаясь найти того, с кем танцевала. Но среди пестрящих одежд жёлтого цвета не было.

Зазвучала быстрая, ритмичная музыка, и, подчиняясь импульсу, все ринулись в центр. Девушки в коротких юбках и платьях игриво запрыгали, перебирая ногами в тонких чулках. Даша не осмелилась к ним присоединиться и отошла в сторонку, в голове вместе с музыкой прыгали мысли. Сводящий с ума ритм не кончался, он проникал в уши, мозг, объединял всех в единую живую массу.

«Ob-la-di, ob-la-da, life goes on bra. La-la how the life goes on...»—кричал магнитофон.

Но всё стихло, и тут же под знакомое гитарное вступление вновь стали образовываться пары. Сделав безразличное лицо, Даша отвернулась к окну.

— Потанцуем?..

И снова жёлтая рубашка, галстук и тёплые ладони, ещё смелее прижимающие к себе дрожащее тело девушки. Она всё-таки взглянула из-под чёлки и, встретившись глазами с тем, в чьих руках плавно покачивалась, быстро опустила веки.

— Тебя как зовут-то?—неожиданно спросил парень, с лёгкой иронией наблюдая за такой робостью.

— Меня? Дашей,—еле слышно прошептала девочка и ощутила внезапно биение своего сердца.

— Александра, значит,—не расслышав имени, улыбнулся мальчишка, хитро сощурив правый глаз.

Даша хотела сказать, что она не Саша, а Даша, но его ладонь вдруг сползла со спины на талию, и Даша будто поплыла и окунулась во что-то зыбкое, приятное. Внутри неё поднялись, заколыхались живые, ранее незнакомые волны, и от этого кружилась голова, слабели ноги. Над танцующими парами висела грусть:

> Как же быть, как быть?
> Запретить себе тебя любить?
> Не могу я это сделать, не могу-у-у-у...
> Лучше мне уйти,
> Но без милых нежных глаз твоих
> Мне не будет в жизни доброго пути-и-и-и...

Но отдавшаяся своему состоянию девушка не слышала ни слов, ни музыки—она сама стала музыкой.

— А тебя как зовут?—вымолвила Даша, борясь с желанием прижаться к жёлтой рубашке, явно осязая, как под тонкой тканью дышит его тело, бьётся его сердце.

Его дыхание обволакивало, томило...

— Меня? Валера меня зовут. Вот и познакомились,—только и успел ответить, как закончилась песня, и он отвёл порозовевшую лицом, улыбающуюся девушку на место.

Даша немного пришла в себя и уже с большей уверенностью выходила на следующее танго с Валерой. Двигаясь в танце по залу, они оказались в углу, где стояла ёлка. Но что это? Двое ребят снимали с ёлки игрушки, мишуру и прятали в коробки. И хотя зелёная гостья держалась стойко, пытаясь разжалобить грабителей светом гирлянды, вид у неё был куцый и ободранный.

«Сегодня же последний день в лагере, завтра ни танцев, ни Валеры не будет!»—этот неминуемый факт придавил Дашу, и такая тоска, такое

болезненное состояние охватило её вдруг: она же не сможет теперь жить без этого парня! Сегодня он рядом, и можно к нему прикоснуться. А завтра этого не будет! Не будет! И тогда, решительно потянувшись к уху Валеры, Даша прошептала пересохшими губами:

— Ты дашь мне свой адрес?

— Адрес? А ты на какой улице живёшь? — даже не удивившись, поинтересовался Валера, обхватив уже обеими ладонями девичью талию.

Даша не отстраняла его. Наоборот, сильнее вдавливала пальцы в ткань рубашки, ощущая под ней крепкие плечи, задыхаясь от волнения, пыталась сказать адрес, но затихающие аккорды развели их.

— А ты свой дашь? — шутливо спросил мальчишка чуть хрипловатым голосом, отводя девушку к окну.

Она радостно глянула на него блестящими глазами и кивнула.

Валеру окликнули, и он исчез в толпе. Загремела музыка. В это время пожилой невысокого роста мужчина в рабочем халате потащил через зал уже ненужную ёлку. Танцующие, не переставая веселиться, расступались. Ёлка тряслась, осыпая иголки, и хвойная дорожка, оставленная ею на полу, до слёз тронула Дашкино сердце.

Кто-то прикоснулся к её плечу.

«Валера?» — предположила Даша, но увидела девчонку, не по-доброму глядевшую на неё.

— Давай выйдем, мне что-то сказать тебе нужно, — произнесла та, кивнув на дверь.

Вышли. На площадке перед входом, демонстративно облокотившись на перила, стояли три девицы. Две из них, особенно раскованно танцевавшие в зале, презрительно оглядев Дашу с ног до головы, ехидно заулыбались. Третья подруга, симпатичная, с вьющимися русыми волосами, в модном платье, медленно наклонилась к Дашиному лицу и, скривив тонкие, накрашенные розовой помадой губы, зашипела:

— Ты чё к моему парню прицепилась, а?! Я с ним с первого дня танцую! Припёрлась тут! Не танцуй больше с ним, поняла?!

Злой голос обиженной соперницы испугал Дашу. Она стала защищаться:

— Он сам меня приглашает, я… я не знала…

Даша впервые в жизни осознала, что, не желая того, оказалась кому-то врагом. Но одновременно с этим пришло другое: к ней ревнуют, — и это сильно удивило её и даже придало уверенности.

Девчонки напирали своим количеством, и Даша, отступающая от их гневных лиц, споткнулась и чуть не упала со ступенек, но быстро схватилась за перила и взволнованно крикнула:

— Он сам меня приглашал! Сам!

Она взбежала наверх и, обогнув наглых подружек, вернулась в зал, но Валерки там не обнаружила. Или, может, он не хотел подходить к ней? Танцы заканчивались, и Даша поспешила в раздевалку, надеясь найти его, но он пропал.

Вышла на улицу. Слабо горящие окна корпусов и редкие фонари выделялись единственными тусклыми точками в темноте. Даше почудилось, будто некто невидимый дышит над ней из этого мрака, успокаивая её беспорядочные разгорячённые мысли. Ей не хотелось идти одной, и она догнала ребят, чьи чёрные силуэты двигались по дорожке.

В корпусе девушка специально выходила из комнаты в надежде увидеть Валеру, но он не показывался. Со стороны разозлившейся на танцплощадке девчонки и её помощниц нападок больше не было. Они, устроившись на кровати, увлечённо что-то обсуждали и лишь пару раз проводили Дашу надменными взглядами.

Даша вынесла и это. Ей запрещали танцевать с Валерой, но думать о нём никто не мог запретить, и она думала: «Если завтра утром он не даст свой адрес, я тогда…»

Что могло бы случиться, она не представляла… Но на всякий случай старательно написала на половинке тетрадного листка свой адрес, имя и фамилию.

Засыпала Даша плохо. Долго лежала с закрытыми глазами, но перед её взором явственно и ярко, наслаиваясь один на другой, возникали сюжеты, происшедшие с нею за неделю. Видимо, не только она боролась с бессонницей: отовсюду слышался торопливый шёпот, смех. Вожатая не нашла другого метода успокоить расшумевшихся школьниц, как прогуливаться между рядами коек и своим присутствием влиять на полуночников. Надев поверх шерстяных носков белые босоножки, чудом оказавшиеся в зимнем лагере, блюстительница тишины двигалась в темноте, как маятник, издавая массивными каблуками монотонный надоедливый стук. От этого стука хотелось спрятаться куда-нибудь, он мешал, но, переключившись на посторонний звук, Даша постепенно потерялась в лабиринте своих впечатлений и уснула.

Утром с новой силой окрепли и забеспокоились Дашины тревоги: «Что же дальше? Как же Валерка? Мы уедем в город, и я больше никогда его не увижу?»

Она начала суетливо собирать вещи. Но вдруг, схватив зубную щётку, тюбик с пастой и полотенце, вышла в коридор.

В конце коридора, возле умывальной комнаты, на подоконнике у окна сидел Валерка, и Даша не сразу узнала его в сером джемпере. Рядом с ним пристроился черноволосый паренёк, сверкающий молниями и полосками спортивного костюма.

Даша не ожидала такой встречи. С неумытым, заспанным лицом, в халатике, хотела вернуться, но продолжала двигаться к окну, делая вид, что не знает мальчишек. А ей так хотелось подойти к Валере, поговорить или хотя бы просто поздороваться.

Но от одной этой мысли сердце настойчиво и гулко забилось в груди. И она, опустив глаза, прошла мимо, скрывшись за дверью умывальной.

Там никого, и Даша надолго застыла перед зеркалом, размышляя о происходящем. Повернула кран и, наклонившись, стала чистить зубы. Услышав звук открывающейся двери, вздрогнула и непроизвольно отпрянула, но это зашла девочка. Умылась и в нерешительности взялась за дверную ручку, однако присутствие свидетелей по обе стороны дверей не давало возможности принять разумное решение. Ей ничего не оставалось, как выйти в коридор и отправиться в комнату.

— Лександра! Куда же ты?—услышала вдруг за спиной насмешливый Валеркин голос.

Она не оглянулась, но, заходя в дверь, боковым зрением отметила два силуэта на окне.

Сев на кровать, отдышалась, переоделась, расчесалась. Нашла под подушкой спрятанную с вечера записку и, уставившись в неё, задумалась, ругая свою нелепую скромность и неумение свободно общаться. Надо идти на завтрак. Даша сложила записку и взяла с собой, надеясь, что, может, в столовой удастся переговорить с новым знакомым, но всеобщая толкотня мешала этому, и Валерка был не один. Он издали мельком поглядывал на робкую девчонку, поедающую кашу, и хитро улыбался. Время завтрака прошло, а вместе с ним и Дашина надежда.

Синяя хозяйственная сумка заполнилась вещами, и на тумбочке остались лишь те предметы, которые могли понадобиться до отъезда: стакан, расчёска, крохотное круглое зеркальце, мыльница, полотенце. На кровати стопкой возвышалось снятое с постели бельё. Дашка, стоя пред тумбочкой и рассеянно глядя перед собой, слышала оживлённую суету за спиной. И эти коллективные сборы ещё раз напомнили: надо торопиться. Спрятав записку в полотенце, взяла пластмассовую мыльницу и, как сомнамбула, выплыла в коридор. Валерка стоял у окна, и, конечно, не один. Он молчал, и Даша, подходя ближе, украдкой взглянув на его руки, заметила, что он тоже смотрит на неё. Но, как пойманная заложница, оказавшись в умывальной, снова бессознательно разглядывала в зеркало своё отражение. Из открытого крана сильной струёй лилась вода.

«Если я сейчас подойду к нему, что мне сказать? Может, отдать записку и уйти? А если он не даст свой адрес? Как же я узнаю, где он живёт?»—спрашивала она саму себя.

Даша мучилась, время шло, надо выходить из умывальной. Появление девушки в коридоре никак не повлияло на решительность Валерки. Он, увидев вчерашнюю знакомую, выходящую с полотенцем, опять заголосил:

— Лександра! Лександра! Куда же ты, Лександра, уходишь от меня?

Дружок хохотал, и этот смех раздавался эхом в длинном пустом коридоре. Проходившие мимо девчонки даже не подозревали о том, с каким смятением в душе шла им навстречу неприметная Даша.

Она сделала ещё несколько надуманных выходов в умывальную, захватывая с собой то стакан, то какой-то мусор, чем окончательно рассмешила Валеркиного товарища. Сам виновник Дашиного конфуза лишь глупо улыбался и кричал:

— Куда же ты, Лександра?

Девушка, больше не находя повода явиться в коридоре перед Валеркой, решила выйти на улицу. Но мальчишки исчезли.

Настроение её совпадало с погодой. Будто специально, чтобы стало ещё хуже, дул сильный порывистый ветер, сметающий с дорожек невесомый снег, выпавший ночью. Ветер завывал, раскачивая макушки сосен, поднимал белую пургу над поляной, закрывал туманной пылью горы. Даша остановилась у крыльца. Пытаясь отвернуться от колючего снега, секущего по лицу, завязала белыми пальцами верёвочки на ушанке и надела рукавички. Подошла к горке. Ледяная поверхность ската казалась особенно студёной и гладкой. Подняв картонку, прибитую ветром к ногам, села на неё, порывисто вздохнула, легла на спину и, дёрнувшись всем телом для ускорения, покатилась. В полном одиночестве под мелодию ветра совершила она свой прощальный полёт, глядя в белёсо-серое тревожное небо. Остановившись, лежала на льду, вспоминая вечер первого дня и песню: «Над миром дни летят, а может, годы. Я знаю лишь, что ты живёшь на свете… Я знаю лишь, что ты живёшь на свете… живёшь на свете…» Она мысленно повторяла слова песни и, не понимая окончательно, что с ней происходит, улыбнулась…

Из корпуса стали выходить ребята. Они шли в столовую. Даша подскочила, отряхнулась и, спотыкаясь о комья снега, поднялась от горки на дорожку, пытаясь узнать среди идущих мальчишек Валерку, но напрасно.

Он явился позже, прошёл мимо, сел. Казалось, её больше не волновала мысль о невозможности поговорить с Валерой. Он находился совсем близко, за соседним столиком, и этого было достаточно в данный момент.

Девочка машинально ела, прислушиваясь к чужим разговорам, и, как всегда, молчала. Обед закончился.

«Автобусы должны приехать в три часа. Осталось совсем мало времени. Скоро домой, домой… школа, уроки, родители…—представляя свою дальнейшую жизнь, Даша вновь с отчаянием осознала: в ней не будет Валеры.—Почему он смеётся надо мной? Ведь он сам меня выбрал вчера, сам увёл от ёлки. Меня даже побить хотели из-за него!

А сегодня он такой странный, не подходит. Может, тоже стесняется при всех?» — гадала Даша, сидя на кровати, отстранённо следя за компанией девочек, сгрудившихся около вожатых. Они переговаривались, шутили, не обращая на неё внимания. Воспользовавшись этим, Даша незаметно вышла в коридор, держа в кулачке измятую записку. Она для вида зашла ненадолго в умывальную, вышла, глянула на пустой коридор и быстро забежала на второй этаж. Остановилась, чувствуя учащённый пульс.

«А в какой комнате искать Валерку?»

Преодолевая робость, заглянула в первую дверь — здесь нет его. Обитатели помещения, увлечённые сбором в дорогу, не заметили её. Когда из другой двери вышел невысокий мальчишка, Даша встала у него на пути и судорожно прошептала:

— Ты не знаешь, в какой комнате Валера? Можешь позвать его?

Сказав это, удивилась своей смелости, но отступать было поздно. Мальчишка, сделав задумчивое лицо, секунду соображал.

— А! — вскрикнул он и скрылся в дверях.

Даша застыла. В коридор вышел Валерка. Он смутился, увидав Дашу, нервно оглянулся на дверь. Подошёл:

— За мной сейчас отец приедет на машине, я уезжаю.

Его глаза уже не смотрели так уверенно, как в тот вечер, когда он пригласил её танцевать и когда позже окликал, сидя на подоконнике. Они были такими же серыми, как его джемпер, как холодное серое январское небо над головой Даши в тот момент, когда она в последний раз скатывалась с горки.

— Возьми. Это мой адрес, — голос дрожал, но рука девушки протягивала записку.

Он взял записку и, медленно отходя от Даши, полушёпотом произнёс:

— Подожди тут.

Даша замерла. Она ждала, и это ожидание превратилось в нетерпение. Валерка вышел в коридор и, пока приближался, внимательно глядел ей в глаза. Он держал обрывок бумаги и, подавая его, недоверчиво усмехнулся:

— Держи адрес.

Даша несмело, стараясь улыбаться, разглядывала Валеркины глаза, брови, ямочку на подбородке, губы, шею, ворот жёлтой рубашки, лежащий поверх горловины джемпера. Там, на танцах, в полумраке, ей даже не удалось хорошенько рассмотреть его — какой он. Только почувствовала, как тает и поёт сердце рядом с ним.

— Мне надо идти, скоро отец подъедет, — Валерка поднял руку, словно хотел коснуться плеча девушки, но тут же, согнув её перед собой, взглянул на часы, показавшиеся из-под рукава, развернулся и ушёл в комнату.

Держа в руках заветную записку и не веря случившемуся, Даша ещё секунды три постояла в коридоре и спустилась вниз.

У неё появилась идея выйти на улицу и посмотреть, как Валера пойдёт к машине, как сядет в неё и как машина будет уезжать с территории лагеря, но она усилием остановила себя и, уединившись, незаметно разглядывала бумажку с Валеркиным почерком. Из оцепенения её вывел громкий голос вожатой Любы:

— Автобусы пришли! Проверяем, чтобы ничего не забыли, и выходим!

Уже сидя в автобусе, Даша посмотрела в замороженное окно на одиноко стоящий вдали корпус, на горку. Взгляд скользил по склону, погружавшемуся в ранние сумерки, по забелённым снегом макушкам сосен... Затуманенное застекольное изображение, перечёркнутое ледяными царапинами, казалось неживым. Затарахтел мотор, а Даша всё смотрела и смотрела. Сразу за воротами дорога шла под гору; автобус качнулся, тронулся с места, и картинка исчезла.

Весь обратный путь до города девушка пробыла в забытьи. В сумке лежал Валерин адрес, и вроде можно успокоиться и радоваться этой удаче, но мимолётность внезапного счастья и скорая разлука огорчали.

Автобусы высадили прибывших пассажиров в положенном месте у проходной предприятия, выдавшего путёвки школьникам в зимние каникулы, и Даша отправилась домой, разочарованно глядя на серый снег и мусор вдоль забора. Город погружался в сизый сумрак. Прошла длинную аллею сквера, свернула к зданию института. Пересекая круглую площадь перед ним, именуемую в городе «пятачком», удручённо глянула в сторону широкого проспекта, уходящего в туманную перспективу. Но внезапное прозрение заставило её убыстрить шаг: ведь Валерка уже в городе, совсем близко, судя по его адресу.

Когда отец открыл дверь и Даша зашла в квартиру, казалось, она вернулась в далёкое прошлое, где ещё не было ни лагеря, ни злополучного столкновения на горке, ни даже Валеры. На том же месте стояла ёлка, на том же месте лежала её недочитанная книга, всё в квартире было как прежде, но только теперь Даша стала другой.

Мама ещё не приехала; отец, рассеянно глядя на дочь, ограничился несколькими вопросами, предложил поесть с дороги и уткнулся в газету. Пока Даша пила чай на кухне, он из комнаты посмотрел на неё поверх газеты долгим выцветшим зеленовато-пепельным взглядом, но ничего не сказал. Молчала и Даша. Её устраивало, что отец трезвый. Когда он выпивал, как случалось иногда, она боялась его грубости и жалела маму.

Остаток дня Даша провела в своём уголке у окна, за письменным столом. Перед ней лежала тетрадь с её стихами, написанными прошедшим летом, но мыслями она парила далеко. Даша понимала: ждать послания от Валеры придётся долго. Не будет же человек, вернувшись домой, сразу садиться за письмо. Но какая-то совсем фантастическая надежда на то, что завтра утром или, скорее всего, вечером в почтовом ящике обнаружится конверт, давала силы. С этой надеждой Даша ночью неожиданно быстро уснула.

Утро развеивало вечерние иллюзии. Отец ушёл на работу, и, оставшись одна, девушка затосковала. За окном стужа, темень, в квартире холодно, неразобранная сумка с вещами стояла возле кресла. На душе хмуро, неопределённо. Всё случившееся недавно в лагере и давящая сейчас тишина пустой квартиры никак не вязались друг с другом. Даше подумалось: «А может, ничего и не было?»

Она сидела на диване, подперев голову руками, и глядела на мамину кофту, повисшую розовым пятном на спинке стула. Пробуждающийся рассвет медленно и несмело выбеливал обледеневшие стёкла окон.

Даша поднялась, выключила свет, отправилась на кухню, нашла на сковородке глазунью, оставленную для неё, подогрела на плитке чайник, заглянула в пластмассовую хлебницу. Положив глазунью и хлеб на тарелку, вернулась в зал, поставила тарелку на газету, постеленную на угол полированного стола, и включила телевизор.

Любовь—это то, что ребятам понять не дано.
Любовь—это то, что бывает во взрослом кино.
Бывает и в жизни любовь, говорят,
Но это, но это, но это, конечно секрет для ребят…

На экране шёл весёлый музыкальный фильм, но слова песни лишь добавили к Дашиному страданию ещё одну каплю грусти. Её сердце, наполненное печалью, тоже не могло понять, что с ним случилось. Любовь? Любовь… Не хотелось ни есть, ни смотреть кино. Всё же немного поела, выключила телевизор. Отнесла посуду на кухню и снова села на диван.

«А может, Валера уже написал письмо и сам бросил в почтовый ящик?»—выдумала девушка.

Скорее в подъезд! Валенки на голую ногу, пальто на плечи—и Дашка бежит по ступенькам на первый этаж, где на пыльной стене висят помятые жестяные ячейки. Ей почудилось, будто в дырочках дверцы белеет конверт.

«Письмо!»

Ключ, как нарочно, застрял в скважине, не проворачивался. Но ящик был пуст…

Письма не было и в полдень, когда Даша, уходя в магазин за хлебом, заглянула в него и когда с авоськой торопливо зашла с морозной улицы в полумрак подъезда. Письма не было.

Вечером вернулась мама. Одиночество тяготило девушку, но присутствие родного человека оказалось ещё более серьёзным испытанием. Она пыталась притворяться, как будто ничего не произошло. Но мама сразу же заметила изменения в дочке. В первую очередь—ещё не прошедшую желтизну под глазами. Ёжась от пристального материнского взгляда, Даша в общих словах описала причину своего нездорового внешнего вида. Но разве она могла поделиться тем, что терзало её сердце? Когда в прошлом году мама обнаружила её тайник с дневником—единственным доверительным свидетелем девичьих секретов, то устроила серьёзный допрос по некоторым подозрительным и неприличным для неё фразам, Даша тогда от расстройства хотела совсем уйти из дома. С тех пор она не вела дневников.

Если бы мама увидела свою дочь в тот вечер после травмы на горке, наверное, сильно разволновалась бы. А сейчас, обхватив обеими ладонями смущающееся лицо Даши и внимательно изучив последствия ушиба, только досадно вздохнула. Потом пожурила за невнимательность к самой себе и напомнила о подготовке к школе—каникулы закончились.

Пришёл с работы отец. Начались разговоры о маминой поездке к родственникам, о морозах и туманах, не дающих совершать самолётам рейсы в необходимое время, из-за чего мама целых два дня потратила впустую на ожидание, о квитанциях за квартиру, о продуктах и, конечно, о том, что ёлку уже давно пора убрать.

Всё происходящее в семье мало интересовало девушку. Закрывшись в дальней комнате, сидя за письменным столом под светом лампы, Даша в задумчивости перебирала тетради и учебники. Сложила в портфель необходимые из них и, прислушавшись к разговорам за дверью, вынула из глубины стола голубую тетрадь, обёрнутую восковой калькой. Тетрадь со стихами—тоже своего рода дневник секретов и тайн. Но до него мама ещё не добралась. Наверное. Даша начала писать стихи в прошлом году, но за это время их собралось не так уж много.

Аккуратные строчки, написанные то шариковой ручкой, то любимой авторучкой, заправленной синими чернилами, пестрили разными почерками. Вот буквы наклонились вправо, здесь влево, а тут вообще вытянулись вверх, как по команде. И сейчас, глядя на свои творения, девушка задумалась, перенеслась в недалёкое прошлое, где снежное раздолье, голубые сумерки и, конечно же, Валера. Перед ней проплыли подробности прощальной встречи, его рука с запиской, подбородок с ямочкой…

Закрытая тетрадь исчезла в залежах стола, но где-то там, в глубине неспокойной Дашкиной души, уже началась тайная работа: и яркие

воспоминания, и тоска, и несбыточные мечты — всё это переплеталось между собой и как бы само по себе складывалось и рифмовалось.

В этой отрешённости Даша встала и направилась к шкафу. Вынула школьную форму, долго невидящим взглядом смотрела на белый воротничок с кружевной отделкой, сшитый ею ещё перед поездкой. Вдруг снова села на стул, уронив коричневое платье на колени, уставилась в узор на портьерах, несколько минут сидела неподвижно и тут же, резко дёрнув ящик стола, вынула тетрадь в кальке, открыла на чистой странице и начала писать:

Быть может, потому случилось всё тогда,
Что это был последний вечер встречи.
И вспоминали все в тот день, грустя,
Что был когда-то самый первый вечер.
В тот самый первый зал огнями цвёл,
И ёлочка в углу его стояла.
В последний вечер видели мы все,
Как ёлку эту вынесли из зала.
У чьих-то глаз запряталась слеза,
И о разлуке в сердце грусть запала.
Ведь виделись здесь все в последний раз —
Кому-то это смелость придавало…
Кого-то кто-то странно пригласил,
Кого-то с кем-то вдруг заметили и… Но
Все знали, что придёт разлуки час
И встретиться потом не суждено…
Быть может, зная это, как и все,
В конце начало сделать ты решил
И потому так смело подошёл,
Меня с собой на танец пригласил.
Потом расстались мы с тобой, не знав,
Что принесём друг другу много бед…
И это танго, и твоя рука
Оставили для нас жестокий след.

Вызревшие в стихах эмоции брызнули редкими каплями слёз на страницу, размывая написанные синими чернилами слова, но девушка не обращала на это внимания, пока не вывела последнюю строчку. Стало немного легче, будто поделилась с кем-то, рассказала, как ей трудно. Высохли слёзы, форма заняла своё место в шкафу, тетрадь со стихами — в столе.

В квартире аппетитно запахло супом. Даша выключила лампу под чёрным колпаком и вышла к родителям на кухню.

«Всё-таки хорошо, что мама вернулась, даже в квартире теплее стало», — подумала она, подсаживаясь к столу. Ужин был готов: хозяйка в домашнем платье и переднике разливала по тарелкам вермишелевый суп с мясными фрикадельками, в центре стола возвышалась миска с отварной картошкой. Были тут и гостинцы, привезённые от родных: солёная рыба, сало, ватрушки с брусникой, варенье из черники. Отец, довольный, сидел на своём месте с ложкой в руке. Мама поставила рядом с картошкой салатницу с квашеной капустой и тоже села. Вроде бы всё обычно, но дочка не может, как раньше, открыто взглянуть родным в глаза. Сидит как чужая, ест молча. И даже белые шерстяные носки, связанные бабушкой и отправленные специально для неё, неприятно колют голые ступни. В мыслях ещё крутятся строчки только что написанных стихов, и сама она вроде бы как не здесь.

— Ты хорошо себя чувствуешь? Что-то невесёлая такая, — мама потрогала лоб дочери.

От тепла маминой ладони захотелось расплакаться, рассказать всё как есть, но Даша, ещё ниже опустив голову, лишь вяло улыбнулась:

— Нормально…

— Нормально?!

Мама словно почуяла что-то, и по взгляду её внимательных карих глаз, по сдвинутым на переносице красиво изогнутым бровям и по напряжённому узкому подбородку это сразу стало видно. И от этого пристального взгляда Даше некуда было деться. Она торопливо допила чай и хотела убрать со стола тарелку, но мама молча показала рукой на дверь, и девочка охотно удалилась.

После, лёжа на диване под одеялом, осознавая себя защищённой в домашней обстановке, вздыхала и вспоминала лагерь. Вверху включили на всю громкость магнитофон — это развлекались рыжеволосые братья Табачковы, их трое. И полились в Дашкины уши узнаваемые с первых аккордов, так как проигрывались почти каждую ночь, песни «Битлз». А одна из них — о девушке — особо глубоко бередила и без того возбуждённый мозг лежащей в темноте девчонки. Отец ворчал и ругал парней, но Даше музыка не мешала. Под её лирические мотивы она ясно представляла ячейку почтового ящика и белеющее в нём письмо. Может, завтра так оно и будет?

Но ни завтра, ни послезавтра письма не было, только торчали отцовские газеты. И тогда девочка решила найти Валеркин дом. Внимательно изучив адрес на записке, в один из ветреных вечеров, пока родители не пришли с работы и когда ещё всё видно, но каждую минуту становится всё темней, она отправилась по указанной улице.

Заветный дом нашёлся недалеко от привычного места обитания Даши: обыкновенная кирпичная пятиэтажка, окнами на памятник вождю, установленный в центре сквера неподалёку от шумного проспекта. Но для неё это место стало вроде магнита, притягивающего её сознание.

Девушка присела на холодную лавочку под голым клёном — не потому, что устала, просто сердце её забилось чаще от такой близости к заветному дому. Не дав себе успокоиться, рассматривая прямоугольники окон, принялась лихорадочно соображать, где может находиться Валеркина

квартира: «Дом почти такой же, как у нас, значит, можно всё вычислить. В каждом подъезде по двадцать квартир. В первом? Во втором? Нет! В третьем? В четвёртом! Окнами на сквер! — Даша чуть не подпрыгнула от этого открытия. — Четвёртый этаж, окна на сквер! В окнах свет, а за ними — *он!*» Хотелось побежать туда, позвонить или постучать, но встрепенувшееся чувство гордости или страха остановило этот порыв, заставив поспешно уйти, пока её не заметили…

Теперь каждый Дашин день начинался и заканчивался надеждой, что Валерка всё-таки напишет ей. Она и в школу торопилась, чтобы по пути проверить почту. Из школы скорей домой — её ждёт письмо! К тому же боялась: а вдруг мама или отец вынут конверт раньше неё? Но родители жили как обычно, и, зная излишнюю мамину строгость по отношению к ней, Даша рассудила так: раз молчат, значит, письма не было.

В классе за партой думы о Валере отвлекали от учителей, уроки тяготили, время тянулось медленно и казалось бессмысленным. Но четверть только начиналась, и повторяли пройденный материал. А когда пошли новые темы и домашние задания, для измученной девочки наступили совсем нелёгкие дни: она стала хуже учиться, осунулась, неохотно общалась со сверстницами.

И только когда их класс собрался на квартире у кареглазой активистки Маринки отметить мужской праздник — двадцать третье февраля, где все расслабились и стали играть в «бутылочку», разоблачающую тайные симпатии, Дашка не выдержала. Выпив шампанского и выслушав сбивчивый монолог о несчастной любви своей захмелевшей соседки по парте Светки, вдруг призналась ей, что тоже влюблена в одного парня, а он ей не пишет. Света, в свою очередь, что-то слезливо пробормотала о мальчишеском предательстве, после чего обе девушки, сидевшие поодаль от крутящейся на полу зелёной бутылки, обнялись и поплакались друг другу.

Кто-то включил магнитофон, и парочки, успевшие поцеловаться во время игры в «бутылочку», охотно перешли на медленное танго. Кому не хватило мальчишек, принялись доедать пирожные безе — фирменное угощение чьей-то мамы, специально приготовленное ради праздника. Маринина мама помогла накрыть стол и давно ушла, оставив дочь с гостями.

— А чего твой не пишет? Может, адрес потерял? — очнулась от слёз Светка, вытаращив на Дашу жёлто-серые влажные глаза.

У Даши всё затрепетало внутри от этих слов. Она ясно представила, как несчастный Валерка ищет её по всему городу и мучается не меньше неё.

— А ты сама писала ему? — продолжала подруга со знанием дела в голосе, шмыгнув крупным носом.

— Нет, но адрес он дал! — от такого нежданного поворота взбодрилась Дашка.

— Так напиши первая, и всё нормально будет, — Светлана провела ладонью по серым, слипшимся от духоты волосам и снова сделалась хмурой. — А мой даже смотреть на меня не хочет.

Обделённая вниманием страдалица украдкой глянула на симпатичного высокого Серёжку, недавно пришедшего в их школу, любимчика многих девчонок класса. Серёжа нежно держал в руке маленькую ладошку светловолосой Олечки, а та кокетливо светилась голубыми глазками. Рядом с ними, о чём-то шепчась, переступали по крашеным половицам хозяйка квартиры и другой Серёжа — уверенный в себе юноша с красивым профилем.

Ещё несколько пар теснились в медленном танго в малогабаритной хрущёвке на пятом этаже: Валера с Наташей, ещё один Валера с Любой, Саша с Галей, Коля с Ирой, Игорь с Валей.

Светка протяжно вздохнула. Её голова обречённо упала на Дашино плечо, а сама Даша сидела как оглушённая.

«И как я сама не могла додуматься до этого — написать письмо?! Но ведь девушки не пишут парням первыми, это нескромно, парень первым должен! Но я же первая попросила тогда адрес у Валерки, не постеснялась, а теперь вдруг стала скромной? Как всё просто: человек потерял адрес, и куда ему писать? Точно потерял, он же тогда очень спешил, из-за отца», — эти размышления так окрылили её, что она готова была сейчас же бежать и садиться за письмо. Но Светка опять начала всхлипывать, и Даша, гладя её по тёплой макушке, вздыхала и безучастно смотрела на танцующих.

После вечеринки возбуждённые вином и танцами школьники вывалились гурьбой на морозный воздух. Расставаться не хотелось, и все направились до остановки провожать тех, кто живёт в другом районе города. Когда дошли до перекрёстка улиц, Даша увидела вдали в зимнем вечернем мареве знакомый дом.

«Там сейчас Валерка сидит за письменным столом и, может, читает или вспоминает обо мне. Как же он мог потерять адрес? А теперь ждёт, наверное, письмо или ищет меня, а я тут иду…» — и девушка вдруг метнулась в сторону манящих светом окон, отбежала от всех, будто хотела кого-то спасти или сама спасалась от невидимого врага, но тут же резко остановилась, нелепо взмахнула рукой, обвела невидящим взглядом удивившихся одноклассников и, смущённо опустив голову, вернулась к ним.

— У тебя там что? Может, бумажку дать?! — съехидничала остроносая модница Ирка.

Остальные равнодушно захихикали. Только Света внимательно и вопросительно посмотрела в глаза потерявшей контроль над собой подруге.

— Там он живёт, на четвёртом этаже,— сдавленным голосом призналась Даша и расстроилась из-за своего глупого поступка.

Но весёлая компания уже забыла о ней.

Ещё долго топтались на скользком тротуаре остановки, прыгали, чтобы не замёрзнуть, всех проводили и разбежались. Даша, подходя к своему дому, решила: надо именно сегодня написать Валерке.

Вернувшись, наконец, в тепло, зашла в ванную, посмотрелась в зеркало. На её синюшных от февральского ветра губах застыла восторженная улыбка, глаза блестели, а промёрзший шмыгающий нос победно вздёрнулся. Перебарывая нетерпение, вымыла руки и, отказавшись от ужина, проскочила мимо отца, освещённого экраном телевизора, в свой уголок. Мама, конечно же, зашла следом, спросила про вечеринку. Дашка ответила, что всё было хорошо, и сделала спокойное лицо. Мама вышла из комнаты, прикрыв дверь,— наверное, тоже села смотреть телевизор, там фильм начался.

«Завтра выходной, и уроки можно не делать. Письмо, письмо! Наконец-то я смогу сказать ему о своих переживаниях. Как же я так долго терпела и не писала, а ведь он ждал. А я всё ящик почтовый проверяла. Сейчас напишу ему и адрес напомню, и он обязательно ответит»,— крутились бесконечной спиралью девчоночьи думы, то окрыляя, то снова навевая неуверенность.

Даша сняла и бросила на кровать шёлковое розовое платье, перешитое мамой из своего, надела халатик и села за стол. Выдернула из толстой тетради лист, положила перед собой. Задохнулась от нахлынувшей смелости, как тогда, в лагере, когда спрашивала имя у незнакомого парня, и после, когда протягивала ему записку с адресом.

Любимая ручка с синими чернилами в руке — и строчки, послушные сердцу и эмоциям, торопясь и волнуясь, побежали по линейкам.

«Здравствуй, Валера. Уже прошло шесть недель, как мы уехали из лагеря, а я не могу забыть тебя. Ты не пишешь мне, и я подумала: может, ты тогда торопился и потерял мой адрес?..»

Даша ничего не могла скрыть от того, кому почему-то поверила, она искренне писала своё послание и грустила и радовалась одновременно. Где-то в глубине её наивной души скребла досадная помеха: как-то всё не так в этой истории, не нужно ей искать внимания у парня, когда-то пригласившего её на танец. Но ведь он дал адрес, а мог бы просто уйти. Сомнения разъедали душу, но сама Дашина сущность, отмахиваясь от них, безудержно и бездумно рвалась вперёд.

«Письмо написала, осталось конверт найти. У мамы спрашивать нельзя, сразу начнутся вопросы. Придётся завтра искать. Завтра письмо будет отправлено, и тогда всё станет ясно, тогда он…»

— Ты спать сегодня собираешься?— неожиданно раздавшийся за дверью голос мамы прервал суматошную вереницу мыслей в горячей Дашкиной голове.

Потревоженная дочь быстро прикрыла письмо заранее открытым учебником, как делала не раз, застигнутая врасплох за чтением художественных книг.

— Сейчас!— бойко отозвалась Даша и удивилась такой непринуждённости.

Действительно, ей вдруг стало легко. Она спрятала подальше письмо, платье повесила на плечики. Ему висеть в шкафу вместе с голубой кофточкой, с той, к которой… тогда… прикасались его ладони…

Когда в квартире все улеглись и погас свет, а часы на серванте начали свою монотонную, еле слышимую, но невидимую ночную смену, лишь одно девичье сердце стучало настойчиво и пылко, не желая засыпать.

Утром не выспавшаяся Даша тайком от родителей нашла в шкафчике чистый конверт, припрятала его в своём столе. Улучив момент, старательно вывела в нужном месте адрес назначения и ещё более разборчиво — адрес отправителя. После завтрака её послали в магазин, и это как раз было кстати — отправить письмо надо как можно раньше.

Поднося конверт к щели синего ящика, прибитого на углу почты, Даша опять ощутила ту упорную энергию неотступности от задуманного, овладевшую ею ещё в лагере. Она затаила дыхание, потом резко вздохнула, и конверт, выпорхнув на выдохе из рук, исчез в глубине почтового ящика. Это стало началом нового ожидания.

Однообразная череда дней с повседневными заботами об уроках, школе, скучными домашними поручениями томительно навалилась на Дашу. Её уделом стало всё с той же механической настойчивостью каждый раз заглядывать в пустое нутро подъездного ящика, оставляя в душе надежду на лучшее.

А письма всё не было…

Как-то вечером в выходной Даша пробиралась по гололёду в дальний магазин через малознакомый квартал. Машинально вглядываясь в белёсые жестянки с номерами домов, похожих один на другой, вдруг заметила, что один из номеров ей очень знаком.

«Это же Валерин номер! Нет, у него другой, если только цифры переставить, но буква „а“ тоже есть, и улица та же. А какой же номер я на конверте написала? Может, перепутала и письмо не туда попало? Что же теперь делать? Он, наверное, потому и не отвечает, адреса-то так и не узнал!»

Переходя улицу и стоя в магазинной очереди, Даша думала о письме, ей не терпелось выяснить для себя правду. А как?

«Надо ещё раз написать и внимательно посмотреть адрес. Сама виновата!»—она даже обрадовалась очередной надежде, у неё снова появилось оправдание для молчавшего до сих пор мальчишки.

Возвращаясь тем же путём, девочка всё-таки отчаялась проверить на месте свои предположения. Подойдя к подъезду дома-двойника, остановилась и нерешительно потянула за ручку двери, вошла и тут же бесстрашно устремилась наверх.

На нужной площадке остановилась, задохнувшись от внезапности своего поступка.

«А если он как раз здесь живёт и сейчас сам откроет дверь?!»—от этой мысли у Дашки закружилась голова, подкосились ноги, но её палец неуверенно нажал на кнопку.

Отголосок звонка внутри квартиры и последующий за ним топот чьих-то ног перепугали её, сразу захотелось сбежать вниз. Открыла немолодая женщина в цветном платье. Дашка молча стояла перед ней.

— Тебе кого, девочка?—женщина, прищурившись, разглядывала растерявшуюся девчонку-подростка в мужской шапке и с хозяйственной сеткой в руке.

— К вам не приходило недавно чужое письмо для Зайцева Валеры?—еле слышно проговорила девушка, затравленно отводя взгляд.

— Что ты говоришь? Письмо? Где?—хозяйка квартиры наклонилась к гостье.

— К вам письмо чужое не приходило?—страдальчески мучилась стоявшая в полумраке лестничной клетки девчонка.

— Нет, ничего не получали, только газеты. А кто писал?—любопытничала женщина, но пугливая незнакомка попятилась к лестнице.

— Спасибо,—ответила Даша, развернулась—и скорей на улицу.

Выскочила, запыхавшись, в чужой двор, на миг потеряла ориентацию и снова направилась в сторону магазина, но, опомнившись, повернула назад и прошла мимо подъезда, где только что была.

«Значит, письмо попало куда надо—к Валерке. Сюда оно не приходило, а если бы он тут жил, то бабушка точно сказала бы. Если бы письмо пришло сюда, можно было бы объяснить, почему нет ответа»,—делала выводы Дашка, но это были неутешительные выводы.

Брела, понурив голову; авоська со свёртками цеплялась за пальто, стёртые подошвы валенок то и дело скользили по хрустящему, как стекло, грязному снегу. Посмотрела вверх. Абсолютно безоблачное небо, продутое насквозь ветрами, казалось невозмутимо-прозрачным, и в этой фиолетово-синей чистоте мигали и переливались первые звёзды. Даша, вглядываясь в открытое пространство над крышами, на мгновенье перенеслась в прошлое, увидела себя лежащей на льду, услышала вдруг хрустальную мелодию песни:

Над миром дни летят, а может, годы.
Я знаю лишь, что ты живёшь на свете…

Вновь, как прежде, нежные звуки понесли её в неразгаданную, неизвестную страну любви, где от таких только слов, как в этой песне, можно стать счастливой…

В подъезде остановилась перед почтовым ящиком, как всегда, заглянула в круглые дырочки. Что-то белело в его глубине! Боясь снова ошибиться, Дашка, повесив сетку на согнутую руку, открыла дверцу. Прямоугольник письма магическим символом выделялся в черноте. Схватив его и прижав к груди, девушка торопливо щёлкнула ключиком и, подойдя ближе к слабому свету лампочки, склонилась над конвертом. Дыхание её участилось, ладони вспотели, и через пелену слёз, увлажнивших глаза, она прочитала, кому было предназначено письмо.

«Это мне, фамилия моя!»—ликовала Даша.

Но после фамилии стояло не её имя, а отца. Обратный адрес окончательно разочаровал: письмо от тёти из деревни. Ещё несколько раз перечитав адреса, как будто от этого могло что-то измениться, уныло поднялась на третий этаж. Перед дверью остановилась, попыталась успокоиться. Хорошо, что открыл отец. Даша сразу протянула ему конверт и продукты, разделась и шмыгнула к своему столу. Дверь специально не закрыла, и ей было хорошо слышно, как отец читает маме письмо от его родной сестры. В их семье часто писали письма родственникам и открытки посылали на праздники. Но сегодня от отцовского чтения ей ещё больше хотелось плакать. В письме тётя интересовалась их жизнью, рассказывала о своих деревенских новостях: кто умер, а кто женился. Всё так понятно и просто. Почему же у неё ничего не получается с этими письмами? Почему он не пишет? Сколько ждать?

Весь вечер после ужина ушёл на подготовку к завтрашнему дню: форма, уроки, тетрадки… Всё делала привычно, заторможенно. А потом бессонная ночь и тысячи мыслей в голове.

Назавтра, придя из школы, одна в квартире, Даша, так долго державшая свои огорчения в себе, тихонько всплакнула. Потом вынула из стола тетрадь со стихами, прочитала написанное ранее и, провалившись в туман воспоминаний, написала новое стихотворение:

Каждый день я почтовый ящик
Проверяю, а писем нет.
Но я буду ждать, слышишь, буду
От тебя голубой конверт!
Этот адрес, твой странный адрес,
Что ты мне тогда подарил.
Ты не знал, кем ты стал однажды,
Когда рядом со мною был.

Может, всё ты принял за шутку?
Может, всё я взяла всерьёз?
Но теперь мы никак не можем
Между нами решить вопрос.
Ты молчишь, не даёшь ответа,
Чтоб тебя я могла понять.
Хоть бы строчку, одну лишь строчку,
Чтоб судьбу мне свою узнать.
Каждый день я почтовый ящик
Проверяю, а писем нет.
Но я буду ждать, слышишь, буду
От тебя голубой конверт!

Перечитав своё отчаянное откровение, отыскала чистый конверт, купленный на сдачу в киоске, приготовила лист из тетради.

«Здравствуй, Валера.
Я отправила тебе письмо. Может, оно потерялось, и поэтому ты не пишешь. А может, ты ошибся в адресе. Посылаю тебе ещё раз свой адрес. Напиши, пожалуйста, мне, чтобы я знала, что ты получил моё письмо…»

Даша хотела написать в письме и своё стихотворение, но засомневалась и опять нелепо, по-детски, объяснила непонятливому парню о своём желании хотя бы переписываться с ним. Запечатав конверт, быстро оделась и выскочила на пропитанный предвесенними запахами двор. Ноги сами бежали к почте, к безучастному к чужим слезам ящику, к этому молчаливому временному хранилищу сердечных мук. Письмо, сорвавшись из озябших Дашкиных пальцев, улетело внутрь ящика, и теперь шесть или восемь дней, по подсчётам девочки, она будет ждать ответ.

Наступило восьмое марта. Именно на этот день очень рассчитывала неопытная влюблённая, мечтала: может, Валера собирается удивить её, написать именно в этот праздник. Ведь она в первом письме поздравила его с двадцать третьим февраля. Они с девочками всех мальчишек в классе тогда поздравили. И мальчишки их тоже поздравили с восьмым марта, и все девочки перед уроками нашли у себя в парте какой-нибудь подарок. У Даши лежала книга.

Не удивил, не написал. Тогда в тоскующую душу Дашки запало первое подозрение: а может, Валерка дал ей чужой адрес? Но её сердце тут же отбросило эту коварную версию. «Нет, не мог так поступить человек, я же видела его лицо, когда он протягивал мне записку. Он тоже переживал, что приходится расставаться,—внушала сама себе Дашка.—Может, он просто не любит писать письма, ему некогда, у него много друзей или родители мешают? А может, они прячут от него её письма?»

Последнее предположение было посерьёзней версии с неправильным адресом, но Даша и на эту преграду закрыла глаза. Ей хотелось верить в лучшее, и пока у неё была эта вера, она не перестанет ждать ответа.

Её тетрадочка со стихами пополнялась новыми откровениями, после чего на какое-то время становилось немного легче. Но сами стихи продолжали грустить.

Все обсуждали её за то,
Что так танцевала.
Что для них это кажется стыдным,
Она вовсе тогда не знала.
Приглашал он её на каждое танго,
А другие смотрели с завистью.
А потом она догадалась,
Что он ей почему-то нравится.
Она счастлива была на той последней массовке.
Он, быть может, не знал, что́ для неё это значит.
А ей полюбился очень
Это странный и смелый мальчик.
А потом ей вдруг сказали:
«Не танцуй больше с ним, поняла?!»
А ей хотелось с ним большего,
Она ближе его звала.
Но вдруг всё оборвалось мгновенно,
Это последнее танго пропало.
Что больше с ним не встретится—
Она этого не представляла!
Очень мало она его ощущала,
Даже слова не сказал он на прощанье.
Сразу вдруг так стало одиноко,
Только встретились—и сразу «до свиданья»…
Только адрес остался от этой встречи,
Да и этому можно не верить…
Будет плакать, писать куда-то,
Повторяя: «Валерка, Валерик!»

Девочка, поборов в себе все внутренние доводы о напрасном ожидании, снова написала письмо. В нём ничего не требовала, не укоряла, просила только ответить, хотя бы одно слово написать. Но так ничего и не дождалась.

Школьные отметки за третью четверть в дневнике подтвердили мамины опасения: с дочерью после поездки в зимний лагерь и её травмы что-то случилось. А как узнать? Ведь Даша и раньше была молчаливой и замкнутой, а теперь на все её вопросы лишь упрямо глядит исподлобья и ничего не рассказывает. В весенние каникулы мама уговорила её сходить в поликлинику, сама пошла с ней и, зайдя в тесный, давно не крашенный кабинет, рассказала врачу о случае на горке.

—Сотрясение мозга. Надо было, конечно, сразу тогда госпитализировать девочку, а теперь только эмоциональный покой, смена обстановки, и вот это пусть попьёт,—толстощёкая докторша положила на стол перед Дашей рецепт.—Сходите куда-нибудь, развейтесь от уроков, погуляйте, а летом

на природу,— советовала она вслед уходящим посетительницам.

Всю обратную дорогу до дома девушка чувствовала себя замученной жертвой. Мама же, точно пытаясь загладить свою вину за позднее обращение к врачу, старалась успокоить дочь и строила планы на будущий отдых. Даша отрешённо молчала.

И правда, в ближайший выходной день мама предложила пойти с ней на день рождения к своей приятельнице Маине Николаевне. С её дочкой Галей Даша и ездила в тот единственный раз в летний пионерский лагерь, где у них вышел неприятный конфликт из-за Гали. Галя пожаловалась своей маме на поздние посещения их палаты парнями из отряда горнистов. Их ещё в шутку называли духопёрами. Мама, конечно, к вожатым, а те — к пионеркам-нарушительницам. А нарушительницы решили, что «настучала» на них Дашка, потому как её мама тоже в тот день приезжала в лагерь. И когда разозлённые любительницы ночных интриг ей прямо заявили об этом, Даша постаралась объяснить, что никому не жаловалась и не знает, кто их выдал. Ей поверили. Тогда вычислили Галю, набросились на неё, съязвив, что это она от зависти наябедничала, потому что мальчишки не к ней целоваться по ночам ходят. Галка, считая свои действия правильными, отмахнулась от назойливых красавиц, но упрекнула подружку за предательство. Даша огорчилась, что так вышло. А разве надо было взять всю вину на себя, будто она сама жаловалась своей маме?

Но постепенно все разбирательства затихли, в отряде восстановились мирные отношения, и подруги продолжали отгуливать свои путёвки. После лагеря они встречались иногда, ходили друг к другу в гости, но вскоре их отношения распались сами собой. Учились они в одной школе, но в разных классах.

И вот теперь Даша согласилась на предложение мамы, тем более что жили они в доме напротив.

Примерно к обеду, приодевшись в самое лучшее из их гардероба, отправились в гости. В уютной квартирке на пятом этаже был накрыт стол, вкусно пахло салатами и чем-то мясным. Маина Николаевна и Галя, похожие друг на друга уверенным блеском чуть раскосых зеленовато-серых глаз, надушенные и нарядные, радостно встретили гостей. Именинница, получив подарок и цветы, поблагодарила и, извинившись, удалилась на кухню. Раздался звонок в дверь. Пришли ещё две женщины: одна — высокая и полная, с пышной причёской в виде кокона из пепельных волос, добавляющих ей помпезную стать; другая — тоже не маленькая ростом, худощавая, похожая на цыганку из-за цвета волос и кожи,— обе — сослуживицы мамы и хозяйки квартиры. Дашина мама, миниатюрная, с короткой стрижкой натурально вьющихся волос, среди своих подруг казалась самой молодой.

Сели за стол. Взрослые чувствовали себя раскованно, было видно, как им хорошо вместе. Даша с Галей попробовали все закуски и, чтобы не мешать, удалились в смежную комнатку с Галиной кроватью, трюмо и небольшим столиком. Девочки, прикрыв дверь, уселись на кровать. Хозяйка достала альбомы с фотографиями и, тыкая пальцем поочерёдно в каждую, объясняла, кто есть кто, Даша молча кивала. Мелькнули знакомые летние кадры, где весь отряд девочек замер на поляне пионерского лагеря «Орлёнок». Наконец-то нашлось о чём поговорить. Стали вспоминать имена и фамилии, забавные подробности. Вспомнили даже случай с парнями-духопёрами, нарушающими ночной сон девчонок. Посмеялись. Гостья призналась, что однажды во время тихого часа рисовала по просьбе вожатой какой-то рапорт для линейки. А Галя напомнила, как девочки просили Дашу нарисовать им бумажных куколок и стояли к ней в очередь. Дашка же вспомнила случай, как их отряд готовился к игре «Зарница», а у неё не было кед для похода. Вожатая принесла ей чьи-то напрокат, а она их носила и не спешила возвращать. Но потом вожатая забрала кеды и вернула владельцу-мальчишке, и Даше было немного жалко щуплого добряка.

Из зала послышалось пение. Выглянув из дверей, Даша отметила, что лица поющих раскраснелись, а её мама и женщина-цыганка выводят мотив на очень высоких тонах. Вернулась, улыбаясь, подсела к Гале.

— А правда, что ты прошлой зимой в лагерь ездила? Мама моя говорила недавно,— вдруг как бы между прочим поинтересовалась Галина, раскрывая другой альбом.

Даша сразу насторожилась, но ответила спокойно:

— Да, ездила в каникулы.

— Так это ты нашему Валерке Зайцеву письма пишешь? — Галька озорно стрельнула зелёным взглядом в печальную темноту Дашкиных глаз.

От неожиданности и испуга Даша сжалась в плечах, покраснела и, неопределённо кивая, уставилась в пол. Это сообщение убило и одновременно обрадовало её, но, не зная, что будет дальше, она зачем-то тихо спросила:

— А ты его знаешь?

— Знаю,— хмыкнула девчонка,— мы в бассейн ходим в одно время. Так он там в раздевалке твои послания нам читает и ржёт, как дурак.

То, что услышала секунду назад Даша, так дико и несправедливо не совпадало с тем, что хранила в тайне от всех всё это время после приезда из лагеря. И она даже не сообразила, как правильно отреагировать. Даша, ошеломлённая непоследовательностью событий, казалось, не слышала ничего плохого. А сам факт Галиного знакомства с тем, кого она так тщетно призывала к себе, вдруг

каким-то своеобразным манером вдохновил её, и она смотрела на собеседницу так, словно бы перед ней сидел сам Валерка. Для неё в данную минуту Галя оказалась неким спасательным проводником её чувств. Она, будто не понимая происходящего, попросила у Гали бумагу и ручку.

Подруга, подозрительно глядя на взволнованные действия жертвы её прямолинейности, дала ей всё необходимое. Даша отошла к подоконнику и склонилась над листом. Её руки дрожали, и она сама, наверное, не сознавала, что пишет. Свернув лист в четырёхугольник, протянула его Гальке, сидевшей всё это время на кровати.

— Ты, когда пойдёшь в бассейн, передай ему записку и скажи, пусть он сразу ответит и тебе отдаст, а ты потом мне…—просящим тоном пролепетала Даша, доверчиво глядя на свою спасительницу.

— Ты чё?! Он же смеётся над тобой, а ты ему опять пишешь. Он же придурок, красавца из себя строит!—кричала шёпотом свидетельница чужой трагедии.

Но её шёпот был напрасен, за дверью громко играла музыка, скрипел пол, слышались ободряющие выкрики—женщины продолжали отмечать день рождения.

Бедная Дашка, трепеща, села на краешек кровати и, бессмысленно расправляя нервными пальцами подол своего платья, повторила просьбу:

— Отдай ему записку, пожалуйста…

Галька пожала плечами, вздохнула, спрятала записку в портфель.

— В бассейн только на той неделе. Если придёт, отдам, конечно. Так он же, придурок, будет читать всем,—гневно предупредила девица, стоя посреди комнаты и упираясь кулаками согнутых рук в бока.

Даша молчала. Ей уже виделись картины будущего; вот совсем не она, а Галя подходит к Валерке так близко, что может прикоснуться к нему, поговорить. Вот её записка в руках удивлённого парня, он читает её… пишет ответ… его серые глаза печальны, как тогда, в коридоре, в прощальную минуту встречи. А что будет дальше, она не загадывала, главное—увидеть перед собой его почерк, слова, обращённые к ней…

— А у меня брат двоюродный женился недавно на деревенской!—заявила с беззаботным прямодушием Галина.—Так у них свой дом, кур завели, свиней, у него машина есть,—продолжала она без прежнего азарта.

Может, поняла, что повторяет кем-то сказанное, или увидела безучастное невнимание гостьи.

— Ладно, если что, в школе найду тебя,—Галька махнула рукой и вышла в зал.

Там воцарилось затишье; зажгли люстру, свет ярких ламп золотил умиротворённые вспотевшие лица уставших от еды, вина и танцев приятельниц. Оранжевые блики мерцали в хрустале и графинах, в беспорядке стоящих на полупустом столе, в открытую настежь форточку поддувал мартовский холодок, шевеля капроновую занавеску. Две гостьи, пришедшие последними, одевшись в узкой прихожей, распрощавшись со всеми, с шутками и пожеланиями скрылись за дверью, а Даша всё сидела в чужой комнате и не могла переключиться на реальность. Заглянула к ней мама:

— Ну что, домой-то идём, а то засиделись?

Дочка очнулась, быстро встала, последовала за мамой в зал.

— Ну как? Всё хорошо? Пообщались?—Маина Николаевна обхватила руками Галю и Дашу за плечи, поглядывая то на одну, то на другую весёлыми хмельными глазами. От неё неприятно пахло вином.

Подруги переглянулись, одновременно кивнув, и не заметили, как их матери многозначительно подмигнули друг другу. Ещё несколько минут собирались, и вскоре тёмный безлюдный двор, вылизанный разгулявшимся ветром, сменил тёплую, пропитанную едой и духами квартиру.

Пока шли к своему дому, молчали. Даша, уже настроенная в душе на несколько дней ожидания, брела, опустив голову, и думала, что мама, наверное, теперь успокоится и будет считать, что дочь немного развеялась в новой обстановке и отдохнула,—совет врачихи выполнен. Лучше бы они не ходили в гости…

«До окончания каникул остался один день, потом в школу, потом Галя пойдёт вечером в бассейн, потом… что потом?»—как тогда, в лагере, когда Даша болезненно ощутила, что последним вечером на танцах может всё закончиться навсегда, так и теперь её мучили предчувствия неизбежной пустоты. И от этого невозможно было ни отстраниться, ни убежать.

«Он смеётся над моими письмами? Разве так бывает? Это же нечестно, такого не может быть. Галя нарочно всё придумала, чтобы самой посмеяться надо мной! Нарочно придумала! Нарочно!»

Ночью, свернувшись в калачик под одеялом, натянув на худенькие коленки ночную сорочку, Даша мучительно пыталась прогнать от себя навязчивые мысли о Валеркином предательстве. Ей то становилось невыносимо горько и хотелось заплакать, то представлялось, что всё может измениться к лучшему, как только её записка окажется прочитанной им. В этом упрямом, фанатичном, обманчивом самовнушении застал её тревожный, нервный сон. В нём она убегала от невидимого преследователя, пряталась в тёмные углы, но, едва забившись в очередную щель и притаившись в ней, снова чуяла близкую опасность и снова в смутном туманном безумии бежала по незнакомым кривым коридорам.

Вдруг резко проснулась и в первый момент даже порадовалась своему возвращению в тот мир, где ей всё понятно и нет никакой погони.

Но учащённый ритм сердца и пробудившаяся память вернули её к реальности, не дающей покоя, и она больше не смогла уснуть.

Зелёный

Промучившись до утра, Даша встала вместе с родителями. Убрала с дивана постель, подошла к окну, забралась под тюль и, уткнувшись лбом в холодное стекло, уставилась на Галкин подъезд. Вчерашняя заноза всё больней и больней ныла в сердце. Заметив движение, перевела взгляд на сутуловатую фигуру мальчишки, вышедшего из соседнего подъезда, как раз напротив их окон. Он будто глянул на Дашу и, засунув руки в карманы зелёной куртки, не спеша двинулся по отмостке вдоль стены дома, то и дело оборачиваясь.

«Может, это Валеркин друг ищет мой дом?» — проснулась Дашкина фантазия, и она стала следить за парнем, но он не свернул к их дому, а пошёл дальше.

— Ты что к окну прилипла? Простыть хочешь? — мама потянулась закрывать форточку, и Даше пришлось отойти.

Завтракала она без аппетита, потом села за письменный стол, раскрыла книгу, но мысли о вчерашнем разговоре с подругой лишали её сил. Даша поняла, что если бы не Галкина откровенность, ничего бы и не ясно было, так бы и продолжалось бесконечное ожидание писем. А чего ей теперь ждать? Чего?!

Новая четверть началась с неожиданного потепления погоды. У природы, видимо, имелся свой предписанный график, и она чётко по нему меняла настроение и температуру воздуха. Дашкино настроение не менялось. После уроков, шагая по раскисшей снежной каше, чувствуя, как влага холодком просачивается в старые войлочные сапожки, она засмотрелась на стаю голубей, исполняющих массовый полёт над крышами. Позавидовала их свободе и тяжело выдохнула, точно хотела выпустить из себя накопившуюся зимнюю печаль.

Через толстое пальто неестественно припекало солнце. Шапочка, сшитая заботливыми руками мамы из остатков драпа и меха и названная мальчишками их класса за свою схожесть с историческим головным убором «шапкой Мономаха», давила на лоб. Хотелось сбросить её, подставить голову ветру и солнцу, но Дашка, набравшись терпения, обходила самые мокрые места, продолжая думать о завтрашнем дне.

Дома настроение не улучшилось: Гальку в школе не встретила, чтобы переговорить с ней, до ночи ещё далеко, а весь день проходил в каком-то мутном томлении. Вечером пришли родители, и Даша села за уроки. Но ей не терпелось узнать: сходила ли Галя в бассейн, пришёл ли туда Валерка, отдала ли она записку, принесла ли ответ? Телефона-то у них нет, а у подруги есть. Если бы не мама, сбегала бы в соседний дом, да только как объяснить, зачем ей на ночь глядя идти в гости? К тому же они с Галей так не договаривались. Осталось только ждать. Ждать. Снова ждать. Даша, устав от неизвестности, в этот раз очень быстро уснула, будто всё уже устроилось в лучшую сторону.

Утром следующего дня на Дашу напала какая-то нервная уверенность. Ей удалось убедить себя, что сегодня она узнает подробности о Валере и, конечно же, получит от него ответ. Завидев на перемене в толпе снующих школьников Галку, напряглась, но та, не замечая её, шла мимо. Она метнулась к ней, дёрнула за рукав и вопросительно замерла. Галя тут же оглянулась и, увидев Дашу, виновато смутилась. Даша молчала, и только по безумно горящим глазам было видно, как она волнуется.

— Я отдала Валерке записку, вчера, после бассейна, — начала Галя приглушённым грудным голосом, — и сказала, чтобы ответ написал…

— Написал? — выдохнула Даша.

— Написал! — отрапортовала посредница чужой переписки.

У Даши пересохли губы. Ей захотелось обнять Гальку, заплакать — и лишь потому, что её просьба наконец выполнена. Осталось только взять записку — девушка протянула руку.

Галя, вздохнув, открыла портфель, порылась в нём, и на Дашину ладонь лёг свёрнутый бумажный квадратик.

— Ты не думай, я не читала её! — извиняющимся голоском зашептала Галя, сузив раскосые глаза. — Только я такому не стала бы писать! — и она самодовольно щёлкнула замком портфеля. — Он же опять вслух читал всем твоё послание и гоготал, как дурак! — взволнованно продолжила подруга. — Сказал, что у тебя… только фигура красивая, а сама ты… так… Ну… в общем, не обращай внимания на него и не обижайся! Он же при-ду-рок!

Она замолчала, с нетерпеливым участием глядя на Дашу.

— У вас ещё будут уроки или уже всё? — скороговоркой затараторила вдруг Галка, услышав звонок, и, не получив ответа от остолбеневшей подруги, скрылась в классе.

Даша не слышала её и не видела. Всё происходящее сейчас в школьном фойе размылось и стихло. Ей не терпелось тут же прочитать записку. Она судорожно развернула туго запечатанный листок, но суетливость затмила зрение, и Даша не смогла сразу понять весь текст, а видела только отдельные слова. Она держала в руках долгожданное письмо, но почему-то слова в нём были какие-то странные. Свернув записку и засунув её в карман фартука, рассеянно огляделась.

Коридор опустел, и Даша, вспомнив, где находится, пошла неуверенной походкой к классной

комнате. Нерешительно открыв дверь, пробормотала:
— Можно? — вошла и села за парту рядом со Светкой.

Та, ещё издали заметив её встревоженное лицо, пыталась заговорить, но солидный и серьёзный учитель истории предупредительно постучал указкой по столу. Историк не спрашивал домашнее задание, объяснял новую тему, и в этом затишье Даша просидела весь урок, никак не реагируя на внимание любопытной соседки. Светка записывала свои вопросы на обрывках тетрадного листа и подсовывала ей под руку, надеясь на взаимное общение, что не раз именно на уроке истории практиковали скучающие ученицы, называя это занятие «давай пофилософствуем». Не добившись результата, она надулась и до звонка больше не приставала к Даше.

«Скорей бы закончился урок. Домой, домой… Там прочитаю…» — девушка трогала записку в кармане, будто ласкала её, словно эта свёрнутая бумажка являлась частичкой того, с кем так хотелось увидеться. Ведь к ней прикасались… *его* пальцы… Внутри тревожно замирало сердце, но рассудительный мозг уже начинал рисовать для наивного сердца самые жестокие картины-разоблачения.

После звонка, ничего не объясняя Свете, наспех одевшись в раздевалке, Даша кинулась на улицу из школьной двери, в спешке толкнув какого-то парня в зелёной куртке, задержавшегося на пороге. Зелёный свет просигналил как светофор, и обезумевшая от несчастной любви девчонка устремилась в сторону своего дома.

Открыв дверь ключом, скинула пальто, сапоги, «шапку Мономаха» забросила на полку к ушанке и, присев к своему столу, вынула из кармана записку. Аккуратно разгладила на коленках измятый перегибами обрывок листа, провела кончиками пальцев по карандашным строчкам…

Ещё в школе, только взглянув на текст, она испытала двойственное восприятие написанного. В самом смысле ответа не было ничего, что удовлетворило бы долгое ожидание увлечённой своими фантазиями восьмиклассницы. Но ещё продолжавшей ждать чуда доверчивой душой радовалась, увидев знакомый почерк, размашисто кинутый на бумагу. Ещё и ещё раз Даша перечитывала короткую небрежную писанину и не могла, не хотела поверить несоответствию представляемого ею и предложенного:

> «Я не буду с тобой переписываться. Я познакомился недавно с девчонкой, у неё фамилия куда более звучная, не то что твоя. Ты мне больше не пиши. А вообще, если хочешь, пришли мне своё фото во весь рост. Валера».

Девушка бросилась за семейным фотоальбомом, взялась лихорадочно перекидывать картонные листы, но… Вдруг поняв каким-то новым для себя чутьём жестокость Валеркиной просьбы и ненужность своей преданности, затихла, ссутулилась. Захотелось плакать.

Она прилегла на родительскую кровать, стоящую рядом с её столом, уткнулась носом в ладонь, и горячий тихий ливень полился из её полузакрытых напряжённых глаз. Потом стала жалобно подвывать, судорожно втягивая носом влагу, стучать нервно кулачком по жёсткому покрывалу и наконец, окончательно выпустив на волю назревшую, скрываемую от всех и от себя боль, зарыдала громко, безудержно, широко растягивая уголки губ перекосившегося мокрого рта.

Плакала долго, то беззвучно, то снова громко и отчаянно, пока не почувствовала, как по телу разливается волна спокойствия и безразличия… Лежала, равнодушно разглядывая узоры на ковре, висевшем на стене…

Медленно поднялась, сняла фартук, форму, рейтузы с чулками, оставшись в чёрной, облегающей выпуклости маленькой груди сорочке и трусиках. Пошла босиком к трюмо, прижатое деревянной своей спиной к стенке крошечной прихожей, а зеркалом отражающее кухонное окно за жёлтыми занавесками. Остановилась перед ним и ревниво обвела внутренним взором силуэт своей удручённой соперницы.

Включив настенную лампу, вплотную приблизилась к зеркалу: бледное лицо с красными пятнами на щеках и шее, распухший курносый нос, красные от слёз глаза под набухшими веками, жидкие чёрточки вместо бровей, потрескавшиеся губы — этот портрет Даша видела перед собой каждый день, только в сухом варианте.

Внимательно, испытующе проникла в опустошённость своих глаз, будто хотела узнать себя. Вновь отдалилась от трюмо. Её хрупкая фигурка в зазеркалье чётко выделялась на фоне жёлтого окна тёмной статуэткой. Она долго смотрела на своё отражение, потом провела ладонью по шее, по груди, погладила живот, талию, надрывно вздохнула и вернулась в комнату. Надела халатик, убрала школьную одежду, поправила покрывало, села на стул, ещё раз прочитала записку и задумалась…

Квартира, заполненная вечерними сумерками, мирно притихла. Где-то за тополями на дороге сигналили машины, кто-то, подкашливая, шёл по подъезду мимо их дверей, соседи включили магнитофон:

> …Анжела, если ты со мной, солнце светит.
> Над миром дни летят, а может, годы.
> Я знаю лишь, что ты живёшь на свете.
> Анжела, ты одна, одна на свете.
> Анжела, в добрый час тебя я встретил…

Еле слышно, пробиваясь сквозь толщу перекрытия, а может, времени, переливалась хрустальными льдинками мелодия прошедшей зимы.

В мае Даша вместе со всеми сдала экзамены за восьмой класс и перешла в девятый. В огромном зале районного Дворца культуры был устроен выпускной вечер со столиками, шампанским и танцами под живую музыку школьного ВИА «Аскеты».

Было тесно и жарко в замкнутом помещении, за высокими оконными переплётами бушевала пылевая буря. В самый разгар духоты и веселья в чёрно-пепельном небе сверкнула молния. И тут же гром, заглушив треском вопль музыкантов, взорвался прямо над крышей Дворца культуры и вылил на неё всё содержимое тяжёлой тучи. По стёклам поплыли извилистые реки дождя. И сразу из всех углов, перебивая одна другую, полетели фразы: «Люблю грозу в начале мая…»

Когда стихия ослабла, несколько окон распахнули настежь. Горьковато-сладкий дух, усиленный влажностью, живительным потоком ворвался в зал, освежая разрумянившихся от эмоций учителей и свободную от испытания экзаменами молодёжь. Вечер продолжался! Все охотно с новыми силами устремились в гущу танцплощадки, опоздавшим приходилось группироваться возле столиков.

Дашу с начала вечера никто не приглашал, и она сидела рядом с одноклассницами: чернобровой худенькой эрудиткой Ленкой и иронично комментирующей действия затанцевавшихся сверстников Светкой. Лена посещала хореографическую студию при городском театре и, как она сама рассказывала, иногда выступала в массовках во время спектаклей. У неё дома даже настоящие пуанты имелись. Она уговаривала Дашу попробовать себя в хореографии: мол, с такими данными только в балет, фигурка что надо. Однако первая же попытка Дашки встать на пуанты закончилась падением на пол Ленкиной квартиры, где и проводились пробы на будущую балерину. Дашкины ноги свело судорогой.

Ленка жила в двухэтажной сталинке, и её квартира походила на библиотеку, книги и журналы начинались сразу в прихожей. И по физике она разбиралась лучше всех девчонок в классе. Дашка физику не любила. Света жила в одном квартале с Леной, тоже много читала, в балет не годилась, и не только из-за фигуры, но это не мешало ей в дружбе с одноклассницами.

Девушки слушали музыку, стараясь разглядеть за танцующими парами поющих гитаристов, и утоляли жажду тёплым шампанским. Вдруг двое парней подошли к ним, остановились, точно искали кого-то. Одного из них Даша знала, во всяком случае, видела его в школе и во дворе,— личность известная. Второй сконфуженно сутулился, посылая изумлённой Даше искорки влюблённых карих глаз. Она же, с высоким начёсом, сделанным в парикмахерской, в коротком кримпленовом платье молочного цвета, поджав под стул ноги в новеньких туфлях, смотрела на пришельцев снизу вверх, не зная, что будет дальше. Первым заговорил знакомый ей кривляка и фантазёр Сашка Мэдисон, он обращался к ней:
— Ма-а-адам, добрый ве-ечер! Скуча-аете?— чёрные глаза Сашки томно прикрылись.— В общем, этот человек познакомиться хочет и потанцевать. Это Вова, а это Даша. Давай, Вовяй, действуй!

Сашка подтолкнул дружка в спину, а сам, ловко крутанувшись на каблуке, отскочил вбок и, пригласив улыбчивую Лену, манерно повёл её в гущу танцев. При этом он нарочно выкидывал ноги вперёд, отчего расклешённые штанины его брюк разворачивались наружу. Светкины губы скривила ехидная улыбочка.

Приятель, оставшись без поддержки, ещё больше ссутулился.
— Можно?— рука парня, повёрнутая ладонью вверх, застыла в ожидании перед Дашиным лицом.

Она, смутившись, несколько секунд смотрела на чёткие линии, пересекающие широкую впалость ладони, несмело подняла глаза на парня. Волнистые тёмно-русые волосы и усики придавали мужественность буднично одетому скромняге. Даша, испытывая некоторую принуждённость своего решения, встала и, не подавая руки, отойдя недалеко от того места, где сидела, повернулась к незнакомцу. Он бережно привлёк её к себе и, неуклюже топчась на одном месте не в такт музыке, вдруг сказал прямо в Дашино ухо:
— Меня Вовкой зовут. А я тебя знаю,— парень многозначительно просиял.

Даша насторожилась. Сразу целый фонтан предположений забурлил в её сознании, связывая эту встречу с событиями, старательно припрятанными в дальние уголки памяти. Какое-то отталкивающее неприятие появилось у неё к этому неизвестно откуда взявшемуся человеку, отрывисто дышащему на неё горьковатым запахом сигарет из приоткрытых губ. Она забеспокоилась: вдруг это кто-то из компании Валерки, и сейчас над ней будут подшучивать? Непроизвольно отстранившись от партнёра, Даша вопросительно посмотрела на него, готовая убежать. Увидев такие перемены, мальчишка решил, что причинил обиду, глаза его растерянно блуждали по изменившемуся выражению девичьего лица, но он не собирался отступать.
— Я тебя почти каждый день вижу в окно, ты живёшь напротив, на третьем этаже, а я на пятом,— он утвердительно кивнул и снова засветился усатой улыбкой.— Мы с Сашкой в одном подъезде живём. Ты разве меня не видела раньше во дворе?

Даша, ещё не отошедшая от мысли об ожидаемом ею розыгрыше, отрицательно покачала головой:

— Нет, не видела…
— А ты зимой исчезла куда-то, в каникулы, у тебя лампа настольная не горела. Я испугался, думал, насовсем уехала,— продолжал объявившийся поклонник тихим голосом, еле слышным в звуках нескончаемой медленной музыки.
— Насовсем?— девушка с нахлынувшей вдруг тоской вспомнила свои зимние страдания, как тяжёлую болезнь, и как странно, что кто-то в это же самое время следил за ней.

От этого не известного ей участия стало неловко; может, и оттого, что её тайна могла быть кем-то замечена.

Танец наконец-то закончился, она села на своё место и на последующие приглашения Володи отвечала молчаливым отказом. Ничего не понимающий юноша ещё долго стоял в дверном проёме зала, грустно глядя издалека на равнодушную к нему девушку, и затем исчез. Увлечённый танцами, бесшабашный Сашка ничего не заметил.

Светка дёргала её за плечо:
— Что он к тебе пристал? Ты не знаешь его, что ли? Это же Вовка из седьмого «Б», малолетка, а туда же. Танцор! Так он в тебя втюрился по уши, сразу видно, а то зачем бы припёрся сюда? Здесь же только восьмые классы. А тот-то, ну ты говорила мне зимой, написал тебе или нет?— припомнила Дашкин секрет Светлана, решив использовать подходящий случай для откровения, но убитая воспоминаниями подруга только махнула отрешённо рукой.

В конце июня Даша поехала с мамой на теплоходе в село к родственникам. Мама зимой одна их навещала, а теперь с дочерью. Весёлая, звонкоголосая тётя; спокойный, рассудительный дядя; бабушка со своими не заканчивающимися пирогами и ватрушками; двоюродные и троюродные братья и сёстры; овощное и рыбное изобилие на столе; домашний скот, отправляющийся в поля ранним утром как на работу; чистый воздух с примесью запаха навоза, непривычного для городских носов. Катера с хвостами из барж; неторопливые самоходки; лёгкие моторки сельских рыбаков, снующие по речной глади, как по трассе; белые пассажирские корабли, причаливающие с важным достоинством к пристани; купание в реке; рыбалка; удивительное явление белых ночей; кино и танцы в клубе по вечерам; уединённая, за огородом, гостевая избушка с высокой этажеркой лучших книг,— всё это очень быстро и надёжно вылечило Дашину хандру.

Но когда в тесном полумраке старого клуба её приглашал на танго какой-нибудь местный донжуан и начинал напрашиваться в провожатые, девушка недоверчиво отмалчивалась и уходила с танцплощадки со старшей сестрой.

Она пробовала совсем не показываться в клубе, но сидеть вечерами в компании взрослых не хотелось. Приветливые, привычные к труду местные ребята интересовались ею, но городская девчонка оставалась недоступной тихоней, вызывая только недоумённые взгляды.

В начале августа вернулись в город. После раздолья сельской жизни, когда бóльшая часть суток проводилась под открытым небом и каждый день казался интересным, душная квартирная обособленность походила на добровольное заточение. И Дашка, загорелая и отдохнувшая, по поводу и просто так выходила на улицу, шла в магазин, в гости к одноклассницам, встреченными на пути, каталась на велосипеде. А если некуда было пойти, вычитывала в женском журнале «Работница» советы для стройной осанки, надевала закрытый красный купальник и выделывала всевозможные упражнения, топчась босиком по старой ковровой дорожке. Иногда к ней приходила соседская дочь Наташа, и они делали упражнения вдвоём.

Но чаще Даша сидела на балконе с книжкой. Читать она любила и тратила иногда на это весь день, забывая даже обедать. Перечитав книги для школьников, в отсутствие мамы добралась до романов Золя, Цвейга, Драйзера и Мопассана. Вникая в книжные истории, с потаённой истомой перечитывала откровенные места, сопереживала героиням и старалась не вспоминать свои неудачи.

Последний месяц лета щедро дарил горожанам припасённое для этого времени тепло, припекало как в июле. Начинающие жухнуть листвой парки и скверы не давали прежней свежести. Они походили на вчерашние букеты роз— вроде ещё красивые, только уже щемяще-печальные. Но люди в летних одеждах радовались сухой солнечной погоде так, будто они вообще не собираются надевать плащи и мокнуть под холодным дождём.

Подружившись ещё в школе с Леной-балериной, мудрой и честной в своих рассуждениях девушкой, Дашка вышагивала теперь рядом с ней по разбитому асфальту старого сквера, прилегающего зелёной полосой к бетонному забору завода, от проходной которого автобус увозил зимой Дашу в лагерь.

Сегодня она с восторгом слушала невообразимые фантазии подруги о внеземных мирах и открытых ею где-то островах. В её, Ленкином, мире деревья шелестели красными кронами, небо мерцало изумрудным светом, а солнце флуоресцировало ослепительной голубизной. Дашка, добавляя свои, только что выдуманные, варианты нестандартного вúдения привычных явлений, хохотала и, перебивая Ленку, начинала на ходу всю эту буйную нелепицу рифмовать. Подруга, тоже сочиняющая стихи, тут же выкрикивала свою версию. Обе развеселились и не заметили, как из кустов акации, плотной изгородью тянувшихся вдоль дорожки, выскочил человек и встал

перед ними. Девчонки отпрянули и хотели убежать, но, узнав «бандита», остановились. Лена вскрикнула:
— Ой, напугал! Так можно и заикой стать!
— А я тебя опять потерял,—тяжело дыша, сердито глянув на возмущающуюся Ленку, решительно выпалил Володька, близко подходя к Даше.

Даша угрюмо потупилась. Конечно, она узнала его. После выпускного вечера он не раз, как будто специально, встречался ей на пути, но, издалека испытующе оценивая её сдержанное спокойствие, проходил мимо. Ещё до её отъезда он пускал из своего окна солнечных зайчиков по голым Дашкиным коленкам, когда она читала книжку, сидя на пороге балкона. Вычислив источник освещения, девушка тогда разозлилась, заскочила с балкона в комнату, закрыла дверь и наглухо задёрнула портьеры. Ей казалось, что этот настойчивый парень знает гораздо больше о ней, чем ей хотелось бы. Ведь это он тогда вышел из дома и оглядывался на её окно, когда ей было так плохо, что даже и вспоминать об этом тяжело.

Зачем он преследует её, напоминает ей о зиме?! Мысли стремительным потоком проносились в её голове. Она отступала от Володи.
— Как ты здесь оказался? Ты следил за нами? Следил?!—дерзко бросаясь словами, девушка хотела уйти.

Тогда, решившись на последний шанс, Вовка схватил ускользающую Дашу за руку:
— Но поговорить-то ты можешь со мной, просто поговорить, а?

В его голосе слышались и мольба, и напористость. Лена, всё это время смотревшая с изумлением на мучения подруги и несчастного мальчишки, вдруг вмешалась:
— Слушайте! Вы пообщайтесь! Действительно, вам ведь есть что сказать друг другу, а мне бежать надо. Я же вспомнила!—и, быстро перебирая загорелыми ногами в туфлях-лодочках, понятливая девчонка заспешила прочь.

Даша кинулась было за ней, но её запястье сжимала горячая ладонь юноши. Сделав ещё несколько попыток вырваться, она дёргалась всем телом и с глазами, полными слёз, думала, что если бы сейчас вместо этого чужого парня её держал за руку Валерка, если бы он так настойчиво искал встречи, если бы… Но на неё надвигалось чужое лицо, а на нём—горящие смятением и отчаянной безнадёжностью чужие глаза.

И, может, потому, что сама была совсем недавно так равнодушно отвергнута, пожалела влюбившегося в неё парня. Она ослабила руку и, опустив голову, покорно пошла с ним по аллее, ощущая затылком тепло августовского солнца. Ещё не веря победе, Володя, всё так же сжимая Дашину руку, смотрел повеселевшими глазами на её профиль и молчал.

А в Дашкином сердце раскачивался огромный маятник. Её мучили вина за настоящее и вновь проснувшаяся обида за прошлое. Ей мнилось, что в данный момент она предаёт себя, но понимание того, что это только её беда и она никому не нужна, а именно ему—Валерке, помогало ей оправдаться и убедить свою память забыть прошлую обиду.

Рано наступающие сумерки напомнили об осени. Они затенили дорожки, охладили разгорячённые щёки девушки, по её голым ногам, прикрытым лёгким платьицем, побежали мурашки. Она не замечала этого и осторожно, как бы невзначай, поглядывала на своего спутника. Ей было странно вот так свободно идти вдоль деревьев за руку с мальчишкой, ведь с ней ещё ни разу такого не было, и эта прогулка—первая в её жизни.

Совсем стемнело, когда парочка вернулась во двор. Подошли к Дашиному подъезду, и снова она подумала о том, что ещё никто не провожал её, никто не смотрел так робко ей в глаза. И когда Володька спросил:
— Завтра выйдешь пораньше?—переполненное новыми впечатлениями сердце девушки затрепетало от мысли, что она нужна и никто не собирается убегать от неё.

Мальчишка подошёл так близко, что даже во мраке стало видно, как преданны и доверчивы его глаза.

Неожиданно из темноты возник Дашин отец. Увидав под козырьком подъезда дочь с незнакомым парнем, он вначале растерялся, его лицо удивлённо вытянулось, но, открывая дверь, он сердито буркнул:
— Уже в тринадцать лет парней начала водить. Марш домой!

Отец скрылся в подъезде, а перепуганная Даша молча уставилась на клетчатую рубашку Володьки.
— Батя твой?—смущённо спросил парень и тут же, пытаясь вновь поймать взгляд девчонки и как бы отгоняя от неё возникшую помеху, шёпотом повторил:—Завтра выйдешь?

Ничего не ответив, Даша ринулась в подъезд и, зацепив привычным взглядом почтовые ящики, тяжело дыша от волнения, побежала наверх…

Видимо, отец успел сообщить маме новость о дочери, и Даша, придя домой, не знала, куда деваться от родительских взглядов и вопросов. Может, мама и радовалась, что дочка взрослеет, но это так непривычно и неспокойно для неё.

И снова впечатления дня мешали уснуть, а виде́ния прошлого, вспыхивая перед ней, навязывали ненужные мысли.

«Зачем мне этот Вовка? Откуда он взялся, и как мне теперь поступить?»

Она глядела на его потухшие окна и удивлялась сама себе: почему Валеркины окна так сильно притягивали её даже издалека, а эти совсем рядом, но такие чужие?

Утром родители ушли на работу, и Даше стало казаться, будто она в квартире не одна. Отойдя подальше от окна, девчонка присмотрелась к соседнему дому. Заметила в Вовкином окне силуэт, но сначала не разглядела чей. А когда потерявший покой парень стал появляться то на балконе, то в окне, при этом не переставая смотреть на её окошки,—поняла: это начало новой истории.

Девушка улыбнулась внутри себя, улыбнулась себе в зеркале и с видом, словно ничего не замечает, вышла на балкон. Не обращая внимания на наблюдателя, склонилась над бархатцами, разросшимися в ящиках по периметру балкона и ещё сохранившими сочные краски и аромат в конце лета. Полила их. Восточное солнце, освещавшее с утра линялый фасад Дашкиной пятиэтажки, так ласково, так обещающе светло начинало свой день, что верилось: оно специально продлевает лето, чтобы люди успели нагуляться перед зимой. Девушка представила затенённую дорожку в сквере, себя рядом с мальчишкой. Так захотелось всё это повторить. Она знала, что Володька сейчас смотрит на неё во все глаза с пятого этажа и думает, наверное, то же самое. В душе у Даши запел нежный тоненький голосок. Она, незаметно взглянув на Вовку, вернулась в комнату.

Включила радиолу, стоящую возле балконной двери на ножках-растопырках. Знакомая мелодия оповестила размечтавшуюся слушательницу о начале музыкальной передачи «Опять двадцать пять». У Даши не было магнитофона, как у её подруг, и потому полированная с боков радиола с выдвигающимся проигрывателем для грампластинок была как раз кстати.

Ведущий передачи объявил первую песню: «„Эти глаза напротив", поёт Валерий Ободзинский». Даша никогда не слышала такой песни, но уже при первых звуках её охватила необычайная лёгкая радость.

Эти глаза напротив—
Калейдоскоп огней.
Эти глаза напротив—
Ярче и всё теплей.
Эти глаза напротив—
Чайного цвета.
Эти глаза напротив—
Что это? Что это?
Пусть я впадаю, пусть,
В сентиментальность и грусть.
Воли моей супротив—
Эти глаза напротив!
Вот и свела судьба,
Вот и свела судьба,
Вот и свела судьба нас.
Только не подведи,
Только не подведи,
Только не отведи глаз.

«Слова как будто про нас!»—изумилась Даша, слушая новый мотив. Засияла романтичная девчоночья душа. Но восприятие настоящего всё ещё расплывчато и нечётко пульсировало в Дашином сознании. Она и ждала, и боялась чего-то.

Резкий звонок заставил девушку бежать к двери, но недослушанная песня не отпускала в реальность. И когда на пороге квартиры возникла Галя, Дашка бросила её там и вернулась к радиоле. И оттуда, загадочно улыбаясь и делая знаки счастливыми глазами в сторону поющего источника, смотрела на застывшую в тёмном коридорчике удивлённую гостью. Песня закончилась.

— Тебе нравится?! Это новая песня, я её только сегодня услышала!—возбуждённо говорила Даша в надежде произвести впечатление на Галку, но та, настороженно глядя на странное явление, разулась и прошла в зал:

— Слушай, а тебе в магазин не надо или ещё куда? Пойдём вместе, а?—выдала она вдруг.

Теперь уже Даша в недоумении глядела то на гостью, то на приёмник, продолжавший вещать свои «Опять двадцать пять» и мешавший сосредоточиться. К тому же её смутило, почему песня, так понравившаяся ей, никак не подействовала на подругу.

— Пойдём,—наконец ответила Дашка.—Мне как раз за молоком надо.

Недослушанная передача умолкла, и девчонки отправились из дома. На улице, как и вчера, гулял тёплый август. Когда пересекали соседний двор, Дашка заметила, что Вовка, стоя на балконе, наблюдает, как они с Галькой шествуют внизу, и от этого ей стало весело. Прошли квартал пятиэтажек, тенистую от высоких тополей улочку со старой застройкой и дальше через ярко освещённый солнцем проспект. Дошли до магазина «Молоко», размещённого в одном доме с магазином «Хлеб», и там розовощёкая продавщица в белом колпаке и халате налила три литра молока в серенький алюминиевый бидон. Рассчитавшись, Дашка собралась назад, но подруга попросила зайти с ней в сберкассу, а это совсем недалеко.

Сберкасса, занимающая нижний этаж основательной в своей конструкции сталинки, принимала в своё душное нутро всех, кому вздумалось сегодня оплатить квитанции за квартиру. Стоя в длинной очереди, подруги о чём-то болтали, и Даша, чтобы не держать тяжёлый бидон, поставила его на цементный пол под ноги. По мере продвижения к окошечку кассы бидон перемещался следом за хозяйкой.

Наконец Галя выполнила поручение, и уставшие от забот девчонки потопали по солнцепёку домой через оживлённый перекрёсток мимо массивного жилого здания со встроенным кинотеатром «Спутник». Они давно не встречались, и Даша боялась расспросов о Валерке. Но свидетельница

её зимнего романа, наверное, забыла про него, и Дашка, переставшая горевать о прошлой привязанности, уже не чувствовала вины за это. Она возвращалась домой с точной уверенностью, что её появление во дворе кому-то очень нужно, и ей было хорошо.

Дома, налив в чашку молока и с жадностью отпив несколько глотков, сморщилась: молоко скисло. Причина была понятна, но непоправима, и Дашка, вздохнув, поставила бидон в холодильник.

До прихода мамы решила не выходить на улицу. Читала книгу, слушала радио, сидя на диване, и с затаённым любопытством наблюдала, как Вовка следил за её окнами. Потом он исчез, и она даже растерялась, но, подойдя к кухонному окну, увидела его с Сашкой во дворе. Даша открыла раму, вдохнула запах деревьев, облокотившись о подоконник, посмотрела вниз. Друзья сидели в беседке под клёнами и поглядывали вверх на неё.

Пришла мама, зашла на кухню, и дочь при ней старалась не подходить к окну. Она отвечала на мамины вопросы, сообщила, что приходила Галя и что в магазине продают кислое молоко. Ей нестерпимо хотелось на улицу. Но как выйти во двор так, чтобы Вова подошёл к ней?

— Даша, я тебя хочу попросить: сходи к тёте Вале, отнеси банку с краской. Я ей обещала, а то им не хватило окно покрасить. Сходи. Ты же помнишь, где она живёт?—неожиданно предложила мама, заворачивая банку в газету и аккуратно устанавливая её в плетёную авоську.

— Что? К тёте Вале? Прямо сейчас?—засуетилась дочка.

— Сейчас, конечно, пока тепло, пусть окно докрасит. Только смотри не переверни банку,—мама вынесла посылку в прихожую и поставила на пол.

А Дашка уже вертелась у шкафа, доставая любимое синее платье с цветными узорами. «Интересно, Вова захочет сегодня встретиться со мной? Он ещё вчера спрашивал об этом, но я же не ответила. А сегодня? Что будет сегодня?»

Туфли на ногах, авоська в руке—и Даша готова бежать из дома. Ещё слышен эхом в подъезде мамин наказ об осторожности, хлопанье дверью, а девчонка уже выпорхнула на солнечный асфальт. Здесь её стремительность поубавилась—идти-то надо совсем не через Вовкин двор.

«Мальчишки, наверное, ещё в беседке и не видят меня, а я пойду к тёте. А потом?»

Пошла не спеша, глядя под ноги, поднялась по ступеням на пригорок и дальше по пыльному тротуару, ведущему к новым пятиэтажкам.

За спиной послышался топот и знакомый голос:

— Ты опять убегаешь от меня?—запыхавшийся Володька, всё в той же клетчатой зелёно-синей рубашке, радостно разглядывал её.—Я тебя ждал. А ты куда?

— К тёте. Вот, краску несу,—смущённо ответила Даша.

— Можно я с тобой, подожду на улице? А потом погуляем?

Он хотел взять авоську с банкой, но она не отдала. Вовкины глаза нервно заморгали.

— Погуляем?—уже с сомнением повторил он.

Девчонка неопределённо пожала плечами и пошла дальше, Володя рядом. Идут, молчат. Прошли старую школу-интернат, дворы, где жили Дашкины одноклассники, перешли проспект с трамвайными путями, миновали дом с детским садиком на первом этаже, куда её водила мама и где она до сих пор работает заведующей. Даша рассеянно смотрела перед собой и, казалось, ничего не замечала, но вдруг, очнувшись, испугалась: их путь лежит через сквер мимо дома, где живёт *он!*

Валеркин дом приближался в своём знакомом обличии: фасад из тёмного кирпича, год постройки на уровне четвёртого этажа с торца здания, намеренно выложенный строителями из светлых кирпичей, окна, балконы. Даша хорошо запомнила дом только с этой стороны. Ведь она так и не осмелилась *тогда* приблизиться к желанному подъезду, а сейчас шла мимо лавочки, где сидела когда-то одна… Ничего не подозревающий Володька шёл рядом и пытался развеселить девушку, но она молчала. Когда подошли к дому тёти, стоявшему в том же квартале, Даша успокоилась и даже порадовалась, что не одна, и решила на обратном пути пройти с Володей прямо по Валеркиному двору. Зачем? Она не могла себе объяснить, но поняла: вот именно теперь ей будет не страшно сделать это.

Тётя Валя, жена родного брата Дашиного отца, среднего роста, темноволосая, приветливо встретила племянницу с передачей. Они давно не виделись, и ей хотелось поговорить и, может, угостить, но девчонка, виновато пряча глаза, не отходила от двери и, наскоро попрощавшись, ушла.

Володькина рубаха мелькнула из-за угла, он успел осмотреть новую территорию и, завидев вышедшую Дашу, торопливо подошёл:

— Отдала краску?

— Отдала.

Двинулись обратно. Даша, преодолевая в себе лёгкую дрожь, всё-таки возникшую и усиливающуюся по мере приближения к Валеркиному дому, уже издали заметила группу ребят, сидевших на лавочке у третьего подъезда. Она старалась не обращать внимания на парней, но узнала *его* даже со спины и в летней рубашке в серую полоску. Такой невероятной случайности Даша не предполагала. Сердце снова, как тогда утром в лагерном коридоре, сильнее застучало в груди, захотелось развернуться и убежать, но рядом спокойно шёл Вовка.

Когда они проходили мимо мальчишек, было слышно, как те о чём-то спорили, и Дашка надеялась, что её не заметили, но вдруг громко ей в спину—*его* голос:
— Куда же ты уходишь, Лександра?!—и дерзкий хохот дружков.

Девушка вздрогнула от неожиданности. Не желая того, на секунду оглянулась. Валерка уже не сидел на лавке, он стоял на краю тротуара, вытянув вперёд руку, и даже будто хотел пойти за ними или уже пошёл…

Что успела заметить Даша—это искривлённые в усмешке красивые Валеркины губы и грустные серые глаза.

— Кто это? Он тебя знает?—занервничал Володя, когда спутница повернулась к нему смутившимся лицом.

Его глаза наполнились тревогой, дыхание участилось, крупные кисти рук сжались в кулаки.
— Не знаю, дурачок какой-то,—сдерживая внутреннее волнение, как можно равнодушнее ответила Даша.

Вовка больше ничего не спрашивал, он крепко сжал Дашкину ладонь, и они отправились дальше мимо кирпичного дома, мимо памятника вождю, мимо детского сада, вдоль проспекта с трамваями и машинами в направлении сквера, где их ждал нескончаемый тёплый август.

Ирина Уськина (8 класс)

Как сибирячка пельмени покупала

Однажды спокойным вечером вторника Стеша захотела кушать.

Дома никого не было, приготовленная еда закончилась ещё в обед, из корзинки с овощами уныло выглядывал последний хвостик морковки. И Стеше ничего не оставалось делать, кроме как идти на добычу еды.

Быстро собравшись, девушка смело шагнула в темень и ветер с камнями. Под ногами хрустел поздний снег, скрывая ледяные колдобины, так напоминавшие Стеше её жизнь: под белым ровным красивым покрывалом скрывалось опасное, неустойчивое, как будто весь мир сговорился её уронить.

В небе скалилась луна, прорезая жидкие тучи, то набегавшие на неё, то сбивающиеся в плотные сгустки ожидания неизбежного зла. Так же, как эти облака, в жизни девушки реяли проблемы: насмешки сверстников, упрёки родителей, страх перед экзаменами и перед будущим. Проблемы то уплотнялись разом, то разбегались по углам. А девушка, как эта луна в мартовском сибирском небе, светила, несмотря ни на что.

Стеша, прикрывая лицо от порывов метели, упорно и медленно продвигалась к далёким огонькам. Ветер усиливался, бил ей в лицо, завывая: «Одумайся! Берегись!» С очередным порывом она покачнулась и упала. «Вставай!»—орал внутренний голос. «Вернись!»—гудел ветер. Стеша встала, потёрла ушибленный бок и продолжила свой путь.

Огоньки стали ближе и манили теплом и безопасностью. Добравшись до крыльца, Стеша аккуратно, шаг за шагом, поднялась ко входу. Всё как в жизни—постепенно, шаг за шагом, не теряя бдительности и упорства, сохраняя баланс.

«Здравствуйте! С наступающим! Чем могу помочь? У нас сегодня акция на баранки, пельмени и „Киндер Пингви“».

«Хорошо всё же жить в городе двадцать первого века,—подумала Стеша.—Можно не думать о еде, а думать о важном. А где преодолеть себя и стать сильнее—хороший человек всегда найдёт».

Миясат Муслимова

Говори только слово благое

О поэзии Асламбека Тугузова

Млечный путь истории литературы искрится, мерцает и горит звёздами разной величины, сияние которых не затмевает свет ближних и дальних светил; но неиссякаемость талантов, отрывающих новые миры,—это одно из чудес, которыми награждает нас Творец.

Поэзия Асламбека Тугузова подбрасывает такие поленья в костёр загадок творчества, что вечные споры о нём вспыхивают с новой силой: слишком много стереотипов разбивает явление этого поэта. Не касаясь всех этих вопросов, отмечу одну удивительную особенность его лирики: такой органической цельности кавказского и—шире—восточного мироощущения и русской ментальности до этого в литературе не было. Это новый этап развития русскоязычной поэзии России. Автор, представитель чеченского народа, пишет на русском языке и воспринимается как русский поэт. И причин здесь несколько.

Во-первых, Асламбек Тугузов настолько блестяще владеет русским языком, что сочетание имени и текстов поначалу вызывает удивление. Во-вторых, его поэзия настолько пронизана, пропитана русской и в целом мировой культурой, настолько его строки находятся в живом поле отсылок, ассоциаций, диалога с русской классикой при отсутствии поимённых указаний, что очевидно не приобретённое, а как будто свыше и изначально данное единство поэтического воздуха. Автор не апеллирует к именам известных поэтов, но его поэзия живёт в насыщенном поле человеческой мысли и духа, где он собрат Мандельштаму и Есенину, Лермонтову и Руми. Только единое поле культуры—та праоснова, которая не вырабатывает, а рождает как данность такое явление, как Асламбек. Связано ли это с тем, что вековое соединение двух культур (как минимум) сформировало в его лице новую генетику культуры многонациональной страны, или это плод таланта и усилий самого автора, сказать трудно. Но несомненна третья особенность лирики поэта—лёгкость поэтического дыхания, не знающего ни в чём пределов: ему доступны все жанры, все формы, при этом жанры не имеют самоценности, потому что это лишь форма выражения того, что так захватывает читателя и уже не отпускает его. И здесь невозможно использовать избитое литературоведческое клише «чувства и мысли автора», потому что нет ничего лучше поэзии, где чувства и мысли неразделимы, где философичность столь же естественна, как сама жизнь, а жизнь—это немыслимая свобода духа, осознающего себя и мир изнутри и вовне себя. Это та свобода, в которой нет чужого и своего, нет большого и малого, временного и вечного, жизни и смерти—перед явлением души, которая все объемлет в себе. И Асламбек умеет выразить всё так, что идёшь к нему, чтобы смотреть его глазами, чувствовать его сердцем, ибо лики подлинного разнообразны, но безошибочно постигаемы. И, конечно, притягательны, если магия звука и ритма, неожиданных и точных сочетаний слов даёт тебе больше простора, как будто освобождая, хотя ты и считал себя свободным. Пределы свободы духа были другими, оказывается.

О трудном и горьком поэт может сказать кратко и ёмко:

Проходит? Ничто не проходит,
Ничто никогда не пройдёт.
Тоскует, под окнами ходит,
Смеётся и что-то поёт!

Но сквозь глухо обронённое, трагическое всегда звучит вера в изначальный свет этого мира, любовь и щемящая нежность к нему, приятие жизни:

Я уходил из города в двухтысячном году.

Знание реальной жизни, вовлечённость в её «минуты роковые» может противостоять внутренней устремлённости к другим духовным ценностям, но оно никогда не становится мерой оценки. В перекличке царства Божьего вовне и внутри себя земной мир у автора проверяется горним. Проверяется, чтобы обострённей осознать связь между ними:

Вот тогда, вот тогда,—я тебе говорю—вот тогда
Ты почувствуешь боль и надежды живую истому…
Призывая в свидетели синее зеркало льда,
Призываю в свидетели птиц, развернувшихся к дому.

В лирике человек уходит из большой истории в маленькую собственную жизнь, но по законам искусства талантливо выраженное личное всегда

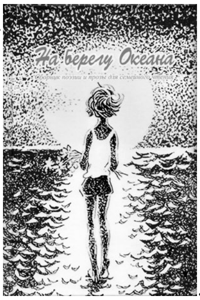
становится национальным или общечеловеческим. И преимущественно лирикой формируются и проверяются духовно-нравственные ценности человека. Лирический герой Асламбека Тугузова — всё тот же мыслящий тростник, и это преимущество у него никто не может отнять. А экзистенциальные проблемы, связанные со смыслом жизни, предполагают вопрос, принял ли тебя этот мир или нет, принял ли ты этот мир. В лирике поэта, такой разной — то ироничной, то пронзительно-нежной, щемящей, то сдержанно-аскетичной, то пророчески-бунтующей, то философски-созерцательной, — нет выбора: мир приемлем таким, каков он по воле свыше, и в основе всего — любовь. Отсюда императив: «Если невмоготу — говори только слово благое». А зло? Наверное, в этом мире единственное место, где его можно победить безусловно, — это своя душа.

Ничто так не влияет на нашу нравственность, как подлинная поэзия, прямо не говорящая о ней. Идеологическому слову не часто доверяют, а слову художественному такая поэзия возвращает веру. Постоянная включённость сознания — требование главных книг веры. Как набат, звучат в Коране слова: «Быть может, вы уразумеете!» Эта взыскующая и чаще неявная обращённость к сознанию работает у поэта и тогда, когда лирическая стихия идёт, казалось бы, по его собственным следам. В мире, где внешних условий для внутреннего роста становится всё меньше, поэзия — некий духовный оберег. В лирическом герое Асламбека Тугузова словно соединяются человек своего времени и вечный человек, которым проверяются мир и отдельное существование. Когда-то Померанц писал, что в книгах и в жизни он всегда отбирал то, что выстраивает душу и делает её независимой от внешних условий. Так же рассматривает творчество и поэт:

> Мимолётна любовь, но тотальна мирская хандра,
> Если к ночи плеснёт или сразу нахлынет с утра
> В золотом сентябре. В ожидании верного чуда
> Собираю слова, расставляя их в нужном ряду…

Человек живёт на границе временного и вечного, когда служит высшим началам. Степень противоречия или мера расстояния между ними может быть различной, но умение выйти за пределы только внешнего времени даёт автору возможность преодоления и свободу. Идти по следу такого автора — значит идти рядом с ним. Для читателя это всегда обретение. Такова и книга Асламбека Тугузова. Даже если не все мысли могут быть осознаны читателем, они будут прочувствованы благодаря эстетике текста, художественной отделке произведений, деталям, меняющим оптику восприятия, — а значит, станут частью нашего «я», нашего внутреннего мира. Поверьте, внешний мир только выиграет от этого.

ДиН ревю



На берегу океана

Сборник поэзии и прозы для семейного чтения

Краснодар, 2022

Авторы и составители сборника «На берегу океана» очень хотели бы помочь ребятам определить самые важные цели и направления, сформировать твёрдое убеждение, что в мире много добрых людей. Но вместе с добром живёт зло, которому обязательно нужно противостоять и с которым нужно бороться. Казалось бы, прописные истины. Но в XXI веке грани добра и зла старательно размываются. Порой даже через очень красочные и привлекательные детские книжки. Лукавые попытки уравнивания доброго и злого приобретают всё более угрожающие размеры и несут опасность семье, стране, цивилизации. Поэтому кубанские поэты и прозаики всё чаще обращаются в своих произведениях к детским темам, стараясь помочь ребятам разобраться в том, что такое хорошо и что такое плохо. Писатели силой своего таланта и мудрого сердца стремятся представить окружающее нас художественно-многоцветным и очень интересным. Причём не только дальнее и неведомое, а мир за окошком. Тот, в который ведёт тропинка от родного крыльца или подъезда. Главное — не торопиться, не пройти мимо, главное — не пролистнуть страницу…

СВЕТЛАНА МАКАРОВА-ГРИЦЕНКО
председатель Краснодарского регионального отделения Союза писателей России, заслуженный деятель искусств Кубани, лауреат литературных премий

Нина Ищенко

Рокер-Прометей против изначального зла в «Песне про советскую милицию» Вени Дркина

Процесс включения культуры Донбасса в русское культурное и литературное пространство, активно идущий с 2014 года, делает особенно актуальным внимание к литературе Донбасса, выражающей общую с Россией культурную идентичность. Одним из поэтов Луганщины, известным далеко за пределами ЛНР, на всем постсоветском пространстве, где поют на русском языке, является Александр Литвинов (известный под псевдонимами Дрантя и Веня Дркин). Одной из его популярных песен является «Песня про советскую милицию», актуализирующая поэтику русской народной сказки в культурно-исторической ситуации общественных трансформаций конца двадцатого века. Символический капитал русской культуры, запущенный Дрантей в обращение с помощью этой песни, остаётся интересным и в наше время больших перемен.

Веня Дркин (1970–1999) — поэт, музыкант, бард, рокер, руководитель рок-групп. Родился в посёлке Должанский (ныне на территории ЛНР), похоронен в Свердловске (ЛНР). Веня жил в разных городах СССР и Донбасса, последние годы его жизни прошли в Луганске. Стиль творчества Вени определяется как бард-рок или пост-бард. В его работах соединяются различные музыкальные направления, характерные для конца 1980-х — 1990-х годов. Подавляющее большинство записей, кроме «Крышкин дом», «Всё будет хорошо» и нескольких бутлегов, вышли после смерти Дркина на лейбле «ДрДом».

«Песня про советскую милицию» написана в 1995 году, в период творческого расцвета поэта, и популярна до сих пор. Популярность этой песни, на наш взгляд, объясняется тем, что она является пародийным произведением, создающим пространство диалога для нескольких пластов русской культуры.

В «Песне про советскую милицию» присутствуют пять прототекстов, которые поэт вовлекает в межкультурный диалог с рок-андеграундом: фольклорная песня, советская песня, народная сказка, библейский текст, античный миф о Прометее. Само произведение построено как русская народная колыбельная песня. Начало песни прямо отсылает к темам советской культуры, к прославлению человека труда. Кроме того, в тексте задействованы образы русского фольклора, персонажи народных сказок: Кащей Бессмертный, Баба Яга, Змей Горыныч, Иванушка. В песне также упоминается Адам, причём в контексте рождения главного героя, что делает его появление структурно и семантически значимым. И наконец, все эти парадигмы объединены и обработаны с использованием тем современного автору рок-андеграундного движения: столкновения с милицией, запрещённая музыка, передача друг другу запрещённых записей, подпольные рок-фестивали. Рассмотрим ближе динамику этих прототекстов.

«Песня про советскую милицию» по форме — колыбельная. Она поётся на мотив колыбельной и использует традиционный припев «баиньки, баиньки». Однако уже на этом уровне можно заметить пародийную постмодернистскую игру с текстом: в припеве после «баиньки, баиньки» идёт резкий выкрик: «Дурак! Не спи, мой маленький!» Традиционная форма колыбельной взламывается новым содержанием. Объяснение того, почему нельзя спать, раскрывается в каждом куплете песни. Смысл конфликта заключается в том, что адресат песни, которого она должна убаюкать, существует в пространстве противоборства рок-андеграунда, дающего музыкальную и исполнительскую форму песне, и советской милиции, которой и посвящена песня.

Песня начинается как произведение советской музыкальной культуры:

> Много песен о шахтёрах было сложено,
> Много песен о монтажниках-высотниках.
> А про нашу про советскую милицию,
> Кроме этой песни, верной ни одной…

Важное место в советской культуре занимало прославление человека труда, в этой парадигме написаны такие песни, как «Спят курганы тёмные» о шахтёрах, «Не кочегары мы, не плотники» о монтажниках-высотниках, к которым отсылает зачин песни Вени. Характерно, что обе песни относятся к раннему периоду развития советской культуры, к эпохе так называемого сталинского ампира, когда новая монументальность строилась на создании образа человека труда — наследника

титанов и Прометея, несущего огонь творчества в созидательном труде на благо человечества. К концу советского периода эти образы были давно дискредитированы и безнадёжно устарели, хотя и входили в обязательную часть официальной советской культуры. Песня, которая, по логике создания образа человека труда, должна возвеличить ещё одного представителя трудового народа—милиционера, оказывается резкой сатирой, деконструирующей свой объект. Таким образом, автор показывает внутреннюю пустоту поздней советской культуры, идейную систему, в которую не верят даже те, кто её насаждает с помощью героя—советского милиционера.

Главный герой изображается средствами народной сказки. Время сказки—длящееся, несовершенное прошедшее время. Это сказочное время резко отделено от настоящего времени, в нём происходят события, в образной форме описывающие создание космоса и смысл бытия, а не просто ряд происшествий, в которых может принять участие читатель. Время песни также является временем мифопоэтическим, автор приводит нас к началу времён, к той сакральной точке, из которой начинает разворачиваться любая частная человеческая история. Мы попадаем в точку начала любой сказки, сказки как таковой, что подчёркивается отсылкой к сказочным персонажам. В русских народных сказках Змей Горыныч, царь Кащей, Баба Яга—это ужасные монстры, силы зла, представители мира мёртвых, с которым должен сражаться главный герой. Но в песне Дркина эти же персонажи предстают малыми детьми:

> Когда Баба Яга была девочкой,
> Чудо-юдо ещё было маленьким,
> Змей Горыныч был птенчиком немощным,
> Царь Кащей был мальчиком-паинькой…

Автор создаёт образ такого давнего времени, которое не зафиксировано и в сказках, это точка подлинного начала. В этой точке присутствует топографическая локация, где и появляется на свет главный герой. Текстовая парадигма народной песни и русской народной сказки настраивает читателя на восприятие до́бра молодца в контексте русской сказки как богатыря и героя, побеждающего чудовищ, однако в этой точке сюжет резко ломается, фольклорный сюжет сменяется сатирой:

> На болоте, что у озера Тихого,
> Народился на заре добрый молодец
> У Адама и инспектора Тихона,
> И прозвали его Васька-омоновец.

Здесь в полной мере реализован эффект обманутых читательских ожиданий: вместо героя—борца со злом в начале времён появляется какое-то чудовищное, противоестественное порождение. Упоминание в этом контексте Адама отсылает нас к библейской истории, образ первого человека Адама подчёркивает, что перед нами мифологическая история, рассказывающая о начале не только времени, но и человека как такового, и вот в этом начале стоит Васька-омоновец.

Пародия сказочного прототекста продолжается, набирая силу, вовлекая всё новые элементы в страшный сюжет:

> Он лишил Ягу невинности девичьей,
> Он Горынычу срубил буйны головы,
> Он Иванушку повесил на фенечках
> И смотрел, как его кушают во́роны.
> А Кащею он яичко иголками
> Истыкал, а после вовсе кастрировал.
> А потом яйцо засовывал в уточку,
> А её потом засовывал в зайчика.

Если герой сказок—чудесно родившийся богатырь—борется со злом, то герой «Песни про советскую милицию» наполняет этот сюжет совершенно противоположным содержанием. Он тоже борется с Бабой Ягой, Змеем Горынычем и Кащеем Бессмертным, но его действия приводят не к восстановлению природной гармонии, которую в сказках нарушают персонажи-чудовища из другого мира, а к нарушению существующего нормального порядка вещей. Герой не побеждает зло, он насилует, кастрирует, срубает головы. Финалом этой античеловеческой деятельности становится история с Кащеевым яйцом—известная с детства сказка о Кащеевой смерти (игла в яйце, яйцо в ларце, ларец в утке, утка в зайце) становится историей об извращённом издевательстве над человеком, природой и сутью вещей.

В этом куплете встречается единственная в песне отсылка к античной мифологии—к истории Прометея. Прометей, титан, похитивший огонь для людей, является знаковым персонажем как в европейской истории Нового времени, так и в советской культуре. Первым автором, истолковавшим миф о Прометее в духе утверждения человека полиса, свободного гражданина, был Эсхил.

В классической античности и эпоху буржуазных революций этос гражданина, связанный с образом Прометея, мотивировал активность рядовых граждан в реальной политической жизни. Начиная с Ренессанса, образ Прометея всё более связывался с идеей человеческого прогресса. Классицизм, Просвещение и Романтизм привнесли в этот образ богоборческие и антирелигиозные мотивы, темы борьбы с тиранией религиозных и светских властей. Прометей стал символом мятежного духа, вмещающего целый спектр чувств—от гнева и ненависти к тиранам до любви к свободе, правде, справедливости, равенству, братству. У романтиков (Шиллера, Байрона, Гёте, А. В. Шлегеля, В. Мюллера) этот образ стал олицетворением духа революционной борьбы с тиранией, наполнился

смысловым многообразием и разной идеологической окраской—от либеральной до социалистической. Последнюю воплотил П. Шелли в лирической драме «Освобождённый Прометей», где под освобождением Прометея подразумевалось будущее раскрепощение человечества.

В этом контексте образ Прометея был воспринят и советской культурой. Прометей становится символом нового советского человека, нового состояния человечества, которое возникнет как результат осмысленного творческого труда каждого члена общества. Творческий труд шахтёра и монтажника, а не только представителя творческой профессии, музыканта и поэта,—это отблеск огня Прометея, как он трактовался советской культурой.

В «Песне про советскую милицию» главный герой народных сказок—Иванушка—становится протагонистом мифа о Прометее. История Прометея заканчивается тем, что непокорного титана Зевс велит приковать к скале и наблюдает, как орёл каждый день клюёт его печень. В «Песне…» роль Зевса, неправого тирана, властителя бесчеловечного антикосмоса, играет советский милиционер Васька-омоновец, который «Иванушку повесил на фенечках и смотрел, как его кушают во́роны», принимая классическую позу Зевса, наблюдающего за мучениями своего врага. В этом контексте особо звучание приобретает греческое имя героя Василий, означающее «царь».

В этом конфликте Иванушки-Прометея и Васьки-Зевса воспроизводится в новой социокультурной ситуации позднего советского времени парадигматический для советской культуры сюжет о Прометее-тираноборце. Сюжет инвертирован: в роли борца за творческую свободу выступает рокер, представитель андеграундной культуры, на идентичность которого указывает фенечка—атрибут рокеров того времени. В роли же тирана выступает советский милиционер, человек, который, в согласии с официальной культурой, должен защищать и поддерживать прометеевские порывы в стране победившего социализма, но на деле является их гонителем. Реалии времени отразились в этом сюжете, революционная форма официальной риторики включает противное творчеству и борьбе содержание, выдвигая милицию как репрессивный аппарат, уничтожающий Прометеев современности.

Рассмотренные прототексты вовлекаются в диалог культур с современным рок-андеграундом. В припевах даются реалии настоящего, с которым мифическое время сказки связано фигурой главного героя-антигероя. Противостояние в начале времён продолжается и сейчас, наследуя мифический первообразец. Иванушка-Прометей—это современные рокеры, которые противостоят пустой внутри официальной культуре, защищаемой антигероем, советским милиционером, перевернувшим мировой порядок и уничтожившим не только сказочных героев, но и современных поэтов и музыкантов.

В «Песне…» не даётся разрешения конфликта. Финал песни закольцован с её началом и является его смысловым отрицанием:

Много песен о шахтёрах было сложено,
Много песен о монтажниках-высотниках,
А про нашу про советскую милицию
Песен нет, да и не надо их совсем.

Таким образом, в «Песне про советскую милицию» донбасского поэта Вени Дркина на основе парадигмальности пародийного текста эпохи постмодерна создаётся пространство диалога нескольких культур: русской народной, включающей песни и сказки, ранней советской, с отсылками к библейскому сюжету о первом человеке и к античному мифу о Прометее. Все эти прототексты соединяются и осмысляются на основе андеграундной рок-культуры поздней советской эпохи. Смысловое пространство пародии, созданной поэтом, позволяет показать пустоту официальной культуры того времени, содержащей идеологемы о людях труда, в которые уже никто не верит. Столкновение этой пустой формы с живым творчеством андеграунда в версии Вени повторяет архетипический сюжет появления насилия в самом сердце сказочного мира и установление порядка, основанного на праве сильного, извращающего порядок космоса, разрушающего жизнь и творчество новых Прометеев.

В произведении Вени конфликт неразрешим, поэт отказывается от изображения своего героя—советского милиционера. Пространство реальной жизни даёт больше возможностей решить этот конфликт. Так, постсоветский рок постепенно интегрировался в истеблишмент, и современная полиция охраняет порядок на рок-концертах, а не подвешивает рокеров на фенечках. В то же время постоянно возникают новые формы и конфигурации взаимодействия разных сторон базового конфликта отжившей формы и нового содержания. Поиск новых форм взаимоотношений творческого человека и навязанных идеологем—важная задача, которую ежедневно решают творческие люди и осмысляющие процесс философы.

Алла Новикова-Строганова

Богатырский подвиг

Художественное поучение Н. С. Лескова

Если физически сытому, но изголодавшемуся духовно, «духовной жаждою томимому» читателю захочется перевести дух от «беспорядочной суеты и сутолоки»[1] современной жизни, в которой «всё желающее зла—сплачивается» [11, 524], можно выбрать минутку-другую для знакомства с малоизвестной сказкой Николая Семёновича Лескова (1831–1895) «*Рассказ про чёртову бабку*». В её основе—вечная тема борьбы человека с силами тьмы, бесовскими наущениями.

Небольшое произведение из творческого наследия великого писателя земли русской, созданное после 1886 года, при жизни автора опубликовано не было. Несмотря на крохотный объём (по-чеховски: «меньше воробьиного носа»), рассказ обращает вдумчивого читателя к религиозно-философской мысли, духовно-нравственному опыту христианства.

Писатель излагает легенду из переведённой с датского языка «благочестивой книжки» «*Письма из ада*»—«о том, как сатана портил „божественный образ“ в человеке и приходил разговаривать об этом с своей бабкой»[2].

Тема одоления чёрта волновала многих русских классиков, в особенности Гоголя—одного из любимых писателей Лескова. «Гоголь—моя давняя болезнь и заворожённость»,—признавался он. Гоголь явственно ощущал реальность и действенность метафизических тёмных сил, духов злобы и тьмы. Писатель призывал не поддаваться, противостоять им.

Об этом идёт речь, например, в письме к С. Т. Аксакову, где Гоголь предлагает использовать в борьбе с «общим нашим приятелем» простое, но радикальное средство в духе кузнеца Вакулы, отхлеставшего напоследок чёрта хворостиной: «Вы эту скотину бейте по морде и не смущайтесь ничем. Он—точно мелкий чиновник, забравшийся в город будто бы на следствие. Пыль запустит всем, распечёт, раскричится. Стоит только немножко струсить и податься назад—тут-то он и пойдёт храбриться. А как только наступишь на него, он и хвост подожмёт. Мы сами делаем из него великана, а на самом деле он *чёрт знает что*. Пословица не бывает даром, а пословица говорит: „Хвалился чёрт всем миром овладеть, а Бог ему и над свиньёй не дал власти“»[3].

Мысль о бессилии любой нечисти перед лицом твёрдого духом и в вере человека была одной из любимейших ещё в древнерусской литературе. Так, в «*Повести временных лет*» сказано: «…бесы ведь не знают мыслей человека… тайного не зная. Бог один знает помышления человеческие. Бесы же не знают ничего, ибо немощны они и скверны видом»[4].

В финале гоголевской «*Ночи перед Рождеством*», где одоление чёрта становится собственной темой повести, плач ребёнка перед «намалёванной» Вакулой картиной ада, намекает на «несмягчаемую силу чертовщины», «ибо последнюю можно высмеять, унизить, травестировать… но всё это останется лишь полумерой… Радикальное средство… может быть найдено на принципиально ином уровне. Другими словами, в каком бы комическом или неприглядном свете ни представал „враг рода человеческого“, только вмешательство противоположно направленной высшей силы способно оказать ему достаточное противодействие»[5].

От самого человека требуется большое духовно-нравственное усилие, чтобы в чистоте сохранить в себе образ Божий. Здесь встаёт не только вопрос о духовной силе личности, но и проблема нравственного выбора, самоопределения.

Тема сознательного выбора добра, необходимости одоления бесовских сил—одна из ведущих в творчестве Лескова. Однако в «Рассказе про чёртову бабку» дьявольские козни не главное.

1. *Лесков Н. С.* Собр. соч.: В 11 т.—М.: гихл, 1956–1958.—Т. 11.—С. 587. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием номера тома и страницы.
2. *Лесков Н. С.* Легендарные характеры.—М.: Сов. Россия, 1989.—С. 417. Далее страницы этого издания указываются в тексте.
3. *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.—М.: ан ссср, 1952.—Т. 12.—С. 299–302.
4. *Гуминский В. М.* Открытие мира, или Путешествия и странники: о русских писателях xix века.—М.: Современник, 1987.—С. 20.
5. *Манн Ю. В.* Поэтика Гоголя.—М.: Худож. лит., 1978.—С. 28.

В центре внимания здесь христианская антропология, постижение человеком собственной сущности, отношений человека и Бога, богочеловеческого сотрудничества.

«Смысл легенды следующий,—передаёт Лесков.—Когда сатана узнал о намерении Бога создать человека, он сейчас же решился во что бы то ни стало *испортить*[6] человека» [417]. Но как можно испортить «божественный образ»?

Сотворив человека по своему «образу и подобию», Господь тем самым наградил его величайшим даром, прославил, вознёс над «всею тварью». Однако ясно, что это не только дар, но и величайшая ответственность: не уронить в себе образ создавшего Отца. Именно здесь и подкарауливает беспечного человека дьявол (в переводе одно из значений слова «диаболос»—«разделитель», то есть стремящийся разделить, разрушить связь творения с Творцом): «Я подпортил человека так, что ему всё будет того хотеться, чего ему нельзя. Он через это начнёт делать нехорошее—будет и лгать, и отнимать, и ненавиствовать, и даже самого Бога станет осуждать: зачем Он ему одно дал, а другого недодал. Сделаю, что человек станет самим Богом недоволен и оскорбит своего Создателя» [417]. Однако лукавые происки бессильны. «Бога оскорбить никак нельзя. Он это всё простит и всю твою порчу в людях исправит» [417],—наставляет «чёртова бабка» своего злокозненного внука.

Божий образ в человеке в свете православной антропологии—не только «*данность*» и «*задание*», но также *сотворчество*: «В Богочеловеческом процессе важно сочетание Божественного действия и человеческого усилия»[7]. Духовно возрастающий человек стремится исполнить своё истинное назначение—«жить по-Божьи»—и страшится своего несоответствия высшему идеалу. Это религиозно-нравственное переживание глубоко исследовал архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской): «Человек страшится греха, но не как внешней роковой силы, а как чего-то созвучного своей слабости… Эту истину 90 Псалма знает верная Богу душа и не боится ни тьмы окружающего, ни своей. Она боится лишь одного: страшно огорчить Любимого!.. Это—высший круг страха, вводящий в небесную гармонию духа и эту гармонию охраняющий… Святой Иоанн Златоуст говорил, что для него ужаснее вечных мук было бы увидеть кроткий лик Господа Иисуса Христа, с печалью отворачивающийся от него… Вот психология истинной веры: *страх огорчить любимого Господа, не принять с безмерностью духа Его безмерную* любовь…»[8]

Сотрудничество божественного и человеческого—«синергия» как «содействие», «соучастие»—выражено в лесковском тексте следующим образом: «при свете разума, который Бог дал человеку, люди не утратили, однако, способности понимать, что не всё им полезно, что хочется» [417].

Однако «враг человеческий» не сдаётся, помышляя, «как ему человека в корень испортить так, чтобы и Бог его поправить не мог» [417]. Сатана задумывает как бы «рассыпать», разделить единую сущность человека, непомерно взрастив его страсти, которые заслонят и сердце, и разум. «Я,—говорит,—такого подпустил в человека, что он будет ко всякому другому без жалости. Каждый раз будет один другого превосходить, всё себе одному забирать, а других без сил оставить и со свету сжить. Вот увидишь, какая теперь пойдёт на земле между людей мерзость—и суды, и доводчики, и темницы, и нищие» [418].

Писатель предупреждает о том, какую опасность несёт утрата личностью цельности, внутреннего единства, заданного Богом. Когда душа, разум и тело пребывают в хаотическом разладе, мир также оказывается в безблагодатном нестроении. Для «врага рода человеческого» «это недурно», но только, по мнению многоопытной «чёртовой бабки», «Бог и эту порчу сумеет исправить. И действительно, замечает сатана, что в тех самых *сердцах* (выделено мной.—*А. Н.-С.*), в которых он глубоко засеял семена „эгоизма“, рядком начинает пробиваться что-то иное,—совсем от другого корня» [418].

Здесь важнейшее—«*сердце*»—тот центр в христианской антропологии, куда должна быть сведена вся работа по «самособиранию» тела, души и ума «рассыпанного» человека.

Лесков верует в возможность спасения, в восстановление человеческой духовности. Но для изображения закосневшего в грехах «телесного» существа писатель подбирает экспрессивное сопоставление—не просто насмешливое, а уничижительное, обидное для звания человека: «чёрный таракан», «тараканий век». Той же задаче—выявить всю мерзость, ничтожество и отталкивающие стороны отпадших от Бога, забывших о душе, беспечно предавших её на поругание дьяволу,—служит и стилистически сниженная лексика, разговорно-бытовая интонация: «Живёт, живёт человек, наживает себе всякого добра много, и со всех сторон всё рвёт и хапает, и всё себе за голенища пхает. До того тяжело наберётся, что даже ходить ему неловко,—как чёрный таракан на стенке корячится: „мы-ста, не мы-ста: на своих животах катаемся, в своей бане паримся“. И прёт его в тараканий век—меры нет, а вдруг прихватит хорошенько этого тараканишку—он

6. Здесь и далее выделено Н. С. Лесковым.

7. *Хоружий С. С.* После перерыва. Пути русской философии.—СПб.: Алетейя, 1994.—С. 92.

8. *Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), архиепископ.* Агония одиночества (пневматология страха) // Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), архиепископ. Избранное.—Петрозаводск: Святой остров, 1992.—С. 142–143.

и раздумается: Господи мой! Что это я?.. Камо бегу и кому понесу?.. С собой ничего не возьмёшь...» [418] Здесь писатель перефразирует библейское: *«камо пойду от Духа Твоего, Господи, и от Лица Твоего камо бежу?»*—так вопрошает человек, всю жизнь боявшийся самоуглубления, но наконец узревший глубины своего бессмертного «я». Также и у Лескова «человек-таракан», погрязший в житейской суете и отпавший от Бога, вдруг начинает умолять Всевышнего: «Господи! Дай мне очувствоваться...» [418]

Этого первоначального духовно-нравственного усилия со стороны человека достаточно, чтобы началась работа «самособирания»: «И вот рассудок в человеке просветлеет, и он не одобряет себя, и начнёт остепенять и свой проклятый эгоизм удерживать. Всё, значит, есть ещё спасение» [418]. *Начало жизни по духу*, как учит православная аскетика, очищает и собирает воедино омрачённые и разбитые черты образа Божия.

«Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей»,—так звучит горячая молитва к Создателю человека, осознавшего свои грехи, в «покаянном» 50-м псалме Давида. Это настоящий «прорыв» из мира греховности в мир духовный.

Духовного преображения человека желает Спаситель. Сатана же стремится исказить человеческую сущность: «Хочется ему на отделку испортить человека, так, чтобы он совсем завернулся, и чтобы его ни стыд, ни совесть, ни сострадание ни с какой стороны не могли дощупаться» [418],—пишет Лесков. Атака злокозненного врага ведётся именно на сердце, на душу человеческую. Увлекает злого духа и возможность затуманить людской разум: «Я,—говорит,—переверну в человеке всё понятие на вын-тараты,—будет ему казаться умное глупым, а глупое умным, и ни в чём он не разберёт истины» [419].

«Не мудрствуйте лукаво...»—учит христианская заповедь. «Что значит Мудрость?—размышляет архиепископ Иоанн Сан-Францисский.—Мудрость есть Господь Бог... есть две мудрости, различные между собой. Остерегайтесь этой последней, лукавой, потому что исходит она от царя лжи и лукавства. Что значит „ложь“, вам понятно, потому что часто встречается она в жизни у вас и распознать её вы умеете. Лукавство же есть ложь, которую трудно для всех распознать сразу. Лукавство и состоит в том, что имеет неясное основание... Ясно теперь, что человек должен быть мудр, но мудрость его должна исходить от Господа Бога. Этой мудростью вы можете отличить доброе от злого, этой мудростью вы можете заслужить прощение и достигнуть Царствия Божия»; «разные мысли борются в человеке. Многие насильно замыкает он в своей голове, хочет принять только мозгом, а мозг не может всего принять, бунтует. Не принимает иногда мозг того, что уже знает дух... Ясное здесь и прямое указание на связь истины с духом, духоведением более, чем с интеллектуальностью»[9].

По резонному замечанию «чёртовой бабушки» в тексте лесковской сказки, Бог сразу может исправить злонамеренную выдумку: «Он пошлёт на землю Посла, Который покажет людям настоящую истину, и разрастётся это малое семя, и выйдет великое древо» [419]. Здесь предсказывается христианская рождественская концепция: *«Христос рождается прежде падший восставити образ»*.

И вновь писатель показывает синергийное соединение божественной благодати и человеческой природы. Человек, переживающий свою греховность, стремится к самопревосхождению. В ответ на это свободное устремление Бог посылает ему дар спасения, сравнимый по масштабам только с даром творения.

Крохотный лесковский рассказ вмещает в себя тысячи и тысячи лет—это поистине вселенское время, воплощающее евангельскую идею *«полноты времён»*: *«Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного) <...> Чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление»* (Гал. 4:4—5); *«В устроение полноты времён, дабы всё небесное и земное соединились под главою Христом»* (Ефес. 1:10).

Лесков горячо верует в поступательное движение истории человечества и вместе с «великим христианином» Диккенсом, в котором русские писатели узнавали «родственную душу», мог бы повторить мощный и настойчивый призыв Духа Церковных Колоколов из рождественской повести английского писателя: «Голос времени,—сказал Дух,—взывает к человеку: „Иди вперёд!“ Время хочет, чтобы он шёл вперёд и совершенствовался; хочет для него больше человеческого достоинства, больше счастья, лучшей жизни; хочет, чтобы он продвигался к цели, которую оно знает и видит, которая была поставлена, когда только началось время и начался человек»[10].

В лесковской сказке снова промелькнуло тысячелетие—после пришествия Христа. А вот и последняя выдумка беса: «Я выдумал касающееся к этой самой Истине. Пришла Истина, ну и пришла. Так ей и быть. Теперь назад не воротишь, а я теперь буду вперять человеку, что он один познал эту Истину самым лучшим родом, и он тогда во всех смыслах зайдётся. Не станет ничем поверять

9. Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), архиепископ. Записи голоса чистого // Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), архиепископ. Избранное.—Петрозаводск: Святой остров, 1992.—С. 101–102.

10. Диккенс Ч. Рождественские повести // Диккенс Ч. Собр. соч.: В 30 т.—М.: ГИХЛ, 1959.—Т. 12.—С. 154.

и о чём-либо с кем-то спокойно и умно не посоветует, а всех почтёт в заблуждении, и что ему в лоб вступит, то и велит всем почитать за истину. Тогда ему во весь век не услыхать слово Истины» [419].

И, кажется, на этот раз коварная шутка удалась. Рассказ заканчивается похвалой лукаво умудрённой «чёртовой бабки» в адрес неугомонного внука: «„Живу я давно, и очень я опытна, а эта твоя выдумка меня озадачила. *Хорошо ты выдумал*“. И начали чёрт с бабкою на весь ад громко смеяться» [419].

В датском источнике, который обрабатывал Лесков, этот сюжет преподносится довольно сухо и рационально. Русский писатель не только расцветил легенду новыми красками, придал ей русский национально-сказочный колорит, отшлифовал с филигранным мастерством, но и углубил религиозно-философский смысл рассказа.

Датский фрагмент завершается следующим образом: «Конечно, для Господа всё возможно! Но, со всею моею опытностью, не знаю, как Он убедит тщеславного человека в том, что он живёт в грехе?!» [565] Лесковский же рассказ венчает мощный — и в эмоциональном, и в идейно-художественном, и в нравственно-философском смысле — финал, в котором сосредоточена концепция произведения. Метафизический адский хохот, раздающийся на весь мир, не может не насторожить, не ужаснуть.

Из Священного Писания известно, что Христа часто видели плачущим, «а чтобы Он смеялся или хотя мало улыбался, этого никто никогда не видел». Конечно, Он плакал и о людях, отвернувшихся от своего доброго Отца и предавших самих себя злому духу.

В отличие от «Легенды о великом инквизиторе» в романе Достоевского «Братья Карамазовы» (1881), где рисуется пришествие Христа и дан Его светоносный образ, окружённый лучами любви и правды, в легенде Лескова изображения Христа мы не найдём. Зато злые силы выписаны пластически зримо. Сатана здесь не символ и не аллегория. Лесков считает, что обнаружение бесовской силы — это уже её поражение, полезное людям, которым необходимо быть духовно пристальными.

«Самое большое поражение бесов, — пишет архиепископ Иоанн Сан-Францисский, — когда их обнаруживают, срывают с них личину, которой они прикрываются в мире»[11]. «Бесплотный враг — диавол, и слуги его — злые духи — суть наиреальнейшие явления в мире, действующие в смятенной, суетной или озлобленной душе. Бесы — такая же реальность, как светлые силы мира невидимого — ангелы, действующие в глубинах духа человеческого и его мира совести… вся внутренняя борьба должна вестись не против людей же, себе во всём подобных по греховности, но против сознательно воинственной бесплотной силы зла, поработившей душу человека и человечества, душу всех интересов мира, ставших совершенно плотскими, земными, не имеющими горнего духа вечности»[12].

Гордыня и тщеславие — по сути своей дьявольские качества — более всего мешают человеку в стяжании благодати. В легенде из датского перевода указывается: «Когда тщеславие станет второй природой человека, когда он сам влюбится в неё, будет дураком — он погибнет наверное!.. Даже совесть не заговорит в человеке против тщеславия. Он не увидит в нём зла и с закрытыми глазами бросится в бездну» [563–564].

Здесь усматривается прозрачная аналогия с эпизодом Евангелия от Луки (8:26–39) — о том, как Иисус повелел нечистому духу выйти из бесноватого и войти в свиней, и те бросились в бездну. Так и человек, по своей воле устремляющийся в бездну, подобен свинье, занятой только пищей земной. «Естественно, бесы хотят устремиться к свиньям. Только бы им не остаться без всякой жертвы, без всякой пищи, то есть без возможности кого-либо мучить и терзать в Божьем мире… На бесах поучим мы, люди, себя! — призывает архиепископ Иоанн Сан-Францисский. — Всё зло, которое мы другим (то есть, прежде всего, самим себе) делаем, есть зло, выходящее из пустоты нашей, не заполненной светом Божьим. Гордые, мы, будучи пустыми, заполняем себя не жизнью Божественной, но призраками радостей, чтобы только не чувствовать ужасного своего — без Бога — одиночества. Адская бездна непрестанно отверста пред нами, и мы, слепо страшась её, слепо привязываем себя к тому, что само не вечно, что есть лишь туман над бездной…»[13].

Преподобный Максим Исповедник называет самолюбие «матерью всех зол»: «Начало всех страстей есть самолюбие, а конец — гордость». «Самолюбие, сластолюбие и славолюбие изгоняют из души память Божию»[14], — вторит святой Феодор Едесский. Против «безумной гордости» направлено истовое по эмоциональному накалу и совершенное в художественном отношении Слово 23

11. *Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), архиепископ.* Семь слов о стране Гадаринской (Лук. VIII:26–39) // Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), архиепископ. Избранное. — Петрозаводск: Святой остров, 1992. — С.170.
12. *Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), архиепископ.* Белое иночество // Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), архиепископ. Избранное. — Петрозаводск: Святой остров, 1992. — С. 127.
13. *Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), архиепископ.* Семь слов о стране Гадаринской (Лук. VIII:26–39) // Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), архиепископ. Избранное. — Петрозаводск: Святой остров, 1992. — С. 169.
14. Христианская жизнь по Добротолюбию. — М.: Свято-Данилов монастырь, 1991. — С. 112–113.

«Лествицы» аввы Иоанна Лествичника: «Гордость есть отвержение от Бога, бесовское изобретение, презрение человеков, матерь осуждения, исчадие похвал, знак бесплодия души, отгнание помощи Божией, предтеча умоисступления, виновница падений, причина беснования, источник гнева, дверь лицемерия, твердыня бесов, грехов хранилище, причина немилосердия, неведение сострадания, жестокий истязатель, бесчеловечный судья, противница Богу, корень хулы»[15].

По слову апостола, «*Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать*» (Иак. 4:6). Христос призывал: «*Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем*» (Мф. 11:29).

Лесков считал, что гордость—«*ужасное слово*, которое совсем не идёт к тону и противно тому настроению, которого должна держаться муза поэта-христианина» [11, 413]. Писатель вывел следующую истину: «Гордость—чувство пустое: ничем не надо гордиться и никем»[16]. Так незадолго до смерти наставлял он своего сына. В книге Н. П. Макарова «Энциклопедия ума» из личной библиотеки Лескова, хранящейся в лесковском Доме-музее в Орле, подчёркиванием и крестиками на полях рукой писателя выделено: «скромность относительно души есть то же самое, что стыдливость относительно тела»[17].

Горячо чтимый Лесковым святитель Тихон Задонский поучал: «Познаётся христианин не от восклицания: „Господи, Господи“, но от подвига против всякого греха… Труден, признаюсь я, всякому против вышеописанных противников подвиг, но необходим и почётен». В подвиге этом особо подчёркнуто сотрудничество божественного и человеческого: «Бог старающимся и заботящимся помогает, подвизающихся укрепляет и побеждающих венчает»[18]. Поистине это богатырский подвиг, идею которого неустанно проповедовал Лесков в своих творениях о праведниках земли русской.

В свою записную книжку писатель занёс глубоко выстраданную молитву: «*Отче! Подай мне сил избежать зла, сотворить благо и перенесть испытание. Аминь*»[19].

ДиН ПАМЯТЬ

(1932–1996)

Майя Борисова

Приемлю всё сполна

Когда уходишь из,
кто поручится за
тот факт, что не каприз,
а грозная гроза,
являя власть свою,
равняя давний счёт,
несчастную семью
семью плетьми сечёт?
Когда, «идя на вы»,
я перейду «на ты»,
то будут не новы
догадки, что мосты
я слишком быстро жгу,
а строю—впопыхах
и если в чём-то лгу,
то разве что в стихах.
Но в пребыванье вне
и в пребыванье над
ни страху, ни вине
не возводить преград.
Но отрекаясь от,
не зарекаясь впредь,
смотрю в проём ворот,
как мне дано смотреть,
приемлю всё сполна,
не жму на тормоза.
Не полагаясь на,
не укрываясь за.

«ДиН», №2/1994

15. *Иоанн Лествичник.* Лествица.—СПб.: Фонд «Благовест», 1996.—С. 156.
16. Цит. по: *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова: По его личным, семейным и несемейным записям и памятям: В 2-х т.—М.: Худож. лит., 1984.—Т. 2.—С. 326.
17. Всего в книге более 200 помет.
18. *Тихон Задонский, святитель.* Наставление о личных обязанностях каждого христианина.—М., 1997.—С. 92–95.
19. РГАЛИ. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 111. Л. 28.

рисунки Ольги Сорочкиной

Марина Саввиных

Завещание «Минотавра»

Повесть-сказка[1]

Посвящаю сказку о «Минотавре» Вареньке Соловей, вдохновительнице и соавтору.

Глава двадцать первая,

в которой Парис беседует с Афродитой и получает доступ к Замкý

— Сиди тут и не подавай сигналов,— кузнец втолкнул Париса в помещение, которое мальчик тут же про себя назвал «пещерой»,— я доложу о тебе.

Уходя, кузнец равнодушно пнул почти незаметный выступ у входа — пол вспучился уже знакомыми Парису сиденьями-грибами. Теперь Парис мог устроиться поудобнее и более или менее спокойно изучить обстановку.

В «пещере» ничего не было, кроме нескольких кресел-грибов. Пол, потолок и стены мягко светились ровным желтоватым светом. Но Парис уже знал, что пустое помещение по малейшему движению божественного пальца легко наполняется чем угодно — от благоухающих цветов до ядовитых болотных кочек. После того, как Гефест[2] — Парис, разумеется, догадался, кто из бессмертных встретил его в святилище,— вышел из «пещеры», вход в неё моментально затянулся белёсым туманом.

Парис, конечно, помнил о Дедале, но по мере того, как он привыкал к мерцанию полупрозрачного вещества, составлявшего «пещеру», разум его погружался в состояние напряжённого полусна, в котором его ничто не беспокоило. Даже тревожные мысли о Вере.

Вот из стены напротив вышла высокая стройная женщина с головой львицы. Афродита!

— Мальчик!— в голосе Анадиомены Парису послышались хоть и ласковые, но всё же сердитые нотки.— Рановато ты сюда пожаловал… Впрочем, Урания высокого мнения о тебе. Может быть, как раз — настало время. Расскажи-ка, что ты узнал о Тесее.

— Он…— Парис постарался сосредоточиться, хотя в присутствии богини это было нелегко.— Он ничего не знает о намерениях Афины, но готов безоглядно следовать любым её приказам. Правда… теперь у него есть Ариадна. И если приказы Афины будут противоречить судьбе Ариадны… у него разорвётся сердце! Хуже всего, что этот узел будет преследовать его в веках, пока он не сумеет развязать его. Или разрубить. Выбор прост: или Афина, или Ариадна.

— Не находишь ли ты, мой маленький друг, что мы должны помочь ему? Мы же любим прекрасного юношу, не так ли?

— Всецело повинуюсь воле богов, пресветлая Афродита…— Парис соскользнул с кресла и припал щекой к благоухающему плащу богини.— Но судьба Тесея настолько сплетена с предназначением его родины, что вряд ли нам удастся нарушить эту связь.

— Да ты и вправду вырос, мой мальчик! За какие-то несколько земных суток… О! Урания знает своё дело. Как же нам быть? Тесею предназначено стать толчком к запуску Большой Беды. Мы должны этому помешать! Во что бы то ни стало. Как думаешь, что можно сделать, чтобы он перестал слушать Афину, а слушал бы только голос любви, мой голос?

Парис смутился. Он и вправду не знал, что ответить. Тесею в будущем предстояло стать причиной длинной цепи всевозможных катастроф, и для бессмертных, желающих предотвратить бедствия, не было никаких причин теперь оставлять в живых молодого афинского царя. Афродите это было известно, но знание печалило её несказанно.

— Надо найти другой путь,— нежный голос богини звучал так, что возражать не хотелось.

Афродита помолчала, но вдруг решительно произнесла:

— Знаешь, дитя… полагаю, пришла пора тебе по-настоящему стать одним из нас. Не уверена, что Зевс одобрит этот шаг. Но… что бы ни случилось, ты будешь с нами. А мы… мы готовимся к дальней дороге.

Парис весь сжался под её проникновенным взглядом. Афродита, разумеется, видела это, но продолжала:

— Мы любим этот мир. Мы приспособили его для себя, стараясь ему не навредить. Это стоило

1. Окончание. Начало и продолжение в «ДиН» №№6/2022, 1–2/2023.
2. Гефест — бог подземного огня, кузнечного ремесла и технической мысли в Древней Греции.

огромного труда. Мы вложили в эту красоту, в эту свободу и в эту радость столько сил, столько борьбы и боли, что, поверь, иногда мне даже мысль о том, что от всего этого необходимо отказаться, кажется невыносимой. Но так надо! Наша работа—при всём стремлении избежать ошибок—принесла множество непредвиденных последствий. И теперь Земля—величественная и благодатная Гея—может прекрасно обойтись и без нас. Хотя…—Афродита задумалась на мгновение,—что бы там ни говорили мойры[3], мы ещё повоюем, да-да! Но для того, чтобы стать вровень с задачами, которые тебе придётся решать, ты должен пройти—согласна!—мучительный, но очень важный обряд. По собственному желанию! Скажи, Парис, желаешь ли ты совершить *переход* для спасения людей?

Парис опешил: а как же Вера? А Тесей? А Ликаон, Маврис, Талло, Койна? Дедал?.. Он ведь обещал Икару найти Дедала!

— Мне придётся их покинуть навсегда?

— О Вере не беспокойся,—Афродита усмехнулась,—её жизнь *уже* вписана в Книгу Бытия. Как бы ни складывались обстоятельства, эти записи никому не под силу вычеркнуть, эти страницы никто не может вырвать или переписать. А мы с тобой—да-да, мой юный друг,—мы… на острие стрелы… на перепутье… Поэтому—решайся! Хочешь ли ты…

— Да,—сказал Парис.—Для спасения людей—да.

А сам подумал: «В который раз ты говоришь им „да“? Но только теперь, кажется, делаешь это осознанно».

Афродита вздохнула—то ли разочарованно, то ли с облегчением.

— Вера всегда говорит «нет». Ты всегда говоришь «да». Что у вас общего?—богиня щёлкнула пальцами, и перед ней вырос узкий чёрный цилиндр с белым диском наверху.—Поверь, ты останешься человеком. Разве что… я бы сказала—вернёшься к самому началу. Не бойся.

— А я и не боюсь!

Неправда! Он очень боялся. Его трясло от страха. И не зря. «Пещера» вдруг сузилась до ощущения каменного ящика. Парис едва успел зажмуриться—в глаза ударил сноп белого света, тут же рассыпавшегося на мириады сверкающих разноцветных точек. Мальчик едва успел вдохнуть—и задохнулся, замахал руками, перевернулся в пустоте вниз головой и—погрузился в глухую беспросветную тьму. Но ненадолго.

— Саша-а-а,—кто-то звал его, называя незнакомым именем,—Са-аш… Просыпайся, Сашуля…

Он почувствовал незнакомый резкий запах и лёгкие шлепки по щекам. Парис открыл глаза и увидел склонившееся над ним милое женское лицо. Он чуть не упал, попытавшись подняться с кресла, на котором полулежал, вытянув руки вдоль тела и запрокинув голову.

— Погоди-погоди, не так быстро, дитя моё…

Это был голос Афродиты. Конечно! Это она! Её голос, её лицо, её платье—точно такое, в каком она только что разговаривала с ним. Только теперь она была сама по себе, по-человечески, и—главное—ростом не выше любой дамы из Дворца.

— Осторожно… вот так…—Афродита взяла его за руку и помогла подняться.—Поздравляю, мальчик! Ты прекрасно справился с переходом. Далеко не каждому это удаётся столь успешно с первого раза.

Парис действительно не чувствовал каких-то поразительных перемен вокруг. Немного удивляли разве что размеры предметов и тел—мальчик уже привык к огромности всего, что окружало бессмертных. Теперь же он был среди вещей, вполне соизмеримых с его собственным телом. Даже прекрасная Афродита, пожалуй, лишь на голову его выше. Она обняла его, не наклоняясь, и он уткнулся носом в её благоуханную шею. Да-да! Никакая не голограмма! Живая, тёплая…

Что же произошло?

— Ничего особенного,—Афродита отозвалась на его мысли, будто на самом деле услышала их,—просто переход. Ты перешёл в пространственно-временной континуум «Тауруса». Если угодно, стал бессмертным… хотя это смешно и неправда, разумеется. Бессмертия нет. Есть множественность переходов. Впрочем, не время сейчас рассуждать об этом. Пойдём—я покажу тебе «Таурус». Заодно снова поищем Дедала. Пока не удалось его обнаружить, к сожалению.

— Как же теперь буду я называть бессмертных?

Парис замялся… ему хотелось спросить, что за имя, обращённое к нему, он слышал при пробуждении… Может быть, этот звук—просто бред, больная грёза… но, возможно, это его новое имя? Он не знал, как спросить, чтобы не показаться сумасшедшим или дурачком…

— Зови меня Ладой, мой друг,—улыбнулась Афродита,—это самое приятное из моих имён. А тебя теперь зовут Александр.

Парис озадаченно кивнул.

Перемещение по «Таурусу» совершалось весьма забавным и своеобразным способом. Парис заметил, что любые изменения пространства вокруг происходили по желанию. Стоило только ощутимо его проявить. Топнешь—пол вспучится грибообразными сиденьями. Махнёшь рукой—стена станет прозрачной или, наоборот, затянется туманом. Щёлкнешь пальцами правой руки—откроется вход справа. Если левой руки—то слева. И так далее. Мальчик не заметил, что сделала Лада Афродита, но вдруг ощутил под ногами движущееся полотно. Он чуть не упал от неожиданности, но его прекрасная спутница, стоявшая рядом, бережно

3. Мойры—богини судьбы в Древней Греции.

подхватила его под локоть, и они поплыли по бесконечному лабиринту переходящих друг в друга светящихся туннелей, то расширяющихся до размеров площадей с высокими куполами и сверкающими арками и галереями, то сужающихся в виде коридоров, сквозь стены которых смутно проступали предметы каких-то необычайных жилищ.
— Смотри, Саша,— Парис вздрогнул: значит, не приснилось… она действительно назвала его так… ну ладно, пусть… Александр… Сандро… Саша…— смотри: здесь работает Гефест. В его ведении все механизмы, все устройства, вся энергия «Тауруса». Ведь ты уже понял, мой мальчик, что «Таурус»— не просто святилище, не только храм. Это огромная умная машина. Корабль. Мы готовим его к большому путешествию. Долгая, трудная, очень сложная работа. До её завершения ещё очень далеко, но она будет закончена.

Парис кивнул. Он уже имел удовольствие познакомиться с Гефестом.

Между тем гостеприимный «Таурус» перемещал их в своём пространстве, открывая туннель за туннелем— вверх и вниз, вправо и влево… Афродита показывала юному гостю разноцветные залы, уютные уголки для отдыха, мастерские для научной работы и творчества художников… Наконец, у Париса от усталости стали подкашиваться ноги и слипаться глаза.
— Почему здесь нет бессмертных?— чтобы прогнать сонливость, робко осведомился мальчик.— Кроме тебя, я видел только Гефеста.
— Потому что бессмертные на работе,— засмеялась Лада Афродита.— Неужели ты думаешь, что мы тут сидим и предаёмся сладкому безделью? Нет. «Таурус» ждёт своего часа и время от времени собирает нас всех, как в родном доме. Но живём и трудимся мы среди людей. Здесь, на «Таурусе», только мастер Гефест с небольшой командой сотрудников— куретов и дактилей— да несколько нимф, поддерживающих уют и порядок. Э-э-э… да я вижу— ты совсем устал…

Движущееся полотно остановилось и совершенно слилось с покрытием пола.
— А теперь я покажу тебе, как из туннеля пройти в соседнее пространство— зал, коридор или каюту,— Афродита вытянула руку перед собой и… исчезла…— Иди сюда!— услышал Парис, сделал то же самое— и оказался в комнате, чем-то напомнившей ему мастерскую Урании в храме Созерцания.
— Поищем Дедала,— Афродита расположилась в грибообразном кресле, которое «Таурус» любезно предоставил ей по щелчку.

На стене перед ней замелькали какие-то знаки, лица, строения…
— Нет… нет… Под Солнцем и под Луною на земле Дедала нет… С царством Посейдона всё неопределённо… а в Элейсоне— как всегда— темнымтемно… он жив! Жив! Но очень надёжно спрятан.

Парис огорчённо вздохнул. Впрочем, не слишком тяжко. Он уже откровенно клевал носом.
— Ах, на сегодня довольно…— Лада Афродита заметила его состояние, взяла за руку и потянула за собой.

Снова замелькали туннели, залы и переходы. Только раз внимание Париса привлекло особое светящееся пятно на стене, и он осмелился спросить о нём.
— Там Кинетрий. И не спрашивай об этом никогда. Ни у кого. «Таурус», спальню для мальчика,— наконец, приказала она, войдя вместе с Парисом в маленькую белую комнату, в которой ничего не было, кроме пола, стен и потолка. Ни окон, ни дверей.
— Отдыхай, Сашенька,— Лада Афродита погладила Париса по голове, обняла его, потом, отстранив от себя, внимательно посмотрела ему в глаза и погрозила пальцем.— И, пока не привык к здешним порядкам, не слишком своевольничай, договорились?
— Да,— только и вымолвил Парис, и Афродита удалилась сквозь стену.

Задумавшись над замечанием высокой покровительницы, Парис не заметил, как белая комната начала меняться. Пол быстро покрылся свежей зелёной травкой, вместо потолка над головой раскинулось вечереющее сиреневое небо с розовыми прядками облаков, углы заполнились кудрявыми кустами, а прямо перед ним— выросло то самое дерево, под которым он впервые увидел Веру… Да-да! Он спал под этим деревом, а Вера разбудила его, пощекотав ему нос травинкой… как давно это было! Однако обдумывать все эти чудеса у мальчишки уже не было сил. Как подкошенный, упал он на мягкую тёплую травку под деревом и крепко-крепко заснул.

Проснувшись, Парис некоторое время не мог понять, где он. Комната снова изменилась— теперь она была точь-в-точь похожа на пещеру Урании. Парис огляделся и сразу вспомнил произошедшее с ним вчера. Хотя… сколько же он спал? Утро или вечер? А может быть, ночь? В комнате без окон, без дверей определить это было невозможно.

Внезапно он почувствовал приступ голода— урча от возмущения, его желудок потребовал еды.

«Если „Таурус“ по желанию своих работников устраивает удобные места для отдыха, может, он точно так же кормит проголодавшихся?— Парис в задумчивости потёр кончик носа.— Но как сообщить ему о том, что хорошо бы подкрепиться?»

Тут ему на память пришло, как Лада Афродита велела «Таурусу» приготовить ему спальню. Парис зачем-то вышел на середину комнаты, приветственным жестом поднял руку и громко произнёс:
— «Таурус», еды!

По стенам и потолку побежали разноцветные волны. Потом пол перед мальчиком вспучился

грибообразной стойкой, на которой лежала вкусно пахнущая тёплая лепёшка с большим куском овечьего сыра и тут же — глиняная чашка с водой.

— Вот это да! — восхищённо хмыкнул Парис, быстро съел предложенное и, не придавая значения предостережению Афродиты, безоглядно ринулся в эксперимент.

Он самозабвенно забавлялся с «Таурусом», перелетая с этажа на этаж, вторгаясь без спросу в разные помещения… один раз даже застал в одной из комнат высокую худую девицу, которая занята была какой-то непонятной работой — передвигала перед собой светящиеся фигуры: шары, кубы и пирамиды. При виде непрошеного визитёра девица сердито вскрикнула, взмахнула рукой — и Парис был немедленно отброшен в тоннель, где у него под ногами снова зашевелилось движущееся полотно. Неизвестно, сколько бы он ещё резвился так, если бы не заметил Кинетрий. По странному стечению мыслей он тут же вспомнил о Вере, о Дедале, о том, что ему вообще-то пора возвращаться к Урании.

Несколько раз он попытался пройти сквозь светящееся пятно — тем же самым способом, которым на «Таурусе» преодолевались любые преграды. Ничего не вышло! Здесь действовала какая-то другая закономерность. Афродита предупредила: не спрашивать об этом. Значит, сюда нельзя! Запретное место. Но когда мальчишек останавливали запреты?!

Парис подключил к исследованию все органы чувств: ощупал, обнюхал и даже пару раз лизнул поверхность вокруг светящегося пятна. Само пятно — в него Парис не побоялся засунуть руку — никак не воздействовало на тело, но пройти сквозь него было невозможно. Мягкая сила отталкивала претендента, как только он предпринимал попытку войти. Наконец, Парис лёг на пол и, прищурившись, стал изучать изгиб между полом и стеной. Что это? Он явственно различил низко-низко над полом всё те же разноцветные огоньки. Они были совсем крошечные, еле различимые. Значит, дактили и здесь трудились, помогая бессмертным. Это вход для них. Но как им воспользоваться? Кончик пальца Париса теперь захватывал все огоньки разом…

Ему почему-то и в голову не приходило, что он теперь *вровень* с бессмертными — их мир стал его миром, он вписан в их систему координат, а дактили… они там и остались, где были. И если он так *вырос*, то они для него пропорционально уменьшились, поэтому сигнализация, предназначенная для них, ему стала недоступна.

И так, и этак прикидывал Парис… наконец, отгрыз у себя на пальце тоненький кусочек ногтя и с его помощью попытался набрать знакомый код. Два зелёных, белый, красный… Ну? Нет. Не сработало. А если так? Зелёный, два белых, красный? Нет. Парис понял, что дело небыстрое, и хотел было уже отступиться… но вдруг очередная комбинация возымела действие. Вытянув перед собой руки, Парис проник в помещение, в котором всю противоположную стену занимал огромный круглый золотой щит с непонятными знаками, вписанными в концентрические круги по всей поверхности[4]. В центре щита мерцало и переливалось точно такое же световое пятно. Но теперь оно пылало холодным пламенем и, казалось, втягивало в себя всё, что к нему приближалось. Этакая скважина, дыра в инобытие…

— Нет в мире совершенства! — услышал Парис над самым ухом. — Как это понимать, дурное дитя?

Гефест осуждающе качал головой и сверлил нарушителя сердитым взглядом.

— Я только хотел… — пролепетал Парис.

— Мало ли чего ты хотел? — Гефест (ростом он был теперь не выше Ликаона) схватил было мальчишку за ухо, но тут явилась Афродита.

— Оставь его, Гефест. Я сама с ним разберусь.

— Твоя воля, но и отвечать, если что, будешь ты, — проворчал Гефест и, беззвучно негодуя, удалился.

Парис стоял перед ней, опустив очи долу и не смея пошевелиться.

— Разве я не предупреждала тебя, чего нельзя делать ни в коем случае? Понимаю: тебе нечего ответить. Но, Саша, приближаться к Кинетрию смертельно опасно! Если бы Гефест не заподозрил неладное… — голос Афродиты дрогнул — Александр! Я прошу… приказываю: ничего не предпринимай без разрешения! Ты пока ещё глух, слеп и катастрофически несведущ, чтобы вторгаться в дела, где и высшие, бывает, заходят в тупик.

— Но… Кинетрий — это что? Как же я обрету осведомлённость, если не исследую всё, что мне доступно?

— Не понимаю, как ты вообще… э-э-э… получил доступ… Тут какие-то дела, которые только мойры знают…

— И всё-таки. Лада Афродита, скажи: что это такое?

— Это Замóк, мой друг. Просто Замóк. Он исправен. Но Ключ потерян. Гефест и Минос пытаются подобрать новый Ключ. Но пока не очень получается.

— Что будет, если Ключ вставить в Замóк?

— А вот это уже совсем не твоего ума дело, мальчик, — окончательно рассердилась Афродита.

— Я хотел бы вернуться к Урании, чтобы закончить обучение, — робко прошептал Парис.

— Хотел бы… ну и отправляйся к ней. Только имей в виду, что твоя жизнь среди людей закончилась. Ты не сможешь дышать с ними одним воздухом и принимать ту же пищу, которой питаются они. Ты — не вполне человек, Александр. С точки зрения людей ты — бессмертен.

4. Ты уже догадался, читатель? Точно такой же щит видели Дедал и Вера в Посейдоновых шахтах. И это был, как ты, конечно, помнишь, вход в Элейсон.

— Но как же?..—у Париса перехватило дыхание.
— А вот так,—Афродита вывела рукой в воздухе какой-то сложный знак и подала Парису шлем-маску,—надеваем так, закрепляем так… чтобы снять, делаем вот это, чтобы надеть—вот это… Ну-ка, попробуй сам!

Парис закрепил на плечах тонкую серую пелерину, на которой держался шлем… несколько движений… раз-два… и перед смеющейся Афродитой предстал юный бог с головой воробья.

Глава двадцать вторая,

в которой Вера встречается с Прометеем и узнаёт о Ключе

Как только разноцветные точки, на которые рассыпался мир, собрались перед глазами Веры в более или менее связную картину, она увидела прямо над головой бледно-лиловое небо и серебристое пятно на нём, от которого исходил искусственный свет (вроде того, который дают люминесцентные лампы). От этого «солнца» тепла было мало, оно, скорее, не грело, а создавало комфортную температуру.

Вера села в траве, сразу ласково обвившей её коленки, и тут же обнаружила Дедала, который, старчески кряхтя, поднимался на ноги рядом.
— Ну-ну,—сказал Дедал,—Квази-Сварг на месте… ага! Вот и Мун, смотри, Вера!

Дедал ткнул пальцем куда-то влево, и Вера увидела второе «солнце» Элейсона—голубоватый Мун. Он был гораздо меньше Квази-Сварга и поднимался над горизонтом робко, но неотвратимо.
— Не думал я,—вздохнул Дедал,—что мне при жизни доведётся увидеть чудеса Элейсона. Но, может быть, я уже и не жив? Может быть, мы умерли? А, Вера?
— Не знаю, как ты, мастер, но я-то… жива!—усмехнулась Вера.—Пойдём! Кому-то из бессмертных очень нужно, чтобы мы тут… поработали.
— Ай да дитя!—Дедал даже закашлялся.—Благословенны же времена, которые рождают таких чад!
— По́лно, по́лно, мастер… Пойдём! Вот и дорога видна.

Действительно, в траве явственно обозначилась стёжка, протоптанная прежде множеством ног. И они побрели куда глаза глядят по бледно-зелёной травке широкого луга, пока всё вокруг не заполнилось туманом и прямо возле ног не зашевелилась тёмная с желтоватыми отсветами вода. Странники поневоле остановились и стояли так, напряжённо вслушиваясь в тишину, пока вдали не показались приближающиеся мутные пятна света и не стали слышны равномерные постукивания, скрипы и всплески.
— Эй! Кто там?—послышался хрипловатый, но зычный голос—и перед нашими героями предстал высокий худой старик с бородою до пояса и с такими глазами, которые даже в тумане, кажется, пронизывали собеседника насквозь.

Старик стоял в ладье, плавно покачивающейся на тяжёлых зеленовато-чёрных волнах. В правой руке он держал длинный-предлинный шест, а в левой—излучающий жёлтый свет фонарь, в круге которого Вера и Дедал почувствовали себя едва ли приятнее, чем в тюрьме Посейдона.
— Харон!—дрогнув голосом, воскликнул Дедал.—Харон, дружище, неужели не признал?
— Дедал? Как тебя угораздило?—искренне изумился Харон, на мгновение утратив привычную невозмутимость.
— Это долгая история,—Дедал явно был в замешательстве, что не часто с ним случалось.—Поверь, Гея в опасности. Готовится что-то ужасное.
— Насколько ужасное?—высокомерно осведомился Харон.
— Невообразимо…—Дедал обессиленно опустился на траву.

Харон, вопреки обычаю, пришвартовал лодку к невидимому в траве столбику, стволу или стеблю, сошёл на берег и сел рядом с мастером. Они долго-долго и очень тихо о чём-то говорили, Вера не могла расслышать, до неё доносились только некоторые слова и фразы… «Уран… титаны… нельзя так рисковать… что же делать?.. Ключ… Прометей… нельзя так… невозможно… катастрофа… предатели… сбегут и бросят… Ключ… Ключ… Прометей…»

«Какой Ключ? При чём тут Прометей?»—лихорадочно соображала Вера. Только слово «катастрофа» было ей вполне понятно, и от этого понимания сердце её болезненно сжалось.
— Идёмте,—Харон, наконец, встал и указал Дедалу на ладью.

…И вот они уже плывут в тумане по чёрной воде. Фонарь Харона время от времени выхватывал из мрачного пространства расплывчатые картины берегов: серебристые кроны деревьев, белые очертания дворцов и статуй, одинокие человеческие фигуры, отрешённо движущиеся среди ажурных, полупрозрачных строений… Но вот в тумане сначала засквозили серебристые лучи Квази-Сварга, потом туман постепенно стал рассеиваться, и, наконец, со всех сторон хлынул яркий белый свет—ладья Харона причалила к берегу.

Дедал и Вера сошли на берег и тут же им навстречу устремились всевозможные существа, которых Вера… не могла сразу и-ден-ти-фи-цировать…[5] крылатые… четвероногие… змееподобные… Если бы Вера не провела до этого момента изрядное время в Кноссе и его окрестностях, она бы точно сошла с ума от изобилия невозможных с точки зрения Вериного современника объектов

5. Идентифицировать—установить для чего-то неизвестного совпадение с чем-то известным.

наблюдения. Но у неё был уже некоторый опыт, поэтому она выбирала только, к кому из них можно обратиться.

Но как выбрать? Крошечные—ангелочки не ангелочки, эльфы не эльфы—с человеческими личиками и ручками, стрекозиными крылышками и насекомыми тельцами роились вокруг новых пришельцев и норовили выдернуть по волоску у Веры из растрёпанной косы, у мастера Дедала—из бороды, и Вера уже думала, пожалуй, только о том, как от них избавиться. Она попыталась отломить ветку у ближайшего дерева, но оно вдруг взвыло, как иерихонская труба[6] (ой, откуда эта «труба» влетела ей в голову?), и послало Веру по известному адресу, словно то не дерево было, а какой-нибудь бандит с большой дороги. Так что отмахиваться от назойливых спутников пришлось руками. Это неприятное занятие на какое-то время отвлекло Веру от опасной неопределённости момента, но тут она услышала приближающиеся звуки—настолько необычные, но в то же время до боли знакомые, что ножки её сами собой споткнулись на ровном месте... Странно—как только она остановилась, насекомые существа оставили её в покое, скрывшись в траве, разлетевшись по кустам и деревьям.

—Что это?—Вера дёрнула за рукав устало молчащего Дедала.

—Ах, друг мой,—вздохнул мастер,—кажется, нам повезло... Это Орфей, конечно. Кто же, если не он?

Орфей! Да-да... Эту историю Вера прекрасно помнила. И эту мелодию тоже. Вернее, самое её начало... вот эти несколько звуков:

Марина Олеговна тогда рассказывала об Орфее, волшебнике-музыканте, который звуками золотой арфы укрощал диких зверей, заставлял людей и богов плакать от горя и от счастья. И когда речь зашла о смерти возлюбленной Орфея—Эвридики, в классе зазвучала именно эта музыка, самое её начало... Только теперь мелодию выводил какой-то неведомый инструмент—флейта не флейта, арфа не арфа... и не человеческий голос... Что-то такое, отчего у Веры сжалось сердце и защипало глаза. Да и сама мелодия была та—и не та. Словно эти первоначальные звуки в каждую следующую минуту могли продолжиться совсем иначе, нежели ожидала Вера. В них, в этих звуках, словно бы таилась вся лучшая музыка, которую до этих пор слышала и знала Вера—и «Лунная соната», и вальсы Шопена, и «Ave Maria», и даже что-то из репертуара Уитни Хьюстон... Но именно—таилась, словно цветок в нераскрывшемся бутоне или травинка в семечке.

Дедал и Вера замерли, не смея пошевелиться, пока звучит музыка, но вот она оборвалась: идущий навстречу заметил их, перекинул за спину ремень со своим волшебным инструментом и приветственно поднял руку.

—Дедал... неужели ты рискнул?..—Орфей, не скрывая тревоги, тем не менее дружески обнял мастера.—В твоём возрасте трансгрессировать снова и снова...

—Нынче не по своей воле, Орфей...—недобро усмехнулся Дедал.

—Юная гостья тому виной?—Орфей без малейшего стеснения уставился на Веру.

—Может, и так,—мрачно откликнулся Дедал,—хотя причины и следствия...

—Да-да,—нетерпеливо перебил Орфей,—идёмте. Персефона ждёт.

С этими словами он провёл раскрытой ладонью над поверхностью земли, и почва под ногами путешественников приподнялась, вспучилась, и в мгновение ока они оказались как бы на движущейся дорожке—да-да! Это было так же, как на «Таурусе», только Вера никогда не была на «Таурусе», зато она прекрасно знала, что такое траволатор в аэропорту, поэтому не очень-то и удивилась.

Дорожка упруго дрожала и негромко гудела у них под ногами. Вера озиралась по сторонам, и ей иногда удавалось поймать взглядом за деревьями, пригорками и встающими над зубцами гор облаками смутные, но более чем знакомые очертания... Ну... вот это—что? Пирамида Хеопса... мелькнуло—и растворилось в воздухе... А это? Сфинкс с человеческим лицом в лиловых кудрях и с львиными лапами... А здесь? Колонны Парфенона? Вера с чувством глубокого удовлетворения убеждалась, что узнаёт еле видимые, мгновенно исчезающие черты строений, сооружений, колонн и статуй. Вот Эйфелева башня. Вот статуя Свободы в угрожающем колючем венце, с чёрным факелом в руке. А это... ой-ё-ёй... что это? Краеведческий музей в Красноярске? Не-е-ет... это... ах, промелькнул... не успела разглядеть... А это? мост? Точно! Вантовый мост с набережной Енисея на Татышев остров! У Веры закружилась голова... точь-в-точь как в раздевалке—там, в покоях кносского Дворца... когда ей на мгновение показалось, что сделай она хотя бы шаг вперёд—и чары древнего Крита исчезнут и она окажется дома, в своей комнате или на балконе, откуда неведомая всемогущая сила... Впрочем, хватит растрачивать бесценное время по пустякам! «Сосредоточься на главном, Вера!»—сказала она самой себе как раз в тот момент, когда дорожка остановилась у подножия высокой-превысокой горы.

....

6. Звуки труб разрушили стены города Иерихона, о котором рассказывает Библия.

Она возносилась, подпирая подземные небеса, высоко-высоко и соединяла — как позже узнала Вера — своей вершиной мир Аида Гадеса с миром Зевса Эгиоха. Из середины горы низвергался сверкающий водопад, обдающий свежестью простирающееся во все стороны разнотравье.

— Располагайтесь, — сказал Орфей, — вас примут. Олимп гостеприимен.

— Это — Олимп? — шёпотом изумилась Вера.

— А как ты его себе представляла? — холодно отозвался Дедал.

— Не так, — сказала Вера, но тут же поняла, что в сложившейся ситуации лучше держать язык за зубами.

Дорожка, с которой они сошли на траву, вдруг снова пришла в движение, приподнялась, плавно изогнулась в нескольких местах и образовала две аккуратные скамейки, которые приглашающе качнулись и замерли у ног неожиданных гостей.

— Садитесь, — Вера услышала позади скрипучий старушечий голос и, обернувшись, убедилась, что её ожидания опять не оправдались.

«Баба Яга? — подумала она. — Нет… Откуда?»

— Вот и они, Персефона, — Орфей сделал несколько шагов навстречу хозяйке Элейсона.

— Вижу, — Персефона опустилась на скамью и тяжёлым недоброжелательным взглядом обвела Веру, не обратив при этом на Дедала никакого внимания.

Персефона была похожа на старое морщинистое дерево, согнувшееся от времени, опутанное плющом, с вороньим гнездом вместо причёски, с целым клубком змей, извивающихся вокруг шеи. У ног её тёрлись две кошки — белая и чёрная. Прежде Вера не видела кошек на Крите, но рядом с хозяйкой Элейсона они даже не вызывали удивления, словно были частью её, такой же как тёмно-красный хитон и колючий терновый венок вместо короны.

— Ну-с, гостья незваная, — Персефона произнесла это, поджав губы и презрительно сощурившись, но в её голосе Вера уловила что-то одновременно ласковое и угрожающее, — вот всё и сошлось.

— Что сошлось? — робко вымолвила Вера.

— Дай-ка руку, — приказала Персефона и протянула свою.

Дедал не успел вмешаться, и Вера послушно вложила руку в сухую горячую ладонь старухи. Она почувствовала толчок — вроде того, который сделал её деревом. Только на этот раз в ответ на толчок всё её существо сначала сжалось, а потом затрепетало и словно бы превратилось в гудящий поток.

Дедала и Орфея охватило непреодолимое оцепенение, и они только беспомощно смотрели, как преображается Персефона, а вместе с ней меняется Вера.

Лицо хозяйки Элейсона разглаживалось, розовело, молодело, волосы приподнялись и улеглись вокруг лба и щёк прелестными завитками, терновый венок зазеленел и покрылся алыми розами, губы налились влагой и покраснели, тело распрямилось, змеи сделались цветочными гирляндами, разноцветными лентами и шарфами, зловещие кошки замурлыкали и вытянулись на травке, жмурясь на бесстрастные лучи Квази-Сварга.

Спустя несколько секунд Персефона выглядела как юная девушка в самом расцвете чарующей красоты, а Вера вся съёжилась, зачахла, побледнела и была уже близка к обмороку.

Дедал всё-таки смог толкнуть Орфея локтем в бок, тот вздрогнул, левую руку прижал к сердцу, правую — к горлу, возвёл глаза к небу и запел. Голос певца то возносился до самых высоких нот и звенел, как птичья трель, то падал до суровых басов; в песне его была такая боль, такая нестерпимая мука, что слёзы сами собой полились и у Дедала, и у Персефоны, словно вспомнила она безутешную матушку свою, Деметру, и обещание, данное Зевсу, и весь покинутый мир земной, который, вопреки выдумкам людей, ей никогда уже не увидать… Рыдая, Персефона выпустила руку Веры и принялась отирать заплаканное лицо зелёной в жёлтый горошек лентой, свисавшей с венка на её голове. Пока она так обливалась слезами, всхлипывая и сморкаясь в рюши и оборки своих восхитительно ветхих одежд, Вера переводила дух, без сил распластавшись на траве.

Наконец Орфей вынырнул из творческого экстаза, оценил обстановку, замолчал и уставился на Персефону понимающим, но требовательным взглядом.

— Ах, какая свеженькая душа, — расстроенно уронила Персефона. — Поверь, Дедал, я не могла удержаться. Миллион зим и миллион земных лет не встречались мне такие свежие души. Теперь я словно вернула себе — себя, такой, какой я была до первой трансгрессии. Ненадолго. Но всё же.

— Да ты убила её! — вскричал Дедал. — Вера — дитя во плоти. Настоящее! Что теперь будет?

— По́лно, — вздохнула Персефона, — дело поправимое.

С этими словами она тряхнула широченным подолом платья, и откуда-то, наверное, из какого-нибудь кармана, выкатился на траву ярко-алый с золотистыми прожилками гранат. Он был настолько спелый, что Персефона легко разломила его, высвободив блестящие, полные пурпурного сока зёрна. Хозяйка Элейсона опустилась на траву, приподняла Верину голову, положив её себе на колени, и стала выдавливать половинку граната прямо в полуоткрытый рот непрошеной гостьи. Сок побежал упругой струйкой, и Вера даже чуть не захлебнулась сначала, но постепенно — глоток за глотком — ей стало легче дышать, руки и ноги налились прежней силой, и вот она уже сидит рядом с Персефоной и недоверчиво всматривается в её чудесно помолодевшее лицо.

— Ох-хо-хо,— бормотала Персефона, глядя куда-то поверх Вериной макушки,— разыскал же Аполлон Феб тебя, горюшко ты моё самоварное… Мы-то думали — ерунда, труд напрасный. Но он сделал это. Наобум, как всегда. Вроде как — ввяжемся в драку, а там — будь что будет.

«Это так свойственно бессмертным, вот это самое „будь что будет“»,— подумала Вера, но снова благоразумно промолчала.

— Но, дитя, ведь не Птицеголовый направил тебя прямиком в Элейсон? — Персефона уставилась наконец прямо Вере в глаза.— Это… невозможно! Дай-ка руки — взгляну, что начертали на них мойры-рукодельницы.

Вера поспешно спрятала руки за спину — и тут же услышала:

— Да не бойся ты! — Персефона неприятно усмехнулась и добавила: — Мне от тебя уже ничего не нужно. Кроме правды, разумеется.

— Покажи ладошки, Вера,— Дедал помог девочке подняться и крепко обнял её за плечи.— Минуя здешних бессмертных, нам отсюда всё равно не выбраться. А выбираться надо! Так что не смущайся — покажи!

Вера вытянула перед собой обе руки ладонями вверх и зажмурилась.

— О! да у неё «фебово око»! — воскликнула Персефона.— Редчайший дар! Врождённый! Ай-я-яй: даже оба! Одно дремлет, другое — спит. Так вот почему…

Вера открыла глаза и хотела тут же рассказать про маградв, но Дедал, видимо, догадавшийся о непроизвольном порыве юной спутницы, сильно сжал её правое плечо, и девочке расхотелось вмешиваться в разговор.

— Тем более странно,— Персефона испытующе взглянула теперь уже на Дедала.

— Через Посейдоновы шахты,— ответил тот на безмолвный вопрос хозяйки Элейсона.

Персефона недоверчиво покачала головой:

— Она же не Геракл и не Персей, чтобы по собственной воле бродить по лабиринтам Посейдона; да и ты, Дедал, полагаю, вовсе не Геракл…

— Такова была воля богов,— мрачно откликнулся Дедал,— не нам толковать её. Тем более — ей противиться.

— Ну-ну… — ещё более неприятно усмехнулась Персефона.— Разберёмся. Здесь, по крайней мере, вы точно ничего не натворите. Впрочем, и с вами более ничего не случится. Это Элейсон, дети мои. Здесь никогда ни с кем ничего не случается.

Тут она рассмеялась — жизнерадостно и зловеще, с явным облегчением вымолвив:

— Ну так и ступайте куда хотите. Куда глаза глядят. Ни пища, ни убежище вам не потребуются. А для благостных бесед и умственных упражнений — Орфей вам в помощь. Прощайте.

С этими словами она топнула по траве, которая немедленно приподнялась под её ногами, превратившись в движущуюся дорожку. Персефона ещё раз обвела Веру изучающим взглядом и, не оборачиваясь, исчезла в наползающей на олимпийское предгорье мгле.

— Что дальше? — спросила Вера, с нарастающей тревогой глядя ей вслед и ни к кому специально не обращаясь.

— «Фебово око»… — задумчиво произнёс Орфей, ласково прикоснувшись к Вериной макушке.— Кажется, я начинаю что-то понимать. Не о тебе ли, Вера, вещал Прометей перед тем, как уединиться в Нефритовой пещере и замолчать навсегда? Он говорил: настанет день — и явится Несущая Свет от посланников Сварга. Тогда развяжутся все узлы, раскроются все тайны и либо миру придёт конец, либо обернётся конец началом, совершив полный круг и вернувшись к источнику жизни. Правда, тогда Прометей был уже не в себе. Потерял рассудок от обиды, нанесённой Зевсом. А кто будет слушать сумасшедшего? Но, возможно, как раз надо было послушать.

— А сейчас? — не сдержавшись, воскликнула Вера.

— Что — сейчас? — осторожно переспросил Орфей.

— Сейчас — Прометея послушать?

Орфей как-то очень картинно… поник головой.

— Он давно не в себе, Вера. Кто бы отважился говорить с *таким* безумцем? Ты… ведь не представляешь себе, конечно, каков теперь Прометей. Думаешь, это такой героический герой… Страдалец за людей. Но позволь заметить…

— Стоп! — вскричал наконец Дедал.— Не надо ей ничего навязывать. Вера здесь как раз потому, что её суждение непредвзято! Пусть сама смотрит и сама решает, что хорошо, что плохо. Что — безумие, что — мудрость и святость.

— Ты-то в своём ли уме, Дедал? Живое дитя — в Нефритовую?

— Почему бы и нет? Мы с ней Посейдоновы шахты прошли, Цербера, можно сказать, приручили. Ей ли, Вере, сумасшедшего титана испугаться?

Орфей в полнейшем недоумении пожал плечами, на минуту задумался, прислушался к чему-то внутри себя…

Если Нефритовая пещера и была на что-то похожа, то вовсе не на пещеру. Тёмная расщелина среди камней, уходящая в невообразимую бездну, возникла прямо у них под ногами, словно из ниоткуда. Лучи Квази-Сварга, понемногу спускающегося к верхушкам кудрявого леса, неровно, мимолётными влажными бликами, скользили по идеально отполированным краям обрыва, над которым лёгким сизым маревом стлался туман, щиплющий глаза и оставляющий горечь на губах. Полупрозрачная дымка то втягивалась вглубь, то взвивалась вверх тонкими водянистыми вихрями, словно кто-то огромный судорожно вздыхал там, в глубине… Вере даже послышались то ли стоны, то ли хрипы, сопровождавшие непрерывное клубление.

— Там Прометей, дитя,—отозвался Орфей на её немой вопрос.—Что поделаешь… таков был его выбор. Захотелось бессмертному пострадать…— певец брезгливо сморщился и опустил голову, чтобы Вера не заметила, как исказилось его лицо.
— Вы все его ненавидите, да?—Вера упрямо поджала губы, что означало: ни единому слову Орфея ли, Дедала ли она уже ни за что не поверит.
— С чего ты взяла?—воспротивился было Дедал, но… поздно…

Вера подбежала к самому краю обрыва и, не раздумывая, шагнула вперёд… только ветерок свистнул вслед за её взметнувшимся платьем…

Всё произошло так быстро, что девочка не услышала ни воплей Орфея, ни успокаивающих возгласов Дедала… Мгновение—и она, зажмурившись, приземлилась на что-то плоское, упругое и тёплое.

Её тут же обволокло влажным тёплым дуновением. Она осторожно приоткрыла правый глаз— перед ней едва заметно шевелились чьи-то огромные губы. Впору было снова зажмуриться. И покрепче. Но Вера отважно разлепила веки и разглядела в полутьме два немигающих ока, каждое, пожалуй, побольше, чем самые крупные каменные лампы в кносском Дворце. Глаза слабо светились лиловым мерцающим светом—Вера не различила в них ничего угрожающего. Скорее, боль… да, это была боль огромного сильного существа, вынужденного смириться с неразрешимостью задачи, в которой заключён смысл жизни. Бесконечно долгой жизни.

«Прометей»,—Вера, скорее, подумала это, чем сказала, но тут же услышала ответ:
— Кто ты? Зачем?

Она полулежала на гигантской ладони титана, который, забыв о своих невыносимых муках, с любопытством рассматривал её, будто что-то вспоминал.
— Я—Вера,—сказала Вера и, на мгновение задумавшись, протянула правую руку куда- то в пустоту со слабой надеждой, что её жест будет истолкован как надо.

И—что это?! Погасшее перед входом в Элейсон «фебово око» сначала щекотно встрепенулось на её ладошке, а потом вспыхнуло так ярко, что осветило и огромное—чуть ли не во всю стену— лицо Прометея, и сами стены, по которым во все стороны золотой вязью побежали смутно узнаваемые письмена.

Вздох облегчения, который издал Прометей, словно ещё добавил света. Настоящие солнечные зайчики запрыгали по тёмным углам. Сияющее облако поднялось до самого края пещеры и озарило встревоженные лица Орфея и Дедала.

Вера привстала на ладони Прометея и помахала им рукой.

Дедал помахал ей в ответ. Орфей досадливо помотал головой. А Прометей нахмурился и вместе с Верой на ладони отвернулся от назойливых пришельцев. Теперь он всецело был занят только ею, таинственной гостьей.

А Вере, конечно, было неловко. Она никак не ожидала, что Прометей—такой… Такой огромный, что целиком не рассмотреть. Она сидела у него на ладони, поджав под себя ноги, и боязливо ёжилась. Если бы титан заговорил с ней, так сказать, своим голосом, то оглушил бы её, наверное. Да так, что она ни слова не разобрала бы. Но в том-то и дело, что Прометей говорил, не раскрывая рта. Сообразительная девочка быстро догадалась, что золотая «бегущая строка» на нефритовой стене— не что иное, как обращённая к ней речь титана. Надо было только очень сосредоточиться, чтобы успеть понять.
— Прометей не верил, что Свет Несущая придёт.

Вера тут же отметила, что титан говорит о себе в третьем лице. Ну… ещё и не такие особенности бывают. Здесь. Решив не обращать на это внимания, Вера скромно ответила:
— Она пришла.

Всё огромное тело титана всколыхнулось, так что Вера чуть не свалилась с его ладони.

Но Прометей совладал с собой, сел под стеной, плотно прижавшись всем торсом к прохладному нефриту и приблизив к «фебову оку» свой небу подобный глаз (оба его глаза в этот момент Вера не могла охватить взглядом одновременно—вот какой он гигантский был, этот обиженный титан!).
— Луч Реи, матери богов, за сходство с солнцем прозван «фебовым оком»,—читала Вера знаки, бегущие по стене высоко над головой Прометея,— он Европе дан в награду за верность с правом наследования. Поэтому—Пасифая, вся светящаяся. Поэтому—Ариадна, правды искательница. Поэтому Вера—Фоти́нья[7].
— Я сама его…—начала было жестоковыйная Вера, но золотая вязь Прометеевой речи снова быстро побежала по стене.
— Дремлет «око» в бездне времён. Страх его будит. Смерть открывает.
— Смерть?—у Веры по спине побежали колючие мурашки.
— Беда близка,—подтвердили знаки на стене,—но Свет Несущая спасёт!
— Как?!—забыв об осторожности, закричала Вера.
— «Фебовы очи» сомкнутся в круг. Змея укусит свой хвост. Завяжется в узел нить Ариадны.
— Какая змея? Какой хвост?
— За кругом—Ключ.
— Что за Ключ?
— Прометей забрал Ключ.
— За это Зевс отправил Прометея в Элейсон?— осторожно спросила Вера.

7. Фотинья—светоносная.

— Прометей объявлен предателем! Удалился он сам в пещеру! Теперь Свет Несущая от Реи пришла — время настало…
— Почему же Рея сама… — начала было Вера.
— Она далеко, — Прометей не дал ей договорить, словно боясь упустить собственную мысль. — Рея доверила свет потомкам Европы. Минос риска не любит. За дочерей боится… да! Феб Аполлон Веру Фоти́нью призвал! Ради Ключа!
— Ой, это про меня, что ли? — вздрогнула Вера.
— Вера — верни Ключ «Минотавру».

Слова эти едва различимой золотистой вязью растеклись по иссиня-чёрным стенам пещеры. Вера заметила, что Прометей слабеет, теряет силы.
— А дальше, дальше что? — заторопилась она.
— Свет Несущая знает, что делать, — еле выдохнул Прометей.

Вера хотела — в который раз — крикнуть: *как*?

Но титан опередил её — осторожно накрыл левой ладонью правую, на которой сидела Вера, моментально оказавшаяся как бы под душным тёмным куполом. Что после этого сделал Прометей, Вера не видела, но снова почувствовала тот самый тяжёлый жаркий удар в самую середину тела, который — да-да! теперь она уже знала — предвещал очередную трансгрессию. Мир рассыпался на сверкающие разноцветные точки.

Последнее, что она услышала, — страдальческий стон Прометея и отдаляющийся зов Дедала:
— Вера… Вера-а-а-а…

Дедал продолжал звать её, но Вера уже знала, что больше никогда его не увидит.

Глава двадцать третья,

в которой Вера и Ариадна находят Ключ

— Ну-ну, — только и вымолвила Урания, когда Парис предстал перед ней в своём новом облике. — Невинные забавы Афродиты?
— Что-что? — не понял Парис, глядя свысока на мудрую наставницу.

Ему всё ещё было неловко чувствовать свою огромность рядом с предметами, окружавшими его теперь вне «Тауруса».
— Понимаешь ли ты, дитя, — строго сдвинула брови Урания, — что это путь в один конец? Ты никогда не станешь своим среди бессмертных, но и люди тебе теперь — чужие. Ты завис между мирами, друг мой. Но боги, видишь ли, поздно задумываются о последствиях своих поступков. Особенно Афродита.
— Это мой выбор.

Парис, конечно, уже догадался, что Урания права, но что ему оставалось? Он только кивнул воробьиной головой и пожелал вернуться к занятиям в храме Созерцания.

Там, в храме на горе Корфа, он смог, наконец, избавиться от надоевшей маски. Урания объяснила, что на побережье и островах Срединного моря существует всего несколько таких мест, где можно создать общее для Тэрры и Геи-Земли пространственно-временное единство. Только там люди и боги — обходя фундаментальные законы Вселенной — могут общаться друг с другом. Одно из таких мест — Тира. Но даже здесь, чтобы дышать свободно, Парису пришлось — в отсутствие наставницы — полностью сменить воздух в обсерватории. Со всем остальным миром Геи боги связываются при помощи особых приспособлений, передающих изображения и звук (а иногда и силовое воздействие) на какое угодно расстояние. Парис вспомнил хижину, из которой, чуть не убив, унесла его Афродита, и только вздохнул: как давно это было!
— А как же ты? — недоумевал Парис. — А другие музы, нимфы? Гиперборейцы, наконец?.. Минос, Пасифая, Ариадна?
— Мы не боги, — Урания задумалась на минуту. — Уже не боги. Давным-давно титан Прометей помог Теосу-Зевсу осваивать Землю. Из вещества Земли он создал организмы, которые можно было соединить с личностями переселенцев. Мы стали землянами — то входя в новые оболочки, то выходя из них. Но настал момент, когда всем стало ясно, что Гея-Земля через созданные Прометеем тела — «сомы» — забирает души богов себе. Некоторые боги так испугались, что отреклись от участи, уготованной им Прометеем. Они перестали пользоваться «сомами», предпочли отойти в сторонку и, почти не вмешиваясь, наблюдать, как мы, не пожелавшие расстаться с Геей, будем тут управляться. Как видишь, мы поработали на славу. А бессмертные, кажется, с тех пор и озаботились идеей, как бы, не навредив ни себе, ни нам, всё-таки покинуть Землю. Не все, конечно. Есть такие, которые не желают считаться с жизнью, которая столь мощно и прекрасно разрослась на Земле. У них другая цель — превратить Гею в Тэрру. Это долгий, трудный процесс — тэрраформирование. Но он уже приведён в действие. Всё живое на Земле обречено ими на погибель. Однако Зевс и сотрудники «Минотавра» этого, конечно, не допустят. Рано или поздно Афине и Зевсу придётся договориться. Но как это будет, не знаю. Идёт игра. Кто кого перехитрит или опередит. Сейчас Афина ставит на Тесея. Вот почему нужно, чтобы Тесей перешёл на нашу сторону. Ведь пока он только неразумное орудие в руках врагов Земли. Впрочем, уже не вполне орудие и не совсем неразумное.
— Но как же… бессмертие? — не унимался Парис.
— Бессмертия нет, — Урания чуть ли не слово в слово повторила то, что Парис уже слышал от Афродиты, — просто у каждого из нас свой ритм и размер бытия. Порождения Геи бесконечно разнообразны — и в пространстве, и во времени. Даже не представляю, как существа, считающие себя столь высоко разумными, могут желать погибели этой

величественной красоты, этого изумительного разнообразия… этой множественности… этой…

Тут Парис понял, что Урания вот-вот разрыдается, и постарался прекратить разговор. Кое-что он всё-таки понял.

Несколько ночей, уединившись в обсерватории, он отчаянно искал следы друзей в непрерывном потоке знаков, хлынувшем на него со всех сторон.

Он увидел, что Вера, пройдя невероятные приключения, жива и стоит перед новыми испытаниями в Кноссе… это указание встревожило его. Но он узнал также, что Тесею, который благополучно вернулся на Крит, предстоит пройти одно из этих испытаний или вместе с Верой, или рядом с ней, или даже против неё.

А Вера… Вера в это время приходила в себя на верхней галерее башни Паратирис. Нужно признать, что на этот раз «переброска», или, как называли это Дедал, Харон и Орфей, трансгрессия, далась ей ой как нелегко. Мало того, что из-за головокружения Вера несколько минут не могла встать на ноги, так ещё и тошнота, с которой она едва справилась. Наверное, все здешние чудеса имеют собственный срок годности. И, похоже, у большинства из них этот срок подошёл к концу. Огорчительные мысли, наверное, какое- то время занимали бы нашу героиню, но она вдруг всем своим существом почувствовала присутствие Ариадны. Голос её второго «я» не произнёс ни слова, он просто вопил от радости, призывая всех смертных и бессмертных присоединиться к счастью!

Спустя несколько часов, когда обе мало-мальски успокоились, Вера попыталась более или менее внятно поведать Ариадне о том, что она пережила в Посейдоновых шахтах и в Элейсоне. Ариадна, конечно, и сама чувствовала её переживания и слышала её мысли, но эти переживания были так сильны, а эти мысли так беспорядочны, что им обеим пришлось немало постараться, пока всё, пережитое Верой, не сложилось в какую-то обозримую картину. Теперь нужно было сделать главное—истолковать загадочную речь Прометея. Вера запомнила её слово в слово: и про «фебовы очи», и про змею, и про «нить Ариадны», и про Ключ.

— «Фебово око»… Ну да. Кажется, именно так отец и называл это,—Ариадна раскрыла ладони.

Ладони как ладони. Ничего похожего на Верин «глазок» в них не наблюдалось.

— И?—Вера показала свои ладошки.

С тем же успехом.

— Ты не понимаешь,—терпеливо объясняла Ариадна,—чтобы «фебово око» открылось, нужны особые условия… хотя бы какое-то настроение особенное. Сильное чувство. То, что вдохновляет. Даже страх и отчаяние. Разве не так?

— Но я же…

— Да-да. Ты сама его нарисовала. Но—вспомни!—магравд! Он сделал всё, что нужно, когда ты этого захотела. Если бы «фебова ока» не было у тебя изначально, оно и не открылось бы никогда.

— У кого ещё…

— Только у нас,—Ариадна даже не дала ей договорить, потому что сама только что об этом догадалась.—Так вот почему… вот зачем… ни у кого из наших родственников—ни теперь и, скорее всего, никогда в будущем—«фебово око» не открылось… только у нас… потому что…

— Потому что ты и я—одно и то же,—прошептала Вера…

— Совпадение—одно на миллиард… на сто миллиардов…—Ариадна зажала рот ладошкой и огляделась по сторонам.—То-то бессмертные так… встрепенулись…

— Что же нам делать? Прометей сказал: «Вера Фотинья знает, что делать». Но я не знаю! И волшебных карандашей у меня больше нет.

— Что ещё сказал Прометей? «Фебовы очи» сомкнутся в круг. Что это значит? Ну-ка—поверни ко мне ладони!

Ариадна и сама так сделала: повернула руки ладонями к Вере. Правую—к правой. Левую—к левой. Обе зажмурились… и… ничего не произошло.

— Что не так?—озадаченно пробормотала Ариадна.

Вера только плечами пожала. Что-то не так.

Они взялись за руки—ладошка в ладошку. Крепко-крепко. Ну? Ничего.

— Тут нужно что-то особенное. Какое-то усилие… толчок. Знаешь что? Давай-ка спустимся в Лабиринт, в мастерскую Дедала,—наконец решила Ариадна.—Вполне возможно, что отгадка там.

В мастерской, на том самом месте, где Вере показывали созвездие Быка, собрались все, кто на тот момент работал в Лабиринте. Прибежал Икар, которому Вера, как могла, рассказала о своей встрече с Дедалом в Посейдоновых шахтах и о путешествии в Элейсон. Тут же, на месте, оказались драгайна Зои, дактили Миа и Дуо… и, конечно, Тесей, который за эти несколько дней стал почти таким же сотрудником «Минотавра», как Зои.

А та ловила каждый взгляд, каждое слово Ариадны и беспрекословно слушалась её.

Икар пребывал в горе и растерянности. Он был уверен, что найдёт отца! Но из Элейсона лишь чудом выбираются. Вот как Вера. И всё же надежда на возвращение мастера оставалась. Ведь это Дедал! Он обязательно что-нибудь придумает. А пока придётся управляться без него.

И они стали думать все вместе!

Ариадна и Вера старались изо всех сил—пожимали друг другу руки так и этак, складывали ладошки лодочками и растопыривали пальцы,

соприкасались мизинцами и тыльной стороной ладоней. Всё напрасно. Правда, Миа и Дуо, со всей тщательностью исследовав сеточку линий на коже той и другой — там, где открывались «фебовы очи», — обнаружили поразительную вещь: рисунки на ладошках полностью совпадают! Впрочем, это уже никого не удивило.

Когда экспериментаторы почти потеряли надежду что-нибудь понять, Зои осторожно спросила:
— Что Прометей говорил про змею?
— Змея укусит свой хвост, — Вера без всякой задней мысли обвела драгайну любопытствующим взглядом.

Ах, если бы Зои не была столь горда и независима, она бы точно обиделась, но юная драгайна только пошевелила кончиком хвоста и в недоумении пожала плечиками.
— Ты же не думаешь, что он имел в виду живую змею, настоящую? — Зои задумчиво уставилась в потолок.
— При чём тут это? — Тесей тоже решился, наконец, вставить в разговор несколько слов,
— Какая ещё может быть змея?
— Да! — вскрикнула Ариадна, будто её и вправду кто-нибудь ужалил. — Точно! Созвездие Змеи! Это очень важный знак Аполлона! Змея укусит свой хвост… Ну-ка…

Ариадна повернула рычажок в кресле Дедала, и на потолке мастерской проступили звёзды.
— Та-ак… Что дальше? — Вера так и не поняла ещё, каким образом изучение звёздного неба поможет понять задачу, для решения которой почти не осталось времени.
— Смотрите, — Ариадна стала осторожно поворачивать разные колёсики и рычажки в подлокотниках кресла, звёзды на потолке замерцали, побежали в разные стороны, пока над головами исследователей не установилась картина, которой, видимо, и добивалась Ариадна. — Видите эту цепочку звёзд? Это созвездие Змеи. Вон там — голова, а там — хвост. Попробуем изменить угол зрения так, чтобы… чтобы…

Ариадна снова нажимала какие-то кнопки, поворачивала какие-то рычажки. Звёзды на потолке то удалялись, то приближались… Вера, Тесей и остальные, как заворожённые, смотрели на потолок.

Вдруг…

О! Это волшебное, сказочное «вдруг»!

Вдруг между полом и потолком появилось полукруглое светящееся пятно, в котором сначала смутно проступили очертания предметов, очень похожих на инструменты наблюдения за звёздами, а потом наши герои отчётливо увидели в открывшемся «окне» помещение вроде Дедаловой мастерской и изумлённое лицо Париса.

Чистая случайность, конечно! Как раз в то время, когда Ариадна пыталась установить лишь ей известное расположение звёзд на потолке мастерской, Парис искал ответы на свои вопросы в обсерватории на горе Корфа. Вот и получилось, что Ариадна как бы случайно поймала сигнал обсерватории — и канал связи заработал. Вере-то как раз такое было не в диковинку. Она привыкла общаться с друзьями и родственниками в Интернете. Но здесь… Хотя бессмертные, судя по её многочисленным наблюдениям, кажется, частенько используют что-то подобное. Чему удивляться?

Но Парис явно не ожидал такого поворота. Увидев прямо перед собой окно в мастерскую Дедала и возбуждённую компанию сотрудников «Минотавра», он сперва удивился безмерно, а потом замахал руками от радости!

Вера! Вера жива и здорова! Вместе с Ариадной! И Тесей с ними! И Икар! А чудеса… подумаешь! Парис и не такого насмотрелся на «Таурусе».

Теперь «полку исследователей прибыло». Париса быстро — насколько это возможно, когда так много необходимо рассказать друг другу! — ввели в курс дела. И работа закипела с удвоенным энтузиазмом.
— Ключ? — Парис даже, кажется, ушами пошевелил от умственного напряжения. — Ключ?! А ведь я знаю, где Замóк! Есть Замóк! Можно к нему подобраться! А Ключ найдём! Он совсем рядом.
— Что будет, если Ключом открыть Замóк? — тихонько осведомилась осторожная Вера.
— Не знаю. Но узнаю обязательно. Разве ты не чувствуешь, Вера, что кто-то настойчиво ведёт тебя по пути, с которого было бы глупо свернуть? Это твой путь. Неужели ты откажешься от него?

Вера молча кивнула: теперь-то уж точно отказываться глупо.

Они — все вместе — думали-думали, гадали-гадали, прикидывали, рассчитывали, семь раз отмеряли, один — отрезали. С таким же успехом. Пока Вере не пришла в голову ошеломительная идея.
— Нить! Помнишь, Ариадна, какие чудесные вещи ты показывала на площади? Когда мы впервые встретились? Помнишь? Играла музыка! И твои «фебовы очи» работали. Ещё как!
— Да-да… музыка! Точно! — подхватила Ариадна.
— Позвать музыкантов? — с готовностью отозвался Тесей.
— Зачем? — Ариадна чувствовала, что умножать количество посвящённых в это запутанное дело было бы неправильно и опасно. — Зои искусно владеет флейтой, у Икара есть неплохая форминга[8], а Тесею дадим тимпан[9]. Сыграем сами. Уверена — получится!

8. Форминга — древнегреческий струнный щипковый инструмент, лира.
9. Тимпан — древний ударный музыкальный инструмент, похожий на бубен.

Инструменты быстро были найдены и принесены.

Сначала Зои поднесла к губам флейту, и в мастерской Дедала зазвучал тоненький голос костяной дудочки, сам похожий на звенящую натянутую нить. Вера слушала мелодию, и ей казалось, что по стенам мастерской бегут витиеватые письмена вроде тех, которыми с ней разговаривал титан Прометей в Нефритовой пещере. «Значит, мы на верном пути!»

Спустя минуту мелодию флейты оттенила форминга, а ещё через мгновение возникший ритм подкрепил и усилил тимпан Тесея. Ах, какая получилась чудесная музыка! Вера по привычке захлопала в ладошки. Парис в обсерватории на горе Корфа — а ему происходящее в мастерской было прекрасно видно и слышно — разулыбался от удовольствия и по примеру Веры стал отбивать такт руками.

Ариадна, словно вспомнив что-то, встала посредине комнаты, закрыла глаза, подняла руки — тыльной стороной к себе, ладошками вовне, точно так, как она делала тогда… на площади…

Два тонких ярких луча вырвались из её ладоней, и, как тогда, прямо в воздухе над ней заскользили очертания причудливых растений и зверей. Нить Ариадны пришла в действие!

— Вера, теперь ты! — закричал Парис, но Вера уже и сама знала, что нужно делать.

Она встала напротив Ариадны и перехватила лучи ладонями. «Фебово око» на её левой ладошке ожило сразу, а на правой сонно затрепетало, замигало, но в конце концов откликнулось на призыв и вспыхнуло так, словно всю Верину жизнь только и дожидалось этой возможности. Все четыре луча соединились, возникший круг пришёл в движение — стал вращаться по часовой стрелке. Между Верой и Ариадной — в их раскрытых и обращённых друг к другу ладонях — образовался прозрачный светящийся шар, в глубине которого виден был серебристый кружок с гравированными на нём знаками. Он становился всё ярче и ярче и стал настолько отчётливо виден, что даже Парис разглядел, что на нём начертано.

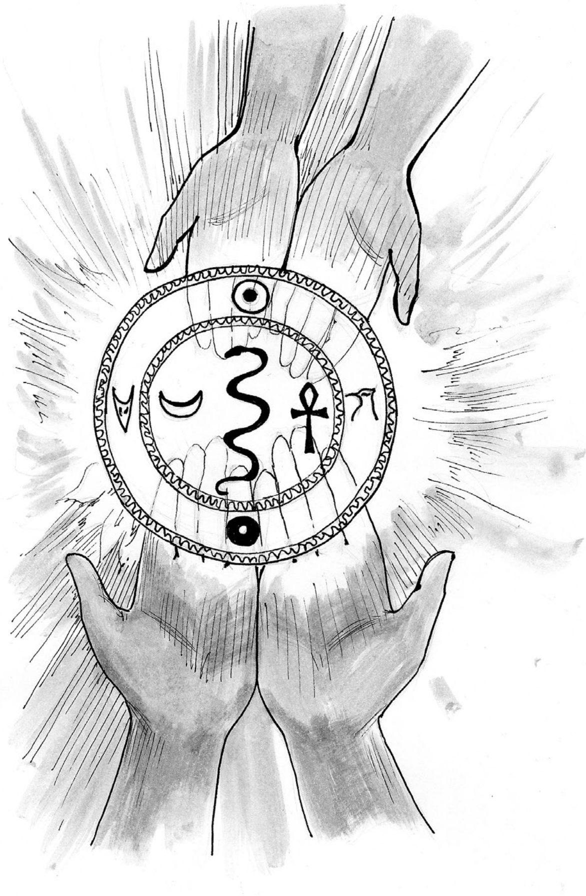
— Это Ключ! — закричал он вне себя от радости и удивления. — Точно такие же знаки я видел на Кинетрии!

— Ключ-то Ключ, — рассудительно заметила Зои, — но как его достать?

— На каком таком Кинетрии? — шёпотом, чтобы не спугнуть чудо, пробормотала Вера. — Точно такие же знаки на щите, закрывающем вход в Элейсон. Там, в Посейдоновых шахтах.

— Так тем более, — Париса подхватило вдохновение. — Вспомни, как вы вошли.

— Дедал… рукой соединял знаки… — Вера изо всех сил старалась вспомнить. — Око находит око, свет обретает свет, отдай жизнь смертную — обрети жизнь вечную… умри, чтобы жить… как-то так…



— А… я поняла! — будто очнувшись, воскликнула Ариадна.

Разумеется, Вера тоже мгновенно всё поняла.

Они стали осторожно передвигать лучи, словно нащупывая знаки на Ключе, а Вера при этом думала: как важно всё-таки знать пароль и никогда не забывать его!

Движение за движением, шаг за шагом… световой шар стал бледнеть, рассеиваться, Ключ — наоборот — становился всё ярче и реальнее. Наконец сияние совсем погасло, «фебовы очи» закрылись, и Ключ упал в предусмотрительно подставленные ладошки Зои.

Глава двадцать четвёртая,

в которой рассказывается, как Тесей и Парис стали диверсантами

Трудно описать словами чувство, которое распирало простую душу Париса! Он знал! Да! Он знал, предчувствовал, понимал! Есть Замóк, и Ключ найден! Дело за малым — как можно скорее заполучить его в собственные руки.

Конечно, вокруг распоряжения Ключом сразу разгорелся совсем не шуточный спор. Веру по-прежнему терзали сомнения.

— Что будет, если вставить Ключ в Замóк? — настаивала она.

— Прометей сказал: верни Ключ «Минотавру»,— рассуждала Ариадна.— Зачем? Если бы из-за Ключа случилось бы что-то плохое, он никогда не доверил бы его нам.
— Но Парис не принадлежит «Минотавру». Как, впрочем, и Тесей,— Вера бросила косой взгляд на сидевшего в сторонке «молодого афинского царя».
— Ключ без Замка́— ничто,— горячился Парис,— он не имеет смысла. Я знаю, где За́мок. У меня есть к нему доступ. Лада Афродита сказала, что открыть За́мок— значит оживить «Таурус», вернуть ему прежнюю силу. И даже возможность покинуть Гею.
— Как это «покинуть Гею»?— насторожился Икар.
— Так,— Парис понял, что сболтнул лишнее.— У бессмертных много дел, помимо Геи. Поверьте.
— Ага!— не унимался Икар.— Мы должны верить, что ты вдруг сделался настолько своим для бессмертных, что они допустили тебя к обсуждению собственных секретов?
— Ну… не своим, конечно,— замялся Парис. Он всё ещё не был готов открыть друзьям правду.— Но я— ученик Урании. И многому научился. Послушайте! Без Замка́ добытый столькими усилиями Ключ— бесполезная игрушка. Так что всё равно его необходимо доставить на Тиру. А здесь уж Афродита и Феб Аполлон как-нибудь разберутся, что дальше делать.
— Ну-ну…— хмыкнула Ариадна.— Отчего же сразу не обратиться к Афродите или Аполлону? Да к той же Урании, если… если не хочется по пустякам беспокоить начальство?
— Ой… Ариадна!— Парис наморщил нос с досады.— Как ты не понимаешь? Они же… они же взрослые! Нас же сразу отодвинут и запрут по комнатам, чтоб не мешали! Надо сначала самим попробовать…
— Это правда,— согласилась Вера.— Если сдать прямо сейчас находку бессмертным, наша миссия немедленно будет закончена. Знаете что? Если я и есть Фотинья, значит, мне решать. Беру Ключ и отправляюсь на Тиру! Сейчас же.

Все замолчали и уставились на неё— кто с недоверием, кто с надеждой.
— Вера! Мы не можем тобой рисковать,— неожиданно подал голос Тесей.— Посейдон не оставит тебя в покое, значит, морем тебе нельзя отправиться на Тиру. Только по воздуху.
— Или трансгрессировать,— вздохнула Ариадна,— а это уже…
— Это смерти подобно!— Икар чуть не задохнулся от возмущения.— Даже опытные, тренированные смельчаки не отваживаются перенести столько трансгрессий подряд, сколько за несколько дней уже пережила Вера! Даже не думайте!
— Трансгрессия, трансгрессия… Что это такое на самом-то деле?— Вера на многое была готова, но всё-таки ей хотелось внести ясность. До сих пор всякие там «трансгрессии» происходили отнюдь не по её воле.

Ариадна покачала головой, коснулась ладонью лба, достала из ящика небольшой лоскуток пергамента, растянула его на столе, взяла из стоявшего тут же тигля уголёк и намалевала им на пергаменте две жирные точки— сантиметрах пятнадцати друг от друга.
— Найди кратчайшее расстояние между ними!— предложила она Вере, вытерла запачканные углём пальцы о холщовое полотенце, висевшее рядом на крючке, и выжидающе замолчала.
— Ну… вот,— Вера, не задумываясь, пальцем соединила точки прямой линией,— короче не бывает.
— Да?— усмехнулась Ариадна, взяла со стола пергамент и сложила его пополам так, что нарисованные углём точки совпали— один в один.— Это и есть кратчайшее расстояние. Преодолеваемое мгновенно. Без каких-либо лишних усилий и затрат. Трансгрессия. Переход.

Парис, наблюдавший за ними из обсерватории на горе Корфа, чуть из одежды не выпрыгнул, так ему хотелось вмешаться, но он только крикнул:
— Да! Это правда, Вера. Ещё не вся правда, но правда. Свидетельствую.
— Бессмертные это делают легко,— вмешался Икар.— Но для нас каждая трансгрессия— такое тяжёлое испытание организма, что всякий раз требуется много времени и специального ухода, чтобы восстановиться. Ты уже перебрала все допустимые возможности, Вера. Тебе нужно отдохнуть.
— Ну ладно,— согласилась Вера.— А по воздуху?
— Нет,— вмешалась Ариадна,— всё равно. Вспомни, Вера, как Посейдон и Афина разыскали тебя в Схоликоне. Тебе нельзя покидать Лабиринт. Это единственное место, где ты в безопасности,— она подумала немножко и добавила:— Впрочем, я тоже.
— Так,— подытожил Икар.— Какие предложения?
— Выходит, отправиться на Тиру можем только мы с тобой,— подал голос Тесей.
— Да!— подхватил Парис.— Икар, теперь, когда ты знаешь, что Дедал в Элейсоне, что он может в любую минуту— как Вера— оказаться в Лабиринте, неужели ты рискнёшь покинуть Кносс? А Тесея ничто и никто не держит,— тут вздрогнули и Тесей, и Ариадна, но постарались никак не обнаружить волнения,— тем более что Урания и Афродита особенно отмечали его значение в нашем деле… Тесей! Ты готов?

Что оставалось «молодому афинскому царю»? Он пожал плечами, кивнул и, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, произнёс чуть дрогнувшим молодецким баском:
— Да!

И вот он сидит на песке, прислонившись спиной к нагретому солнцем валуну, на том самом месте, где несколько дней назад его, почти бездыханного, обнаружил Парис. Мешок с крыльями валяется

рядом. Ключ, доверенный ему друзьями под страхом всех возможных и невозможных кар, лежит у него на ладони. Тесей ждёт Париса, обещавшего встретить, и старательно рассматривает диковинную вещицу, из-за которой разгорелось уже столько споров, недоумений и страстей.

Ключ—тонкий, но прочный, негнущийся диск из неведомого Тесею материала—теперь больше всего напоминал пряжку от плаща, и размером почти такой же, он легко помещался на ладони Тесея, можно было даже сдвинуть пальцы, зажать Ключ в кулаке.

Два плоских кольца—одно в другом—соединяла посредине извилистая змейка с чёрной дырочкой вместо глаза. От змейки в разные стороны расходились матово поблёскивающие жгутики, к которым были прикреплены золотистые значки, очень изящные, но непонятные. По самим кольцам извивались надписи на незнакомом языке, а под змейкой в небольшом углублении помещался крошечный ярко-красный камень. Тесей рассматривал Ключ и размышлял: «Забавно, что сказал Парис про бессмертных, что они взрослые… А я—не взрослый, что ли? Или Ариадна—не взрослая? Что он имел в виду? Что мы все недостаточно разумны в глазах бессмертных? И даже Икар? И Дедал?»

Чем дольше Тесей вертел Ключ в руках, чем внимательнее рассматривал его, тем меньше хотелось ему расстаться с ним, отдать кому-то… хоть кому… да хоть Парису…

«Почему я должен отдать его? В конце концов, если эта вещь настолько ценная, разве не само собой разумеется, что её необходимо отвезти в Афины, на родину?»

Стоило ему это подумать, как справа от себя он уловил краем глаза какое-то движение. Тесей оторвался от созерцания Ключа, посмотрел на море и увидел бредущую по кромке воды одинокую фигуру в чёрном. Чем ближе подходил незнакомец, чем пристальней Тесей всматривался в него, тем тревожнее становилось у него на душе. Вдруг человек в чёрном остановился, поднял голову и откинул полотно, скрывавшее лицо. Тесей ахнул—перед ним стоял отец, царь Эгей, исхудавший, с растрёпанной желтовато-серой бородой и жалкой сединой, клоками свисающей с висков и со лба. По впалым щекам Эгея катились слёзы, тусклые глаза, казалось, едва различали, что происходит вокруг.

Тесей вскрикнул и бросился к отцу—обнять и утешить. Но руки прошли сквозь Эгея, словно это было облако дыма, а не живой человек. Тесей от неожиданности так и сел на песок—тёмная фигура медленно рассеялась в воздухе, и через несколько секунд от неё не осталось и следа. Но Тесей тут же что-то почувствовал за спиной, обернулся и на том самом месте, где он только что сидел, рассматривая Ключ, увидел Гермеса. Ни больше и ни меньше. Не узнать Трижды Величайшего было невозможно—всё было при нём: и крылатый шлем, и сандалии, и кадуцей, которым Гермес поигрывал как обычной тростью.

Тесей достаточно долго находился в Лабиринте, бок о бок с «Минотавром», чтобы без лишних переживаний встретить «побудительную мыслеграмму». Но внезапное появление и исчезновение призрачного Эгея до того взволновало его, что при виде Гермеса он чуть не задохнулся от противоречивых чувств, ударивших ему в сердце и в голову.

— Добрый сын, нечего сказать,—ядовито ухмыльнулся Гермес.—Так-то молодой афинский царь служит родине!

Тесею нечего было возразить. Он был свободен. Один. Без пленённых Миносом соотечественников. Без Дедала.

Существует ли на свете преступление страшнее предательства?

Тесей стоял перед Гермесом, опустив голову, словно пойманный за руку воришка.

А тот, угадав его мысли, приблизился и проговорил вполголоса—так, чтобы задеть в нём самые сокровенные и болезненные струны:

— Отец твой умер от горя, не дождавшись сына с проклятого острова. Твоя мать, Эфра,—в Аргосе, в плену. Калхас и Агамемнон не сидели сложа руки, пока сыночек Эфры развлекался в Кноссе с врагами народа.

У Тесея ноги подкосились, но он устоял и только закрыл лицо руками. Молодого афинского царя душили слёзы. Он знал, что Гермес прав, и уже готов был мчаться в Акрос, чтобы нанять хоть какое-нибудь судёнышко—и домой, домой… во что бы то ни стало—домой! Даже если придётся расплатиться с моряками единственной пригодной для этого вещью, которая у него была,—Ключом от Замка́, назначение которого было ему неизвестно.

— Ты—царь, Тесей,—изрёк Гермес, с нескрываемым торжеством разглядывая убитого горем юношу,—единственный прямой наследник афинского дома. Но пока ты не вернулся в Афины и не предъявил свои права, от желающих эти права оспорить отбою нет и не будет.

— Я уже в пути,—Тесей вскочил: он вспомнил о крыльях, которые дал ему Икар, и потянулся к мешку, лежавшему прямо у ног Гермеса.

— Не торопись,—Гермес помахал кадуцеем перед носом Тесея,—спешка полезна при ловле блох. Думаю, исполнить поручение Афины ты ещё успеешь. А за это и она не оставит тебя без помощи в трудный час.

— Какое поручение?

— Не знаю, Тесей. Афина велела передать тебе это,—Гермес провёл рукой над головой Тесея, и молодой афинский царь вскрикнул—что-то больно кольнуло его в правое ухо.

Тесей инстинктивно прижал ладонь к ужаленному месту—под пальцами слегка шевельнулась

небольшая серьга, на ощупь — явно дорогая, причудливо украшенная, с острыми камешками по влажному, липкому от брызнувшей крови ободку.

— Тебе предстоит, — удовлетворённо хмыкнул Гермес, — попасть в святилище, захваченное врагами Афин, и освободить его.

— Я сделаю это! — воскликнул Тесей.

В эту минуту он, кажется, готов был с любым чудовищем сразиться…

Но «побудительная мыслеграмма» вдруг побледнела, покрылась пятнами и волнами, задрожала и исчезла, а Тесей услышал: кто-то громко зовёт его по имени — глуховатым, но странно знакомым голосом.

Со стороны горы Корфа к нему приближалось невиданное существо — огромного роста и с птичьей головой.

Тесей расправил плечи, приготовился к битве, хотя никакого оружия при нём не было, и в этой схватке он мог разве что погибнуть героически… Но что это? Противник, быстро приближаясь, приветственно размахивал руками и орал что есть мочи:

— Тесей, Тесей! Это я — Парис. Не удивляйся и не бойся!

Да уж… не многовато ли для одного — вот так подряд?..

Через полчаса они уже сидели в любимом обиталище Париса — в храме Созерцания: Парис — сам по себе, а Тесей — в «пузыре», как называл это приспособление Феб Аполлон.

Не стану, читатель, утомлять тебя подробностями этого невозможного разговора, но Тесею всё же удалось убедить Париса в том, что если он сам, Тесей, не попадёт на «Таурус», то Ключ никому не отдаст. Даже Парису. Вот!

Парис, конечно, мог бы одним щелчком обездвижить Тесея и забрать Ключ. Мог, да не мог. Его чувствительное совестливое сердце не позволяло обидеть друга. Так и случилось, что вот уже стоят они вдвоём перед входом в зал, где находится Кинетрий, — Парис в своём новом обличье, отличавшемся от прежнего лишь огромным по сравнению с людьми бессмертным телом, и Тесей — в «пузыре», без которого на «Таурусе» не протянул бы и пяти минут.

Парис знал, как войти, но смутное чувство неизбежной ошибки, неверного, предельно опасного шага удерживало его. Да, Тесей ведёт себя странно. Мало того, что «молодой афинский царь», оказавшись на «Таурусе», не выказал ни малейшего удивления, словно путешествовать по огромному, даже с точки зрения бессмертных, святилищу было для него привычным делом, Парис видел, что Тесей и без его помощи прекрасно ориентируется во всех этих коридорах, туннелях, галереях и переходах.

«Ну да… конечно, — успокаивал себя Парис, — ничего особенного: Тесей уже столько времени провёл в Лабиринте, а ведь все лабиринты Геи — и Зевсов на Крите, и Посейдоновы шахты, и Гиперборейские сады, и даже Элейсон — построены по образу и подобию „Тауруса“. Только наполнены — каждый по-своему. Урания рассказывала об этом…»

Добрый, доверчивый Парис не знал, что всеми действиями Тесея с самого момента их встречи на берегу управляет Афина — через крошечный кусочек металла, вживлённый царевичу в ухо. Тесей говорил и двигался как во сне. Парис это заметил, но не мог понять причины и в конце концов решил, что эти странности — результат непосильной умственной нагрузки, свалившейся на голову Тесея за последние несколько дней.

— Вот мы и на месте, — Парис, насколько мог, наклонился к Тесею, чтобы посмотреть ему прямо в глаза. — Давай Ключ. Теперь он тебе точно не нужен.

— Сначала войдём, — ответ Тесея, казалось, не предполагал возражений.

И… вот что значит внушение! Парис почувствовал, что должен повиноваться!

Бессмертный, наделённый всеми дарами «Тауруса», корабля-странника с его искусственным, но почти божественным интеллектом, должен был беспрекословно подчиняться человеку! Впрочем — разве человеку? Афина была вне себя от радости и гордости за собственное искусство! Она добилась своего — проникла на «Таурус» и теперь могла точно так же, как Аполлон и Афродита, давным-давно лишившие её этой возможности, управлять кораблём. Через слабое неказистое орудие — афинского юношу с невнятной судьбой, но тайно и надёжно. Тем более что Парис был ещё так неопытен и беззащитен… подчинить мальчика своей воле теперь не составляло труда. Лишь бы другие бессмертные, охраняющие «Таурус», не вмешались раньше времени! Чего ещё желать?

Парис, не раздумывая, механически, набрал код на панели у входа — теперь он знал, как сделать видимыми входные знаки и в какой последовательности к ним прикасаться. Два красных, белый, зелёный.

Достаточно было шага — и мальчик прямо перед собой увидел Кинетрий, пылающий холодным пламенем, которое одновременно и стремительно вращалось, образуя бездонную воронку, и оставалось неподвижным.

А Тесей внезапно почувствовал удушье, покачнулся и упал навзничь, не успев даже сообразить, что «пузырь», который защищал его от излучения «Тауруса», исчез, будто его и не было. Пальцы, сжимавшие Ключ, разжались, и драгоценная вещица, подпрыгнув от удара Тесеевой ладони об пол, выкатилась на матово мерцающую поверхность.

Парис как будто даже не обратил внимания на то, что старший друг его лишился чувств и умрёт

через минуту, если не прийти ему немедленно на помощь. Он весь был во власти Афины, которая, пользуясь бездыханным Тесеем как передатчиком, нашёптывала питомцу Афродиты, что делать. Парис поднял Ключ, повернул его лицевой стороной в направлении Кинетрия, прижал пальцем змейку, чуть сдвинув её, так что она почти полностью ушла в углубление под красным камнем — камень вспыхнул, из него вырвался яркий тонкий луч, который тут же заскользил по щиту, пока не угодил точно в середину Кинетрия, в сердцевину полыхающей ледяной воронки. Ключ мгновенно раскалился добела, так что Парис вынужден был отбросить его. Ключ сначала просто завис перед Кинетрием, а потом, неторопливо переместившись и увеличившись до нужного размера, аккуратно ввинтился в центр щита, закрыв собой воронку. Теперь знаки на кольцах Ключа и знаки на щите Кинетрия вместе образовали причудливую надпись, похожую на шифр.

Что-то загудело, замигали огни, поверхность под ногами Париса задрожала…

— Теперь,— Парис испуганно озирался, но всётаки продолжал выполнять команды Афины,— подойди ближе к Кинетрию…

Парис приблизился и начал собственной тёплой ладонью, не касаясь щита, но чувствуя кожей его вибрирующее ледяное покалывание, соединять знаки Ключа и щита… так… так… вот так и вот так…

Щит и Ключ пришли в движение — стали всё быстрее вращаться в противоположные стороны.

Парис услышал громоподобный хохот.

— Сделано! — прогремел торжествующий голос Афины.

И всё затихло. Многомудрой Палладе больше нечего было делать на «Таурусе», и она покинула обречённый корабль с чувством исполненного долга. Эту партию «технократы» выиграли!

Глава двадцать пятая,

в которой гибнет царство Миноса,
а Вера возвращается домой

Эх, Сашка, Сашка… Парис Александр… что же ты наделал?

Всем телом припав к невидимой плёнке, растопырившись на ней, как прилипший к паутине мотылёк, Парис глядел вниз — на гигантские клубы огня и дыма, со всех сторон охватившие гибнущий остров, который только что был полон жизни — зелени, цветов, щебета птиц, жужжания и стрёкота насекомых… И вот ничего этого нет!

Прозрачная капсула — «пузырь» — поднимала Париса всё выше и выше, но он всё ещё различал огненные трещины, расползавшиеся по склонам Корфы, словно кровавые раны, чёрные провалы на месте оливковых и миртовых рощ… Он не мог слышать, как кричит Тира — мириадами голосов живых созданий, погибающих вместе с ней. Но всё его существо корчилось и содрогалось — и от безмерного ужаса и сострадания, и от переживания чудовищной вины, неизбывной, как сам этот ужас.

Как же это случилось, Парис? Как ты мог довериться Тесею? Ведь ты же чувствовал, что тот себе не принадлежит… Эх, если бы ты знал…

Но ведь не знал, не знал!

Не знал, что Ключ не только оживляет Кинетрий, двигатель огромного космического корабля, возвращая святилищу и пристанищу бессмертных способность перемещаться на любые расстояния во Вселенной, но и запускает самоуничтожение. Для этого надо только ввести специальный код. Это было предусмотрено командой «Тауруса» на случай безвыходных обстоятельств, когда никак иначе нельзя было избежать ещё большей беды. Афина, Гера и Посейдон не могли допустить, чтобы бессмертные покинули Землю. Да, Теос Зевс отстранил их от управления «Таурусом», но это не значило, что их оставили бы на Земле. Нет! Они не хотели возвращаться на Тэрру. Они мечтали, чтобы весь видимый и невидимый мир стал Тэррой. И что для них значило стереть царство Миноса с лица Земли — вместе с Лабиринтом, «Минотавром», Схоликоном и всеми островами Срединного моря?! Они придумали игру, втянули в неё остальных и заставили всех играть по своим правилам. И ты, Парис Александр… на тебя так надеялись твои высокие покровители и друзья! А ты не смог. Не оправдал. Не догадался.

Да, малыш… С твоей помощью эту партию «технократы» выиграли…

Спасательная капсула уносила Париса с места катастрофы. «Таурус» за миллионы земных лет оброс каменной корой, которая со временем вздыбилась горами, покрылся почвой, породившей разнообразный растительный мир, превратился в цветущий остров, оставаясь в глубинах своего подземелья изощрённой разумной машиной, приспособленной бессмертными к собственному уюту и безопасности… И вот — из недр острова, из самого сердца «Тауруса», со скрежетом и грохотом вырывались раскалённые камни, искорёженные куски металлических конструкций, брызги и струи расплавленного металла… всё это, окутанное чёрным и рыжим дымом, выбрасывалось так высоко, что едва не захлёстывало уплывающие в небо «пузыри», в которых кричали, плакали и бились в рыданиях бессмертные, успевшие спастись.

Когда Парис смог, наконец, оглядеться, то увидел поднимавшуюся с такой же скоростью капсулу Гефеста… настолько близко, что мог рассмотреть искажённое страдальческой гримасой лицо мастера. Поджав под себя ноги, зависший внутри «пузыря» Гефест удерживал на весу небольшой свёрток, похожий на спелёнатого младенца.

Превозмогая дрожь, Парис попытался разглядеть, что это. Лицо «младенца» было покрыто чем-то полупрозрачным, однако Парис понял — Гефест вытащил и Тесея. Правда, в бессознательном состоянии, но ведь живым! Живым!!!

Остров Тира низвергался в бездну, выталкивая из неё чудовищной силы волну, которая со скоростью урагана мчалась в сторону заходящего солнца и уже готова была обрушиться на Крит.

Вера почувствовала первый толчок, когда занималась своим любимым делом: при помощи заострённой ясеневой палочки и плошки чернил пыталась перенести на кусок пергамента, натянутого на деревянную рамку, очертания центральных фигур фрески в одном из нижних ярусов Лабиринта. Треножник, к которому прикреплена была рамка, сначала резко качнулся… Рисунок на холсте размазался, но Вера даже не успела возмутиться… пол и стены задрожали крупной дрожью, а потом — р-р-раз… и ещё — сильнее… р-р-раз… так что древняя краска посыпалась со стен…

— Что это?!

И тут же — истошный вопль Ариадны:

— Беги, Вера! Наверх, скорее!

— Что случилось?

Р-р-раз! Словно гигантским дрыном ударили снизу и в бок…

— Не спрашивай! Беги!

Бросив треножник, палочку и краску, Вера метнулась к ближайшей лестничной площадке, откуда ступени вели наверх. Пока она бежала по лестнице, Лабиринт наполнялся шумом: что-то скрипело, трещало, с грохотом падало, кто-то кричал, кто-то нечленораздельно верещал, пищал и лаял — наверное, дактили пытались вывести животных из вивария. Во всей этой неразберихе Вера слышала отчётливо только голос Ариадны:

— Беги, Вера! Быстрей, быстрей беги наверх!

— Что случилось?

— Не знаю. Подземные толчки.

— Ты где, Ариадна? Сама-то где? — Вера влетела в мастерскую Дедала, откуда можно было выйти прямо на галерею башни Паратирис.

В мастерской было на удивление пусто и тихо. Словно всё вокруг замерло — даже звуков, которые всегда доносились с галереи, не было слышно. Вера остановилась посреди зала, в котором ещё вчера была раскрыта тайна Ключа.

— Никуда не уходи, Вера, — голос Ариадны дрожал, но Вера всё поняла бы и без слов.

Случилось что-то ужасное. Неужели? Неужели мы ошиблись? Но — как? Что всё-таки произошло?

— Не ошибка, — мысль Ариадны больно ударила Вере в висок, — предательство! И наша, наша вина! Теперь ничего не поделаешь. Надо спасать кого ещё можно. А ты просто жди. За тобой обязательно придут.

— Ариадна, я с тобой! — чуть ли не вслух закричала Вера. — Ты где?

— Говорю же, оставайся на месте. Это лучшее, что сейчас ты можешь сделать.

Вера кинулась было на галерею, но вдруг почувствовала такую слабость, что смогла только бессильно опуститься на Дедалово кресло-качалку и в отчаянии закрыть лицо руками.

Её захлестнули смутные образы — отголоски того, что сию минуту видела и переживала Ариадна: мелькающие тут и там испуганные, заплаканные, растерянные и разгневанные лица, силуэты кентавров и грифонов, которые переплетались друг с другом и снова распадались, словно терзаемые ураганом ветки деревьев… полуразрушенные зубцы галереи и стаи чёрных птиц, мечущихся кругами над Дворцом… северные ворота Схоликона раскрыты настежь… все бегут… Куда? Зачем?

Землетрясение? Но почему бессмертные не предупредили? Не могли же всеведущие и всемогущие не знать и заранее не побеспокоиться о подданных Миноса?

И тут её словно током ударило: Тира! Как же Тира?! Что с Парисом? Неужели это он?.. предатель? Нет! Он просто такой доверчивый… А Тесей? Он просто такой слабохарактерный… Афина! Конечно же… Как же мы не догадались? Уж кого-кого, а Тесея нельзя было отпускать на Тиру… да ещё с Ключом, о котором мы ничегошеньки не знаем, кроме того, что он зачем-то нужен бессмертным — и тем, и этим, как оказалось.

— Да, я помню… ты с самого начала была против… — Ариадна мучилась нестерпимым чувством вины, но это чувство ничуть не поколебало её гордость. — И всё же это ничего не значит! Может быть, ещё можно исправить…

Тут в лицо нашей героини повеяло теплом — совсем близко. Она опустила руки на подлокотники кресла, открыла глаза. Прямо перед ней, опираясь на серебристую трость с навершием в виде головы быка, стоял высокий человек с белоснежной бородой, волнистыми прядями спадавшей на грудь, и копной седых кудрей над высоким лбом.

— Теос! — расслышала Вера изумлённый шёпот Ариадны. — Это сам Зевс, Вера. Ах, как жаль! Похоже, наша сказка и вправду подошла к концу…

— Какая сказка? — в свою очередь удивилась Вера.

Но тут заговорил Зевс.

— Конец, — усталым, даже чуть надтреснутым голосом произнёс капитан «Тауруса», — двадцать пятый уровень. Дальше только последний ход. Твой ход, упрямая Вера, искательница смысла и хранительница света. Выбирай: чёрное или белое?

— Белое, — ни на мгновение не задумалась Вера.

— Не торопись, думай, — прикрикнула на неё Ариадна, видимо, всё ещё питавшая надежду на продолжение.

— Принято,— тяжело усмехнулся Зевс.— Красное или зелёное?
— Не торопись,— горячо прошептала Ариадна.
—Зелёное,— чуть помедлив, решительно выбрала Вера.
— Ну что ж…— Зевс тоже помедлил.— Сгореть или утонуть?

Тут только Вера поняла, что происходит… Её готовят к чему-то… окончательному…
— Ничего нельзя изменить,— услышала она прерывающийся голос Ариадны,— «Таурус» уничтожен. Другого объяснения нет. Оставайся на месте! Бегу к тебе!
— Ну?— Зевс выжидающе поднял бровь.
— Утонуть…— Вера вспомнила, с какой лёгкостью она до сих пор проходила сквозь воду…
— Ну что ж… иди и смотри!

Вера пошла и стала смотреть.

Полог, закрывающий вход на галерею, откинуло неожиданным порывом ветра, и Вера оказалась на том самом месте, откуда несколько дней назад отправилась с Икаром летать над Кноссом. С высоты, пожалуй, двадцатого этажа— если применить меру, к которой Вера привыкла у себя дома, в двадцать первом веке от Рождества Христова, и уже начала отвыкать,— она видела кудрявые кроны деревьев, кубики прилегающей к Дворцу застройки, пристань и краешек моря… Только— что это? Там, где несколько часов назад солнечные блики переливались на водной глади, теперь вместо блеска воды темнели бурые пятна, какие-то серые и чёрные полосы, виднелись выпуклые зёрнышки лодок, беспомощно завалившихся набок. Море отступило, но с той стороны, куда оно так неожиданно откатилось, на город, закрывая небо, надвигалась чёрная стена, в толще которой бесшумно вспыхивали белые молнии. Действительно ли было так тихо, что Вера слышала лишь стук собственного сердца, или у неё просто в этот момент отказали все чувства, кроме невероятно обострившегося зрения,— но оттуда, из города, где метались охваченные ужасом жители Кносса, до башни Паратирис не доносилось ни звука.

Десятки полупрозрачных сфер-«пузырей» беззвучно парили над Дворцом. Внутри каждого Вера могла различить тёмные силуэты— людей? бессмертных? Несколько грифонов кружились вровень с нижними галереями Дворца, подхватывая перепуганных минойцев одного за другим и унося их куда-то за город, подальше от моря.

Парис, конечно же, спасся… его спасли! Конечно. Иначе и быть не может. Он— на Тире. Да. На горе Корфа. Там же высоко. Там нимфы, музы… там бессмертные. Конечно. Его спасли, спасли.

Только когда волна, закрывшая небо, кипящая бурой и розовой пеной, влачащая на себе огромные обломки скал, стволы вырванных с корнями деревьев, какие-то колёса, куски разбитых статуй, с непостижимой разуму силой ударила в каменную стену башни, Вера услышала гул— странный гул, не похожий ни на что, когда-либо слышанное ею прежде. И тогда до неё дошло, наконец: острова Тира больше нет. Все, кто находился там, погибли. Все. Вере показалось, что сердце у неё остановилось. Она вдруг увидела себя глазами Ариадны— съёжившуюся в непроглядной сырой тьме на краю стены, в которую хлещет вода…

Вера беспомощно огляделась— справа, внизу, там, где ещё виднелись ступени лестницы, ведущей на нижний ярус галереи, мерцал слабый, но быстро приближающийся луч света… и тут же до неё донёсся прерывающийся голос Ариадны:
— Вера! Отзовись!
— Я здесь,— закричала Вера и потянулась было на голос, но вдруг прямо над её головой разверзлась огромная водяная воронка. Вера бросилась навстречу Ариадне. Та бежала, путаясь в мокром подоле своего длинного платья, спотыкаясь, протягивая к Вере обе руки, словно пытаясь удержать её на краю страшной дыры, которая, гудя и отсвечивая красным, затягивала нашу героиню. В какой-то момент Ариадна поняла, что всё напрасно. Веру не удержать. Ветер времени неотвратим.
— Помни, Вера, помни, кто ты!!!— что есть силы закричала Ариадна.— «Минотавр» помни!

«Помни, кто ты»,— услышала Вера, чувствуя, как её захлёстывают тугие струи и непреодолимая сила пеленает по рукам и ногам…

«*Помни, кто ты!*»

Вера ещё раз дёрнулась, всем телом потянувшись к Ариадне… и потеряла сознание.

Эпилог

Вера сидела на балконе и смотрела то вниз—на песочницу, где под присмотром мам и бабушек копошилась малышня, то по сторонам—на голубей, которые, хлопая крыльями, слетали с крыши и возвращались обратно. По лицу её всё ещё стекали солёные капли—то ли слёзы, то ли морская вода. Она всё ещё не верила собственным глазам и прочим чувствам: всё позади? я—дома? И всё ещё, всё ещё сердце колотилось так, что, кажется, сию минуту выскочит из груди.

— Что это было?—ни к кому не обращаясь, спросила Вера и сама себе ответила:—Память… просто память… ну… скажем так: изрядно сдобренная твоим безудержным воображением.

Ариадна! голос Ариадны! Из чьей-то странной фантазии? Из прошлого? А может быть, она и раньше, и всегда была с ней, только Вера не обращала внимания?

— Выходит, я всё это… сама придумала? От скуки?

— Чтобы что-то придумать, надо сначала кое-что об этом знать.

— А ты?—Вера снова закрыла глаза и постаралась представить лицо Ариадны, такое родное и такое далёкое.—Что происходит с тобой сейчас?

— Я—это ты,—засмеялась Ариадна.—Все вопросы—к самой себе, моя дорогая. Царство Миноса погибло почти пять тысяч лет назад. А всё, что мы тогда пережили,—большой секрет, не так ли? Посмотри вокруг: разве ничего не изменилось? Совсем-совсем?

Вера снова глянула вниз: низкие кустики под балконом всё так же робко зеленели, почки на них лопнули, кажется, только вчера; чирикали птички, воробышек—тот самый?—безучастно перелетал с ветки на ветку старого тополя, сгорбившегося над окнами Вериной комнаты, откуда доносились голоса мамы и бабушки… всё то же самое… как всегда… как обычно…

По асфальтовой дорожке, едва подсохшей после вчерашнего дождя, несколько раз—туда и обратно—промчался белобрысый подросток на электросамокате. Он явно никуда не спешил, просто катался… Эх, какой мальчишка не любит быстрой езды?!

Вера отвернулась было, но парень на очередном «вираже» вдруг помахал ей кепкой, разулыбавшись во всю ширь загорелого лица… на кепке красовалось изображение бычьей головы, и Вера чуть не вскрикнула:

— Парис!

— Не обольщайся!—осадила её Ариадна.—Мало ли что покажется от избытка впечатлений…

Вера вздохнула, шмыгнула носом, утёрла сопли и слёзы рукавом футболки…

— Ну и что? Как теперь быть? Кто виноват, и что делать?

— Ничего. Быть по ходу жизни. Кто виноват—рано или поздно разберёшься. А что делать? Встань, возьми книгу, прочти внимательно—каждое слово, от начала до самого конца… иначе ничего не поймёшь! Очень важно—понять, что написано. Чтобы—в случае чего—знать, по крайней мере, что имеешь право на сомнение

— Какую книгу?

— Любую!

Вера посмотрела на стул, на котором, помнится, оставила «Мифы Древней Греции». На стуле—книга. Вроде бы та же самая. Только надпись на обложке—другая:

«Αποκάλυψη του Ιωάννη»[10].

10. «Откровение Иоанна».

Ампилогов Олег Константинович
стр. 3

Красноярск, 1952 г. р.

Профессор Сибирского федерального университета, почётный работник высшего профессионального образования, лауреат Золотого знака профессора главы города Красноярска П. И. Пимашкова. В 1978 году окончил Московский полиграфический институт. Художник-график. Оформил свыше 130 книжных изданий. Призёр международных, российских и региональных художественных конкурсов. Участник Красноярских международных музейных биеннале. Участник международных, российских, региональных художественных выставок. Участник международных биеннале, триеннале современной графики в Новосибирске. Работает в сфере визуальных искусств: книжная графика, графика, фотография, проектирование, кино и видео.

Астафьева Анастасия Викторовна
стр. 69

Санкт-Петербург, 1975 г. р.

Родилась в Вологде. Писать начала с пятнадцати лет. Автор многих сказок, повестей, рассказов и статей; участник семинаров и совещаний молодых писателей Вологодчины и Северо-Запада. Печаталась в местной прессе, в «Литературной России», в журналах «Нева», «Очаг», «Мир женщины», «День и ночь», «Невский альманах». По детективу «Сети Арахны» в 1998 году на вологодском областном радио был поставлен одноимённый спектакль. Член Союза российских писателей с 2000 года. В 2003 году окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького (Москва).

Бецко Анжела Михайловна
стр. 33

Нефтеюганск, 1968 г. р.

Родилась в Минске. Окончила филологический факультет Белорусского государственного университета. Четверть века живёт в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Автор трёх поэтических сборников и книги прозаических миниатюр. Публиковалась в российской и зарубежной периодике, в том числе в журналах и альманахах «Наш современник», «Неман», «День и ночь», «Сибирские огни», «Второй Петербург» и др. Член Союза писателей России.

Ващаев Олег Александрович
стр. 19

Санкт-Петербург, 1970 г. р.

Родился в Норильске. В 1998 году окончил Московский Литературный институт имени А. М. Горького (поэтический семинар Евгения Борисовича Рейна). С 2009 года живёт в Санкт-Петербурге. Публикации в журналах «День и ночь» (Красноярск), «Енисей» (Красноярск), «Север» (Петрозаводск), «Изящная словесность» (Санкт-Петербург), «Нева» (Санкт-Петербург) и др.

Гайдук Николай Викторович
стр. 16

Красноярск, 1953 г. р.

Поэт, писатель, член Союза писателей России. Родился на Алтае. Детство прошло в селе Волчиха. Окончил медицинское училище, Алтайский государственный институт культуры в Барнауле, Высшие литературные курсы в Москве. После армейской службы ушёл в культуру, поступив на отделение театральной режиссуры Алтайского института культуры. После защиты диплома работал директором Дома культуры, шофёром на трассе Норильск — Дудинка, был заведующим бюро пропаганды художественной литературы Красноярской писательской организации. В 1986 году увидел свет его первый сборник стихов «Калинушка-калина», через два года — первая книга прозы «С любовью и нежностью». За ними последовали романы «Волхитка», «Святая грусть», «Зачем звезда герою», «Всполохи», «Хранитель Вечности», «Легенда о Русском», «Царь-Север», повести. Книги издавались в США, Канаде, Аргентине, Франции, Польше. В России вышло 10-томное собрание сочинений. Министерством образования и науки Красноярского края произведения Николая Гайдука включены в школьную программу.

Графова (Мангутова) Маргарита
стр. 111

Казань

Автор стихов и прозы. Выпустила сборник повестей, готовится к печати книга стихов. По образованию — социальный педагог, учитель русского языка и литературы. Печаталась в журналах «Литра», «Аргамак. Татарстан», сборниках и альманахах. Принимает активное участие в поэтических мероприятиях Казани, соседних городов и республик.

стр. 167 Ищенко Нина Сергеевна
Луганск

Кандидат философских наук, культуролог, литературный критик. Редактор сайта луганской культуры «Одуванчик». Член Союза писателей ЛНР с 2018 года. Член Философского монтеневского общества Луганска. Автор книги литературно-критических статей «Локусы и фокусы современной литературы» (2020), а также «Книжная полка Татьяны Лариной» (2020), «Город на передовой. Луганск-2014» (2020).

стр. 13 Киляков Василий Васильевич
Электросталь, 1960 г. р.

Родился в Кирове. После окончания Московского политехникума работал мастером на заводе в городе Электросталь, служил в армии. Окончил Литературный институт имени Горького. Печатался в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Юность», «Молодая гвардия» и других изданиях. Лауреат литературной премии имени Б. Полевого и Всероссийской литературной премии «Традиция». Член Союза писателей России.

стр. 3 Косяков Дмитрий Николаевич
Красноярск, 1983 г. р.

Родился в Томске. Выпускник филологического факультета Красноярского государственного университета. Арт-критик и искусствовед, журналист, поэт-мелодекламатор, основатель поэтического дайв-театра, автор и ведущий дискуссионных клубов, преподаватель, сценарист кино и театра. Публикации в журналах «День и ночь», «Дети Ра». Дипломант Международного литературного форума «Золотой Витязь» (2020). Лауреат литературной премии всероссийского Фонда В. П. Астафьева (2021). Руководитель Красноярского регионального отделения Совета молодых литераторов при Союзе писателей России. Член Союза писателей России с 2022 года.

стр. 133 Курноскина Марина Германовна
Саратов

Окончила химический факультет Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского. Работала учителем в школе, журналистом, специалистом по рекламе и связям с общественностью, директором туристического агентства. В 2005 году в издательстве «Питер» выпустила книгу о туризме «Искусство путешествовать без проблем и лишних расходов».

стр. 8 Лаврентьев Максим Игоревич
Москва, 1975 г. р.

Поэт, прозаик, литературовед. Учился на дирижёрско-хоровом отделении в музыкальном училище. В 2001 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Работал редактором в еженедельниках «Литературная газета» и «Литературная Россия», главным редактором журнала «Литературная учёба». Автор восьми книг. В 2015 году опубликовал стихотворное переложение псалмов Давида. Роман «Воспитание циника» получил премию петербургского журнала «Зинзивер» за 2015 год. В 2018 году увидела свет книга «Дизайн в пространстве культуры». В 2023 году состоялась премьера поэтического переложения Книги Экклезиаста.

стр. 119 Лишенко Иветта Валериевна
Зеленогорск

Родилась в Красноярске-45 (ныне Зеленогорск), в семье физика. Сочинять начала в детстве. В студенческие годы, в Томске, печаталась в местных газетах. По окончании Томского политехнического института, получив специальность инженера-математика, была направлена по распределению в Красноярск, в лабораторию охраны здоровья населения Красноярского края, а в 90-е годы вернулась в Зеленогорск, где продолжила работу инженером-программистом. В настоящее работает инженером в АО «Производственное объединение „Электрохимический завод“». Имеет публикации стихов в российской печати, в коллективных альманахах и сборниках «Созвучие», «Новый Енисейский литератор», «На енисейской волне» и др.

стр. 22 Любестовский Пётр
Сельцо (Брянская область), 1947 г. р.

Родился на Смоленщине, в деревне Любестово. Окончил Звенигородский финансовый техникум и Тверской государственный университет. По образованию юрист. Служил в ВС и в МЧС. Подполковник в отставке. Многие годы работал школьным учителем, преподавателем в колледже. Публиковался в еженедельниках «Литературная Россия», «Учительская газета», «Советская Россия» и др., в журналах «Молодая гвардия», «Север», «Дон», «Искатель», «Странник» и др. Автор 11 книг прозы. Лауреат всероссийских и международных литературных конкурсов. Финалист Международного литературного конкурса имени Андрея Платонова «Умное сердце» (2021). Член Союза писателей и Союза журналистов России. Руководитель литобъединения «Парус» (город Сельцо).

стр. 37 Маркинова Татьяна Николаевна
Белово (Кемеровская область)

Детский писатель. Член Совета молодых литераторов Кузбасса, член литературного объединения «Светлана» города Белово, создатель и руководитель молодёжной литературной студии «Созвучие» (Белово). Окончила факультет филологии

и журналистики Кемеровского государственного университета. Работала учителем русского языка и литературы, после — внештатным корреспондентом в газете «Сельские зори». Лауреат различных литературных конкурсов и премий (лауреат III степени Международной премии «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства; лауреат II степени премии за доброту в искусстве «На Благо Мира»; лауреат просветительской премии «Знание»). Автор книги «Сказки для и про особенных детей» и одноимённого социального проекта.

стр. 165

Муслимова Миясат Шейховна

Махачкала, 1960 г. р.

Родилась в селении Убра Лакского района. Окончила филологический факультет в 1982 году, в 1999-м — юридический факультет ДГУ. Заслуженный учитель Республики Дагестан, почётный работник высшего профессионального образования РФ. Проректор по научно-методической работе Дагестанского института развития образования. Поэт, переводчик, литературный критик. Член Союза журналистов РФ. Номинант Всероссийского конкурса имени А. Сахарова «За журналистику как поступок». С 2004 года по настоящее время — член жюри Всероссийского конкурса журналистов имени А. Сахарова. Лауреат премии Союза журналистов РД «Золотей орёл» в номинации «Защита прав человека». Лауреат премии «Золотое перо России». Член Союза российских писателей. Председатель Дагестанского отделения Союза российских писателей. Лауреат литературной премии имени Расула Гамзатова. Победитель международного литературного конкурса «Золотая строфа 2010». Дипломант международного литературного конкурса имени Я. Корчака (Иерусалим). Лауреат литературных премий имени М. Волошина в номинации журнала «День и ночь», всероссийской премии «Поэт года 2013», дипломант международного литературного конкурса «Русский стиль» (Германия, 2013), финалист национальной литературной премии «Поэт года 2013» и др. Обладатель титула от мэрии Тбилиси «Посланник грузинской культуры». Автор сборника публицистики «Испытание свободой» и поэтических сборников «Диалоги с Данте», «Ангелы во крови», «Ангел на кончике кисти», «Наедине с морем», «Камни моей родины», «За словом, за дыханьем, за любовью», «Мамины сны». Автор книги переводов лакского эпоса «Парту-Патима» на русский язык.

стр. 42

Нестеренко Владимир Георгиевич

Красноярск, 1941 г. р.

Окончил ремесленное училище, восемь лет работал на заводах слесарем. С 1966 года стал профессиональным журналистом. Окончил КазГУ. Победитель литературно-публицистического конкурса «Национальное возрождение Руси» (автобиографическая повесть «Иван в десятой степени»), трёхкратный золотой дипломант Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» с присвоением звания «лауреат», лауреат Международного литературного конкурса «Серебряный ручеёк» в номинации «Рассказы для детей», многократный дипломант конкурсов МТО ДА, лауреат литературного фестиваля Красноярского края «Вера, Надежда, Любовь». Наиболее известны романы «Дорога на плаху», «Удар небесный», «Охотники за любовью», сборник легенд и сказок «Сказание о Танну-Ола», сборник таёжных рассказов «Песня марала». Историческая трилогия «Перекати-поле» о судьбе поволжских немцев в 2008 году издана в Москве и Красноярске, переведена на немецкий язык в Германии. Член Союза журналистов СССР, Союза писателей России.

стр. 120

Неудахин Валерий Фёдорович

Бийск, 1955 г. р.

После окончания школы связал судьбу с армией. Прослужил 28 лет, по увольнении работал в кадетской школе. Много путешествует по Горному Алтаю. Автор семи книг. Рассказы печатались в различных журналах и альманахах. Лауреат Православной литературной премии имени святителя Макария митрополита Алтайского, победитель литературного конкурса «Югра. Это моя земля», дипломант международного литературного конкурса Агнии Барто в номинации «Проза».

стр. 115

Новиков Илья Александрович

Абакан, 1988 г. р.

Родился в небольшом шахтёрском городке Междуреченске (Кемеровская область). Неоднократный победитель регионального конкурса «Радуга талантов». Участник «Летнего литературного лагеря» на родине М. Е. Кильчичакова. Публикации в журналах «Абакан», «Юрта», «Доля», «День и ночь». В 2018 году удостоен звания лауреата Всероссийской премии имени М. Ю. Лермонтова в номинации «Молодое дарование» за подборку стихотворений «Наш симбиоз». В 2019 году стал обладателем именной стипендии Главы Республики Хакасия. Лауреат Фонда имени В. П. Астафьева (2020).

стр. 170

Новикова-Строганова Алла Анатольевна

Москва, 1960 г. р.

Родилась в городе Бугульма в Татарстане. С отличием окончила факультет русского языка и литературы Орловского государственного педагогического института в 1981 году. Работала учителем в средней школе, преподавателем кафедры

русской литературы ОГУ. В 1993 году в Московском государственном педагогическом университете защитила кандидатскую диссертацию, 10 лет спустя в Московском государственном областном университете — докторскую диссертацию. Профессор. Член Союза писателей России.

стр. 18
Панова Татьяна Сергеевна
Красноярск, 1971 г. р.

Окончила Ванаварскую среднюю школу. В 1993 году окончила Красноярский педагогический институт (факультет физкультуры и спорта). Член Союза писателей России, член правления Красноярского регионального отделения СПР. Автор шести поэтических сборников.

стр. 3
Русаков Эдуард Иванович
Красноярск, 1942 г. р.

Писатель, журналист. Родился в Красноярске. Окончил Красноярский медицинский институт (1966) и Литературный институт имени А. М. Горького (1979). Работал врачом-психиатром (1966–1981), редактором на Красноярской студии документальных фильмов (1981), руководителем литературной студии при Красноярском Дворце культуры (1982–1991), корреспондентом газет «Евразия», «Вечерний Красноярск» (1991–1998). Обозреватель газеты «Красноярский рабочий» (с 1998). Печатается как прозаик с 1966 года. Автор нескольких книг прозы. Произведения переводились на азербайджанский, болгарский, венгерский, казахский, немецкий, словенский, финский, французский, японский языки. Член Союза российских писателей, Международного ПЕН-клуба (Русский ПЕН-центр, Сибирский филиал), экспертного совета благотворительного общественного Фонда имени В. П. Астафьева.

стр. 175
Саввиных Марина Олеговна
Красноярск, 1956 г. р.

Родилась в Красноярске. В 1978 году окончила с отличием факультет русского языка и литературы Красноярского педагогического института (ныне — университет имени В. П. Астафьева). Стихи, проза, публицистика, начиная с 1973 года, печатались в краевой периодике, а позднее в журналах и альманахах «Юность», «Уральский следопыт», «День и ночь», «Москва», «Дети Ра», «Крещатик» и многих других российских и зарубежных изданиях. Несколько стихотворений переведены на польский, французский, испанский, осетинский языки. Музыкальные произведения на стихи М. Саввиных создали известные российские композиторы, в том числе О. Проститов, Э. Маркаич, В. Пономарёв и другие. Издано более десятка книг стихов, прозы и публицистики. Лауреат Фонда Астафьева (1994), газеты «Поэтоград» (2010) и журнала «Дети Ра» (2011). Обладатель Красноярского краевого Губернаторского гранта за заслуги в области культуры (2008), ордена Достоевского I степени, главного приза Международного всеславянского литературного форума «Золотой Витязь» и других наград за литературную и общественную деятельность. Автор проекта и первый директор Красноярского литературного лицея. С 2007 по 2019 год — главный редактор журнала «День и ночь». Заслуженный работник культуры Красноярского края. Член Союза писателей России.

стр. 142
Сафронова Наталья Григорьевна
Красноярск, 1956 г. р.

Родилась в деревне Старая Еловка Бирилюсского района Красноярского края. Много лет работала в архитектурной мастерской ТГИ «Красноярскгражданпроект». Победительница различных региональных поэтических конкурсов: дипломант альманаха «Новый Енисейский литератор» за 2011 год в номинации «Поэзия», дважды лауреат красноярского городского фестиваля авторской песни «Сибирская рапсодия» в номинации «Автор стихов» и др. Публикации в антологиях и периодических изданиях «Мост», «День и ночь», «Звезда Севера», «Енисей», «Новая Немига» и др. Автор трёх сборников стихов: «В небесах души», «Нерассказанное признанье», «Размечталась», — и сборника рассказов «Детские секреты». Член Союза писателей России.

стр. 138
Свикуль Никита Сергеевич
Смоленск, 1998 г. р.

Родился в Брянске. По специальности — врач-педиатр. Один из победителей конкурса-фестиваля «Живой родник» в номинации «Детская литература: мини-рассказ». Второе место по итогам слёта молодых литераторов в селе Большое Болдино в номинации «Проза». Участник 22-го форума молодых писателей «Липки». Участник творческой мастерской от АСПИ в Смоленске. Рассказы опубликованы в журналах «День литературы», «Нижний Новгород».

стр. 92
Скуратова Елена Валентиновна
Красноярск, 1981 г. р.

Родилась в небольшом посёлке на юге Красноярского края. Окончила Иркутский государственный университет (факультет филологии и журналистики). Журналист с 20-летним стажем.

обл.
Суриков Александр Вячеславович
Красноярск

Окончил Иркутское училище искусств (1990) и Красноярский государственный художественный институт (1998), занимался также в Творческих мастерских отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств (2001–2004). Персональные выставки в галереях

Иркутска, Красноярска, Нью-Йорка, работы в музеях России, Испании, Италии, Канады.

стр. 113
Черных Наталия Борисовна
Москва, 1969 г. р.

Родилась в Челябинске-65 (ныне Озёрск), с 1987 года живёт в Москве. Работала библиотекарем в Литературном институте имени А. М. Горького, техником на киностудии «Союзмультфильм», преподавателем в средней школе, переводчиком в издательстве, рецензентом и т. д. В 1990 году дебютировала в самиздате сборником стихотворений «Абсолютная жизнь», в 1993 году состоялась первая официальная публикация её стихов — в парижской газете «Русская мысль». С 1999 года выступает также как автор статей и эссе о русской классической и современной литературе. С 2005 года — куратор интернет-проекта «На середине мира», посвящённого современной русской поэзии.

стр. 117
Щербинина Татьяна
Северодвинск

Работает врачом в детской поликлинике. Выпускница литературных курсов Нины Ягодинцевой. Член Союза писателей России.

ДиН память

(1933–1992)

Эдуард Нонин

Телеграмма белому медведю

У белого Медведя,
Живущего в торосах,
Который не боится
Ни ветра, ни морозов,
Который ловит рыбу
В студёном море синем
И, если пить захочет,
Облизывает льдину,
Который зажигает
Зимой без опозданья
На тёмном небосклоне
Полярное сиянье,
У этого Медведя
Сегодня день рожденья,
О чём он там, в торосах,
Не помнит к сожаленью.
Но мне сегодня утром
Сказали папа с мамой:
— Пойди отправь на полюс
Такую телеграмму:
Что у него, Медведя,
Живущего в торосах,
Который не боится
Ни ветра, ни морозов,
Который ловит рыбу
В студёном море синем
И, если пить захочет,
Облизывает льдину,
Который зажигает
Зимой без опозданья
На тёмном небосклоне
Полярное сиянье,
У этого Медведя
Сегодня день рожденья,
О чём он там, в торосах,
Не помнит, к сожаленью.
Но мне сегодня утром
Сказали папа с мамой:
— Пойди отправь на полюс
Такую телеграмму:
Что у него, Медведя,
Живущего в торосах…
И так далее —
До конца
И опять сначала,
Пока белый Медведь
Не вспомнит!

«ДиН», №2/1994

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

В. Н. Наговицын

РЕДАКТОРЫ

Марина Наумова-Саввиных

Дмитрий Косяков

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Андрей Леонтьев

Журнал издаётся с 1993 года.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

Учредитель:
Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 22.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Издатель:
Краевое государственное автономное учреждение «Организационно-методический Медиацентр»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Александр Астраханцев
Красноярск

Наталья Ахпашева
Абакан

Юрий Беликов
Пермь

Михаил Бондарев
Калуга

Елена Буевич
Черкассы

Лидия Довыденко
Калиниград

Вера Зубарева
Филадельфия

Александр Кердан
Екатеринбург

Сергей Кузнечихин
Красноярск

Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург

Евгений Минин
Иерусалим

Миясат Муслимова
Махачкала

Александр Орлов
Москва

Олеся Рудягина
Кишинёв

Анна Сафонова
Южно-Сахалинск

Лидия Сычёва
Москва

Андрей Тимофеев
Москва

Владимир Шемшученко
Санкт-Петербург

Нина Ягодинцева
Челябинск

В оформлении обложки использованы картины Александра Сурикова.

Рукописи принимаются по электронной почте: dayandnight@bk.ru

Адрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск,
ул. Красной Армии, 22;
Медиацентр
т. +7 950 991 4349

Наш сайт: krasdin.org

Подписано к печати: 10.06.2023
Дата выхода в свет: 30.06.2023
Тираж: 1200 экз.

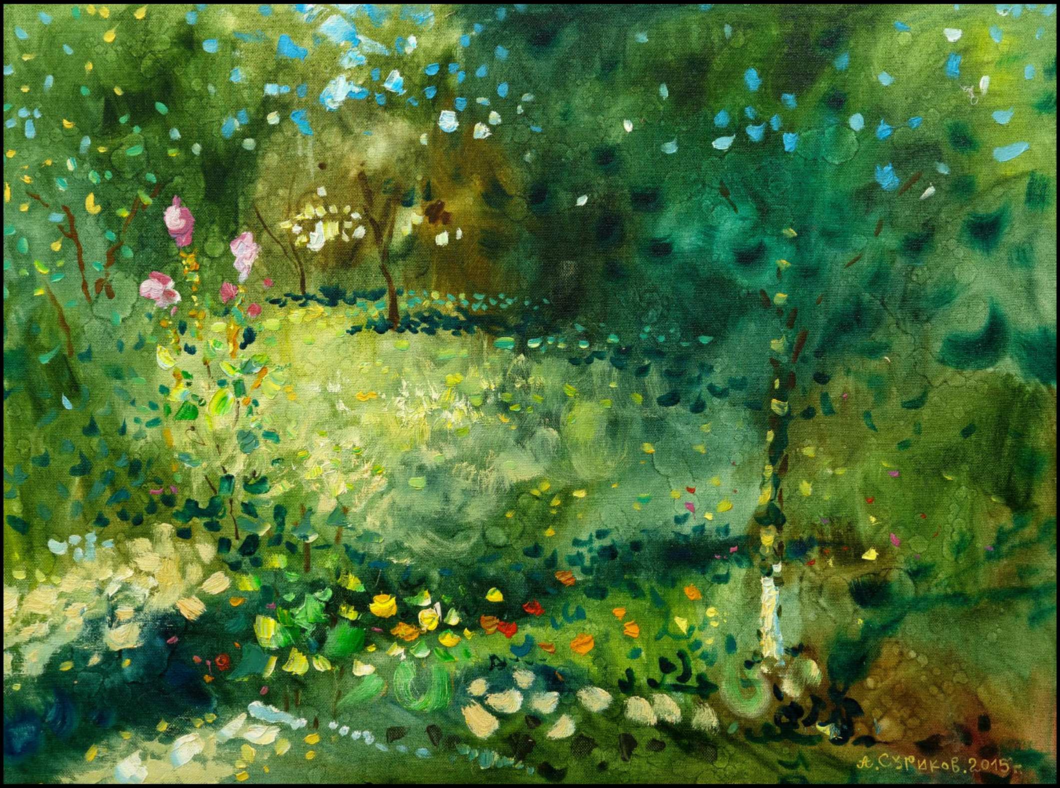
Цена свободная

Журнал выходит 6 раз в год

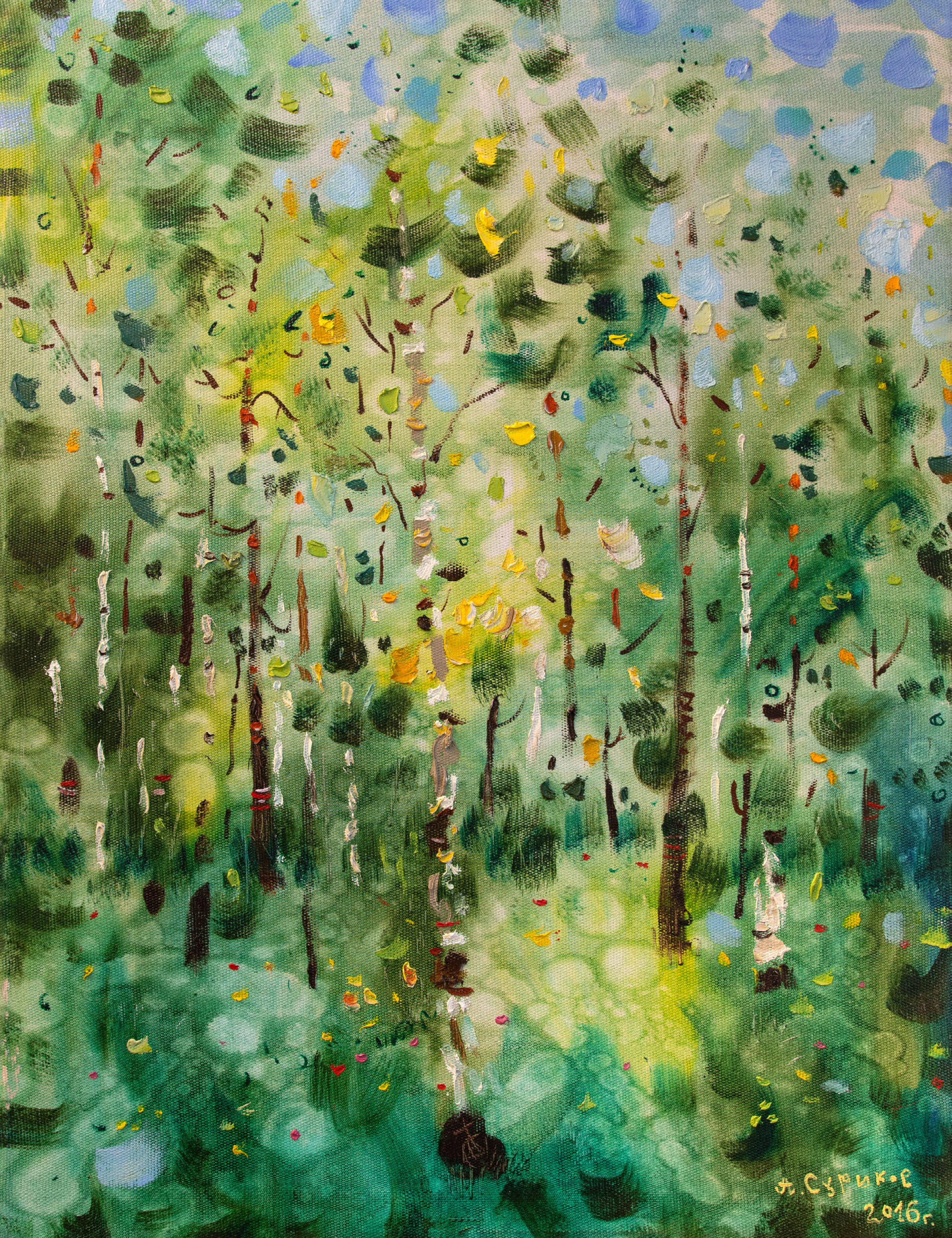
Отпечатано ИП Азарова Н. Н. в типографии «Литера-принт»
г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10, т. +7 904 895 0340
эл. почта: 2007rex@mail.ru

16+

Александр Суриков | Горы Казахстана | 2014



Александр Суриков | Сад цветов | 2015


А. Суриков
2016г.